МИРЫ УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН

РОЗА ВЕТРОВ

МИРЫ УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН

РОЗА ВЕТРОВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эту книгу составили рассказы из двух авторских сборников известной американской писательницы — «Роза ветров» и «Рыбак из Внутриморья».

- МИРЫ
  - ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
  - РОЗА ВЕТРОВ
    - НАДИР
      - «АВТОР “ЗАПИСОК НА СЕМЕНАХ АКАЦИИ”»
        - ПОСЛАНИЯ, ОБНАРУЖЕННЫЕ В МУРАВЕЙНИКЕ
        - ГОТОВИТСЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
        - РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ ПРЕЗИДЕНТА
      - НОВАЯ АТЛАНТИДА[7]
      - ВОЛНОВОЙ КОТ[22]
    - СЕВЕР
      - ДВЕ ЗАДЕРЖКИ
        - 1. ПО ПУТИ В ПАРАГВАНАНЗУ
        - 2. МЕТЕМПСИХОЗ
      - КН[24]
      - МЕЛОЧЬ[25]
    - ВОСТОК
      - ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ
      - ДНЕВНИК РОЗЫ[27]
      - БЕЛЫЙ ОСЛИК[28]
      - ФЕНИКС[29]
    - ЗЕНИТ
      - ПРОБЛЕМЫ
      - ИЗМЕНИТЬ ВЗГЛЯД [31]
      - ЛАБИРИНТЫ [32]
      - ТРОПКИ ЖЕЛАНИЯ [33]
    - ЗАПАД
      - АРФА ГВИЛАН[36]
      - ОКРУГ МЭЛХЬЮ[37]
      - ВОДА ШИРОКА [38]
    - ЮГ
      - РАССКАЗ ЖЕНЫ [39]
      - НЕКОТОРЫЕ
        - ТЕОРИЯ КРОХОТУЛЕЧНЫХ

ДЫРОЧЕК
- НЕБИОДЕГРАДАБЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ
- КРОВЬЮ НАШИХ СЕРДЕЦ?
- SUR
- РЫБАК
  - ПЕРВЫЙ КОНТАКТ
  - СОН НЬЮТОНА[51]
  - ВОСХОЖДЕНИЕ
  - КАМЕНЬ,
  - КЕРАСТИОН [54]
  - ИСТОРИЯ «ШОБИКОВ» [55]
  - ТАНЦУЯ ГАНАМ[56]
  - ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ,

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30

- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59

МИРЫ
УРСУЛЫ
ЛЕ ГУИН
РОЗА ВЕТРОВ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В очередной том собрания сочинений живого классика американской фантастики Урсулы ле Гуин вошли рассказы из двух оригинальных авторских сборников — «Роза ветров» (1982) и «Рыбак из Внутриморья» (1994).

Впервые российские читатели получают возможность ознакомиться с поздними произведениями малой формы, вобравшими в себя, как линзы, всю мощь неповторимого таланта писательницы. Лишь два из представленных в этом томе рассказов публиковались ранее в нашей стране — «Автор “Записок на семенах акации”» и программная «Новая Атлантида». А между тем за кадром оставались и три последние хайнские повести, и такие серьезные, вызывающие в памяти ранние проблемные произведения ле Гуин, рассказы, как «Тропки желания», «Дневник Розы» или «Сон Ньютона», такие философские миниатюры, как «Камень, изменивший мир» или «Волновой кот», и юмористические рассказики — «КН», «Восхождение на Северную стену», а еще многое другое...

А чтобы понять отношение писательницы к своей работе, стоит дать слово ей самой. Говорит Урсула ле Гуин:

«Люди, которые не читают научной фантастики (и кое-кто из тех, кто ее пишет), любят изображать, будто весь этот жанр уходит корнями в небесную механику и квантовую теорию, а потому непонятен для тех, кто не работает в НАСА и не умеет запрограммировать видеомагнитофон. Эта байка хотя и льстит писателям, но всем прочим предоставляет повод отмазаться. “Не понимаю!” — скулят они и забиваются в глубокие, уютные, анаэробные пещеры технофобии. И без толку разъяснять им, что сами писатели редко разбираются в “этом”. Мы тоже обнаруживаем на видеокассете последние двадцать минут мыльной оперы и половину матча по реслингу, когда хотели записать “Шедевры мировой сцены”. Большая часть идей в научной фантастике вполне доступна и знакома любому, кто закончил шестой класс... Даже в самом неуклюжем и неточном определении жанра “наука” становится прилагательным — прилагается — к “фантазии”...»

«...Некоторые люди говорят мне, что пытались читать НФ и нашли ее удручающе мрачной. Это вполне понятно, если бедняги натолкнулись на писания сервайвелистов, воспевающих последствия ядерной войны, или претерпели острую передозировку черного киберпанка. Но, как правило, такое обвинение отражает сумерки души самого читателя: недоверие к

переменам, к воображению. Очень многие люди пугаются и впадают в меланхолию, стоит им столкнуться с чем-то незнакомым: они боятся потерять контроль. Они не читают ничего, о чем бы не знали прежде, ненавидят все, что другого цвета, и не питаются ничем, кроме “Макдональдсов”. Они не хотят даже думать о том, что мир существовал до них, существует вокруг них и будет существовать, когда они давно сдохнут. Так пусть они жрут свои “Макдональдсы” и покоятся с миром».

«Я скажу вам, что я люблю в научной фантастике: могущество ее аллегорий, свободу от литературных условностей, серьезность, остроумие, блеск и красоту».

«Но о красоте своих рассказов я говорить не собираюсь. Надо же оставить что-то и критикам. И, во всяком случае, я не собираюсь объяснять, что я хотела высказать в них. Нет в них никакого скрытого смысла. Это рассказы, а не китайские печенья с предсказаниями».

РОЗА ВЕТРОВ

НАДИР

«АВТОР “ЗАПИСОК НА СЕМЕНАХ АКАЦИИ”» И ДРУГИЕ СТАТЬИ ИЗ «ЖУРНАЛА АССОЦИАЦИИ ТЕРОЛИНГВИСТОВ[1]»[2]

ПОСЛАНИЯ, ОБНАРУЖЕННЫЕ В МУРАВЕЙНИКЕ

Записи сделаны при помощи выделений осязательного органа муравья на сухих горошинах акации, выложенных в определенном порядке, рядами, в конце одного из тех извилистых туннелей, что соединяют самое сердце муравейника с внешним миром. В первую очередь внимание исследователя привлекло именно четкое, вполне вероятно значимое, расположение горошин.

Тексты, записанные на семенах акации, весьма фрагментарны, а перевод их на язык человека в определенной степени условен и в смысловом отношении носит характер интерпретации. Однако, на наш взгляд, данные послания интересны хотя бы уже потому, что разительно отличаются ото всех уже известных нам образцов муравьиного языка.

Семена № 1-13.

Не (буду) трогать разведчиков. Не (буду) ударять. (Буду) тратить на сухие зерна (мою) душевную теплоту. Могут найти их, когда (буду) мертв. Прикоснись к этому сухому дереву! (Я) зову! (Я есть) здесь!

Приведенный отрывок может быть прочитан и так:

Не тронь разведчиков. Не ударь. Потрать на сухие зерна тепло (твоей) души. (Другие) могут найти их, когда (ты) умрешь. Прикоснись к этому сухому дереву! Позови: (я) здесь!

Ни в одном известном нам диалекте муравьиного языка глагол не имеет показателей лица, кроме форм третьего лица (в единственном и множественном числе) и первого (во множественном числе). В данном тексте используются лишь формы инфинитива, поэтому не представляется возможным определить лицо, число и наклонение глаголов.

Семена № 14-22.

Длинны туннели. Длиннее то, что не имеет туннелей. Ни один из туннелей не достигает конца того, что не имеет туннелей. То, что не имеет туннелей, простирается дальше, чем мы могли бы пройти за десять дней (парафраза — «за всю жизнь»). Слава!

Восклицание «Слава!» представляет собой первую часть традиционного приветствия «Слава Королеве!», или «Да здравствует Королева!», или «Осанна Королеве!», однако в данном случае слово-знак «королева» опущено.

Семена № 23-29.

Как погибает муравей, захваченный врагами, так умирает муравей, оставленный друзьями (букв. «без других муравьев»), но сладки одиночества мгновения (букв. «все же быть без других муравьев сладостно, словно пить нектар»).

Если муравей вторгается в чужую колонию, его обычно убивают. Если муравья изолировать от других членов его колонии, то он неизбежно умрет через день-два. Основную трудность в приведенном тексте представляет расшифровка словосочетания «без других муравьев», что, как видно из нашего перевода, по всей вероятности, означает «одиночество» — понятие, для которого в муравьином языке не существует самостоятельного слова-знака.

Семена № 30-31.

Ешьте яйца! Вверх (?) с королевой!

По поводу интерпретации второй фразы данного текста мнения исследователей весьма неоднозначны. Вопрос этот представляется весьма важным, так как все предшествующие записи до конца могут быть Понятны лишь в свете этого категорического призыва. Д-р Розбоун, например, исходит из той предпосылки, что автор — бескрылая и бесплодная рабочая самка — тщетно жаждет стать крылатой мужской особью и основать новую колонию, воспарив к вершине муравейника (т.е. «вверх»!) в брачном союзе с новой Королевой. Хотя рассматриваемая фраза и может быть прочитана именно так, все же, на наш взгляд, ничто в ней не подтверждает подобной интерпретации, и менее всего — непосредственно предшествующий текст *N30 «Ешьте яйца*!». Значение этих слов не подлежит сомнению, хотя и представляется шокирующим.

Осмелимся высказать следующее предположение: основная путаница с прочтением текста *N31 возникает скорее всего из-за*

этноцентрической интерпретации слова-знака «вверх», которое у муравьев имеет двойное значение. «Верх», в понимании муравья, — это, несомненно, то место, откуда поступает пища, но, с другой стороны, «низ» — это гарантированная безопасность, покой, т.е. дом. «Верх» во втором значении — это еще и палящее солнце или морозная ночь, отсутствие убежища и родных туннелей, это ссылка, это смерть. Поэтому мы предполагаем, что автором этих крамольных воззваний была бесплодная рабочая самка, которая в уединении своего туннеля пыталась найти средства для выражения самой страшной формы богохульства, допустимой у муравьев, и, следовательно, правильное прочтение надписей на семенах *N30-31 и интерпретация их смысла на языке людей будут таковы*:

Ешьте яйца! Долой королеву!

Рядом с горошиной *N31 было найдено иссушенное тельце крохотного рабочего муравья*. Голова отделена от туловища, по всей вероятности, челюстями одного из солдат той же колонии. Порядок расположения горошин, напоминающий музыкальную строку, остался ненарушенным. (Муравьи-солдаты неграмотны, поэтому убийца и не заинтересовался бесполезными горошинами с выеденной сердцевиной.) В колонии вообще не обнаружено ни одного живого муравья; по всей вероятности, муравейник был разрушен во время войны с соседями вскоре после смерти автора приведенных здесь записей на семенах акации.

Дж.Д'Арбэ, Т.Р.Бардол

ГОТОВИТСЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Удивительная сложность знаковой системы языка пингвинов общеизвестна. В значительной степени запись знаков этого языка была облегчена использованием подводной кинокамеры. Отснятое на пленку можно по крайней мере повторить или показывать замедленно до тех пор, пока в плавной единой последовательности знаков не будут, после многократного повторения и внимательного сопоставления, выявлены основные элементы одного из наиболее изящных живых литературных языков мира, хотя, разумеется, нюансы и даже порой сокровенный смысл могут навсегда остаться непонятыми.

Профессор Дьюби, первым заметив отдаленное сходство письменности пингвинов и обыкновенных серых гусей, создал пробный словарь языка пингвинов. Исследования же этого языка по аналогии с дельфиньим, весьма до последнего времени распространенные, зашли в тупик и доказали свою

несостоятельность.

Казалось почти неправдоподобным, чтобы система знаков, создаваемая в основном пастообразными крыльями, короткой шеей и движением воздуха, дала ключ к прочтению высокой поэзии этих водоплавающих писателей. Однако ничего удивительного здесь нет, просто мы забываем, что пингвины все же являются *птицами*, несмотря на множество очевидных несоответствий этому классу.

То, что их письменность напоминает дельфинью *по форме*, не должно служить основанием для вывода о том, что она и *по содержанию* похожа на нее. Ведь язык пингвинов на самом деле значительно отличается от дельфиньего. Разумеется, оба эти языка характеризует удивительное остроумие, яркие вспышки безудержного юмора, изобретательность, изящество формы. Лишь немногие из многих тысяч литератур, созданных рыбами, отмечены неким чувством юмора, да и то лишь самым примитивным; языки акул или, например, тарпонов, крупных рыб из семейства сельдевых, безусловно, в высшей степени изящны, но им абсолютно чужды оптимизм и жизнестойкость, которые отчетливо ощущаются в языках всех китообразных. Радость, энергия, юмор — все это присуще и пингвинам, и, разумеется, многим представителям тюленьих. Всех перечисленных животных роднит то, что они теплокровны. Но строение мозга и детородных органов — вот непреодолимый барьер, вот что так отличает пингвинов от других морских теплокровных. Ведь дельфины, например, не откладывают яиц. И этот простой акт порождает целый мир различий.

Только после напоминания профессора Дьюби о том, что пингвины — птицы, что они не плавают, а *летают в воде*, теролингвисты смогли по-настоящему приблизиться к пониманию морской литературы пингвинов, только тогда были по-новому изучены и наконец оценены по достоинству километры кинозаписей.

Но трудности перевода преодолены не до конца.

Многообещающие записи были получены от пингвинов Алели с побережья Антарктиды. Записать групповую кинесику[3] в штормующем океане, да еще при температуре 31° по Фаренгейту[4], когда вода из-за обилия планктона напоминает густой суп, было очень трудно; однако упорство членов литературного кружка «Ледник Росса» было полностью вознаграждено появлением на свет такого шедевра, как «Под айсбергом», — этот отрывок из «Осенней песни» теперь всемирно известен в переложении ленинградской балерины Анны Серебряковой. Ни одна словесная интерпретация не может

сравниться с ее необычайно удачной балетной версией. Потому что — и это вполне естественно! — невозможно передать при помощи письменного языка всю сложную эмоциональную многогранность данного произведения, столь блистательно переданную труппой Ленинградского балета.

И действительно, то, что мы называем «переводом» с языка пингвинов или с любого другого кинетического языка, представляет собой, прямо скажем, нечто вроде либретто без музыки. Балетная версия — вот подлинный перевод. Слова здесь практически бессильны.

Поэтому я и предлагаю считать — хотя предложение мое, возможно, будет встречено взрывами гнева, хмурыми взглядами или улюлюканьем и смехом, — что для *подлинного* теролингвиста в отличие от артиста или просто любителя искусства кинетический морской язык пингвинов — не слишком благодарное поле деятельности, но тем не менее ученому гораздо интереснее исследовать язык императорских пингвинов, чем язык пингвинов Адели, несмотря на все очарование и относительную простоту последнего.

Изучать язык императорских пингвинов! Я предвижу многочисленные возражения моих коллег на только что высказанное предложение! Язык императорских пингвинов наиболее труден для человеческого восприятия и наименее доступен из всех остальных языков пингвинов. Именно в связи с этим профессор Дьюби как-то заметил: «Литература на языке императорских пингвинов столь же замкнута на себя, столь же недоступна, как и само закованное во льды сердце Антарктиды. Она, возможно, и обладает неземной красотой, но нам ее не постичь».

Возможно. Не стану недооценивать реальных трудностей исследования, не последней из которых является уже сам темперамент императорских пингвинов, гораздо более замкнутых и сдержанных, чем остальные представители этого отряда. Но, как это ни парадоксально, именно на такую черту их характера, как сдержанность, я и возлагаю свои основные надежды. Императорский пингвин — не одиночка, а птица общественная, и в брачный сезон они объединяются в колонии, как и пингвины, живущие на побережье Антарктиды, однако колонии императорских пингвинов значительно меньше и спокойнее. Связи между их членами носят скорее личный характер. Императорский пингвин — прежде всего индивидуалист. Поэтому я считаю, что литературное творчество этих пингвинов непременно окажется авторским, а не коллективным, а из этого следует, что их произведения вполне возможно адекватным

образом перевести на язык людей. Это будет, разумеется, литература кинетическая, но весьма отличная от объемной, быстро меняющей форму, многоплановой литературы, развивающейся в русле коллективной морской традиции. Думаю, что литературные тексты императорских пингвинов вполне можно подвергнуть самому тщательному научному анализу и транскрибированию с помощью известных нам знаковых языковых систем.

«Что? — возмутятся мои противники. — Неужели мы должны тащиться к черту на рога, в вечную тьму, где бушуют метели и трещат морозы под шестьдесят, ради весьма слабой надежды получить образцы некоей, лишь предположительно существующей, поэзии странных малочисленных птиц, которые упорно сидят во мраке и холоде зимней ночи, согревая между лапами единственное яйцо?»

И я отвечу: «Да! Потому что, как и профессору Дьюби, инстинкт твердит мне, что неземная красота этой поэзии столь уникальна, что мы вряд ли найдем на Земле что-либо ей подобное».

Тем из моих коллег, в которых силен дух научного поиска и благородного риска во имя достижения духовных ценностей, я скажу: «Вы только представьте себе: льды, колючий снег, тьма, непрерывный вой и визг ветра. А во тьме ледяной пустыни, скорчившись, застыли истинные поэты. Они будут умирать от голода, но еще несколько недель не сойдут с места в поисках пищи, потому что между лапами каждого из них, укрытое теплыми перьями, покоится одно-единственное великолепное яйцо, которое только так можно уберечь от смертоносного прикосновения вьюги и льдов. Эти мужественные птицы не могут ни видеть друг друга, ни слышать. Им дано лишь *чувствовать дружеское тепло*. Вот в чем суть их поэзии, их искусства. Как и все кинетические литературы, литература императорских пингвинов беззвучна, но в отличие от других в основе ее — почти полная недвижность, хрупкие, легкие колебания воздуха, приподнятое перышко, дрогнувшее крыло, прикосновение — легкое, слабое, но *теплое* прикосновение того, кто рядом. В невыразимо горьком одиночестве — сочувствие. В пустыне — присутствие друга. В окружающей со всех сторон смерти — жизнь».

ЮНЕСКО выделило мне значительную сумму на снаряжение экспедиции. Пока имеется четыре вакансии. В ближайший четверг мы отправляемся в Антарктиду. Если кто-то захочет присоединиться к нашей экспедиции — милости просим!

Д.Петри

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ ТЕРОЛИНГВИСТОВ

Что такое язык?

На этот вопрос, центральный для теролингвистики как науки, эвристический ответ был дан уже самим существованием такой науки. Язык — это средство общения. Вот исходная аксиома для всех наших теорий, исследований и открытий; и успех последних лишний раз подчеркивает важность этой аксиомы. Но на сходный, хотя и не идентичный вопрос «Что такое искусство?» мы до сих пор удовлетворительного ответа не дали.

Толстой в своей работе, название которой и составляет этот вопрос, дал на него ясный и четкий ответ: искусство — это тоже средство общения. Этот ответ, как мне представляется, был практически безоговорочно и без должной критики взят теролингвистами на вооружение. Однако он сам порождает массу вопросов. Например, почему теролингвисты изучают только язык животных?

Можно ответить: потому что растения не общаются между собой.

Хорошо, предположим, мы это установили. Стало быть, как это вытекает из нашей основной аксиомы, растения не имеют языка, а следовательно, не имеют и искусства. Но погодите! Это следует вовсе *не из основной аксиомы*, а всего лишь из недостаточно изученного постулата Толстого.

А что, если существует некоммуникативное искусство?

Или одни типы искусства коммуникативны, а другие нет?

Сами происходя от животных, активных хищников, мы, что вполне естественно, пытаемся обнаружить у других соответствующий тип коммуникативного искусства, и, когда нам это удается, такое искусство сразу же получает право на существование и свое место в типологической классификации. Способность определить типологическую принадлежность подобных видов искусства — недавнее блестящее достижение нашей науки.

Однако задумайтесь: несмотря на колоссальные успехи, сделанные теролингвистикой за последние десятилетия, мы только вступаем в эру великих открытий и ни в коем случае не должны становиться рабами собственных аксиом. Нам пока ни разу не удалось заглянуть за те далекие горизонты, что лежат перед нами. Мы пока еще не смеем принять тот поистине поразительный вызов, который бросают нам растения.

Если некоммуникативное искусство растений существует, то мы обязаны заново переложить буквально каждый кирпичик в

фундаменте нашей науки и принять на вооружение совершенно новый набор технических приемов исследования.

Потому что просто-напросто невозможно одним и тем же способом исследовать и описывать леденящие душу детективные истории, столь распространенные в литературе ласок, любовные песни лягушек или туннельные саги земляного червя — и литературные произведения, созданные красным деревом или кабачками.

Этим объясняется и то, что безусловно смелые попытки д-ра Шриваса из Калькутты использовать замедленную съемку для записи лексики подсолнухов были обречены на неудачу. Он подошел к решению данного вопроса с позиций кинесики и пользовался теми же приемами исследования коммуникативного искусства, что и при записи произведений черепах, устриц, ленивцев. Для него основной проблемой представлялась лишь поразительная замедленность кинесики растений.

Однако копать здесь нужно значительно глубже. Искусство, которое д-р Шривас стремился обнаружить, если оно действительно существует, должно принадлежать к некоммуникативному типу и, возможно, к некинетическому. Возможно также, что время — основной элемент, матрица и мера всех известных искусств животного мира — вообще не имеет отношения к искусству растений. Растения могут пользоваться, например, такой мерой, как *вечность*. Однако мы этого пока не знаем.

Да, не знаем. И догадываемся лишь об одном: предполагаемое искусство растений в корне отлично от искусства животных. Что же оно конкретно представляет собой, сказать пока не можем: мы его для себя даже не открыли. И все же я с известной долей уверенности предсказываю, что оно существует и, по всей вероятности, окажется не активным, а реактивным, т.е. главным в нем будет не действие, а реакция, не направленная коммуникация, а рецепция. Это полностью противоречит тому, на чем основаны известные нам виды искусства, поддающиеся сопоставлению и типологическому определению. Таким образом, мы можем открыть первое в истории *пассивное* искусство.

Но сможем ли мы вообще когда-либо узнать, что оно существует? Сможем ли его познать?

Это, разумеется, будет невероятно трудно. Но не надо отчаиваться! Вспомните: совсем недавно, еще в середине двадцатого века, большинство деятелей науки и искусства не верили даже в то, что язык дельфинов может быть расшифрован человеком и окажется безусловно достойным его внимания! Возможно, через сто лет кто-то так же посмеется и над нашими

сегодняшними опасениями. «Представьте себе, — скажет некий фитолингвист[5] литературному критику-эстету, — ведь они тогда даже языка баклажанов не знали!» И оба снисходительно улыбнутся, наденут рюкзаки и отправятся к пику Пайка[6], чтобы прочесть в оригинале недавно дешифрованные стихи лишайника, записанные на северной стороне его вершины.

И вместе с ними или чуть погодя туда поднимется еще более хитроумный исследователь, настоящий искатель приключений, — первый геолингвист, который, не обращая особого внимания на изящную, но недолговечную поэзию лишайника, прочтет еще менее коммуникативные, еще более пассивные, совершенно вневременные, холодные, вулканические стихи гор, в которых каждая скала — одно-единственное слово, сказанное Бог весть когда самой Землей, плывущей в бесконечном одиночестве и в бесконечном сообществе — во Вселенной.

НОВАЯ АТЛАНТИДА[7]

Когда я ехала домой после недели отпуска, проведенной в Диком Краю, моим соседом в автобусе оказался какой-то странный тип. Довольно долго мы молчали; я штопала чулки, а он читал. Потом, не доехав несколько километров до Грешема, автобус сломался. Закипел котел. Вечная история, если водитель хочет выжать больше тридцати километров в час. Наше замечательное "транспортное средство" относилось к разновидности Сверхзвуковых Роскошных Паровиков Дальнего Следования и обеспечивало "поистине домашний комфорт", то есть там имелся туалет и сиденья были достаточно удобные, по крайней мере те, что еще не успели полностью расшататься, поэтому все пассажиры остались дожидаться в автобусе; к тому же шел дождь. Естественно, завязалась беседа - раз уж автобус сломался и теперь надо было ждать неизвестно сколько. Мой сосед выложил на колени свою брошюрку и молча барабанил по ней пальцами - он смахивал на ярого сторонника сухого закона, а пальцами барабанил, в точности как школьный учитель, ожидающий ответа нерадивого ученика, а потом вдруг изрек:

- Интересно. Я вот тут читал, что из морских глубин поднимается на поверхность какой-то новый материк.

Мои синие чулки были явно безнадежны. Все-таки кроме дырок надо иметь хоть что-то, чтобы нитку цеплять.

- А в каком океане?

- Ученые пока точно не знают. Но большинство считают, что в Атлантическом. Кроме того, есть признаки, что нечто аналогичное происходит и в Тихом океане.

- А перенаселенность океанам случайно не грозит? Как там с плотностью населения? - съязвила я, в шутку, конечно. Я чуточку злилась, во-первых, из-за поломки автобуса, а во-вторых, из-за того, что изношенные вдрызг синие чулки когда-то были очень хорошими и теплыми.

Он снова побарабанил пальцами по своей брошюрке, покачал головой и с самым серьезным видом сказал:

- Нет, старые континенты опускаются на дно морское, уступая место новым. В этом легко можно убедиться.

Действительно, убедиться можно. Остров Манхэттен теперь даже при отливе ушел под воду больше чем на три метра, а на площадях там устричные отмели.

- Я думала, что уровень океана повышается просто потому, что льды на полюсе тают.

Он снова покачал головой.

- Это лишь один фактор из многих. Вообще-то благодаря парниковому эффекту, вызванному загрязнением атмосферы, Антарктика действительно может сделаться обитаемой. Но одними лишь изменениями климата невозможно объяснить необходимость зарождения новых - или возможно, наоборот, обновления старых, древних - материков в Атлантическом и Тихом океанах.

Он что-то там еще объяснял о движении материков, но меня увлекла мысль о заселении Антарктиды, и я совершенно размечталась, забыв о нем. Антарктида представлялась мне очень пустой, очень тихой, бело-голубой лишь на севере слабое золотистое свечение от никогда не восходящего солнца, прямо за вздымающейся ввысь вершиной Эребуса[8]. Людей там было немного: все они тоже очень тихие, в белых галстуках и фраках; у некоторых в руках гобои и альты. На юге бело-голубая земля в безграничном молчании куполом поднималась к полюсу.

Словом, все это было прямой противоположностью увиденному мной в Диком Краю, в окрестностях Маунт Худ[9]. Отпуск был скучный. Мои соседки по комнате сами-то по себе оказались еще ничего, но на завтрак вечно кормили макаронами, и было слишком много всяких идиотских спортивных мероприятий. Я еще до поездки предвкушала, как непременно доберусь до Государственного Лесного Заказника, самого большого из лесных массивов, еще сохранившихся в США, но деревья там оказались вовсе не такими, как на открытках или в рекламных проспектах Федерального Бюро Красоты. Все они были какие-то худосочные, и на каждом красовалась бирочка с названием того профсоюза, который это дерево посадил. Гораздо чаще, чем деревья, там попадались зеленые столы для пикников и

бетонные туалеты с соответствующими надписями. Кроме того, лес был обнесен колючей проволокой, по которой был пропущен электрический ток, чтобы предотвратить попадание на территорию заповедника посторонних лиц. Главный лесничий все рассказывал нам о горных сойках, называя их "умными воришками", которые якобы "подбираются так близко, что выхватывают бутерброды прямо из рук", но я лично ни одной сойки не видела. Возможно, потому, что как раз был День Борьбы с Лишними Калориями - такие каждую неделю бывают, - обязательный для всех женщин, и никаких бутербродов у нас не было. Если бы мне попалась горная сойка с бутербродом в лапах, я бы, может, и сама его у нее выхватила. В общем, неделя выдалась страшно утомительной, и я по-настоящему пожалела, что не осталась дома, чтобы всласть поиграть на альте, даже если бы и потеряла при этом недельную зарплату: ведь сидение дома и игра на альте не считаются "запланированным отдыхом с осуществлением программы по восстановлению сил", как это определено Федеральным Советом Союзов.

Когда мои мысли вернулись из Антарктиды, я поняла, что все еще сижу в автобусе, а этот тип снова углубился в чтение. Я заглянула в его брошюру, и вот ведь что странно: брошюра называлась "Повышение эффективности преподавания в государственных бухгалтерских школах", и уже из того единственного абзаца, который мне удалось прочитать, я поняла, что там абсолютно ничего не говорится о новых материках, поднимающихся из морских глубин, - ни слова!

Потом нам все же пришлось вылезти из автобуса и идти в Грешем пешком, потому что все порешили, что лучше уж добираться домой при помощи Системы Скоростного Общественного Транспорта Большого Портленда (ССОТБП), поскольку автобусное экскурсионное бюро в связи с невероятным числом аварий вряд ли способно прислать дополнительный автобус, чтобы довезти нас до пункта назначения. Идти пешком было очень мокро и очень скучно, мы немного развлеклись, только проходя мимо Общины Холодной Горы. Территория общины была обнесена стеной - от посторонних, - и над входом светилась большая неоновая вывеска ОБЩИНА ХОЛОДНОЙ ГОРЫ; по обочине шоссе прохаживались люди в настоящих джинсах и пончо, продающие туристам плетенные из бечевки ремешки, подсвечники грубого литья и хлеб из соевой муки. Без двадцати пять я села в Грешеме на Сверхзвуковой Суперреактивный Паровик ССОТБП, доехала до двести тридцатой улицы, потом пешком дошла до двести семнадцатой, села на автобус, идущий до эстакады Гольдшмидта, и там пересела на маршрутку, но она

тоже сломалась - тоже котел закипел! - а потому я не успела на пересадку в центре вовремя и попала туда только в десять минут девятого. Автобусы отходят оттуда один раз в час, и последний ушел в восемь. Я съела гамбургер с фальшивой котлетой в закусочной Лонгхорна под названием "Бифштекс в два пальца толщиной", села на девятичасовой автобус и домой попала уже около десяти. Я вползла в свою квартирку и автоматически скользнула пальцами по выключателю, но свет не зажегся. Электричества по-прежнему не было, его отключили еще недели три назад, причем во всем Вест-Портленде. В полной темноте я принялась искать свечи, и прошло не меньше минуты, прежде чем я заметила, что на моей постели кто-то лежит.

Я пришла в ужас и снова, как дура, попыталась включить свет.

Это был мужчина, который лежал в странной, какой-то изломанной, позе как мертвый. Я уж подумала, что, пока меня не было, сюда забрался грабитель, лег на постель и умер. На всякий случай я отворила входную дверь, чтобы успеть быстренько выскочить из квартиры или, по крайней мере, заорать так, чтобы услышали соседи; потом мне удалось на несколько секунд взять себя в руки и перестать трястись от страха, и я сумела наконец зажечь спичку, а потом и свечу. И тогда я подошла к кровати чуть ближе.

Свет потревожил его. Он всхрапнул и отвернулся. Я видела, что мужчина мне не знаком, но вроде бы узнавала и брови, и большие глаза под закрытыми тяжелыми веками... и вдруг поняла: это мой муж.

Он проснулся, а я все стояла над ним со свечой в руке. Он засмеялся и пробормотал сонным голосом:

> - Психея! Край твой был когда-то
> Обетованною страной![10]

Взрыва восторгов не последовало ни с одной стороны. Он появился неожиданно, к тому же действительно для него естественнее было бы быть там, чем там не быть; да и слишком он устал для бурных эмоций. Мы лежали рядом в темноте, и он объяснял мне, что его выпустили досрочно, потому что он серьезно повредил спину в каменоломне и начальство Исправительного Лагеря забеспокоилось, что ему может стать еще хуже. Если бы он там умер, то за границей пресса тут же зашевелилась бы, потому что и так ходило достаточно гнусных слухов о болезнях и смертях в Исправительных Лагерях и больницах Федеральной Медицинской Ассоциации (ФМА); кроме

того, зарубежные ученые достаточно наслышаны о Саймоне, поскольку кто-то опубликовал в Пекине его доказательство гипотезы Гольдбаха. Ну вот они и выпустили его досрочно, с теми самыми восемью долларами в кармане, которые имелись у него при аресте, то есть ему все вернули по справедливости. Домой от Кер Д'Ален, штат Айдахо, он добирался то пешком, то на попутках; два дня провел в тюрьме в Уолла-Уолла[11] - арестовали за автостоп. Он совсем засыпал, рассказывая мне все это, а когда наконец рассказал, тут уж заснул по-настоящему. Ему бы надо было переодеться в чистое и вымыться, но мне не хотелось его будить. Кроме того, я тоже очень устала. Мы лежали рядышком, его голова у меня на плече. Не думаю, чтобы когда-нибудь еще я была так счастлива. Нет, пожалуй, это было не просто счастье. Это было нечто более широкое, непостижимое - как знания, как ночная тьма. Это был восторг.

Темно было долго, страшно долго. Мы будто полностью ослепли. И вокруг царил Холод, безграничный, непреклонный, тяжелый. Мы не могли пошевелиться, да и не двигались. И не говорили. Рты наши были закрыты, крепко-накрепко заперты Холодом и Давлением. И веки тоже были заперты крепко. А ноги словно перетянуты свивальником. Как и мысли. Сколько это продолжалось? Времени как бы не существовало - разве можно узнать, как долго длится смерть? И начинается ли смерть после жизни, или до своего рождения человек тоже мертв? Конечно, мы думали - если вообще способны были думать, - что мертвы; но если мы когда-либо и были живы, то успели об этом забыть.

Потом что-то изменилось. Должно быть, сперва чуточку изменилось давление, хотя мы об этом еще не знали. Подсказали наши веки, очень чувствительные к таким переменам. Они, наверно, устали быть все время закрытыми. И едва давление стало меньше, веки раскрылись. Но мы этого не заметили. Мы оцепенели от холода и не ощущали ничего. Да ничего и не было видно. Вокруг была тьма.

Но "потом", поскольку первое событие как бы породило время, породило понятия "до - после", "близко - далеко", "сейчас - потом", так вот "потом" возник Свет. Один огонек. Один маленький, удивительный огонек, который медленно проплыл на расстоянии - каком? мы не могли сказать. Маленький, зеленовато-белый, мерцающий огонек. Светящаяся точка.

В этот миг, "потом", глаза наши конечно же были открыты, ведь мы увидели его. Мы увидели Мгновение. Мгновение - как световую точку. Во тьме ли или в море огня одно мгновение - это такая малость. Крошечная, медленно проплывающая точка. Еще одно "потом", и точка исчезает.

Нам и в голову не приходило, что одно мгновение сменится другим. Не было оснований предполагать это. Одно - уже достаточное чудо: в этой бесконечной тьме, в мертвящей, тяжелой, непроницаемой черноте, безвременной, всепоглощающей, недвижной, единожды - случайно ли? зародился крошечный, слабо мерцающий, движущийся огонек. Чтобы родилось время, нужен один лишь миг, думали мы.

Но мы ошибались. Противопоставление "один - много" - основа нашего мира и его суть. Собственно говоря, это противопоставление и есть сам мир.

Тот огонек вернулся.

Тот самый или другой? Как отгадать?

Но "на этот раз" мы уже начали размышлять: был ли этот огонек маленьким и близким, или это большой огонь, видный издалека? И снова ответа не было; но в том, как огонек двигался, чувствовалась какая-то неуверенность, нерешительность, вроде бы совсем не свойственная предметам крупным и находящимся далеко. Например, звездам. Теперь мы начинали вспоминать звезды.

Звезды раньше всегда двигались уверенно.

Возможно, их благородная уверенность объяснялась просто эффектом больших расстояний. Возможно, некогда они неслись, сталкиваясь друг с другом, - огромные осколки разорвавшейся первородной бомбы, сброшенной в космическую тьму; но время и расстояние смягчили беспорядочность их движения. Если Вселенная, что весьма возможно, возникла благодаря акту разрушения, то те звезды, которые мы издавна привыкли видеть на небосклоне, ничего об этом не рассказывали. Они всегда лишь безмятежно сияли.

А вот планеты... Мы уже начали вспоминать о планетах. На планетах время явно отразилось: изменился их облик, изменились орбиты. Марс, например, в определенные моменты года как бы поворачивает назад, движется меж звездами вспять. Венера то сияет полным блеском, то утрачивает свою яркость и, проходя видимые нам фазы, то видна полностью, то исчезает. Меркурий вздрагивает, словно капля дождя, блеснувшая на небосклоне в лучах закатного солнца. Вот и у огонька, который мы сейчас видели, было что-то от дождевой капли - дрожащей, неверной. Мы точно заметили, как огонек изменил свое первоначальное направление, двинулся вспять, потом стал меньше, слабее, мигнул - что-то его затмило? - и медленно исчез.

Медленно, но не так, как исчезают из поля зрения планеты.

Потом - уже третье "потом"! - явилось несомненное и абсолютное в полном смысле этого слова чудо, Чудо Света.

Волшебный обман. Смотрите, теперь смотрите в оба, вы не поверите своим глазам, мама, мама, посмотри-ка, что я умею делать...

Семь огоньков в ряд молнией пронеслись слева направо. Потом - уже не так стремительно - проследовали справа налево за двумя менее яркими и более зелеными огнями. Два зеленых огня остановились, мигнули, вернулись назад и снова, колыхаясь как язычки пламени, метнулись слева направо. Цепочка из семи огоньков, увеличив скорость, помчалась следом и догнала их. Два зеленых огня отчаянно вспыхнули, замигали, затрепетали и исчезли.

Семь огоньков некоторое время повисели спокойно, потом слились в единую светящуюся полоску, которая поплыла куда-то совсем в другом направлении, и мало-помалу растворились в бездонной тьме.

Но вот уже в темноте возникают иные огни, множество огней: живые светильники, светящиеся точки, ряды и скопленья огней - одни совсем рядом, другие далеко. Как звезды, да, как звезды, но вовсе не звезды. И наблюдаем мы теперь не великое Бытие, а всего лишь чьи-то маленькие жизни.

Утром Саймон кое-что рассказал мне о Лагере, но сперва заставил меня облазить всю квартиру в поисках подслушивающих устройств. Я уж решила, что ему давали "модификаторы поведения" и в результате у него развилась паранойя. Раньше нам никогда "жучков" не ставили, да и вообще я полтора года жила одна - вряд ли им было интересно слушать, как я разговариваю сама с собой. Но он сказал:

- Возможно, они поджидали, пока я сюда вернусь.

- Но они же тебя сами отпустили!

Он стал надо мной смеяться, лежал и смеялся, и мне пришлось сунуть нос буквально в каждую щелку, которая казалась нам подозрительной. "Жучков" я не нашла, хотя бумаги в ящиках письменного стола явно лежали как-то не так, словно кто-то в них рылся, пока я отдыхала в Диком Краю. Ну и пусть себе - все равно основные записи Саймона хранятся у Макса. Я вскипятила на примусе чайник и приготовила чай, а потом остатками горячей воды немножко помыла Саймона и побрила его - у него отросла густая бородища, и он мечтал от нее избавиться, потому что где-то в Лагере подцепил вшей. И пока мы всем этим занимались, он и рассказывал мне о Лагере. Вообще-то не так уж много он мне и рассказал, но много и не требовалось.

Он похудел килограммов на восемь. А поскольку до ареста он весил всего пятьдесят шесть, то осталось, пожалуй, маловато для

того, чтобы начинать новую жизнь. Его коленки и суставы на запястьях выпирали из-под кожи как узловатые корни. Благодаря замечательной лагерной обуви ноги у него выглядели как изжеванные: ступни распухли, а пальцы были все в кровавых мозолях; последние три дня он вообще не решался снимать ботинки - боялся, что потом не наденет. Когда ему приходилось поворачиваться или садиться, чтобы я могла его обмыть, он от боли зажмуривался.

- Неужели я действительно здесь? - спрашивал он. - Неужели я здесь?

- Да, - говорила я. - Ты здесь. Но одного я понять не могу: как ты сумел сюда добраться.

- О, это было совсем не так страшно, пока я двигался. И вообще, главное - знать, куда идешь; знать, что тебе есть куда пойти. Понимаешь, у некоторых там, в Лагере, такого места не было. Даже когда их отпускали, им некуда было деться. А для меня главное было продолжать двигаться. Погляди, моя спина теперь, по-моему, почти в порядке.

Когда Саймону понадобилось встать и пойти в туалет, он двигался словно девяностолетний. Не мог выпрямиться и весь был какой-то искореженный, скрюченный. Еле ноги волочил. Я помогла ему надеть чистое белье. Когда он снова ложился в постель, с губ его сорвался хриплый стон - словно оберточную бумагу разорвали. Я бродила по комнате, убирая разбросанные вещи, а он попросил меня подойти и сесть рядом и сказал, что утонет в моих слезах, если я не перестану плакать. "Ты всю Северную Америку затопишь", сказал он. Я не помню, что он еще говорил, но в конце концов заставил-таки меня рассмеяться. Очень трудно вспомнить, что именно говорит Саймон, но совершенно невозможно удержаться от смеха, когда он это говорит. Я так считаю вовсе не потому, что люблю его и восхищаюсь им. Просто он любого заставит смеяться. Я, правда, не уверена, что он к этому так уж стремится. У этих математиков вообще все не как у людей. Но Саймону приятно, когда ему кого-то удается рассмешить.

Было странно - тогда и сейчас - думать вот так о "нем", ведь это был тот самый человек, которого я знала уже десять лет, тот же самый, и вот теперь "он" лежал там, изменившись до неузнаваемости, словно превратившись в кого-то иного, в "него". По-моему, этого вполне достаточно, чтобы понять, почему в большинстве языков есть понятие "душа". У смерти несколько стадий, и время не щадит нас, заставляя пройти их все. И все же что-то в человеке всегда остается неизменным - вот для этого и требуется слово "душа".

Я наконец сказала то, что была не в состоянии выговорить целых полтора года:

- Я боялась, что они устроят тебе промывку мозгов.

- Модификация поведения - вещь дорогая, - ответил он. - Даже одни только лекарства. Это они в основном для важных персон приберегают. Но боюсь, они в конце концов почуяли, что и я могу оказаться важной персоной. В последние два месяца меня без конца допрашивали. О моих "контактах с заграницей". - Он фыркнул. - Думаю, их интересовали опубликованные там мои работы. Вот я и намерен вести себя осторожно, чтобы быть уверенным, что в следующий раз попаду снова в лагерь, а не в Федеральный Госпиталь.

- Саймон, они были... это жестокие люди или просто блюстители закона?

Некоторое время он не отвечал. Не хотел отвечать. Он знал, понял, о чем я спросила. Знал, на какой тонкой нити висит подобно дамоклову мечу над нашими головами Надежда.

- Некоторые - да!.. - запинаясь, выговорил он наконец.

Некоторые из них действительно были людьми жестокими. Некоторые из них наслаждались своей работой. Нельзя во всем винить общество.

- Заключенные тоже, не только охрана, - сказал он.

Нельзя во всем винить врага.

- Некоторые, Бэлл, - сказал он с нажимом и взял меня за руку, - только некоторые; там были такие люди... просто золотые люди...

Нить крепка; одним ударом ее не перервешь.

- Что ты в последнее время играла? - спросил он.

- Фореста, Шуберта[12].

- У вас по-прежнему квартет?

- Теперь трио. Дженет уехала с новым любовником в Окленд.

- Ах, бедняга Макс.

- Получилось ничуть не хуже, правда. Пианистка она не очень хорошая.

Невольно мне тоже удалось рассмешить Саймона. Мы болтали и болтали, пока я не начала опаздывать на работу. Моя смена, с тех пор как в прошлом году был принят Закон о Всеобщей и Полной Занятости, продолжалась с десяти до двух. Я контролер на недавно вновь запущенной фабрике, выпускающей бумажные пакеты. Пока что мне не удалось обнаружить ни одного негодного пакета: электронный контролер отлавливает их раньше меня. Такая работа нагоняет жуткое уныние. Но всего-то - четыре часа в день; куда больше времени требуется, чтобы тебя квалифицировали как безработную - надо каждую неделю

добираться туда на многочисленных видах транспорта, проходить физическое и психическое обследование, заполнять разнообразные анкеты, беседовать с целой кучей советников и инспекторов из Охраны Общественного Благосостояния, а потом - каждый день! - выстаивать за талонами на питание и пособием по безработице. Саймон решил, что мне все же следует, как обычно, пойти на работу. Я и попыталась это сделать, но не смогла. Он был такой горячий, когда я поцеловала его на прощание. Поэтому вместо работы я отправилась добывать подпольного врача. Одна девушка с нашей фабрики дала мне этот адрес на случай, если понадобится сделать аборт и не захочется после него целых два года глотать секс-депрессанты, которыми федеральные медики кормят тебя после того, как дадут разрешение на операцию. Эта докторша работала помощницей продавца в ювелирном магазине на Алдер-стрит, и моя знакомая с фабрики сказала, что это очень удобно: если не хватает денег, всегда можно оставить в залог у ювелира какую-нибудь драгоценность. Денег ведь вечно не хватает, а уж кредитные карточки, разумеется, стоят на черном рынке сущую ерунду.

Докторша выразила желание немедленно посетить больного, и мы с ней вместе поехали на автобусе. Она очень скоро догадалась, что мы с Саймоном женаты, и было очень смешно видеть, как она рассматривает нас и по-кошачьи улыбается. Некоторым нравится любое нарушение закона - просто так, из любви к искусству. Чаще мужчинам, чем женщинам. Именно мужчины создают законы и внедряют их, они же их и нарушают, и думают, что все это вместе игра просто замечательная. Большинство женщин, пожалуй, предпочли бы не обращать на законы внимания. Похоже, что этой врачихе, как и мужчинам, действительно нравилось нарушать законы. Возможно, любовь к приключениям и жажда острых ощущений и заставили ее некогда заниматься делом незаконным. Но существовала, безусловно, и более веская причина: эта женщина еще и очень хотела быть врачом. А Федеральная Медицинская Ассоциация не допускает женщин в медицинские учебные заведения. По всей вероятности, свои знания и практику она получила подпольно, в качестве частной ученицы. Примерно тем же способом Саймон изучал математику - ведь в университетах теперь готовят только менеджеров, специалистов по рекламе и средствам массовой информации. Однако эта женщина на врача выучилась, и, похоже, дело свое она знала неплохо. Она сделала, и весьма искусно, что-то вроде передвижного кресла для Саймона и сообщила ему, что если в течение следующих двух месяцев он вздумает передвигаться самостоятельно, то на всю жизнь останется

калекой, а если будет вести себя как следует, то будет всего лишь немного прихрамывать. Такие перспективы радости обычно не вызывают, но мы оба очень обрадовались и стали ее благодарить. Перед уходом она дала мне бутылочку с двумя сотнями простых белых таблеток. Этикетки не было.

- Аспирин, - сказала она. - У него еще месяца два будут появляться сильные боли.

Я смотрела на бутылочку во все глаза. Никогда раньше я не видела аспирина, только Сверхнейтрализующий Болеутолитель или Тройной Анальгетик, или еще Супер-Апансприн; во все эти лекарства входил некий "чудесный ингредиент", который настойчиво рекламировали врачи из ФМА; они всегда прописывали именно эти средства, продающиеся в государственных аптеках только по рецепту с их печатью, чтобы избежать происков конкурентов.

- Аспирин, - повторила докторша. - Тот самый "чудесный ингредиент", который славят все доктора.

Она снова улыбнулась как кошка. Думаю, мы нравились ей именно тем, что жили во грехе. Эта бутылочка аспирина с черного рынка стоила, наверное, гораздо дороже, чем старинный браслет индейцев навахо, который я всучила ей в качестве оплаты.

Я снова вышла из дому, чтобы зарегистрировать Саймона как временно проживающего на моей жилплощади и подать от его имени заявку на пищевые талоны - пособие для Временно Нетрудоспособных. Выписывают их только на две недели и приходить отмечаться нужно ежедневно; но чтобы зарегистрировать Саймона как Временно Нетрудоспособного, мне пришлось бы доставать подписи двух врачей из ФМА, а я решила, что лучше пока с ними не связываться. На транспорт, на стояние в очередях, на добычу формуляров, которые Саймон должен был заполнить собственноручно, а также на то, чтобы ответить на бесконечные вопросы различных "чинов" по поводу неявки самого Саймона, ушло три часа. Кое-что они, похоже, учуяли. Конечно, трудновато доказать, что два человека именно женаты, а не просто невинно сожительствуют, если они то и дело переезжают с места на место, а друзья помогают им, регистрируя то одного, то другого как временно проживающих. С другой стороны, безусловно имеется полное досье на каждого из нас, и совершенно очевидно, что мы с Саймоном пребываем в неизбежной близости друг от друга подозрительно долго. Государство и впрямь само себя ставит в трудное положение. Было бы, наверное, куда проще восстановить законность брака, а адюльтер признать тем, что всегда влечет за собой неприятности.

Тогда им стоило бы всего лишь однажды поймать вас за прелюбодеянием - и достаточно. Впрочем, я готова поклясться, что и тогда люди нарушали закон так же часто, как они это делают теперь, когда адюльтер - вещь вполне законная.

Светящиеся существа наконец приблизились настолько, что мы могли видеть не только исходящий от них свет, но и их тела. Хорошенькими эти существа назвать было трудно. Темного цвета, чаще всего темно-красного, они состояли практически из одного лишь рта. И проглатывали друг друга целиком. Один огонек поглощал другой, а потом оба они исчезали в огромной пасти тьмы. Светящиеся существа двигались медленно - ничто здесь, каким бы маленьким и голодным оно ни было, не могло бы двигаться быстрее при таком страшном давлении и леденящем холоде. Глаза существ, круглые будто от страха, никогда не закрывались. Тела их были непропорционально маленькими и хрупкими по сравнению с зияющими отверстыми пастями. На губах и головах они носили какие-то странные и довольно безобразные украшения: бахромой свисающие челки; зазубренные мясистые сережки, похожие на птичьи; перьевидные листья каких-то растений; безвкусные побрякушки, браслеты и прочую завлекательную дребедень. Бедные маленькие агнцы с глубоководных пастбищ! Бедные разряженные в лохмотья карлики с кривыми челюстями, стиснутые до хруста костей тяжестью тьмы, до костей промерзшие в холодном мраке, крошечные чудовища с глазами, светящимися голодным блеском, - ведь это они вернули нас к жизни!

Временами в слабом неровном свечении то одного, то другого крошечного существа нам удавалось мельком разглядеть иные, крупные и неподвижные формы; мы предполагали, разумеется делая скидку на расстояние, что это не то стена, не то... нет, нечто не столь крепкое и надежное, как стена, но все же поверхность чего-то, какой-то угол... А может, нам все это только казалось?

Или вдруг где-то в стороне или далеко внизу слабо вспыхивал и затухал, мерцая, какой-то свет. Нечего было и пытаться определить, что это такое. Возможно, всего лишь крупицы осадочной породы, тина или блестки слюды, потревоженные борьбой вечно голодных светящихся существ; эти частички, сверкающие как алмазная пыль, то взлетали вверх, то медленно опускались в придонные глубины. Так или иначе, но двинуться с места, чтобы посмотреть, что же это такое, мы не могли. Мы еще не были столь же свободны, как светящиеся существа в их холодной стихии, в их примитивной жизни-борьбе.

Мы были насильственно обездвижены, сдавлены со всех сторон - все еще тени среди полуугаданных теней-стен. Да и были ли мы там?

Светящиеся существа вроде бы вовсе нас не замечали. Они проплывали перед нами, между нами, может быть, даже сквозь нас - утверждать невозможно. Они не боялись, но и любопытства не проявляли.

Однажды нечто, чуть больше человеческой ладони, извиваясь, приблизилось к нам, и на какой-то миг в свете извивающегося существа, покрытого целым лесом каких-то перьев, усыпанных маленькими голубоватыми капельками огня, мы совершенно отчетливо увидели чистых очертаний угол здания в том месте, где стена его поднимается от мостовой. Мы увидели мостовую и всю стену целиком, встающую над мостовой, - пронзительной четкости линии, как бы противопоставленные всему окружающему, такому изменчивому, беспорядочному, лишенному границ и смысла. Мы увидели, как когти светящегося существа медленно распрямились, словно крошечные скрюченные пальчики, и тронули стену. Его оперение дрожащим световым шлейфом проплыло мимо и исчезло за углом здания.

Итак, мы узнали, что там есть стена; может быть, внешняя стена здания, его фасад, или боковая стена одной из городских башен.

Мы вспомнили эти башни. Мы вспомнили этот город. Мы давно уже забыли об этом. Давно уже забыли, кто мы такие. Но город теперь мы вспомнили.

Когда я наконец попала домой, агенты ФБР там уже, разумеется, побывали. Компьютер того полицейского участка, где я зарегистрировала Саймона, должно быть, сразу же передал информацию о нем компьютеру ФБР. Примерно в течение часа они расспрашивали Саймона про то в основном, чем он занимался те двенадцать дней, что якобы добирался из Лагеря в Портленд. Они, наверное, думали, что он успел слетать в Пекин или еще куда-нибудь подальше. Поскольку у Саймона имелась справка из полиции в Уолла-Уолла по поводу ареста за автостоп, это помогло как-то доказать, что он говорит правду. Саймон сказал, что один из агентов заходил в ванную. Ну и, разумеется, я обнаружила "жучок" на верхней планке дверной рамы. Я его не тронула; мы решили, что лучше знать, где он стоит, и оставить его там, чем содрать и потом постоянно быть не уверенными насчет того, что нам не поставили другой, только неизвестно где. Саймон сказал, что если нам так уж захочется сказать что-нибудь непатриотичное в ванной, то всегда можно одновременно

спустить в унитазе воду.

У меня был приемник на батарейках - в доме вечно что-нибудь не работает из-за отключенного электричества, а ведь случается, что по радио объявляют, что воду, например, можно употреблять только кипяченую или еще что-нибудь в этом роде, - так что действительно просто необходимо иметь радиоприемник, а то и об эпидемии тифа вовремя не узнаешь, так и помрешь. И вот Саймон включил приемник, а я тем временем готовила на примусе ужин. В шесть вечера комментатор Эй-эй-би-си в передаче последних известий сообщил, что в Уругвае вот-вот будет достигнут мир, что первый помощник господина президента был замечен улыбающимся какой-то прохожей блондинке на 613-й день тайных переговоров, когда он покидал виллу в пригородах Катманду, где эти переговоры ведутся; война в Либерии успешно развивалась: согласно сообщениям противника, сбиты семнадцать американских самолетов, но Пентагон заявил, что мы сбили двадцать два их самолета, а столица Либерии - забыла, как она называется, но это не важно, так как в последние семь лет она необитаема, - вот-вот вновь будет захвачена силами борцов за свободу. Полицейский рейд в Аризоне также прошел успешно. Необерчистские[13] инсургенты в Финиксе[14] не смогут продержаться слишком долго, уступая массированным ударам американской армии и ВВС, поскольку подпольные поставки им тактического ядерного оружия, осуществляемые метеорологической службой Лос-Анджелеса, удалось пресечь. Затем последовало объявление насчет федеральных кредитных карточек и спецреклама Верховного Суда: "Не заботьтесь о соблюдении закона сами, доверьте свои дела Девяти Мудрецам!" Потом рассказывали о том, почему тарифы вновь выросли; затем был репортаж с фондовой биржи, которая только что закрылась, поскольку индекс перевалил за две тысячи пунктов; затем последовала рекламная передача по заказу правительства США о преимуществах консервированной воды - дурацкая песенка с весьма прилипчивой мелодией: "Пиво пьешь - не огорчайся, / Ведь здоровья не вернешь. / Так что лучше постарайся / Пить бросающую в дрожь / Замечательную воду / Из жестянки с маркой ГОС / И поднимешь выше хвост!" И бодрый призыв: "Пейте самую свежую, самую холодную на свете консервированную воду, выпускаемую государственными предприятиями США!" Песенку исполняли три сопрано, которые довольно удачно слились в последних тактах. Потом, когда батарейка в приемнике уже начала садиться и голос диктора стал замирать где-то вдали, подобно слабому шепоту, объявили о том, что со дна океана поднимается новый континент.

- Что там такое?

- Я не расслышал, - сказал Саймон; он лежал с закрытыми глазами, бледный и весь в испарине. Перед ужином я дала ему две таблетки аспирина. Он поел совсем мало и уснул, пока я мыла в ванной тарелки. Вообще-то я намеревалась после ужина немного поиграть, но альт в однокомнатной квартире и мертвого разбудит. Поэтому я взамен решила почитать. Это был какой-то бестселлер, который перед отъездом дала мне Дженет. Она считала эту книгу очень хорошей, но о вкусах не спорят, ей и Ференц Лист тоже нравится. Я мало читаю с тех пор, как позакрывали библиотеки, - слишком трудно стало доставать книги, а купить можно только бестселлеры. Я даже не помню, как эта книжка называлась, там во всю обложку была надпись: "Тираж - 90 миллионов!" Речь шла о сексуальных похождениях жителей маленького городка в прошлом, двадцатом веке, в милые сердцу семидесятые, когда еще не существовало никаких проблем и жизнь была такой простой, что воспоминания о ней вызывали приступ ностальгии. Автор постарался на славу и выжал все самое отвратительное и завлекательное из того элементарного факта, что все главные герои его произведения состояли в браке. Я заглянула в конец и узнала, что женатые и замужние герои романа просто-напросто перестреляли друг друга после того, как их детишки один за другим превратились в шизоидных подонков и проституток. Исключение составила одна славная парочка, которая оформила развод, а потом нырнула в постель вместе с другой не менее славной парочкой ясноглазых государственных служащих - законных любовников, разумеется, - что сулило страниц восемь здорового группового секса и предвещало зарю светлого будущего. Захлопнув книжку, я тоже легла спать. Саймон был горячий, но спал спокойно. Его дыхание напоминало шум несильных морских волн, набегающих на далекий-далекий берег, и под этот аккомпанемент я погрузилась в темную пучину океана.

Когда я была ребенком, то, засыпая, часто погружалась в эту темную пучину. В своем теперешнем взбудораженном состоянии я как-то об этом совсем позабыла. А тогда мне было достаточно вытянуться в постели и подумать: "...море... темные глубины морские...", как я там и оказывалась - в темной пучине океана, на большой глубине, убаюканная погружением. Когда я выросла, однако, это случалось со мной все реже и реже и воспринималось как большой подарок. Познать бездну мрака и не бояться ее, доверить себя пучине и тому, что может подняться из ее глубин, - разве бывает подарок лучше?

Мы наблюдали, как появляются и кружат вокруг нас крошечные огоньки, и постепенно обретали чувство пространства и направления - по крайней мере, "близко - далеко", "выше - ниже". Благодаря этому мы теперь смогли ощутить различные течения. Пространство вокруг нас больше не было совершенно неподвижным, словно скованным собственным невероятным весом. Видно было очень плохо, но все же мы поняли, что холодная тьма движется, медленно и мягко сдавливая нас, а затем, отпуская, словно давая передышку, колышется широкими волнами. Сплошная тьма медленно обтекала наши неподвижные невидимые тела, уплывала куда-то мимо нас, а может, и сквозь нас - кто ее знает.

Откуда они брались, эти неясные, медлительные, широкие волны? Какой силы давление или притяжение взволновало столь мощные толщи воды, привело их в движение? Понять этого мы не могли; могли лишь ощущать прикосновение вод, но, напрягая все свои чувства, чтобы понять, где начало и конец этого движения, мы обнаружили нечто новое, нечто, сокрытое во тьме великих вод: звуки. Мы прислушались. И услышали.

Итак, наше ощущение пространства стало более четким, локализовалось, поскольку звук всегда имеет конкретную исходную точку в отличие от обозримого пространства. Границы звука определяет тишина, и звук не выходит за ее пределы до тех пор, пока его источник не приблизится к тебе во времени и в пространстве. Встань на то же самое место, где некогда стоял певец, но не услышишь, как он пел: годы унесли в своих потоках, утопили в своих глубинах звук его голоса. Звук столь же хрупок и недолговечен, как человеческая жизнь, - вспыхнет и угаснет. А разве нам слышно, о чем говорит увиденная на небе звезда? Даже если бы космическое пространство представляло собой некую атмосферу, "эфир", способный передавать звуковые волны, мы не смогли бы услышать звезды: слишком они от нас далеки. Самое большее, если хорошенько прислушаться, может, и услышишь наше солнце - штормовой гул, могучий рев пожара, снедающего его, долетит до тебя как легкий, едва слышный человеческому уху шепот. Волна морская лизнула твою ногу - где-то по ту сторону земного шара произошло извержение вулкана, породившее эту волну. Но ты стоишь здесь, на этом берегу и не слышишь ничего.

На горизонте мечутся красные языки пламени: это отражение в небе горящего на далеком материке города. Но ты здесь и ничего не слышишь.

Лишь на склонах того вулкана, в пригородах того города начинаешь ты слышать глухой гул извержения и пронзительные крики застигнутых пожаром людей.

И вот, когда мы поняли, что слышим, стало ясно и то, что источник слышимых нами звуков находится где-то рядом. И все же мы могли жестоко ошибаться. Потому что были в очень странном, таинственном месте, глубоко под водой. Звук здесь слышен дальше и распространяется быстрее, а вокруг абсолютная тишина, любой шумок слышен за сотню километров.

А это был не шорох и не шумок. Мелькающие вокруг огоньки были маленькие, а вот звуки - большие: не громкие, но какие-то беспредельно широкие. Часто эти шумы уходили за пределы человеческого восприятия и ощущались нами скорее как широкие колебания иной природы. Первый услышанный нами звук поднимался, как нам показалось, сквозь водную толщу откуда-то снизу: невероятно мощные стоны; вздохи, ощущаемые всем телом; грохот; далекий, затрудненный шепот.

Позже некоторые звуки пришли к нам сверху, а некоторые - из иных слоев этой бесконечной тьмы, и это было еще удивительнее, потому что теперь звучала музыка. Требовательные, влекущие, могучие звуки музыки доносились к нам из далеких далей, из тьмы, но не нас призывали они: "Где вы? Я здесь".

Это - не нам.

Это голоса великих душ, великих одиноких жизней, проведенных в скитаниях. И они звали. Но редко слышали ответ. Где вы? Куда вы ушли?

Не отвечали истлевшие мачты, побелевшие остовы мертвых кораблей на берегах Антарктики, на покрытых льдом островах.

Не могли ответить и мы. Но мы слышали, и слезы закипали в наших глазах, соленые слезы, не столь соленые, правда, как воды океанов, опоясывающих землю, бездонных, бескрайних - воды дорог морских, заброшенных ныне, по которым некогда прошли те великие жизни... Нет, слезы наши были не столь горьки и солоны - но они были теплее.

Я здесь. Куда вы ушли?

Ответа нет.

Лишь глухие, едва слышные раскаты грома откуда-то снизу.

Но мы знали теперь, хоть ответить и не могли, знали - потому что слышали, потому что чувствовали, потому что плакали, - что мы есть; и мы припомнили иные голоса.

Назавтра вечером явился Макс. Я прошла в ванную, уселась на крышку унитаза, предварительно закрыв поплотнее дверь, и принялась играть на альте. Типы из ФБР по ту сторону своего "жучка" сначала по крайней мере добрых полчаса слушали гаммы и аккорды, а потом - вполне приличное исполнение сонаты

Хиндемита[15] для альта-соло. Ванная у нас очень маленькая, а стены кафельные, и никаких ковриков нет, так что шум получался в полном смысле слова потрясающий. Нельзя сказать, чтобы звучало хорошо - слишком сильное эхо, зато какой был резонанс! И я играла все громче и громче. Сосед сверху даже постучал в потолок. Но если уж он каждое воскресенье с утра пораньше заставляет меня выслушивать от начала и до конца репортаж об очередных Всеамериканских олимпийских играх, включая свой телевизор на полную мощность, то пусть как-нибудь переживет небольшую порцию музыки Хиндемита, время от времени доносящейся из его туалета.

Утомившись, я укутала "жучок" целой пачкой ваты и вышла из ванной комнаты наполовину оглохшая. Саймон и Макс пребывали в страшном возбуждении, прямо-таки дымились и ничего вокруг не замечали. Саймон непрерывно царапал на бумажке какие-то формулы, а Макс энергично двигал взад-вперед руками, согнутыми в локте, как боксер на ринге, - это у него привычка такая - и гнусаво подвывал: "Эмиссия электронов... эмиссия электронов...", да еще и глаза закрыл, видно, в мыслях он уже унесся на много световых лет вперед, и язык за ним не поспевал, поэтому ему оставалось лишь время от времени прибарматывать про "эмиссию электронов" и двигать локтями.

Очень странное это зрелище, когда ученые работают головой. Как и когда музыканты играют. Я никогда не могла понять, как зрители в зале могут спокойно сидеть и смотреть на скрипача, который то закатывает глаза, то прикусывает высунутый язык; или на трубача, у которого все время скапливается слюна; или на пианиста, похожего на черную кошку, привязанную к электрическому стулу. Как будто то, что зрители видят, имеет какое-то отношение к музыке.

Я несколько притушила благородный пламень их творчества при помощи кварты пива, купленного на черном рынке, - в государственных магазинах пиво лучше, но у меня вечно не хватало талонов на питание, чтобы позволить себе покупать на них еще и пиво, а я не такая любительница выпивки, чтобы обходиться без еды. Благодаря пиву Саймон и Макс поостыли. И хотя Макс с удовольствием бы остался и проговорил бы всю ночь, я его выпроводила - вид у Саймона был усталый.

Я вставила в радиоприемник новую батарейку, включила его и оставила в ванной - пусть себе играет, - а сама задула свечу и прилегла рядом с Саймоном, чтобы немножко с ним поболтать; он был перевозбужден и все равно не смог бы уснуть. Он сказал, что Максу удалось решить задачи, которые мучили их до того, как Саймона отправили в Лагерь. Макс сумел привязать

уравнения Саймона к "голым фактам" (так выразился Саймон), то есть они нашли способ "прямого превращения энергии". Десять или двенадцать человек работали над этой проблемой в разное время с тех пор, как Саймон опубликовал теоретическую часть своего исследования, - ему тогда было двадцать два. Физик Анна Джонс давно уже отметила, что наиболее простым практическим применением этой теории было бы создание "солнечной ловушки" - приспособления для сбора и хранения солнечной энергии вроде "Американского Солнцегрева", который некоторые богачи устанавливают на крышах своих домов, только гораздо дешевле и лучше. Осуществить эту идею было вроде бы довольно просто, только они все время натыкались на одно и то же препятствие. И вот теперь Максу удалось это препятствие обойти.

Я сказала, что хотя Саймон и опубликовал свою теорию, но сделано это не по правилам. Конечно, он никогда и не был в состоянии издать по правилам хотя бы одну из своих работ, то есть в виде настоящей книги или брошюры: ведь он не является государственным служащим и не имеет разрешения от правительства на публикацию своих работ. Однако теория его получила широкое распространение благодаря так называемому "самиздату", весьма популярному среди ученых и поэтов, которые попросту переписывают свои произведения от руки или размножают их на гектографе. Насчет этого есть один старый анекдот: дескать, ФБР арестует всякого, у кого пальцы красные, потому что либо они занимались размножением недозволенных материалов на гектографе, либо у них кожная сыпь, импетиго.

Но так или иначе, а в тот вечер Саймон чувствовал себя на верху блаженства. Чистая математика доставляет ему подлинную, ни с чем не сравнимую радость; но, с другой стороны, он вместе с Кларой, Максом и другими десять лет пытался претворить в жизнь свою теорию, а вкус собственной победы, хотя бы раз в жизни воплощенной в чем-то конкретном, вещь все же хорошая.

Я попросила его объяснить, что их "солнечная ловушка" значит для народных масс и, в частности, для меня как представителя этих масс. Он рассказал, что теперь можно ловить и использовать солнечную энергию при помощи одного устройства, которое сделать легче, чем самый примитивный конденсатор. Эффективность и емкость этой "ловушки" позволяют, например, за десять минут при солнечной погоде собрать столько энергии, что ее хватит для полного обслуживания такого многоквартирного дома, как наш, в течение двадцати четырех часов, - она будет обогревать, освещать, заставлять работать лифты и тому подобное; и никакого тебе загрязнения окружающей среды - ни общего, ни термального, ни

радиоактивного.

- А это не опасно, вот так эксплуатировать солнце? - спросила я.

Он воспринял этот вопрос серьезно - в общем-то глупый вопрос, хотя, с другой стороны, еще недавно люди считали, что эксплуатировать землю тоже совсем не опасно, - и сказал: нет, не опасно, потому что мы не будем выкачивать энергию из солнца специально, как мы поступали с землей, когда добывали из ее недр уголь, рубили лес, расщепляли атомы, а просто используем ту энергию, которая и так идет от солнца к нам - как растения; деревья, трава, розовые кусты, они ведь всегда так и делали.

- Ты можешь назвать это Цветочной Энергией, - сказал он.

Он парил высоко, высоко в небесах, летел по воздуху, только что прыгнув с трамплина на залитой солнцем горе.

- Мы находимся во власти государства потому, - сказал он, - что наше корпоративное государство обладает монополией на источники энергии, а кругом осталось не так уж много этих источников. Но теперь любой сможет построить генератор у себя на крыше, и энергии от него будет достаточно, чтобы осветить целый город.

Я посмотрела на темный город за нашим окном.

- Мы могли бы полностью децентрализовать промышленность и сельское хозяйство. Техника могла бы служить жизни, а не капиталу. Каждый мог бы прожить свою жизнь по-настоящему. Энергия - это власть!.. А государство всего лишь машина. Теперь мы могли бы лишить ее энергии, заткнуть в ней бензопровод.

Власть развращает; абсолютная власть развращает абсолютно. Но это справедливо только до тех пор, пока энергия в цене. Пока отдельные группы могут сохранять власть над энергией; пока они могут пользоваться своей властью над другими; пока они осуществляют духовное правление при помощи физической силы; пока прав тот, кто сильнее. Но если энергия станет бесплатной? Если все станут одинаково могущественными? Тогда каждый должен будет искать иной, лучший, чем сила, способ для доказательства своей правоты...

- Вот как раз об этом и думал господин Нобель, когда изобрел динамит, сказала я. - О мире на земле.

Он слетел по залитому солнцем склону горы на несколько сотен метров вниз и остановился... возле меня в облаке снежной пыли, улыбаясь.

- Почему это ты везде видишь знак смерти! - насмешливо сказал он. - "В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала"[16]. Лежи спокойно!

Смотри, разве ты не видишь, как солнце освещает здание Пентагона, а крыш нет, солнце наконец заглянуло в коридоры власти... И они съеживаются, исчезают, и Овальный кабинет[17] тоже... Отключена "горячая линия" - за неуплату по счетам. Первым делом мы построим ограду вокруг той, что окружает Белый дом, и пропустим по ней электрический ток. Теперешняя ограда не дает посторонним лицам попадать внутрь Белого дома. А новая, внешняя, не позволит тем, которые "непосторонние", оттуда выйти...

Конечно, в его словах горечи хватало. Немногие после тюрьмы способны шутить весело.

Но как же это было жестоко: поманили тебя чудным видением и признались, что нет ни малейшей надежды эту мечту осуществить. Он, разумеется, все понял. Он всегда это знал. Даже когда в мечтах летел по залитому солнцем горному склону, знал, что под ногами у него пустота.

Крошечные огоньки один за другим погасли, утонули в темноте. Далекие одинокие голоса больше не звучали. Холодные, медлительные водные струи безучастно текли мимо, лишь изредка меняя направление из-за каких-то колебаний в бездне.

Снова сгустился мрак, умолкли все звуки. Одна лишь тьма кругом - немая, холодная.

Потом взошло солнце.

Это не было похоже на восходы, которые мы вспоминали, те давние, когда с первым светом начинались разнообразные, тончайшие изменения в утреннем воздухе, в аромате цветов, когда стояла та особая тишина, которая вместо того, чтобы продлить сон, напротив, пробуждает и заставляет цепенеть от восторга и чего-то ждать, и вот из сумрака выступают очертания предметов, сначала серые, нечеткие, совершенно на себя не похожие, словно все это только еще создается - далекие горы на фоне восточного края неба, твои собственные руки, седая от росы трава, полная неясных теней, штора на окне с таинственной темной складкой у самого пола - и за мгновенье до того, как ты уже вполне уверен, что снова по-настоящему видишь все вокруг, видишь, что вернулся свет, что начинается день, раздается первая короткая и нежная, пока незавершенная трель просыпающейся птицы. А потом! Голоса птиц сливаются в единый мощный хор: "Это мое гнездо, это мое дерево, это мое яйцо, это мой день, это моя жизнь, вот и я, вот и я, да здравствую я! Я здесь!"

Нет, восход, что мы видели сейчас, был вовсе не похож на те, что вспоминались нам. Он был абсолютно безмолвен, и он был голубым.

Во время тех восходов, давних, что вспоминались нам, появление самого света как-то не ощущалось - ты замечал лишь отдельные предметы, которых этот свет коснулся и сделал видимыми, те, что рядом с тобой. Они становились видимыми вновь, словно способность быть видимыми принадлежала им самим, а вовсе не была даром восходящего солнца.

Но восход, который мы наблюдали теперь, был воплощением одного лишь света, свет был его сутью. Собственно, даже и не свет, а скорее цвет: голубой.

Местонахождение источника этого света нельзя было определить по компасу. Он не казался светлее на востоке - не было там ни востока, ни запада. Был только верх и низ, пространство над тобой и под тобой. Внизу была тьма. Голубой свет исходил сверху. Яркость его постепенно уменьшалась. В самом низу, там, где стихали раскаты сотрясающей бездну бури, свет угасал совсем, постепенно превращаясь из синего в фиолетовый, а потом - в непроницаемую тьму.

Мы поднимались наверх, а навстречу нам, подобно струям водопада, падали лучи света.

Восход этот скорее напоминал какой-то волшебный, неземной снегопад. Свет, казалось, распадался на отдельные частицы, бесконечно малые пылинки, опускающиеся очень медленно, невесомые, гораздо легче сухих снежинок темной морозной ночью и гораздо меньше. И пылинки эти были голубые. Того мягкого, ласкающего взор голубого цвета, который чуть отливает сиреневым. Такого цвета бывают тени на айсбергах или полоска неба, проглянувшая между свинцовыми снеговыми тучами зимним днем. Голубизна эта была неяркого, но очень живого оттенка - цвет далека, цвет холода, самый несхожий в спектре с цветом солнца.

В субботу вечером они устроили у нас в квартире целую научную конференцию. Разумеется, пришли Клара и Макс, а еще инженер Фил Драм - тот самый - и трое других, что работали над созданием "солнечной ловушки". Фил Драм был очень собой доволен, потому что как раз успел закончить одну из этих штуковин - солнечную батарейку - и захватил ее с собой. Я думаю, что Максу или Саймону сделать такое и в голову бы не пришло. Как только они осознавали, что сделать что-либо возможно в принципе, результат этот их и удовлетворял, и они тут же начинали заниматься новой проблемой. А Фил распеленывал свое детище, так умиленно над ним приговаривая, что тут же посыпались шутки: "О, господин Ватсон[18], не уделите ли нам, простым смертным, минутку внимания?", или "Эй ты,

новоиспеченный Уилбур[19], что это ты все в облаках витаешь!", или еще "Слушай, психопат, ты зачем сюда столько грязи натащил? Ну-ка выкини все вместе с этой мерзостью за окошко!", и еще дикий вопль "Уй-уй, жжется, жжется, ай-яй-яй!" Последнее принадлежало Максу, который действительно здорово смахивал на доисторического человека. А Фил в это время объяснял, что уже экспериментировал со своей батарейкой, - она в течение минуты собирала солнечную энергию в городском парке. Это было в четыре часа дня, и шел легкий дождик. Поскольку с четверга в западной части города электричество не отключали, то мы могли испытать батарейку, не вызывая подозрений.

Фил подсоединил шнур от настольной лампы к своей батарейке, и мы выключили свет. Лампочка горела раза в два по крайней мере ярче, чем прежде, на полные свои сорок ватт - городская электросеть, разумеется, никогда не обеспечивала полного накала. Мы смотрели во все глаза. Это была настольная лампа, купленная в дешевеньком магазине, из какой-то якобы "золотой" железки и с пластиковым белым абажуром.

- Ярче тысячи солнц[20], - прошептал со своей постели Саймон.

- Неужели, - сказала Клара Эдмондс, - мы, физики, попав в пустыню Син[21], умудрились выйти из нее невредимыми?

- Да уж, это-то никак не используешь для изготовления бомб, мечтательно произнес Макс.

- Бомбы! - презрительно воскликнул Фил Драм. - Бомбы это старо. Ясно ведь, что с такой энергией в руках мы горы можем сдвинуть! Вот возьмем Маунт Худ, перенесем на другое место и снова аккуратненько на землю опустим. Да мы можем антарктические льды растопить, можем реку Конго заморозить. Или утопить материк. Дайте мне точку опоры, и я переверну шар земной! Что ж, Архимед, вот ты и получил свою точку опоры. Солнце.

- О господи, - простонал Саймон, - "жучок", Бэлл!

Дверь в ванную была закрыта, и я заранее обернула "жучок" ватой, но Саймон был прав: если его друзья и дальше собираются продолжать в том же духе, то, чтобы их заглушить, лишний источник шума не помешает. И хотя мне очень приятно было смотреть на них в ярком свете настольной лампы - у них у всех были очень хорошие, интересные, отмеченные страданием лица, в чем-то похожие на отполированные временем деревянные поручни надежного моста над стремительным горным потоком, - мне не слишком хотелось слушать в эту ночь, как они говорят. И вовсе не потому, что сама я к их науке никакого отношения не имею, вовсе не потому, что мне что-то не нравилось в их теориях,

или я не была с чем-то согласна, или не верила их планам. Нет! Просто их замечательные, их прекрасные речи причиняли мне боль. Потому что эти люди не имели права даже радоваться вслух сделанной ими работе, своему удивительному открытию - наоборот, они должны были прятаться и говорить об этом шепотом. Даже на улицу, к солнцу, они со своим открытием не могли выйти!

Я взяла альт, пошла в ванную, села на крышку унитаза и довольно долго играла этюды. Потом попыталась немного поразучивать свою партию из трио Фореста, но эта музыка показалась мне какой-то слишком жизнеутверждающей. Я сыграла соло для альта из "Гарольда в Италии", эта музыка прекрасна, но настроение было все же не то. Они там, в комнате, продолжали шуметь. И я начала импровизировать.

Поиграв несколько минут вариации в ми-миноре, я заметила, что лампочка над зеркалом начала слабеть, тускнеть, потом совсем потухла. Значит, снова отключили электричество. Но настольная лампа в комнате не погасла - она ведь была подсоединена к солнцу, а не к тем двадцати трем атомным электростанциям, которые снабжали электроэнергией Большой Портленд - и если бы через две секунды кто-то ее не выключил, мы остались бы единственным светящимся окном в целом районе Вест-Хиллз. Я слышала, как они там возились в поисках свечей и чиркали спичками, а сама продолжала импровизировать в темноте. В темноте, когда не видно всех этих холодных и блестящих кафельных поверхностей, звук кажется мягче, а эхо не таким гулким. Я продолжала играть, и даже что-то стало получаться целостное. Все законы гармонии, казалось, объединились вдруг и запели под ударами смычка. Струны альта словно были моими собственными голосовыми связками, напряженными от горя, настроенными на предельную радость. Мелодия создавалась сама - из воздуха, из энергии солнечных лучей, она взмывала над долинами, и с этой высоты маленькими казались горы и холмы, от этой музыки распрямлялись спины калек, сами исчезали нагромождения валунов с полей. А музыка летела дальше, и вот она запела над морским простором и в глубине вод над бездной.

Когда я вышла из ванной в комнату, все они сидели смирно и никто не разговаривал. Макс явно плакал. Я видела, как отражается пламя свечи в каплях слез у него на щеках. Саймон лежал в затененном углу на своей постели, и глаза его были закрыты. Фил Драм сидел, сгорбившись и держа в руках свою солнечную батарейку.

Я немного ослабила струны, положила альт и смычок в

футляр и откашлялась. Я страшно растерялась и не находила слов. В конце концов я пробормотала что-то вроде "извините".

Тогда раздался голос одной из женщин: эта была Роза Абрамски, подпольная ученица Саймона, крупная застенчивая женщина, застенчивая настолько, что вообще почти всегда молчала или выражала свои мысли при помощи математических формул.

- Я видела это, - сказала она. - Я видела его. Я видела белые башни и воду, струящуюся по их стенам, омывающую их и возвращающуюся в море. И солнечным светом залитые улицы - после десяти тысяч лет тьмы.

- Я слышал их, - прошептал в своем углу Саймон, - я слышал их голоса.

- О господи! Прекратите! - выкрикнул Макс, вскочил и, спотыкаясь, ринулся в неосвещенный коридор, забыв надеть пальто. Мы слышали, как он прогрохотал по лестнице.

- Фил, - спросил Саймон, - а мы могли бы поднять эти белые башни вновь - с нашим рычагом и с нашей точкой опоры?

Фил Драм долго не отвечал, потом сказал:

- Да, сила для этого у нас есть.

- Тогда что же нам нужно еще? - сказал Саймон. - Неужели этого мало?

Ему никто не ответил.

Голубой цвет изменился. Он стал ярче, светлее и в то же время в него словно чего-то добавили. Неземное голубовато-сиреневое свечение сгустилось и превратилось в некую яркую бирюзовую оболочку. И все же нельзя было сказать, что внутри нее все окрашено одинаково, хотя бы потому, что вокруг нас по-прежнему не было ничего. Ничего, кроме этого бирюзового цвета.

Цвет продолжал меняться. На бирюзе, окружавшей нас, появились какие-то прожилки, она становилась все более хрупкой, прозрачной, почти совсем исчезла, и возникло ощущение, что мы заключены внутри священного нефрита или иного драгоценного камня - сверкающего сапфира или изумруда.

Здесь все было недвижимо, как это и должно быть внутри кристалла. Зато стало кое-что видно: мы как бы разглядывали застывшую структуру молекулы драгоценного камня. В ровном и ярком сине-зеленом свете отчетливо проступали плоскости и углы, не отбрасывающие тени.

Это были стены и башни города, его улицы, окна домов, ворота.

Они явно были нам знакомы, но мы никак не могли их узнать. Не осмеливались. Ведь это было так давно, столько

прошло времени... И это было так странно... Мы часто предавались мечтам, когда жили в этом городе. Ложились спать у окна, засыпали, и ночи напролет нам снились сны. И всем нам тогда снилось одно и то же: океан, глубины морские. А может, и теперь это был всего лишь сон?

Иногда далеко, глубоко-глубоко под нами вновь прокатывался с рокотом гром, но теперь он звучал тише, глуше; так же тихо и глухо ворочались в нас воспоминания о страшной грозе, о том, как содрогалась земля, сверкал огонь, рушились башни - тогда, давно. Но ни далекий рокот, ни эти воспоминания сейчас в нас страха не вызывали. Они были нам знакомы.

Сапфировый свет над головой посветлел и превратился в зеленый, точнее, в зеленовато-золотистый. Мы глянули вверх. Вершины самых высоких башен слепили глаза, сверкая в сиянии света. Улицы и дверные проемы были темнее, более четко очерчены и спокойнее воспринимались глазом.

По одной из этих, словно сделанных из темного прозрачного камня улиц двигалось нечто, состоящее не из геометрически правильных прямых и углов, а, наоборот, из сплошных кривых. Мы дружно повернулись - медленно, медленно - и стали смотреть на это нечто, подивившись, с какой медлительной и плавной легкостью и с какой свободой совершаем теперь свои движения. Красивыми волнообразными толчками, то собираясь в комок, то вытягиваясь изящной дугой, нечто вполне целенаправленно и значительно быстрее, чем раньше, проплыло через улицу от глухой садовой стены к нише одного из дверных проемов. Там в темно-голубой тени его некоторое время было трудно разглядеть. Мы смотрели и ждали. Вот одна бледно-голубая дужка появилась на верхней планке двери. Потом вторая и третья. Нечто прилепилось или повисло прямо над дверью и было похоже на спутанные в узел серебристые нити или на странно гибкую, словно без костей, кисть руки, один дугообразный палец которой показывал небрежно куда-то вверх. Там на стене было что-то очень похожее на это существо, только неподвижное. Резьба! Резное изображение на стене, залитой нефритовым светом. Барельеф из камня.

Нежно и легко длинный извивающийся щупалец следовал изгибам резьбы восемь ножек-лепестков, круглые глаза. Узнавало ли существо собственное изображение?

Вдруг морское существо оторвалось от своего резного двойника, собралось в мягкий узелок и метнулось вдоль по улице, прочь от дома, быстрыми волнообразными толчками. Позади него осталось неплотное облачко более темного голубого цвета, повисело минутку и растаяло, и вновь стала видна резная

фигурка над дверным проемом: морской цветок, каракатица, быстрая, большеглазая, изящная, неуловимая, - любимый символ, вырезанный на тысячах стен, изображенный на карнизах, тротуарах, разнообразных ручках и рукоятках, запечатленный на крышках ларцов с драгоценностями, на пологах в спальнях, на гобеленах, на столешницах, на воротах...

Вдоль по другой улице, примерно на уровне окон второго этажа, двигалось переливающееся облачко, состоящее из сотен серебряных пылинок. Единым движением все они повернули к перекрестку и, поблескивая, исчезли в темно-голубой тени.

И тени там теперь уже были.

Мы посмотрели вверх и стали подниматься - над перекрестком, где исчезли крошечные серебристые рыбки, над улицами, где текли нефритово-зеленые воды и лежали синие тени. Мы всплывали, подняв лица, изо всех сил стремясь к вершинам башен нашего города. Они стояли во весь рост, эти рухнувшие некогда башни. Они сверкали все сильнее в разливающемся сиянии - здесь, наверху, уже не голубом и не сине-зеленом, а золотом. Высоко над ними, над гладью моря обширным легким куполом вздымался восход.

Мы здесь. Когда мы вырвемся за пределы сверкающего круга в реальную жизнь, воды отхлынут назад и устремятся белыми потоками вниз по белым стенам башен, сбегут по крутым улочкам и вернутся в море. Капли воды будут сверкать на темных волосах, на веках и ресницах, прикрывающих темные глаза, а потом высохнут, оставив после себя тоненькую пленку соли.

Мы здесь.

Чей это голос? Кто звал нас?

Он был со мной двенадцать дней. Двадцать восьмого января "чины" из Бюро Здравоохранения, Образования и Благосостояния явились к нам и сказали, что поскольку Саймон получает Пособие по Нетрудоустроенности, а сам страдает от серьезного заболевания и не лечится, то о нем вынуждено позаботиться правительство; правительство обязано вернуть ему здоровье, так как здоровье - это неотъемлемое право всех граждан демократического государства. Саймон отказался дать письменное согласие, поэтому все бумаги подписал за него начальник отдела здравоохранения. Встать Саймон тоже отказался, тогда двое полицейских подняли его с постели силой. Он попытался было сопротивляться, но начальник Отдела Здравоохранения прицелился в него из пистолета и заявил, что если он будет упорствовать, то его просто пристрелят, поскольку он противится улучшению своего благосостояния. А меня

арестуют за укрывательство и обман правительства. Тот тип, что скрутил мне руки за спиной, прибавил, что арестовать меня ничего не стоит в любую минуту - по обвинению в необъявленной беременности и в намерении создать семейную ячейку. Услышав это, Саймон прекратил всякое сопротивление. Собственно говоря, он всего лишь упорно пытался высвободить свои руки из их лап. Он посмотрел на меня, и его тут же увели.

Сейчас он в Федеральном госпитале в Сейлеме. Я так и не смогла узнать, обычный это госпиталь или психушка.

Вчера снова передавали по радио, что в южной части Атлантического океана и на западе Тихого со дна поднимаются огромные части суши. Еще как-то раз у Макса я смотрела специальный телекомментарий по поводу геофизических возмущений, всяких там сдвигов и сбросов. Геодезическое Управление США понавешало по всему городу разных плакатов, чаще всего встречается огромная доска с надписью ЭТО НЕ НАША ВИНА! и портретом бобра, который лапкой указывает на карту-схему материка и говорит, что даже если в Орегоне и случится более сильное землетрясение, чем в прошлом месяце в Калифорнии, то Портленда оно не коснется, самое большее - затронет лишь его западные пригороды. В передаче новостей также сообщалось, что цунами во Флориде собираются останавливать при помощи ядерных бомб, сбрасывая их примерно там, где раньше находился Майами. Позднее Флориду намерены воссоединить с материком при помощи искусственных насыпей. Уже объявлено насчет застройки на территории насыпей. Президент пока находится в Скалистых горах, где для него построен новый Белый дом на высоте примерно одного километра. Это в Аспене, штат Колорадо. Не думаю, чтобы это убежище ему здорово помогло. Плавучие дома и лодки, приспособленные для жилья, продаются на реке Уиламит по полмиллиона долларов. Поезда и автобусы в южном направлении из Портленда уже не ходят, потому что железные дороги и шоссе сильно повреждены подземными толчками и оползнями еще на прошлой неделе. Придется готовиться к пешему походу в Сейлем. У меня сохранился рюкзак, который я купила тогда для отпуска в Диком Краю. Мне удалось достать некоторое количество сушеных бобов и изюма - пришлось отдать всю книжку талонов на питание за февраль в Федеральный Распределитель Продуктов; а еще Фил Драм сделал для меня маленькую походную плитку, работающую от его солнечной батарейки. Примус тащить с собой было уж очень не с руки, слишком здоровый, а мне так хотелось прихватить свой альт. Макс дал мне полпинты бренди. Когда бренди кончится, я, наверно, засуну эти записки в бутылку,

закрою ее покрепче и оставлю где-нибудь на склоне горы между Портлендом и Сейлемом. Мне нравится представлять, как она потихоньку поднимется вместе с водой, а потом, кружась, уплывет в темную морскую пучину.

Где вы?

Мы здесь. А куда ушли вы?

ВОЛНОВОЙ КОТ [22]

Когда жизнь моя докатилась до некой как бы кульминационной точки, а говоря попросту, до ручки, я смоталась, и прямиком сюда. Здесь прохладнее, да и суеты никакой.

По пути встретилась с одной занятной супружеской парочкой. Благоверные передвигались как-то порознь. Жена — совершенно разбитая, зато муж на первый взгляд как будто в полном блеске. Пока этот зануда компостировал мне мозги своими гормональными проблемами, его прекрасная половина успела (отчасти) взять себя в руки и, поместив голову в правую коленную чашечку, подковыляла к нам вприпрыжку на одной (правой же) ноге, горестно причитая: «Ну почему, почему у человека не может быть права на свободу самовыражения?!» Левая ее нога, руки и прочие члены валялись бесформенной грудой, подрагивая в унисон сетованиям как бы от нервного тика. «Какие ножки! — облизнулся супруг на изящную лодыжку. — И не спорьте, у моей жены они просто потрясающие».

Нарушив плавное течение нашей повести, явился кот. Обыкновенный такой рыже-полосатый котофей в белоснежной «манишке» и таких же «носочках», только уж больно здоровущий. Желтоглазый и во-о-от с такими усищами. Никогда прежде не замечала, чтобы усы у котов росли над глазами, — разве это нормально? Жаль, справиться не у кого. Но поскольку мурлыка явно намылился прикорнуть на моих коленях, то и Бог с ним! Двинулись дальше, что ли?

Интересуетесь, к какой же такой цели?

Да куда глаза глядят, куда ж еще. Вперед и с песней. Пока не оставила охота болтать. Есть многое на свете, чего людям лучше бы не совершать, но почти нет такого, о чем не стоило бы поговорить. В общем, как ни крути-верти, у меня ведь серьезное обострение врожденной Ethica laboris puritanica — так называемой Адамовой болезни, или трудоголии. Исцеляются от нее полностью разве что усекновением головы. Даже поутру, едва проснусь, всякий раз мучительно припоминаю, что мне

снилось, — это дает иллюзию, что я как бы не потратила даром семь, если не все восемь часов, пока валялась и бездарно дрыхла. Как отлеживаю себе бока здесь и сейчас. Что твой камень лежачий.

Итак, та парочка, о которой шла речь выше, — в итоге она все же раскололась. Вдрызг. Оба. Останки главы семейства кружились вокруг меня нестройным хороводом, подпрыгивая и заполошно кудахтая, точно цыплята по осени, покуда ошметки жены, медленно съеживаясь, сошли почти что на нет, оставив после себя клубок чистых нервов — чудный материал для цыплячьего загончика, да вот только спутан, увы, безнадежно.

Тогда, осторожно переставляя ноги, я двинулась себе дальше, вся в слезах и печали. И печаль та все еще меня не покинула. Опасаюсь даже, что она теперь — неотторжимая моя часть, вроде ноги, чресел, глаза. А то и стала моей духовной сутью. Ибо за пределами душевной муки не нахожу в себе ничего — одна сплошная пустота.

И невдомек к тому же, по кому это я так страдаю. По жене? Мужу? Детишкам? По себе самой? Не припомнить никак. Сны подернулись черной пеленой забвения — непроглядной, хоть глаз вон. Еще звенят мандолинные отголоски струн моей беспробудной души, туманя глаза невольной слезой. Еще звучит далекая щемящая нота, рождая охоту всплакнуть — но чего ради? Кто знает…

А рыжий котяра — очевидно, любимец и баловень той самой расколовшейся парочки — все дрыхнет себе и дрыхнет. Лапки в белых «носочках» то и дело сонно подрагивают, а однажды он, не разевая пасти, испускает негромкое сдавленное мявканье, какую-то невнятную реплику в никуда. Интересно, что такое снится ему и с кем он только что общался? Коты ведь неболтливы, они животные почти что безмолвные. Днем погружены в раздумья, как бы вернее сберечь свою Великую Кошачью Тайну — ту самую, что так ярко полыхает в их глазах ночной порой. Крикливы, точно мелкие шавки, только сверхпородистые сиамцы, хозяева которых умиленно именуют речью душераздирающие вопли своих питомцев. На самом деле эта истерия куда дальше от осмысленной речи, чем, к примеру, обет молчания гончей у ваших ног или томное урчанье полосатого барсика, прикорнувшего теперь на моем колене. Единственное, чем изредка ласкает ваш слух нормальный кот, это незамысловатое «мя-а-ау», но даже в его молчании распознаешь тайну собственных потерь, своего горя. Нутром чую, что этот зверь все знает. Именно потому он и здесь. Ведь бдительность у котов всегда на первом месте.

Там, снаружи, нестерпимо жарко. То есть, хочу сказать, прикоснуться к чему-то становится все труднее и труднее. К газовым конфоркам, например. Теперь-то до меня уже дошло, что плита с конфорками для того, собственно, и придумана, чтобы давать тепло, в этом ее суть, главная цель, предназначение, так сказать. Но ведь никто ее не включает. Все эти электрические да газовые устройства — ты утром только входишь на кухню позавтракать, а они уже полыхают себе вовсю, плита жарит во все четыре, воздух над нею точно желатиновый. И выключать бесполезно — никто ведь и не включал. Кроме того, все эти кнопки да рукоятки тоже раскалились — не прикоснешься.

Некоторые все же пытаются отыскать выход из положения. Самый распространенный способ — попытаться включить. Иногда такое срабатывает, но лучше все же на это особенно не рассчитывать. Иные порываются исследовать сам феномен, докопаться до корней, первопричины. По-видимому, это те, кто напуган сильнее, — в страхе люди становятся куда как человечнее. И перед ликом необъяснимого ведут себя порой с беспримерным хладнокровием. Изучают, анализируют, наблюдают. Помните парнишку с полотна Микеланджело «Судный день»? Того самого, что в ужасе перед Дьяволом закрыл лицо ладонями — но один глаз все же приоткрыт, все видит, примечает. Ведь все, что бедолаге остается теперь, — только наблюдать. А и впрямь, как еще можно убедиться в существовании Преисподней, если не поглазеть самому на пресловутые ее достопримечательности? И все же ни любопытствующий персонаж великого итальянца, ни те, о ком у нас шла речь чуть выше, ничего переменить уже не в силах. А потом есть еще тьма народу, который в подобной ситуации и пальцем не пошевельнет.

Однако, когда в один прекрасный день из холодного крана по вашим ладоням полоснет струя кипятка, каждый — даже те, кто всегда и во всем винит «дерьмократов»,-

ощутит себя малость не в своей тарелке. Разинут рот даже те умники, что давно уже привыкли надевать перчатки, прежде чем ухватиться за раскаленную вилку, карандаш или разводной ключ. Ахнет и тот, кому не в диковинку, что в его автомобиле всегда как в домне, — откроешь снаружи дверь, а на тебя как пахнёт жаром! Кто напрочь спалил пальцы, ероша ребенку волосы, а губы — раскаленным добела поцелуем страсти.

Но здесь, как я уже вроде бы упоминала, все-таки малость свежее; даже кот у меня на коленях, и тот кажется прохладным. Настоящий морозильный кот — неудивительно, что его так приятно почесывать за ухом. И передвигается он с эдакой ленцой,

грациозно, как умеют только представители семейства кошачьих. У них ведь нет этой отвратной привычки, присущей абсолютному большинству иных тварей божьих: ухватил добычу — рви когти! Коты, они в первую очередь нуждаются в компании, в достойном обществе. Сдается мне, во всей живой природе разве что одни пичуги еще могли бы иметь подобную склонность, но увы — даже кроха колибри в разгаре своих метаболических безумств зависает лишь на мгновение: вот она парила над кустом, точно экзотический цветок, неотличимый на фоне тропического буйства красок, и вдруг — исчезла, будто и не было. И думаешь: уж не привиделось ли? Та же история с птицами покрупнее — нахальными голубями да малиновками, а что до ласточек, так те вообще — и звуковой барьер им не преграда. Догадаться о присутствии подобной летуньи можно лишь по свистящим росчеркам под карнизами вашего старого дома в лиловых сумерках.

Дождевые черви, и те, точно поезда подземки, бесследно ныряют в садовый чернозем, пронизанный намертво спутанной арматурой из корешков роз и петуний.

Даже ребенка вам едва ли удастся потрепать по макушке — слишком уж он юркий, чтобы ухватить, и чересчур горяч, чтобы удержать хотя бы на миг на месте. Носится как угорелый. Да и подрастают ребятишки, согласитесь, буквально на глазах.

Но, возможно, так было всегда?

Опять ход моих мыслей прервал кот. На сей раз, продрав глаза, он изрек свое пресловутое «мя-а-ау» и, спрыгнув на пол, томно потерся о мою ногу. Знает скотина, как вымогать себе пайку. А прыгает-то как эффектно! Эдак текуче и замедленно, словно сама гравитация ему не указ. Кстати говоря, непосредственно перед моей ретирадой сюда с земной гравитацией явно не все было в порядке, наблюдались какие— то локальные ее аномалии. Но к коту это определенно не относится, тут совсем иные заморочки. Слава Богу, я пока еще не в том состоянии, чтобы впадать в панику от чьих-то грациозных движений. Напротив, нахожу их весьма приятными и даже в чем-то утешительными.

Пока вскрывала для подлизы жестянку с сардинами, раздался стук в дверь. Поскольку я всегда с великим нетерпением ожидаю свежую почту, то, бросив консервный нож, тут же помчалась к выходу:

— Кто там? Почтальон?

Из-за двери донеслось что-то вроде невнятного «Ага!», и я откинула щеколду. Мимо меня, грубовато пихнув в бок, протиснулось нечто. Оставив в прихожей чудовищных габаритов

рюкзак и маленько размяв плечи, нечто выдохнуло:

— Вау!

— Как же вы меня отыскали здесь? — подивилась я.

Глядя в упор, нечто повторило мне в тон:

— К-хак?

Тут в памяти всплыли былые мои размышления о речи животных, и я стала склоняться к предположению, что передо мной, возможно, и не человек вовсе, а небольшая такая почтовая собачонка (большие ведь редко говорят «ага», «вау» и «к-хак», если только специально тому не обучены).

— Проходи-ка, приятель, проходи, — дружелюбно поманила я гостя на кухню. — Ну, давай, смелее, хороший песик, вот умница!

Визитер выглядел столь истощенным, что я незамедлительно скормила ему банку тушенки с бобами. Глотал он жадно, давясь и чавкая. Когда закончил, облизнулся и несколько раз повторил свое «вау!», на сей раз уже позвонче. Я вознамерилась было потрепать пса по загривку, как вдруг он окаменел, шерсть дыбом, в горле глухо заклокотало — кота заметил!

Мурлыка же мой, напротив — смерив новичка взглядом сразу по прибытии, никакого интереса к нему не выказал и, восседая теперь на папке с «Хорошо темперированным клавиром», тщательно смывал с усов сардинное масло.

— Р-р-гав! — рявкнул пес, которого я мысленно уже окрестила Пиратом. — Гав! Да вы хоть знаете, что это за кот такой? Это же кот самого профессора Шрёдингера!

— Вовсе нет, теперь он мой собственный! — возразила я в довольно резком тоне.

— Ну, разумеется, ведь самого герра Шрёдингера давно уже нет в живых, да почиет он в мире, но кот этот уж точно его. Я видел эту хитрую морду на сотнях иллюстраций. Доктор Эрвин Шрёдингер, видите ли, — это величайший из физиков! Гав! Подумать только, обнаружить его кота! И где!

Кот, презрительно покосившись на пса, вернулся к прерванным на миг гигиеническим процедурам. На морде Пирата застыло выражение благоговейного трепета.

— Видать, так оно было суждено, — хрипло выдохнул пес. — Вау! Именно суждено. Случайным совпадением такое никак не назовешь. Слишком уж это невероятно — я с ящиком, вы с котом. Встретиться-здесь-сейчас! — Пират перевел взгляд на меня, глаза лучились восторгом. — Ну, разве не чудо? Я немедленно приготовлю ящик! — Едва прогавкав это, он помчался в прихожую за своим безразмерным рюкзаком.

Пока кот отмывал себе передние лапки, Пират успел

полностью распаковаться. Когда черед процедур дошел до хвоста и брюшка — мест, трудясь над которыми, даже котам непросто выказывать грацию, — пес стал складывать извлеченные из рюкзака принадлежности в единое целое, весьма затейливое по своему устройству. Меня просто поразило, как синхронно оба они завершили свои действия — точно в одну и ту же секунду, будто сговорились заранее. И впрямь могло бы почудиться, что это неспроста, что в деле замешано нечто помимо слепого случая. Оставалось лишь надеяться, что причина кроется не во мне самой.

— Что это? — поинтересовалась я, указывая на торчавший из стенки конструкции стальной протуберанец. Про саму коробку спрашивать было нечего — с виду ящик как ящик.

— Пушка! — с неприкрытой гордостью ответил Пират.

— Пушка?

— Чтобы застрелить кота.

— Застрелить кота?

— Или не застрелить кота. Это уж как фотон ляжет.

— Фотон?

— Ага! В том-то и заключается знаменитый Gedankenexperiment (мысленный эксперимент — нем.)

доктора Шрёдингера. Видите ли, внутри ящика есть крохотный эмиттер. В момент «зеро», спустя пять секунд как захлопнешь крышку, он выстреливает одну-единственную световую корпускулу прямиком в полупрозрачное зеркало. Для фотона квантовая вероятность пролететь сквозь такое зеркало равна одной второй, не так ли? Именно так! Если пролетит, активируется электронный триггер, и пушка бабахнет. Если фотон отразится от амальгамы, пушка не выстрелит. Теперь возьмем кота и запихнем вовнутрь. Кот в ящике. Закрываем крышку. Отходим, становимся в сторонке и ждем. Что произойдет?-

Глаза Пирата полыхали дьявольским азартом.

— Кот проголодается? — рискнула предположить я.

— Да нет же, кот либо будет застрелен, либо нет! — простонал пес, в отчаянии хватая меня за руку — по счастью, не зубами. — Но пушка у нас бесшумная, абсолютно бесшумная. Да и сам ящик звуконепроницаемый. Не существует способа узнать, жив ли еще кот, покуда не откроем крышку. Другого способа просто нет. Чувствуете, ведь именно в этом и кроется центральный парадокс всей квантовой механики. До момента «зеро» с нашей системой, будь то на квантовом уровне или на нашем с вами, все просто и ясно. Зато после него она может быть представлена только линейной комбинацией двух волн. Мы не

можем предугадать поведение фотона, а тем самым и всей системы в целом. Мы просто не в силах! Господь играет с миром в орлянку! Это великолепно доказывает, что, если ты стремишься хоть к какой-то определенности, тебе придется сотворить ее самому!

— Как это?

— Открыв крышку ящика, разумеется, — отозвался Пират, глядя на меня с внезапным разочарованием, если не с подозрением — вроде того баптиста, который, разоряясь на религиозные темы, вдруг обнаруживает, что в собеседниках-то у него вовсе никакой не баптист, а методист или даже — упаси Господи! — презренный папист. — Чтобы узнать, сыграл кот в ящик или нет.

— Уж не утверждаешь ли ты, — сказала я, взвешивая каждое свое слово, — что пока ящик заперт, кот в нем ни жив ни мертв?

— Ага! — возликовал Пират, снова принимая меня в свою конфессию. — А также, может статься, и жив, и мертв.

— Но почему ты считаешь, что, откинув крышку, мы сведем систему к единственной возможности, к определенно живому либо определенно мертвому коту? Разве, открывая ящик, мы с тобой не становимся частью системы?

— К-хак это? — с недоверием тявкнул Пират после несколько затянувшейся паузы.

— Ну, видишь ли, мы ведь обязательно повлияем на систему, на эту твою волновую суперпозицию. Ведь нет никаких оснований считать ее ограниченной лишь внутренним объемом открытого ящика, согласен? Значит, когда мы сунем нос в ящик, это будем мы, ты и я, оба глядящие на живого кота, и вместе с тем мы оба, глядящие на мертвого. Усекаешь, где собака зарыта?

Как будто грозовое облачко, накатив на небо, помрачило взгляд Пирата. Он хрипло тявкнул дважды и бессильно поплелся прочь. Не оборачиваясь, тоскливо бросил через плечо:

— Нет никакой необходимости усложнять все это дело. Оно и без того непростое.

— Ты так уверен?

Пес обернулся, грустно кивнул. Затем жалобно проскулил:

— Послушайте. Ведь это все, что у нас с вами есть, — обыкновенный ящик. Вот этот. Да еще кот. Оба они здесь. Ящик и кот. Давайте сунем кота в ящик. Ну, прошу вас. Позвольте мне сделать это.

— Ну уж нет! — отшатнулась я.

— Пожалуйста. Ну, пожалуйста! Хотя бы на минутку. Ну, хоть на полминутки. Позвольте запихнуть кота в ящик!

— А зачем, собственно?

— Я больше просто не в силах сносить эту ужасающую неопределенность, — провыл он и ударился в слезы.

Сердце мое дрогнуло. Но, пусть я и ощущала определенную жалость к несчастному сукину сыну, потакать его нелепым прихотям все же отнюдь не собиралась. И уже почти было выдавила из себя решительное «нет», когда случился забавный казус. Кот сам по себе, по собственной охоте, без всякого принуждения, приблизился к ящику и, с интересом обнюхав углы, задрал заднюю лапку. Пометив хитроумное устройство целиком и полностью как свою личную собственность, он фантастически легко и грациозно взлетел на бортик и скрылся внутри. Крышка ящика, задетая пушистым рыжим хвостом, качнулась и — захлопнулась, мягко клацнув напоследок защелкой.

— Вот тебе и кот в мешке, то бишь, в ящике, — прокомментировала я озадаченно.

— КОТ В ЯЩИКЕ, — повторил Пират ОГРОМНЫМ шепотом, благоговейно припав брюхом к полу. — Ой-вау, ой-вау, ой-вау!

И наступила тишина — оглушительная тишина. Мы оба таращились на ящик: я на своих двоих, пес — распластавшись на полу. Ни звука. Ничего не происходило. Да и не могло произойти. До тех пор, пока захлопнута крышка.

— Точно шкатулка Пандоры, — произнесла я обычным шепотом. Я подзабыла подробности этой старинной байки. Что-то о выпущенных из некой магической емкости несчастьях — не то просто мелких грешков, не то каких-то кошмарных вирусных инфекций. Но вроде бы там было что— то еще. Когда все беды повырывались наружу, на дне ящика оставалось что-то еще — нечто совсем иное, совершенно неожиданное. Что бы это могло быть? Надежда? Дохлая кошка? Уже не припомнить.

Во мне стало нарастать беспокойство. Я оглянулась на Пирата. Пес ответил выразительным движением лохматых бровей. И не уверяйте меня после этого, что собаки — бездушные твари.

— Что именно хочешь ты доказать? — потребовала я объяснений.

— Что кот либо загнется, либо останется жив, — пробормотал пес подчеркнуто смиренно. — Определенность. Вот все, чего я так жажду. Знать наверняка, что Творец играет с Вселенной в орлянку.

— Играет он там себе или нет, — заметила я, смерив Пирата удивленно-ироническим взглядом, — но неужто ты всерьез полагаешь, что он оставит тебе в том расписку внутри какой-то паршивой коробки?

Сделав шаг вперед, я жестом иллюзиониста откинула

крышку. Следом, шумно выдохнув, тут же подскочил Пират. Кота внутри, естественно, не оказалось.

Пес не тявкнул, не рухнул в обморок, даже не выругался. Случившееся он воспринял с почти что спартанским хладнокровием.

— Ну, и где же ваш кот? — поинтересовался он наконец.

— А где ящик?

— Здесь.

— Где именно?

— Вот же он.

— Это нам только так кажется, — возразила я. — В действительности же следует пользоваться ящиками покрупнее.

Пират застыл в полном и окончательном замешательстве. Он не дернулся даже тогда, когда потолок над его головой, отъехав в сторону, в точности как перед тем крышка мудреного ящика, открыл провал в неестественно звездное небо. Дыхания псу хватило лишь на очередное «ой-вау!».

А я признала наконец ту щемящую ноту, что все еще продолжала звучать во мне. Даже успела проверить ее, тренькнув на мандолине, прежде чем запузырился лак и вытек столярный клей. Это нота «ля», та самая, из-за которой свихнулся бедняга Шуман. Восхитительный, чистый тон, куда более ясный и отчетливый теперь, когда над головою одни только звезды. Мне будет очень недоставать моего рыжего мурлыки. Остается лишь гадать, успел ли он все же отыскать то, что так бездумно утратили мы с вами.

СЕВЕР

ДВЕ ЗАДЕРЖКИ НА СЕВЕРНОЙ ЛИНИИ [23]

1. ПО ПУТИ В ПАРАГВАНАНЗУ

Этой весной река сильно разлилась, затопив железнодорожную насыпь на всем протяжении от Брайлавы до Краснея. Двухчасовая поездка растянулась на полдня. Поезд переходил с одного пути на другой, подолгу стоял, медленно передвигался от одной деревни до прилегающей к ней следующей, через холмы провинции Мользен под неутомимым проливным дождем. Из-за дождя сумерки наступили раньше обычного, но сквозь полумрак виднелись чертополох, жестяные крыши, отдаленный сарай, одинокий тополь и тропинки, ведущие к вырисовывающейся в наступающей темноте ферме безымянной деревни, находящейся где-то к западу от столицы. Внезапно, через пятьдесят минут ожидания и неизвестности, сумрачный пейзаж за окном заслонило стремительное движение чего-то темного.

— Это товарный! Скоро поедем, — сказал моряк, который знал все на свете.

Семья из Месовала возликовала. Когда тропинки, чертополох, крыши, сарай и дерево появились снова, поезд действительно начал двигаться, и постепенно, равнодушно и медленно унылый пейзаж навсегда остался позади в дождливых сумерках. Семья из Месовала и моряк поздравили друг друга.

— Теперь, когда мы снова тронулись, самое большее еще полчаса — и мы наконец приедем в Красной.

Эдвард Орте снова открыл книгу. Прочитав страницу или две, он поднял голову. За окном почти совсем стемнело. Где-то вдалеке сверкнул и пропал свет фар одинокой машины. В темноте окна, под зелеными жалюзи на фоне мерцающего дождя Эдвард увидел отражение своего лица.

Он посмотрел на это отражение с уверенностью. В двадцать лет Эдвард невзлюбил свою внешность. В сорок — смирился и принял ее. Глубокие морщины, длинный нос, длинный подбородок — вот каков Эдвард Орте; он смотрел на отражение как на равного, без восхищения или презрения. Но форма бровей напомнила Эдварду, как часто люди говорили ему: «Как ты похож на нее», «У Эдварда мамины глаза». Как глупо — будто эти глаза

не принадлежат ему, будто он не может претендовать на то, чтобы видеть мир самому. Тем не менее во вторые двадцать лет жизни он взял от этого мира все, что хотел.

Несмотря на различные пересуды и неудачное начало этого путешествия, Эдвард знал, куда едет и что случится. Брат Николас встретит его на Северной станции, повезет на восток через омытый дождем город в дом, где Эдвард родился. Мать поприветствует его, сидя в постели под розовой лампой. Если на сей раз дело обошлось легким приступом, мать будет выглядеть довольно неплохо и говорить тихим голосом; если же приступ оказался достаточно серьезным, чтобы напугать ее, она поведет себя неестественно оживленно и весело. Все зададут друг другу вопросы и ответят на них. Потом состоится ужин внизу, беседа с Николасом и его молчаливой женой, а потом Эдвард отправится спать, слушая дождь за окном спальни, в которой спал первые двадцать лет своей жизни. Почти наверняка сестра Реция убежит рано: вспомнит, что оставила в Соларии трех маленьких детей, и в панике спешно отправится домой, так же неожиданно, как уехала оттуда. Николас никогда не присылал Эдварду телеграмм, а просто звонил по телефону и зачитывал докторский отчет об очередном приступе. Зато Реция преуспела в наведении паники. Она избегала ухаживания за больной матерью и лишь время от времени высылала Эдварду телеграммы «ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО», о драматическом смысле которых оставалось только догадываться. Матери вполне хватало визитов Николаса дважды в неделю, и она не имела ни малейшего желания видеть Эдварда или Рецию. Незваные гости могли разрушить привычный распорядок дня и заставляли мать тратить накопленную энергию на показной интерес в делах детей, которые на самом деле уже давно не интересовали ее. Но Реция настолько нуждалась в соблюдении общепринятых традиции и приличий, что регулярно для достижения этого задействовала самые крайние методы. Когда кто-то получает телеграмму «ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО» и дело касается больной матери, он приезжает. Для определенных ходов в шахматах есть лишь определенные реакции. Эдвард Орте, более сдержанный и здравый сторонник общепринятых приличий, подчинял свою волю правилам без слова жалобы. Но все это напоминало ему игру в шахматы без доски, это катание по рельсам взад и вперед: все та же бессмысленная поездка три раза за два года — или за три года с первого приступа? — настолько бессмысленная, напрасная трата времени, что Эдвард даже не думал о том, едет ли поезд всю ночь, как ехал весь день, передвигаясь по холмам с одной запасной ветки на другую, не по основной колее, и не приближаясь к цели; Эдварду было

абсолютно все равно.

Когда он сошел с поезда и во влажной сумятице, царящей на платформе, отблесках фонарей и отголосках Северной станции обнаружил, что никто его не встречает, то почувствовал себя разочарованным, обманутым. Хотя чувство было неуместным. Николас просто не выдержал бы пять часов ожидания, даже ради того, чтобы встретить брата. Эдвард сначала хотел позвонить домой и сообщить, что прибыл, а затем сам удивился, почему ему пришла в голову такая мысль. Все из-за дурацкого разочарования, что его никто не встретил. Он вышел из вокзала, чтобы поймать такси. На автобусной остановке возле стоянки такси ждал автобус *N41; Эдвард без промедления сел в него*. Как давно — наверное, десять лет назад… пятнадцать… нет, еще больше — он ездил на автобусе через город по шумным улицам Краснея, темным и мерцающим в сумерках мартовской ночи. Свет уличных фонарей, отражавшийся в реках черного асфальта, напомнил Эдварду о временах, когда студентом он возвращался с поздних занятий в университете. 41-й остановился на старой остановке у подножия холма, и вошли двое студенток — бледные, серьезные девушки. Вода в Мользене, бегущем вдоль каменной набережной под старым мостом, поднялась очень высоко; все пассажиры вытягивали шеи, чтобы увидеть реку, и кто-то сказал за спиной Эдварда:

— Вода уже подбирается к складам за железнодорожным мостом.

Автобус стонал, покачивался, останавливался, кренясь на пути через длинные прямые улицы Трасфьюва. Орте надо было выходить на последней остановке. Автобус с единственным пассажиром в очередной раз со вздохом захлопнул двери и поехал дальше, оставляя за собой тишину еще не спящего пригорода, провинциальную тишину. Дождь шел не переставая. На углу около фонаря стояло молодое дерево, вздрагивающее под ярким светом, который пронзал его свежие зеленые листья. В путешествии не предвиделось более ни задержек, ни изменений. Последние полквартала до дома Орте прошел пешком.

Он тихонько постучал, открыл незапертую дверь и вошел. По непонятным причинам холл был ярко освещен. В гостиной звучал чей-то громкий, незнакомый голос. Может, там какая-то вечеринка? Неужели вечеринка? Эдвард снял пальто, чтобы повесить его на вешалку. В этот момент в холл вошел мальчик, попятился от неожиданности, остановился и посмотрел на вошедшего ясными смелыми глазами.

— Ты кто? — спросил Орте, и когда мальчик задал такой же вопрос и получил ответ, сказал: — Меня тоже зовут Эдвард Орте.

На мгновение у Эдварда закружилась голова. Он очень боялся таких внезапных головокружений, когда появлялось ощущение, будто он летит в разверзнувшуюся под ногами бездну.

— Я твой дядя. — Эдвард стряхнул со шляпы капли дождя и повесил ее. — А где твоя мама?

— В комнате с роялем. С организаторами похорон. — Мальчик продолжал глазеть на Эдварда, изучая его так спокойно, словно находился в собственном доме.

«Если он не отойдет в сторону, я не смогу пройти в комнату мимо него»,

— подумал Орте.

— О, Эдвард! — воскликнула Реция, входя в холл и видя брата. — Ах, бедный Эдвард! — И внезапно она разрыдалась.

Реция потянула Эдварда за собой и подвела к Николасу, который мягко и серьезно пожал брату руку и сказал ровным голосом:

— Ты уже уехал. Мы не могли дозвониться до тебя. Очень быстро, гораздо быстрее, чем ожидалось, но совершенно безболезненно в конце…

— Да, я понимаю, — ответил Орте, держа брата за руку. Под ним снова словно разверзлась пропасть. — Поезд… — пробормотал он.

— Почти ровно в два часа, — сказал Николас.

— Мы весь день звонили на станцию, — сказала Реция. — Вся железная дорога выше Ариса затоплена. Бедный Эдвард, ты, наверное, совершенно измучился! И не знал весь день, весь день! — Слезы текли по ее лицу так обильно и легко, как дождь за окнами поезда.

Прежде чем пойти наверх и увидеть мать. Орте собирался задать Николасу несколько вопросов: был ли последний приступ на самом деле серьезным? принимает ли мать все те же лекарства? тяжелой ли ангиной она переболела? Эдвард все еще хотел задать эти вопросы, на которые пока так и не получил ответа. Николас же продолжал рассказывать ему о смерти матери, хотя Эдвард и не спрашивал, как все случилось. От долгого путешествия в голове его все еще царила какая-то неразбериха. Головокружение почти прекратилось, бездна закрылась, и он отпустил руку Николаса. Реция вертелась рядом, улыбаясь и плача одновременно. Николас выглядел напряженным и усталым, глаза его казались огромными за стеклами толстых очков. «А как, интересно, — подумал Эдвард, — выгляжу я сам? Чувствую ли горе?» Он заглянул в себя с опасением, но не нашел ничего, кроме продолжающегося неприятного легкого головокружения. Нет, горем это не назовешь. Не должен ли он хотеть плакать?

— Она наверху?

Николас рассказал о новых правительственных правилах, которые, по его мнению, являются наиболее разумными и деликатными. Тело отвезли в крематорий Восточного района; пришел человек с бумагами, чтобы договориться о церемонии прощания и церковной службе, и когда приехал Эдвард, они как раз уже все согласовали. Все вышли из холла, прошли в гостиную, представили Эдварду работника похоронного бюро. Затем Николас пошел проводить этого человека. Это его голос слышал Орте, когда вошел в дом. Громкий голос и яркие огни, как на вечеринке.

— Я встретил, — сказал Эдвард Орте сестре, немного помедлив, — маленького Эдварда. — И пожалел о сказанном, потому что племянник, названный в его честь, не мог быть этим мальчиком, который выглядел гораздо старше и который сказал, что фамилия его Орте. Или нет? Ведь фамилия должна быть Перен: Реция после замужества взяла эту фамилию. Но кто же тогда этот мальчик?

— Да, я хотела, чтобы дети тоже приехали, — говорила Реция. — Томас подъедет завтра утром. Надеюсь, дождь прекратится — дороги, наверное, ужасные.

Эдвард обратил внимание на ее ровные, цвета слоновой кости зубы. Ей уже

— о, невероятно! — тридцать восемь. Он бы не узнал ее, встретив на улице. Реция посмотрела на брата серо-голубыми глазами.

— Ты устал, — сказала она тоном, который обычно раздражал Эдварда. Можно ли говорить людям, как они себя чувствуют?

Но сейчас эти слова понравились ему. Он не ощущал усталости, но, если выглядел устало или устал, сам того не замечая, наверное, у него все же было чувство, о котором он не знал, соответствующее чувство.

— Иди поешь чего-нибудь, этот человек ушел. Ты, наверное, умираешь от голода! Дети едят на кухне. О, Эдвард, все так странно! — сказала Реция, проворно увлекая его за собой.

На кухне было тепло и полно народу. Повар-домоправительница Вера, которая работала очень давно, хотя появилась в доме после того как уехал Эдвард, что-то приветственно пробормотала. Она расстроена, это понятно: сможет ли пожилая женщина с больными ногами найти новую работу? Конечно, Николас и Реция позаботятся о ней. Все дети Реции сидели за столом: мальчик, которого Эдвард встретил в холле, старшая сестра и малыш, которого все называли Рири,

когда Эдвард видел его в последний раз, и к которому теперь все обращались по-взрослому: Рауль. Еще на кухне находилась кузина мужа Реции, которая жила с ними, — невысокая, угрюмая девушка лет двадцати. Жена Николаса Нина вышла из-за стола, чтобы поприветствовать Эдварда и обнять его. Когда она заговорила, Эдвард вспомнил о том, о чем не думал с тех пор, как получил письмо Николаса около двух недель назад. Николас и Нина усыновили ребенка — писал ли Николас, что это мальчик? Усыновление показалось Эдварду столь показным и ненужным поступком, что он еще раз внимательно перечитал письмо и подумал, что дело это неприятное и весьма смущающее, но сейчас не помнил, что именно написал Николас. И как-то неудобно спрашивать об этом Нину. Старушка Вера, пытаясь продемонстрировать свою нужность, настойчиво предлагала Эдварду чаи, и ему пришлось сесть вместе со всеми в ярко освещенной шумной кухне, немного поесть и выпить чая.

Постепенно шум затих. Никто особо с Эдвардом не разговаривал; Нина смотрела на него своими печальными, темными глазами. Эдвард с облегчением начал понимать, что его обычно серьезное выражение лица и поведение могут быть приняты за хорошее владение собой и послужат щитом, за которым можно спрятать от самого себя отсутствие печали, спрятать нечто не существующее в пустой душе.

В завершение всего Эдварда не пустили спать в его комнате. Вообще все прошло не так, как он ожидал. Дом был переполнен. Оказалось, что с момента усыновления Николас и Нина отказались от квартиры в Старом квартале, переселились обратно в родительский дом и собирались жить там до тех пор, пока у них не появится шанс переехать в большую квартиру. Они жили в старой комнате Эдварда, а их ребенок — в бывшей комнате Николаса, Реция и трое ее детей устроились в детской, кузина — на тахте в гостиной, и для Эдварда не осталось ничего, кроме кожаной тахты, стоящей внизу, на застекленной веранде. Только комната матери пустовала. Эдвард так и не зашел туда. Он не ходил наверх. Реция принесла вниз шерстяные пледы, потом стеганое одеяло и наконец теплую пижаму Николаса.

— Здесь ужасно, бедный Эдвард, ужасно. Если ты наденешь вот это, то не замерзнешь. Ах, как все странно! — Она заплела волосы на ночь и надела розовый шерстяной халат. Реция выглядела доброжелательной, участливой, по-матерински прекрасной; ее лицо светилось, словно она слушала музыку. «Вот оно, горе», — подумал Эдвард.

— Все нормально, — сказал он.

— Но у тебя всегда по ночам мерзли ноги. Ужасно, что

пришлось устроить тебя здесь. Не знаю, что мы будем делать, когда приедет Томас. О, Эдвард, мне бы так хотелось, чтобы ты женился, — ненавижу, когда люди одиноки! Я знаю, тебе все равно, но мне — нет. Занавески не закрываются, что ли? Ах, Господи Боже мой, я оборвала кайму. Что ж, здесь нечего закрывать, кроме дождя. — В глазах Реции стояли слезы. Она обняла Эдварда, и на мгновение его окутали ее тепло и сила. — Спокойной ночи! — сказала она и вышла, закрыв за собой стеклянную занавешенную дверь. Эдвард услышал голоса сестры и кузины в другой комнате.

Реция пошла наверх. В доме стало тихо. Эдвард поправил пледы, стеганое одеяло и лег на кушетку. Он читал книгу, за которую взялся в поезде: долгосрочный проект относительно целей и распределения фондов департамента, который в мае попадет в распоряжение их бюро. Дождь стучал в окно над кушеткой. У Эдварда замерзли руки. Внезапно в соседней комнате погас свет, стеклянная занавешенная дверь потемнела, и свет от маленькой настольной лампы показался очень тусклым. В соседней комнате спала кузина. Дом был полон неизвестных Эдварду людей. Ему было странно лежать на этой холодной кушетке, ночью, в дождь. Обычно на ней спали только летом, в жару. Поездка оказалась не такой, в какую он отправился. Приехать домой — вот оно, правильное направление, которое сейчас потеряло всякий смысл и окончилось в странном месте. Неужели беспорядок — это то, что все называют горем? «Она умерла, — подумал Эдвард. — Она умерла, а я лежу, удобно оперевшись на подлокотник кушетки, держу на согнутых под одеялом коленях открытую книгу, смотрю на страницы сто сорок четыре, сто сорок пять и жду собственной реакции на случившееся. Я уехал из дома так давно!» Сто сорок четыре, сто сорок пять… Взгляд Эдварда вернулся к книге. Он дочитал до конца главу. Часы показывали полтретьего ночи. Эдвард выключил лампу на бронзовой подставке и свернулся калачиком под одеялами, слушая, как дождь равномерно стучит в окно…

— Я еду в Парагвай, — сказал Эдвард моряку, расстроившись, что никто его об этом не спрашивает. — В Парагвананзу, столицу страны.

Через долгое-долгое время Эдвард встретил моряка около путей, затопленных половодьем. А когда, преодолев ужасные препятствия, он добрался до цели, до Парагвананзы, там оказалось все то же самое, что и здесь, дома.

2. МЕТЕМПСИХОЗ

Когда пришло письмо от адвоката, Эдвард Руссе сначала даже не задумался о завещанном ему доме и лишь попытался выловить из потаенных глубин памяти хоть какие-то обрывки воспоминаний о внешности, характере или хотя бы походке брата маминого отца — двоюродного деда. Старик счел нужным оставить Эдварду дом в Брайлаве или сделал это по причине малочисленности наследников. Эдвард всю жизнь прожил в Красное; когда ему исполнилось девять или десять лет, он ездил вместе с мамой навестить родственников, живущих на севере, но из всего путешествия теперь мог вспомнить лишь тривиальные вещи: курицу с выводком цыплят на заднем дворе у корзины, человека, который громко пел, стоя на углу улицы у подножия огромного (как тогда показалось Эдварду) темно-синего холма. И от дедушки, которому принадлежал дом, и от его брата, который дом унаследовал, в памяти остались лишь громкие старческие голоса и ощущение неуютности, царящее в темных комнатах. Глуховатый старик, какой-то чужой и совершенно не похожий на Эдварда и его родственников. Висящие на печи скрещенные мечи с плетеными рукоятками и гравированными лезвиями — шашки. Эдвард никогда раньше не видел шашки. Ему не разрешали играть с этими красивыми мечами. Даже сам старик никогда не притрагивался к ним, никогда их не полировал. Если бы Эдварду разрешили взять шашки, он бы начистил потемневшие лезвия. А сейчас ему было стыдно за неблагодарность своего ума, в котором сохранились лишь воспоминания о детской зависти — и ни единого мимолетного впечатления о человеке, который подарил ему дом, — даже если на самом деле Эдварду дом вовсе не нужен и он предпочел бы, чтобы старик не вспоминал о нем, неблагодарном внучатом племяннике, который совершенно не помнил своего двоюродного деда.

Что ему делать с этим домом в Брайлаве? Что ответить на письмо адвоката? Эдвард работал в бюро жилищного строительства, получал скромную зарплату, никогда не связывался ни с какими адвокатами и вообще остерегался их. Его жена придумала бы, как ответить на письмо; она обладала чутьем на такие вещи и вдобавок хорошими манерами. Представив, что написала бы Елена, Эдвард накропал короткое, вежливое послание адвокату, отправил его, а затем фактически сразу забыл и о двоюродном деде, и о наследстве, и о собственности в Брайлаве. Он был сильно загружен, поскольку взял на себя дополнительно дело реорганизации и упрощения ведения отчетов, в котором хорошо разбирался. Окружающие сказали бы, что Эдвард стремится потерять себя в работе, но ему всегда нравилась его работа, нравилась до сих пор, и он знал, что не

может в ней потеряться. Напротив, он постоянно находил себя в работе, в выполненных заданиях, видел себя в коллегах. На каждом углу улицы, ведущей к бюро, он встречал самого себя, возвращающегося с работы домой на улицу Сайдре, где его ждала Елена, преподающая в колледже прикладных искусств, ждала каждый день, кроме вечеров по средам, когда она вела занятия с четырех до шести.

Дни Эдварда всегда перемежались такими тире, разделяясь не на периоды, а на перерывы между ними, паузы, пустые места, в которых он останавливал сам себя, чтобы не оканчивать мысль, чтобы даже не пытаться завершить мысли, у которых больше нет конца. Так же было и в этом случае: Елена не вела занятия с четырех до шести по средам, потому что она умерла от аневризмы сердца три месяца назад. И всегда мысли Эдварда вели к одному и тому же, останавливались, уплывали в бесконечность и там разрушались, как в печи крематория.

Эдвард знал, что справился бы со своим несчастьем быстрее, без этих пауз, не думая постоянно об одном и том же, если бы хорошо спал. Но теперь он мог спать не более двух или трех часов, а потом просыпался и лежал без сна столько же, сколько ему удалось проспать. Он попробовал пить, потом принимал снотворное, которое порекомендовал друг. И то и другое принесло ему пять часов сна, два часа кошмаров и день болезненного отчаяния. Тогда Эдвард принялся читать во время ночных бодрствовании. Читал все подряд, но предпочитал историю — историю других стран. Иногда в три часа ночи он плакал, читая про Испанию в эпоху Ренессанса, и не замечал собственных слез. Он не видел снов. Все сны забрала с собой Елена, и они ушли вместе с ней уже слишком далеко, чтобы найти обратную дорогу к Эдварду. Сны затерялись, иссякли, высохли где-то в той плотной каменистой темноте, в которую ушла Елена, очень медленно, с трудом, не дыша, прокладывая путь вперед. Эдвард чувствовал, что она теперь где-то далеко, в каком-то другом измерении, которое он даже не мог себе представить.

Пришло второе письмо из Брайлавы. В конверте из толстой бумаги, тяжелом и зловещем. Покорившись судьбе, Эдвард открыл его. Письмо адвоката оказалось коротким. Сдержанно, расплывчато, в виде предложения, с должной предосторожностью адвокат сообщал, что, поскольку дела стоят на месте, Эдвард должен знать: если он решит продать дом, то получит за него хорошие деньги (учитывая профессиональную квалификацию Эдварда, адвокат полагал, что тот хорошо информирован в данном вопросе). Далее адвокат — Эдвард представил себе

седовласого мужчину лет шестидесяти, чисто выбритого, с длинной верхней губой — заметил, что в северном отделении адвокатского бюро в Красное есть несколько агентов по недвижимости с хорошей репутацией, на тот случай, если Эдвард не хочет заниматься этим делом сам. Однако, поскольку в доме остались личные вещи, могут потребоваться, хотя бы ненадолго, личное присутствие наследника и его решение относительно мебели, бумаг, книг и прочих вещей, которые могут представлять собой материальную, денежную или памятную ценность. К письму прилагались какие-то документы — судя по внешнему виду, акты, описания и прочее, касающееся собственности, — и старый, довольно потертый кожаный мешочек с шестью ключами на стальном кольце.

Странно, что адвокат прислал ключи, не дождавшись очередного ответа Эдварда и не познакомившись с ним лично. Именно ключи придали конверту странную форму и сделали его тяжелым. Эдвард с любопытством вытащил их, положил на левую ладонь и стал рассматривать. Два одинаковых ключа — судя по всему, от старой, респектабельной передней двери. Других четыре оказались совершенно разными: один бы подошел, вероятно, к висячему замку, другой — с брелоком в виде бочонка — был похож на ключ от часов, третий — плоский железный — по-видимому, от подвала или кладовой, и последний — из латуни, с замысловатыми выемками — вероятно, от какой-то старой мебели, платяного шкафа или секретера. Эдвард с нарастающим беспокойством вообразил латунную замочную скважину в резном красном дереве, полки за стеклом, какие-то бумаги в полупустых выдвижных ящиках.

Эдвард попросил два выходных в конце месяца. Он поедет в Брайлаву в среду вечерним поездом, вернется в воскресенье. Достаточно. Встретится с адвокатом, увидит дом, договорится, чтобы его очистили от ненужных вещей и выставили на продажу. Заодно, делая все эти дела, он сможет посмотреть город, где родилась и провела детство его мать. А на деньги, вырученные за дом, он поедет в Испанию.

Шальные, не заработанные деньги надо тратить сразу, иначе они принесут беду. А сколько стоит поездка в Египет? Эдварду всегда хотелось увидеть пирамиды. Одетых в красные плащи, как в кино размахивающих шашками, охраняющих сокровища Египта английских солдат, численность которых уменьшалась на глазах равнодушного сфинкса, как исчезает вода, льющаяся на песок. Ему хотелось побывать в Сахаре, в этом пекле, огромной пустыне.

Поезд резко дернулся и снова остановился. В купе пока больше никого не было; молодая пара, занявшая места напротив,

громко смеялась в коридоре. Они шутили с друзьями, стоящими на платформе, но наконец закричали, помахали руками и, балуясь, громко захлопнули окно, когда поезд тихо и целенаправленно заскользил вперед. Глаза Эдварда наполнились слезами, и, переводя дыхание, он тихонько всхлипнул. Приведенный в ужас отчаянным положением, в которое его ввергло всепоглощающее горе, он стиснул кулаки, закрыл глаза и притворился, что спит, хотя лицо его пылало, а дыхание не было равномерным. Он заранее проклинал Египет, чертов Египет, проклятые Толедо и Мадрид. Слезы высохли. За окном, в тихой дымке сентябрьского полудня, проплывали северные пригороды, дороги и виадуки.

Молодая пара вернулась в купе, они больше не смеялись и не разговаривали, все их оживление оказалось показным — для друзей на Северной станции. Эдвард продолжал смотреть в окно. Поезд плавно шел на север, поравнявшись с набережной Мользена. Река была широкой, спокойной, гладкой, бледно-голубая вода струилась меж низких берегов. Вдоль реки, залитые поздним солнечным светом, росли ивы. Дымка сгущалась; впереди, на севере, как будто там шел дождь, виднелась тяжелая гряда синих облаков. Эдвард рано ушел с работы, чтобы попасть на пятичасовой экспресс. Он прибудет в Брайлаву в полшестого, всю дорогу двигаясь вдоль реки. Глядя на спокойную воду, Эдвард задремал.

В четверть шестого раздался страшный шум, после чего наступила тишина. Пока Эдвард вставал с пола купе, где по непонятным причинам оказался, молодой человек пнул его в плечо.

— Осторожнее! — взбешенно крикнул Эдвард, поднимая портфель, который тоже валялся на полу.

В коридоре слышались тихие взволнованные голоса.

— Ой, ой, ой, ой, — монотонно повторяла молодая женщина.

Голоса превратились в гул, как в студенческой аудитории на перерыве; шум раздавался и в поезде, и вдоль путей: крики, восклицания, жалобы. Выяснилось, что поезд столкнулся с сенокосилкой — двигатель ее заглох на переезде — и никто не пострадал, кроме водителя косилки, который погиб. Паровоз сошел с рельсов, и до тех пор, пока из Брайлавы не придет другой паровоз, поезд будет стоять. Еще одна пауза, очередное тире, вместо очередного периода жизни — не-прибытие. Эдвард немного побродил вдоль путей под поздним сентябрьским солнцем. Другой паровоз прибыл лишь около семи часов, с юга, а не с севера, и потянул поезд назад, на запасную ветку местной станции под названием Исестно, которая даже не упоминалась в

графике Северной линии Красной — Брайлава. Тем временем наступили сумерки, начался дождь, и пассажиры с нетерпением ждали, пока починят пути, пока приедет паровоз из Брайлавы и оттянет поезд обратно на основной путь. В результате Эдвард прибыл на станцию Самени в пол-одиннадцатого.

В поезде пассажиров не кормили, на мрачной станции Исестно тоже не продавали ничего съестного, но Эдвард не чувствовал голода, продвигаясь к выходу под ярко освещенными сводами похожей на пещеру станции Самени с портфелем в руке — единственным багажом, взятым в дорогу. Сойдя наконец с поезда, он чувствовал себя взволнованным. Он собирался приехать в полседьмого, найти около вокзала отель, поужинать, но сейчас ему не хотелось есть стоя в вокзальном буфете вместе с другими пассажирами. Эдвард хотел домой. Люди спешили мимо него, проходили через высокую дверь и исчезали в дождливой ночи.

— Такси?

— Пожалуй, да, — ответил Эдвард.

— Куда вам, сэр?

— Улица Каменни, четырнадцать.

— Это в районе Предгорья, — сказал водитель такси, и в памяти Эдварда всплыли название района и темно-синие скалы, нависавшие над поющим человеком, стоящим у холма.

Такси тронулось, громыхнув заляпанными грязью окнами и дверями. В машине было темно и уютно. Эдвард погружался в сон, в замешательстве заставлял себя проснуться и снова засыпал.

— Четырнадцать, вы сказали?

— Да.

— Похоже, это здесь. Вот двенадцатый дом.

Эдвард не видел номера. Но дом стоял, шел дождь, вокруг — лишь деревья и темнота. Эдвард заплатил водителю, который попрощался сухим, вежливым голосом с северным акцентом.

Три каменные ступеньки, растущие вокруг кустарники и что-то вроде ограды или решетки; номер «14» над довольно богато украшенной деревянной дверью. Странный город, странная улица, непонятно чей дом. Первый из двух одинаковых ключей подошел к замку. Эдвард открыл дверь, заглянул внутрь и поднялся на две ступеньки, оставив дверь за спиной приоткрытой, чтобы в случае чего ретироваться.

Непроглядная тьма, сухо, холодно. Стук дождя по высокой крыше. И никаких других звуков.

Эдвард нащупал выключатель справа от двери. И почувствовал, что должен сказать: «Я пришел». Кому? Он включил свет.

Передняя была гораздо меньше, чем казалась в темноте. У Эдварда сначала сложилось впечатление, что он находится в каком-то огромном, практически неограниченном пространстве, но теперь он увидел, что стоит в тихой запущенной передней старого дома в дождливую ночь. Потертая и грязноватая ковровая дорожка покрывала пол, выложенный красивыми черными и серыми плитками. Чья-то шляпа из старого войлока, шляпа двоюродного дедушки, одиноко лежала на невысоком комоде. Под потолком — люстра из желтоватого мутного стекла.

Дверь за спиной Эдварда все еще оставалась приоткрытой. Он вернулся, закрыл ее и автоматически положил ключи в карман брюк.

Ступеньки вели наверх и влево. За ними находился коридор: двери справа и в дальнем конце, обе закрыты. Справа, вероятно, гостиная, а дальняя дверь ведет на кухню. Где-то здесь должна находиться и столовая — может, по пути на кухню; именно в темной столовой Эдвард когда-то слышал громкие старческие голоса. Надо бы заглянуть в комнаты, но он очень устал. В последние несколько ночей Эдвард очень плохо спал и от этой поездки с ее волнениями, чужой смертью и долгой задержкой в пути все еще плохо себя чувствовал. Коридор — прекрасно, старая шляпа — очень хорошо, но этого было вполне достаточно. Желтоватый свет озарял ступеньки так же тускло, как и переднюю. Эдвард пошел наверх, держась за узкие, потертые лакированные перила. На верхней ступеньке он повернул, прошел по коридору к последней двери, открыл ее и включил свет. Он не знал, почему выбрал именно эту дверь и бывал ли на верхнем этаже этого дома в детстве.

Эдвард оказался в спальне, возможно, самом большом помещении дома. Может, в этой комнате когда-то спал его двоюродный дед, может, тут он и умер, если только не скончался в больнице, или это — комната его дедушки, или никто не использовал ее тридцать лет. В спальне было чисто, царил небольшой беспорядок, кровать, стол, стулья, два окна, камин. Постель застелена аккуратно и чисто, старое голубое покрывало туго натянуто. В тусклой стеклянной люстре отсутствовала лампа.

Эдвард поставил портфель у кровати.

Ванная комната находилась на другом конце коридора. Сначала Эдвард подумал, что вода отключена: труба застонала, когда он повернул вентиль. Но затем кран выплюнул ржавчину, изрыгнул потоки красной жижи, и наконец пошла чистая вода. Ему хотелось пить. Эдвард стал пить прямо из крана. Вода оказалась очень холодной, пахла ржавчиной и имела

необъяснимый северный привкус.

В коридоре стоял старый книжный шкаф со стеклянными полками. Эдвард на минутку остановился возле него, но тусклое сияние лампы еле освещало названия каких-то неизвестных Эдварду книг. Он не хотел читать, а потому пошел в спальню и откинул голубое покрывало. Постель была застелена тяжелыми льняными простынями и темным одеялом. Эдвард разделся, повесил пиджак и брюки в пустой стенной шкаф, выключил свет, лег в холодную постель в темной комнате, которая казалась зловещей из-за света отдаленного уличного фонаря, мерцающего сквозь дождь, или из-за загадочных теней, отбрасываемых листьями. Эдвард вытянулся, положил голову на твердую подушку и заснул.

Проснулся он солнечным утром, лежа на боку, глядя на скрещенные кавалерийские шашки, которые висели на печи.

«Это орудия, — подумал Эдвард, — назначение которых так же ясно, как назначение иголки или молотка. И цель их, причина существования и назначение — смерть; они сделаны, чтобы убивать людей». Слегка гравированные и до сих пор не отполированные лезвия несли смерть, фактически даже его собственную, которую Эдвард теперь видел ясно и спокойно, потому что, пока глаза его рассматривали шашки, мозг думал о том, что находится в других комнатах, которые он не видел прошлой ночью. И комнаты эти, ключи от которых лежали у Эдварда в кармане, вернут его к жизни; он попросит перевести его на работу в бюро в Брайлаве, увидит цветение вишен в горах в марте, второй раз женится. Все это будет потом, а пока хватит этой комнаты, скрещенных шашек, солнечного света; Эдвард прибыл на свою станцию назначения.

КН [24]

Думаю, доктор Спики – замечательный человек. И то, что он сделал, – просто прекрасно. Я в это верю. И верю, что людям нужна вера. Если бы я не верила в него, не знаю, что могло бы случиться.

А если бы доктор Спики не верил в себя – разве он достиг бы исполнения своей мечты? Откуда бы он взял мужество? Нет, его дела только доказывают его искреннюю самоотверженность.

Конечно, было время, когда многие пытались очернить его. Говорили, что он рвется к власти. Это неправда. С самого начала он стремился лишь к одному – помогать людям строить новый, лучший мир. Те, кто называли его властолюбцем и диктатором, – та же компания, что говорила, будто Гитлер безумен, и Никсон

безумен, и все лидеры мира – безумцы, и гонка вооружений – безумие, и растрата природных ресурсов – безумие, и вся мировая цивилизация – самоубийственное безумие. Такие люди других слов просто не знают. Вот и доктор Спики не избежал этой участи. Но он-то как раз и расправился с безумием, верно? Так что он с самого начала был прав и имел полное право верить в себя.

Я пришла к нему на работу, когда его назначили главой Психометрического бюро. Я поначалу работала в ООН, а когда небоскреб ООН в Нью-Йорке заняло Мировое правительство, меня перевели на тридцать пятый этаж, в главные секретарши к доктору Спики. Я уже тогда знала, какой это ответственный пост, и еще за неделю до начала работы как на крыльях летала. Я мечтала познакомиться с доктором Спики, потому что уже тогда он был знаменитостью. На работу я пришла ровно в девять утра, секунда в секунду, и когда появился доктор Спики… это было чудесно. Он был так добр! Сразу видно было, какой груз ответственности лежит на нем, но он был так здоров, так оптимистичен и ходил так легко, что мне казалось, у него резиновые мячики в подошвах зашиты. Он улыбнулся, пожал мне руку и сказал таким дружелюбным, уверенным голосом: «А вы, должно быть, миссис Смит. Я о вас слышал много добрых слов. Замечательная у нас получится команда, миссис Смит!»

Потом он, конечно, называл меня по имени.

В тот, первый год мы были заняты по большей части Информацией. Надо было разъяснить Президиуму Мирового совета и всем странам-участницам цель и смысл теста КН, прежде чем приступать к его повсеместному внедрению в жизнь. Это было и для меня очень полезно, потому что, подготавливая информационные сообщения, я и сама о нем узнала. Порой, когда я печатала под диктовку, сведения исходили из уст самого доктора Спики. К маю я стала таким «экспертом», что смогла самостоятельно подготовить к публикации «Базовый информационный листок по тесту КН» – по запискам доктора Спики. Это была потрясающе интересная работа. Я поверила в план Теста, как только поняла его. Это относилось и ко всему персоналу конторы и бюро. Искренность и научный энтузиазм доктора Спики были заразительны. С самого начала мы обязаны были проходить Тест раз в квартал; некоторые секретарши очень волновались по этому поводу, но я – никогда. Было очевидно, что Тест *нужен.* Если ты набрал менее 50, приятно знать, что ты психически нормален. Но даже если у тебя больше 50, это тоже хорошо, потому что тебе можно *помочь.* И в любом случае всегда полезно узнать правду о себе.

Как только Информационный отдел заработал как часы, доктор Спики вплотную занялся тренировкой оценщиков и планированием сети Лечебных центров – только он их переименовал в центры Превышения КН. Это уже тогда казалось нам титаническим трудом. Но мы и представления не имели, насколько он окажется грандиозным!

Как и предсказывал доктор, мы отлично сработались. Трудиться приходилось не покладая рук, но и награда была велика.

Один из тех чудесных дней я помню ясно. Я сопровождала доктора Спики на заседание совета Психометрического бюро. Представитель Бразилии объявил, что его страна принимает рекомендации бюро о всеобщем тестировании – мы знали, что так и случится. Но затем выступили делегаты Китая и Ливии и тоже одобрили рекомендации! Лицо доктора Спики сияло как солнце! Я бы так хотела вспомнить, что именно он сказал по этому поводу, особенно китайскому представителю, потому что Китай – очень большая страна и его решение было особенно важно. Но, к сожалению, как раз в этот момент я меняла ленту в диктофоне. Это было что-то вроде: «Господа, сегодня исторический день для всего человечества». А потом он заговорил об эффективном устройстве Диагностических центров, где будет проводиться Тест, и центров Превышения, куда будут направляться пациенты, набравшие более 50 очков, и о том, как нам организовать инфраструктуру проведения и оценки результатов Теста в мировом масштабе, и так далее. Он всегда был очень скромен и практичен. Он всегда предпочитал говорить о том, как сделать дело, а не о том, как это важно. «Когда знаешь, чем ты занят, остается подумать только об одном – как это выполнить» – вот как он говорил, и это чистая правда.

С этого момента мы смогли передать информационную программу подотделу и сосредоточиться на том, Как Это Выполнить. Что за восхитительные то были времена! Государства одно за другим присоединялись к Плану. Когда я вспоминаю, сколько трудов на нас навалилось, то думаю, что просто чудо, как мы все не свихнулись! К слову сказать, некоторые служащие конторы не выдержали ежеквартального Теста. Но большинство работавших в центральном офисе, с доктором Спики, остались вполне психически стабильны, хоть нам и приходилось сидеть на работе до полуночи. Думаю, нас вдохновляло его присутствие. Он всегда был спокоен и оптимистичен, даже когда оказывалось, что надо подготовить 113 000 китайских оценщиков за три месяца. «Всегда можно найти „как“, если знать „зачем“,» – говорил он. И мы находили.

Только сейчас, вспоминая, осознаешь, какой масштабной была эта работа – куда больше, чем мог вообразить кто-либо из нас, даже сам доктор Спики. Менялось все. Сейчас это понимаешь, только когда сталкиваешься с реалиями прошлого. Можете ли представить – когда мы начинали планировать всеобщее тестирование Китая, мы внесли в график лишь 1100 центров Превышения с общим штатом в 6800 человек? Теперь это выглядит шуткой! Но я правда вчера просматривала старые бумаги, чтобы удостовериться, что все разложено по порядку, и видела самый первый план охвата Китая, с этими самыми цифрами, черным по белому.

Думаю, доктор Спики не осознавал всей грандиозности стоящей перед нами проблемы, потому что, будучи великим ученым, он был еще и оптимистом. Несмотря ни на что, он продолжал надеяться, что средний уровень КН будет падать, и не мог заставить себя поверить, что всеобщее применение теста КН приведет к разделению человечества на Пациентов и Персонал.

Когда большая часть России и все африканские государства приняли рекомендации и занялись претворением их в жизнь, дебаты в Генеральной ассамблее Мирового правительства разгорелись с новой силой. Именно в этот период так много грязи было вылито на Тест и доктора Спики. Я страшно злилась, читая стенограммы дебатов в «Уорлд таймс». Когда я сопровождала доктора Спики на заседания ассамблеи, мне приходилось самой выслушивать людей, которые оскорбляли доктора лично, подвергая сомнению чистоту его побуждений, научную честность и даже обвиняя его во лжи. Многие из этих типов были не просто отвратительны, но явно психически неуравновешенны. Но доктор ни разу не вышел из себя. Снова и снова он доказывал, что тест КН действительно, буквально, в строго научном понимании показывает уровень психической нормальности человека и результаты его могут быть проверены сертифицированными психометристами. Так что противникам Теста оставалось только кричать о «свободах» и обвинять доктора Спики и Психометрическое бюро в попытках «превратить мир в один огромный дурдом». Но доктор всегда отвечал тихо и твердо, что свобода теряет смысл для ненормальных. То, что кажется свободой, может обернуться систематическим бредом, лишенным связи с реальностью. Чтобы выяснить, так ли это, нужно всего лишь пройти Тест. «Душевное здоровье и *есть* свобода! – внушал он. – Говорят: „Вечная бдительность есть цена свободы“ – и теперь мы заполучили недремлющего сторожевого пса: тест КН. *Только проверенные воистину свободны!»*

На это, конечно, возразить было нечего. Кто раньше, кто

позже, но даже делегаты из тех стран, в которых противники Теста были сильны, вызывались пройти тест КН, чтобы доказать, что их душевное состояние позволяет брать на себя ответственность за судьбы мира. Те, кто проходили Тест успешно и оставались на своих постах, принимались за всеобщую проверку в своих странах. Бунты, демонстрации и кошмары вроде поджога обеих палат английского парламента (где размещался Североевропейский центр КН), Ватиканского восстания и взрыва водородной бомбы в Чили были, разумеется, работой фанатиков-безумцев, опирающихся на самые нестабильные элементы населения. Эти фанатики, как указали в своем меморандуме Президиуму доктор Спики и доктор Вальтраут, намеренно возбуждали и использовали широкоизвестный эффект массового психоза, «безумия толп». Единственным возможным ответом на массовый бред подобного рода могло стать немедленное увеличение темпов тотальной проверки в пораженных странах и немедленный запуск программы «Психолечебница».

К слову сказать, доктор Спики переименовал центры Превышения КН в Психолечебницы своей волей. Он воспользовался любимым словечком собственных противников. «На латыни, – говорил он, – слово asylum означает „убежище“. Пусть спадет черная тень со слова „психолечебница“, со слова „душевнобольной“, со слова „дурдом“! Да! Ибо психолечебница – это место исцеления души, где беспокойные обретают мир, слабые – силу, где пленники неадекватного восприятия действительности пробивают себе дорогу к свободе. Так примем же это слово с гордостью! С гордостью пойдем в психолечебницу, чтобы трудом вернуть себе Богом данное душевное здоровье или помочь другим, менее удачливым, возвратить себе это неотъемлемое право. Пусть одни лишь слова будут написаны над дверями любой психолечебницы в мире – „Добро пожаловать!“.»

Это цитата из его прекрасной речи перед Генеральной ассамблеей в день, когда Президиум объявил о начале всеобщего тестирования. Раз-два в год я прослушиваю эту запись. Конечно, у меня слишком много работы, чтобы впадать в депрессию, но порой так хочется услышать слова одобрения. Тогда я слушаю речь доктора Спики и всегда возвращаюсь к своим обязанностям с новым воодушевлением.

Если учесть, сколько работы предстояло проделать, – результаты проверок почему-то всегда оказывались немного выше, чем предсказывали аналитики Психометрического бюро, – Президиум Мирового правительства замечательно справился с проведением всеобщего тестирования ударными темпами за два года. Долгое время – почти шесть месяцев – казалось, что

результаты стабилизировались, когда примерно половина проверенных имела КН выше 50, а половина – ниже. Тогда мы полагали, что, если перевести в персонал Психолечебниц сорок процентов душевноздоровых, оставшиеся справятся с такой рутинной, но важной работой, как сельское хозяйство, энергоснабжение, транспорт и тому подобное. Но эту пропорцию выдержать не удалось. Оказалось, что шестьдесят процентов душевноздоровых требуют включить их в персонал, чтобы не разлучаться с отправленными в Психолечебницы близкими. Вот тогда начались проблемы с поддержанием порядка. Но даже в первоначальных планах предусматривалось оставить на территориях Психолечебниц фермы, заводы, электростанции и проводить там реабилитационную трудотерапию, так что в случае острой необходимости Психолечебницы можно было перевести на самообеспечение. Этим занимался весь свой срок президент Ким, и события доказали его мудрость. Такой был милый, мудрый старичок. Я прекрасно помню день, когда доктор Спики зашел ко мне в кабинет, и я сразу ощутила – случилась беда. Не то чтобы он был особенно подавлен или слишком бурно выражал свои эмоции, но походка доктора утратила всегдашнюю упругость, и голос чуть подрагивал от истинной скорби, когда он произнес: «Мэри-Энн, боюсь, у меня для вас печальная новость». Потом он улыбнулся, чтобы успокоить меня – он ведь знал, с каким напряжением мы работаем, и не хотел, чтобы лишние нагрузки сказывались на наших ежеквартальных Тестах. «Это президент Ким», – сказал доктор, и я сразу поняла – президент не заболел и не умер.

«Больше пятидесяти?» – спросила я, и доктор ответил все так же тихо и скорбно: «Пятьдесят пять».

Бедняжка президент. Он так усердно трудился эти три месяца, в то время как душевная болезнь уже гнездилась в нем! Это было грустно, но в то же время послужило и предупреждением. Как только президент Ким был госпитализирован, немедленно начались консультации на самом высшем уровне, и было принято решение тестировать руководящих работников не ежеквартально, как всех остальных, а ежемесячно.

Но еще до этого решения средние результаты Теста пошли вверх. Доктора Спики это не слишком взволновало – он предсказывал, что в переходном периоде к Мировому Душевному Здоровью такой подъем возможен. По мере того как число душевноздоровых за стенами Психолечебниц становилось все меньше, нагрузки становились все больше, а с ними возрастал и риск нервного срыва – то, что и случилось с президентом Кимом.

Позднее, говорил доктор, когда все больше выздоровевших начнут покидать Психолечебницы, нагрузка уменьшится. Кроме того, когда Психолечебницы будут не столь переполнены, персонал сможет перейти к индивидуальной работе с пациентами, что, в свою очередь, приведет к резкому увеличению числа выздоровевших. И, наконец, когда процедура лечения будет доведена до совершенства, во всем мире не останется Психолечебниц. Все люди Земли будут или душевноздоровыми, или выздоровевшими – как любил говорить доктор Спики, «неонормальными».

Правительственный кризис начался с неприятностей в Австралии. Некоторые чиновники Психометрического бюро обвинили австралийских оценщиков в фальсификации результатов Теста. Но это было невозможно, так как все компьютеры бюро связаны с Центральным банком данных Мирового правительства в Кеокуке. Доктор Спики заподозрил, что австралийские оценщики подделали *сам Тест,* и настоял на их немедленной проверке. Конечно, он оказался прав. То был заговор, а подозрительно низкие результаты проверок в Австралии объяснялись нарушением процедуры Теста. Многие заговорщики при независимой проверке показали КН более 80! Государственное правительство в Канберре проявило непростительную небрежность. Признай они свою вину, все бы сошло им с рук. Но они запаниковали, перебрались на овцеводческую ферму где-то в Кливленде и попытались отделиться от Мирового правительства. (По мнению доктора Спики, типичный массовый психоз: бегство от действительности, затем следует фуга и кататония.) К сожалению, Президиум был парализован – Австралия отделилась за день до того, как президент и Президиум должны были проходить ежемесячный Тест, и они боялись увеличить свой КН принятием ответственных решений. Так что этим печальным случаем вызвалось заняться Психометрическое бюро. Доктор Спики сам полетел на ядерном бомбардировщике и помогал разбрасывать листовки. В отваге ему было не отказать.

Когда австралийский инцидент разрешился, оказалось, что большая часть Президиума, включая президента Сингха, набрала больше 50 пунктов, а потому их обязанности временно взяло на себя Психометрическое бюро. Что было вполне разумно – Мировое правительство к этому времени занималось исключительно проведением Теста, обучением Персонала и организацией самообеспечения Психолечебниц.

Если перейти на личности, это означало, что доктор Спики, как глава Психометрического бюро, становился и. о. президента

Соединенных Штатов Мира. Я, как его личная секретарша, конечно, страшно им гордилась. Но ему высокое положение никогда не ударяло в голову.

Он был так скромен! Порой, представляя меня новым знакомым, он говорил: «Это Мэри-Энн, моя секретарша. – И добавлял, подмигнув: – Если бы не она, я бы давно набрал больше пятидесяти!»

Бывали моменты, когда я теряла надежду, потому что общий КН мира все рос и рос. Однажды я глянула на еженедельный результат: *средний* КН был равен 71.

«Доктор, – сказала я тогда, – мне порой кажется, что весь мир сходит с ума!»

«Посмотрите на это с другой стороны, Мэри-Энн, – ответил он. – Посмотрите на всех пациентов Психолечебниц – я знаю, их уже три целых и одна десятая миллиарда при 1,8 миллиарда Персонала, – но посмотрите на них! Они проходят лечение, они занимаются трудотерапией на заводах и фермах, они постоянно помогают себе и друг другу достичь душевного здоровья. Разумеется, средний коэффициент нормальности сейчас очень высок. Все они безумны. Но ими нельзя не восхититься. Они борются за душевное здоровье. И они… победят! – Он глянул в окно и, чуть покачиваясь на пятках, добавил тихо, как бы про себя: – Если б я не верил в это, как бы я мог жить дальше?»

Я знала, что он думает о своей жене.

Миссис Спики набрала 88 при первой же всеамериканской проверке. Уже много лет она находилась на территории Психолечебницы Большого Лос-Анджелеса. И если кто-то еще думает, что доктор Спики не был искренним в своих убеждениях, вспомните об этом! Он пожертвовал ради них всем.

Но даже когда Психолечебницы вошли в рабочий режим, когда мы справились с эпидемией в Южной Африке и с голодом на Украине и в Техасе, тяжкий груз не спал с плеч доктора Спики, потому что с каждым месяцем работников Психометрического бюро становилось все меньше. Кто-нибудь обязательно проваливался на ежемесячном Тесте, и его отправляли в Бетесду. В машинописном бюро никто больше месяца-двух не задерживался. И пополнять штат становилось все сложнее, потому что многие здоровые молодые люди шли добровольцами в Персонал, работать в Психолечебницах. Неудивительно – жизнь за решеткой была куда легче и приятнее, чем снаружи. Все так уютно, столько новых друзей и знакомых – я положительно завидовала этим девчонкам! Но я-то знала, в чем состоит мой долг.

По крайней мере, в здании ООН, давно уже переименованном

в Психометрическую башню, стало намного спокойнее. Порой целыми днями во всем небоскребе не было никого, кроме меня, доктора Спики и уборщика Билла (набиравшего ежеквартально 32 пункта, как часы). Все рестораны были закрыты, как и большая часть Манхэттена, но мы устраивали такие чудные пикники в бывшем зале Генеральной ассамблеи! А тишину постоянно нарушали звонки откуда-нибудь из Буэнос-Айреса или Рейкьявика, потому что у и. о. президента постоянно спрашивают совета по разным вопросам.

Но 8 ноября прошлого года – я никогда не забуду этот день, – когда доктор Спики диктовал мне план мирового экономического роста на следующую пятилетку, он внезапно прервался и спросил:

– Кстати, Мэри-Энн, какой у вас КН?

Мы проходили Тест за два дня до того – шестого числа. Мы всегда проходили его в первый понедельник месяца. Доктор Спики никогда не позволил бы исключить себя из правил Всеобщего Тестирования.

– Двенадцать, – ответила я и только потом сообразила, что это довольно странный вопрос. Нет, конечно, мы часто упоминали в разговоре свои коэффициенты, но странно было, что доктор поинтересовался моим, прервав важное государственное дело.

– Чудесно! – Доктор помотал головой. – Мэри-Энн, вы чудо! Это меньше, чем в прошлом месяце, верно?

– Мой КН всегда колеблется между 10 и 14, – ответила я. – Тут ничего нового, доктор.

– Когда-нибудь, – произнес он, и лицо его обрело то вдохновенное выражение, с которым он произносил свою эпохальную речь о Психолечебницах, – когда-нибудь нашим миром будут править люди, достойные править. Люди, чей КН равен нулю! Нулю, Мэри-Энн!

– Господи, доктор, – шутливо заметила я, хотя его возбуждение меня немного обеспокоило, – даже *вы* никогда не набирали меньше трех, да и то было почти год назад.

Он посмотрел как бы сквозь меня – очень неприятно.

– Когда-нибудь, – произнес он все с той же интонацией, – ни у кого в мире не будет КН более 50! А когда-нибудь не останется никого с КН более 30! Более 10! Лечение будет усовершенствовано. Я лишь диагност. Но лечение будет совершенствоваться! Мы найдем панацею! Когда-нибудь… – Он все смотрел на меня, а потом спросил: – Знаете, сколько я набрал в понедельник?

– Семь, – наугад бросила я. Семь он набрал в прошлый раз.

– Девяносто два, – ответил он.

Я рассмеялась, подумав, что он так шутит. Чувство юмора у него всегда было бесовское. Но я решила, что пора нам уже вернуться к плану мирового экономического роста, и весело заметила:

– Это не очень удачная шутка, доктор.

– Девяносто два, – повторил он, – и вы мне не поверите, Мэри-Энн, но это все из-за дынек.

– Каких дынек, доктор? – спросила я.

И вот тут-то он кинулся на меня через стол и попытался прокусить мне яремную вену.

Я применила захват дзюдо, позвала уборщика Билла, а когда тот пришел – вызвала робофельдшера, чтобы отвезти доктора Спики в Психолечебницу Бетесда.

Это случилось полгода назад. Я навещаю доктора Спики каждую субботу. Очень печальное зрелище. Он в округе Маклин – это у нас палата для буйных, – и каждый раз, видя меня, он визжит и исходит пеной. Но я не принимаю это на свой счет. Нельзя обижаться на душевнобольных. Когда Лечение будет усовершенствовано, его вылечат. А я пока держусь. Билл подметает на этажах, а я занимаюсь Мировым правительством. Это вовсе не так трудно.

МЕЛОЧЬ [25]

– Мелочь, – пробрюзжала тетушка, когда я положила обол ей под язык. – Там, куда я направляюсь, мне потребуется куда больше.

Мелочь – это точно. Тетушка почти не изменилась за последние часы, только дышать перестала.

– Прощай, тетя, – сказала я.

– Я еще никуда не ухожу! – огрызнулась тетушка. Вечно она на меня злится. – В этом доме есть комнаты, куда я даже не заглядывала.

Не пойму, о чем это она? В нашем доме всего две комнаты.

– Странный привкус у этого обола, – заявила тетка после долгой паузы. – Где ты его взяла?

Я не хотела объяснять ей, что это был мой талисманчик, круглая медная бляшка, а не монета, которую я таскала в кармане больше года, с тех пор как подобрала ее у ворот кирпичного завода. Конечно, я как могла оттерла бляшку, но способность чувствовать вкус у тетушки всегда была отличной, и теперь она ощущала привкус дорожной пыли, собачьего дерьма, дробленого кирпича и кроваво-металлический привкус меди. Так что я сделала вид, что не поняла вопроса.

– Странно, что у тебя хоть что-то нашлось, – продолжала тетушка. – Если через месяц у тебя хоть цент в кармане останется, я буду очень удивлена. Бедняжка! – Тетушка вздохнула бы, если бы еще дышала.

Я и не знала, что она будет беспокоиться обо мне даже после смерти, и расплакалась.

– Вот и хорошо, – удовлетворенно заметила тетушка. – Только не затягивай. Я далеко не пойду. Мне ужасно интересно, что же за той дверью, куда я не заходила.

Когда тетушка встала, она уже выглядела совсем молодой, моложе, чем в день моего рождения. Она легкими шагами пересекла комнату и отворила дверь, которой я раньше не видела.

– Лайла! – воскликнула она радостно и удивленно.

Лайла – это ее сестра, моя мама.

– Лайла, господи! – проговорила тетушка. – Неужто ты ждала здесь одиннадцать лет?

Ответа матери я не расслышала.

– Мне очень жаль, что приходится бросать девочку, – сказала тетушка. – Я делала все, что могла, очень старалась. Она славная. Прямо не знаю, что теперь с ней будет!

Тетушка никогда не плакала, а теперь у нее и слез не осталось, но от ее беспокойства за меня, от страха и жалости к себе я опять разрыдалась.

Тогда мать вылетела из той, новой комнаты в облике мотылька и увидела, что я плачу. Живущим слезы кажутся солеными, а умершим – сладкими, и они поначалу обожают сладости. Я этого тогда не знала, а только радовалась, что мама снова рядом, пусть даже в образе мотылька. То была радость размером с мотылька.

Больше в доме ничего не осталось от матери, а она свое получила; так что тетушка двинулась дальше.

Комната оказалась большой и довольно сумрачной, как склад, освещаемый лишь через потолочное окно. Вдоль одной стены стояли в ряд веретена, обмотанные льняной пряжей, под лучом света из оконца громоздился ткацкий станок. Тетушка всю жизнь была хорошей ткачихой и пряхой, и даже сейчас клубки тонкой нити, такой ровной, точно она сама пряла ее, искушали ее; станок был готов к работе, и челнок лежал рядом. Но ткацкое дело неспешное. Если она сейчас начнет свой саван, то работа затянется надолго, и как бы ей ни хотелось лечь в могилу подобно всем приличным людям, она не любила бросать едва начатые дела. Поэтому она так и беспокоилась о том, что со мной случится. Дела домашние она уже решилась оставить

недоделанными (все равно ими никто не занимается – так чего и нервы портить?), а о своем саване скрепя сердце позволила позаботиться окружающим. Она надеялась, что у меня хватит соображения выбрать ей, по крайней мере, чистую и не слишком драную простыню. Но перед искушением пощупать нить с одного из веретен, покатать в пальцах, проверяя на крепость и ровность, тетушка устоять не могла; так и пошла дальше, катая ниточку между большим и указательным пальцем.

Она оказалась очень кстати, потому что из новой комнаты тетушка вышла в коридор с множеством дверей, и каждая вела в новую комнату или зал, так что без льняной ниточки легко можно заблудиться.

Комнаты были чистые, немного пропыленные и почти пустые. В одной тетушка наткнулась на брошенную игрушку, грубо вырезанного деревянного коня – передние ноги срослись вместе, задние тоже, этакий двуногий мустанг с глазками-кругляшками. Взгляд показался тетушке знакомым, только не вспомнить откуда.

В другой комнате, узкой и длинной, лежало на прилавке множество непользованной кухонной утвари и сковородок, да еще три костяные пуговицы в ряд.

В конце длинного коридора, куда завел тетушку приманчивый отблеск металла, громоздилась какая-то машина, совершенно ей незнакомая.

В комнатушке без окон стоял густой запах, заполняя темноту, как живой зверь. Оттуда тетушка поспешно выскочила.

Хотя любопытство ее и разгорелось – тетушка и не знала, что у нее в доме столько комнат, – долгие блуждания и тишина давили на сердце. Тетушка постояла немного у дверей комнаты с запахом, принимая решение – с этим она никогда не мешкала, – и принялась наматывать нить на растопыренные пальцы левой руки, выбираясь из лабиринта. На это уходило почти все ее внимание, и, подняв взгляд, тетушка с недоумением обнаружила себя в комнате, где еще вроде бы ни разу не бывала – а должна была бы запомнить, уж больно тут просторно. Стены были сделаны из очень красивого мелкозернистого серого камня, а по нему золотой проволокой были выложены странные фигуры вроде созвездий, какими их изображают астрологи, – тонкие проволочки, соединяющие звезды или их скопления. Свод был высокий и светлый, пол – из черного мрамора, истертый множеством ног. «Как в церкви, – подумала тетушка, – только не в религиозной» (клянусь, она так и подумала). Еще узоры на стенах походили на картинки в учебнике, а комната – на зал большой городской библиотеки; книг в нем не было, но недвижная тишина, очень тетушке приятная, придавала залу величие и

покой. Так что усталая тетушка решила там и отдохнуть.

Она присела на пол – мебели-то не было – в углу близ той двери, куда уводила ее нить. Тетушка всегда любила иметь за спиной надежную стену. На открытом месте она чувствовала себя неудобно и постоянно оборачивалась через плечо. Хотя кто ей сейчас может навредить? «Ничего, – подумала она про себя, усаживаясь, – всякое бывает».

Пока она отдыхала, взгляд ее приковывали узоры из золотой проволоки. Некоторые фигуры казались знакомыми. Ей начало казаться, что эти узоры на самом деле – карта лабиринта, в котором она находится, что проволочки изображают коридоры, а звездочки – комнаты. Первый коридор, ведущий в комнату с веретенами, она опознала с уверенностью; но дальше, там, где должна была располагаться старая часть дома, узоры куда больше напоминали карту звездного неба, каким оно выглядит ранней зимой. Тетушка решила, что она таких карт не понимает, но продолжала всматриваться, блуждая взглядом от звезды к звезде, пока не нашла свой путь. Она встала и, наматывая на руку льняную нить, пошла назад.

Я все еще плакала в комнате. Мать моя ушла. Мотыльки ждут годами, прежде чем вылупиться, но живут всего лишь день. Гробовщики уже уходили, и мне пришлось последовать за ними, а заодно и тетушка пошла на похороны, хотя очень не хотела покидать дом. Она пыталась взять свою кудель, но нить оборвалась, едва тетушка вышла за порог. Я слышала, как она ругнулась шепотком, как ругалась всегда, просыпав сахар или оборвав нить: «Черт!»

Похороны нам не понравились. Тетушка впала в панику, когда могилу начали засыпать землей. «Мне душно! Мне душно!» – кричала она и напугала меня так, что мне казалось, будто это я кричу и задыхаюсь, и я упала в обморок. Люди подняли меня, помогли добраться до дому. А мне было так стыдно и муторно, что я потеряла тетушку.

Одна наша соседка, не самая хорошая, пожалела меня и была очень добра. Она говорила так умно, что я набралась храбрости и спросила: «Где моя тетушка? Она вернется?» Но соседка не знала и только пыталась меня утешить. Я не такая умная, как другие люди, но знаю, что мне нет утешения.

Соседка убедилась, что я смогу себя обиходить, и вечером прислала ко мне свою дочку с обедом. Я съела – было очень вкусно. Я ведь ничего не ела, пока тетушка ходила по другой части дома.

Ночью, в темноте, я лежала в спальне совсем одна. Поначалу мне было хорошо и весело, потому что я была сыта и

представляла себе, что тетушка лежит на соседней кровати, как всегда лежала. Потом мне стало страшно, и страх рос в темноте.

Из пола посреди комнаты вылезла тетушка. Красные плитки вздыбились и потрескались. В дырку просунулась ее голова, потом пролезло все тело. Она была темной, как земля, и совсем маленькой – не то что раньше.

– Оставь меня! – воскликнула она.

Я была слишком испугана, чтобы ответить.

– Отпусти меня! – вскричала тетушка.

Но это была совсем не моя тетушка, это была лишь старая ее часть, вернувшаяся с кладбища, из-под земли, потому что я думала о ней. А я не хотела видеть этой ее части, не хотела, чтобы она вернулась.

– Уходи! Прочь! – воскликнула я и закрыла голову руками.

Тетушка заскрипела тихонько, как плетеная корзинка. Я так долго жмурила глаза, что чуть не заснула. А когда посмотрела снова, никого в комнате не было – только темное пятно в воздухе и плитки на полу как новые. И я заснула.

Когда я проснулась на следующее утро, солнце било в окно и все было в порядке, только я не могла ступить на то место, где моя тетушка лезла сквозь пол.

После той ночи я боялась плакать, чтобы мои слезы не вернули ее пить их сладость или бранить меня. Но в доме было так одиноко с тех пор, как ее похоронили. Я не знала, что мне без нее делать. Пришла соседка, говорила, что мне надо найти работу; а на следующий день явился человек, сказал, что его послали кредиторы, и унес чемодан с одеждой и постельным бельем. Вечером в тот же день он пришел еще раз, потому что видел, что я одна, только заперла дверь. Поначалу он говорил ласково, просил его впустить, потом принялся тихонько угрожать мне, но я не отвечала. На следующий день приходил кто-то еще, но я приперла дверь кушеткой. Может, это была дочка соседки, но я боялась выглянуть и отсиживалась в задней комнате. Приходили чужие люди, стучали, но я не отвечала, и они уходили.

Я сидела в задней комнате, пока не увидела дверь, через которую в тот день прошла тетушка. Тогда я отперла ее сама. Я была уверена, что тетушка там. Но комната оказалась пустой. Пропали и ткацкий станок, и веретена, и никого там не было.

Я выглянула в коридор, но дальше не пошла. Сама я бы никогда не отыскала дороги в бесконечных коридорах и не разобралась бы в узорах звезд. Я была так напугана и несчастна, что вернулась назад, заползла в собственный рот и там спряталась.

Вытащила меня тетушка. Она была страшно сердита —я всегда испытывала ее терпение. Она говорила: «Давай же!» – и тянула меня за руку, да еще раз бросила: «Как тебе не стыдно!» Когда мы дошли до берега реки, она сурово оглядела меня, умыла мое лицо темной речной водой и пригладила мне волосы ладонями.

– Ну так я и знала, – вздохнула она.

– Прости, тетушка, – прошептала я.

– Ну ладно, – ответила она. – Пошли. Да смотри в оба!

С другой стороны реки приплыла лодка, и ее сейчас привязывали к причалу. Мы побрели туда через камыш и сумерки. Солнце зашло, но ни луны, ни звезд не было на небе, и ветра не было. Река была так широка, что я не видела другого берега.

Тетушка торговалась с лодочником. Я не вмешивалась – меня-то всегда все обсчитывают. Тетушка вытащила обол из-под языка и болтала не умолкая:

– Моя племянница. Что, неужели не понятно?! Конечно, за нее никто не платил! Она же не виновата. Я пришла с ней, чтобы присмотреть за нею. Вот плата. Да, это за нас обеих. Нет уж! – Она отдернула руку, едва показав блестящий медный кругляшок. – Это когда мы будем на том берегу!

Лодочник скривился, но принялся отвязывать веревку.

– Ну, пошли же! – сказала тетушка и, шагнув в лодку, протянула мне руку. Я последовала за ней.

ВОСТОК

ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ ПОТЕРПЕВШЕГО КРУШЕНИЕ ИНОЗЕМЦА КАДАНУ ДЕРБСКОМУ [26]

То, чего требует от меня мой господин, суть невозможно и немыслимо. Как может один человек описать весь мир? Конечно, можно маленьким карандашом очертить большой круг, но если круг так велик, что даже с высочайшей из башен незаметна его кривизна, то карандаш сотрется, едва начав свой труд. Сколькими голосами может говорить один голос? Как описать мне хоть один камень и какой камень мне избрать? Если я начну с того, что Земля есть третья планета в системе из девяти, что вращается она вокруг небольшой желтой звезды на среднем расстоянии 93 миллиона миль, что период ее обращения составляет 365 дней, а осевого вращения – 24 часа и обладает она спутником Луной, что я сказал, как не то, что год есть год, месяц есть месяц, а день есть день – а это вы и так уже знаете.

Но раз господину моему доставляет удовольствие просить меня о невозможном, и при этом просить без легкомыслия или жестокости, мне приходится искать ответа, при том что и я, и вы, мой господин, знаем, что любой мой ответ, будь он сколь угодно многословен, в конечном итоге будет означать лишь одно: «Простите меня».

Мгновение назад, когда я бросил взгляд на стоящую передо мной, подобно ожидающей восхождения горной гряде, монументальную задачу, мне пришло в голову, что у вашей просьбы может быть и иная, более высокая причина. Быть может, попросив меня описать мой мир, вы ищете не сведений о нем. Быть может, вы хотите слушать не слова, но молчание между словами, которое расскажет вам многое о вашем собственном мире. Если так оно и есть, я не против; строго говоря, мне так даже больше нравится. Ибо тогда моя задача не в том, чтобы описать мой мир словами, применимыми ко всем мирам, языком астрономии, физики, химии, биологии и пр., а в том, чтобы прежде всего останавливаться на личном и преходящем, случайном и необычайном. Описывать не класс цветковых растений, но резкий аромат розы «Сесиль Брюнер» в полном цвету, на балконе над широким заливом, озаренным городскими огнями, туманным и теплым сентябрьским вечером.

Обрисовывать не ход эволюции разума и историю человеческого рода, но долго и занудливо болтать о моей двоюродной бабушке Элизабет. Ни хрестоматия по истории, ни даже внимательное изучение миграции белой расы на запад, нашедшей свое логическое завершение в пути пионеров через Великие равнины, Скалистые горы и Сьерру к Тихоокеанскому побережью, не убедят вас в существенной необходимости вызывать к существованию мою тетушку Элизабет. Даже если я подробно опишу судьбу каждой из семей первопоселенцев в Вайоминге, существование тетушки будет выглядеть совершенно случайным. И только если я опишу вам ее саму, ее жизнь и смерть, вы, возможно, осознаете абсолютную необходимость ее бытия и через это, быть может, придете к пониманию этого тысячелетнего движения на запад, завершившегося на туманных океанских берегах, и затем, вероятно, – к новому взгляду на древние миграции вашего народа, или, вполне возможно, отсутствие таковых, или на природу неудач, или характер вашей тетушки, или на вашу, мой господин, душу.

Так что, господин мой, полагаю, вместо того чтобы извиняться или унижаться, я должен искренне поблагодарить вас за неожиданную и весьма приятную возможность поговорить о моей двоюродной бабушке и приняться за рассказ. Такая возможность нечасто выпадает второму офицеру на корабле Терранского межзвездного флота.

Но, полагаю, начинать с тетушки не стоит. Тема это сложная, и сейчас, когда я набираюсь смелости, чтобы прямо взглянуть на те отвратительные хребты, что мне предстоит одолеть (и кто знает, какие туманные моря я узрю с их вершин?), мне пришло в голову, что, в сущности, безразлично, с чего я начну и даже придерживаюсь ли я фактов. Что бы я ни поведал вам, если вы прислушиваетесь к тишине между словами, вы услышите правду. Как в музыке, мелодию слышишь, лишь уловив ритм, систему пауз между звуками. А мне подвластна лишь одна мелодия. Так что начну я со сказки.

Жил-был город. Все прочие города всех времен и народов во многом схожи. Этот же отличался от всех и все же полнее любого другого воплощал Идею города. Населяли его птицы, коты, люди и крылатые львы, примерно в равной пропорции. Львы все были грамотны – редко увидишь льва без фолианта в лапах. Кошки все были неграмотны, но весьма культурны. Посмотрев на большую кошачью семью, разлегшуюся за оградой в тени садового кустарника, или ритуальную схватку самцов на залитой лунным светом мощеной площади, или неторопливые прыжки серебряной девы с крыши на крышу, наблюдатель мог бы заключить, что коты

не только создали этот город, но и довели до совершенства искусство жить в нем. Но с первого же взгляда на каменных львов это предположение рассыпалось в прах. Ибо при всем их внешнем сходстве с котами абсолютное спокойствие львов, свое-обычное выражение благостной гордыни и сознания собственного превосходства, без сомнения, выражают состояние превыше обычного счастья, переходящее в экстаз. Вы видите трупик кота, плывущий под мостом вместе с бутылками от лимонада и гнилыми апельсинами, но поднимите взгляд – и он упрется в сидящего у ступеней льва, царственно хмурящегося, сложившего каменные крылья, ибо зачем ему улетать отсюда?

Легко предположить, что наименее счастливы из всех обитателей города птицы. Многие из них живут в клетках. Эти пленники определенно счастливы с виду, распевают кантаты в стиле Вивальди, поклевывают канареечье семя и пялятся на собственные золотые отражения в мишурно-блестящих украшениях, подвешенных в клетках. Но живут-то они все равно за решеткой. Голуби, правда, свободны, но они – нищие. Каждый день они слетаются на кормежку по звуку колоколов, а в промежутках между кормежками клянчат у туристов еще пожрать. Быть может, именно обида на это навязанное им тунеядство, паразитизм, смутный гнев, вызванный отсутствием опасностей, от которых стоит улетать, и деревьев, на которые можно сесть, делают их экскременты столь едкими. Но как бы там ни было, голуби разрушают самые хрупкие элементы ткани города, старательно и губительно обсирая хрупкий камень карнизов, шпилей и барельефов. Даже львы не могут чувствовать себя в безопасности. Однако в разрушительной деятельности голубей давно перещеголяли люди, чьи заводы на ближайшей суше изрыгают пары, превосходящие едкостью экскременты самого обиженного голубя, и чьи моторные лодки старательно пытаются утопить город, прежде чем тот рухнет окончательно.

Ибо качество, которым Венеция в наибольшей степени отличается от всех прочих городов и в то же время наиболее ясно и полно описывает все и каждый из них, – это ее хрупкость.

Город, великолепный, древний, многолюдный и живой, полный тысяч судеб, может быть разрушен голубем… или катером… или клубом дыма? Смешно!

Но что же тогда разрушает города? Почему пали великие? Оглянитесь, и вы увидите игрушечного коня, бронзовый ключ, пару человек, болтающих за кружкой вина, перемену погоды, прибытие пары испанцев. Вовсе ничего. Голубь, катер, щелчок счетчика Гейгера.

Первый урок Венеции – близость смерти.

Эту ясную и очевидную весть германцы и прочие северные варвары (город всегда осаждали германцы; его потому и основали в самой глубокой части лагуны, чтобы защититься от маниакального рвения лангобардских туристов – как позднее оказалось, и того было мало) переврали, заявляя, что раз Венеция более обычного смертна, то она и есть город смерти, умирания, заразы и декаданса, город, лишенный собственной жизни, подобно своим голубям питающийся как паразит за счет приезжих, лихорадочный бред погибели, место, куда едут умирать стареющие педерасты. Это, само собой, ерунда. То, что ближе всего к смерти, всего живее. Нет на всей Земле другого места, где так высоко вздымаются зеленые, мутные, прекрасные волны жизни, где так ясно ощущается присутствие живых птиц, кошек, львов и людей, которые гуляют, болтают, поют, ссорятся, поднимают и опускают жалюзи, готовят обед, завтракают, выходят замуж, справляют поминки, перевозят кока-колу и цукини на лодках для перевозки кока-колы и цукини, толкают речуги, играют на музыкальных инструментах, слушают радио, продают электрические «йо-йо», мерцающие как светляки в темноте перед дверями собора, прогуливают уроки, гоняют мяч, дерутся, рыбачат, целуются, закидывают демонстрантов слезоточивым газом, ходят на демонстрации, сокращают свои жизни, выдувая невообразимо хрупкие пузырьки цветного стекла, и так далее, и так далее – в общем, живут. Если бы я был стареющим немецким педерастом, я бы ужасно глупо чувствовал себя в Венеции. Страшно неуместно.

Я слыхал, как две венецианские домохозяйки двадцать минут подряд обсуждали через зацветший канал сравнительные особенности различных марок электрических миксеров, в деталях и с огромным энтузиазмом. Такой разговор не свидетельствует о предсмертном, упадочническом экстазе. Ведь здесь и жизнь так сильна потому, что ее слышно. В других городах ее звуки заглушает автомобильный рев. Там внятен лишь шум моторов. В Венеции слышнее людской шум. А с ним и шум птиц, и шум мартовских котов; львы не шумят, хотя книги их тихонько шепчут: «Pax tibi, Marce, evangelista meus». А потому тишина Венеции – самая шумная тишина, какую только можно себе представить.

Когда в межзвездном перелете, вслушиваясь в звуки вакуума, я ощущаю беспредельный ужас (упомянутый еще Паскалем, хотя тот никогда не летал на звездолетах), я избавляюсь от него очень простым способом: представляю себе, что ранним утром выхожу из номера отеля в Венеции. Вначале стоит тишина, туман над гладкими, зелено-голубыми водами лагуны, тишина узкого

канала меж каменных стен за углом. Я знаю, мост перед отелем отражается в этой тишине совершенной дугой. За этим мостом виден еще один, и еще, и каждый мост поддерживает его отражение, сливаются воедино воздух, вода, камень и стекло. Заводит свое воркование голубь на крыше у чердачного окошка. Это первый звук утра – воркование и шелест ветра в расправляемых крыльях. Слышатся шаги по улице, мимо парадного, по мосту и уходят вдаль – второй звук, узор звуков и пауз. Кто-то бьет стекло на заднем дворе отеля. По утрам в венецианских отелях обязательно бьют стекло. Может, это ритуал встречи рассвета, а может, таким образом жители избавляются от стеклянного барахла, не распроданного туристам за вчерашний день, не знаю. Может, так в Венеции моют тарелки. Звук резкий, но довольно музыкальный, и сопровождается он громкой руганью и смехом. К этому моменту ужас гигиенической бездны начинает отпускать меня. Пока осколки стекла выметают, во дворе внизу начинает играть радио. Кто-то с одного моста кричит приятелю на другом что-то на непонятном мне венецианском диалекте. А потом гулкие колокола кампанилы и меньшие колокола трех соседских церквей более-менее в такт начинают созывать прихожан к заутрене. Музыка звучит, и я дома слушаю глубокую, поразительную тишину города жизни.

Я родился не там и никогда там не жил. Так что слова «я дома» – всего лишь бейсбольная метафора.

Я был в Венеции четырежды, каждый раз – по четыре дня. И каждый раз она погружалась в воду чуть-чуть глубже.

Если вы, господин мой, спросите меня в лоб (как попросили описать Землю), хочу ли я вернуться на Землю и почему, я отвечу, наверное: «Да – чтобы увидеть Венецию зимой». Я видал ее лишь поздней весной и летом. Говорят, зимой там стоят жуткие холода и музеи закрыты даже чаще, чем летом, так что не зайти туда, не погреться у пламенно-золотых костров Тициана и Веронезе. Меж камнями сочится белый туман. Зимние бури часто заливают площадь Сан-Марко – эту прекраснейшую в мире гостиную, чьим потолком служит сияющее небо. Море заглядывает даже в сам собор, волны и мозаики сплетают отблески и отражения, пять золотых куполов плывут над волнами, как воздушные шары, четыре бронзовых коня Нептуна фыркают и дрожат, почуяв родную стихию. Львы, без сомнения, продолжают смотреть вниз, отрешенно, мрачно, оценивающе, даже не соизволив шевельнуть крылом. Гондолы, наверное, плавают, привязанные к самым кончикам причальных мачт, или бьются на привязи о потолки затопленных лодочных домиков. А может, они дрейфуют по площади, мимо коней и золотых дирижаблей, мимо процессии

Ангела и Трех Царей, мимо колокольни, рухнувшей в 1903 году и возведенной вновь, мимо обиженных голубей, ищущих ежедневной кормежки над холодными, сизыми неглубокими водами? Мерцают ли вечерами под водой электрические «йо-йо», приманивая духи утопших лангобардов?

Гондолы что зимой, что летом – черны. Их перекрасили в черный цвет давным-давно по случаю какого-то траура: из-за проигранной битвы, падения республики, смерти ребенка… не помню, почему гондолы носят траур. Это самые изящные суда, созданные человеческими руками, не исключая и того корабля, на котором я прилетел. Мягок предупредительный клич гондольера, выводящего свою лодочку на солнце из узкого канала, что течет под балконами и арками мостов, сквозь переливы теней, и все же далеко разносится он по мощеным и водным улицам: «Хоий-й!» – а кошки и львы на разогретых солнцем мостах только слушают молча, как молчите вы, господин мой, сейчас.

ДНЕВНИК РОЗЫ [27]

30 августа

Доктор Нэйдс посоветовала мне вести рабочий дневник. Она сказала, что если тщательно и прилежно записывать каждый шаг, то потом можно перечитать записи, вспомнить свои наблюдения, заметить ошибки и сделать соответствующие выводы, отследить прогресс в позитивном мышлении или отклонения от него и таким образом постоянно корректировать направление работы при помощи метода обратной связи.

Я обещаю делать записи в этой тетради каждый день и перечитывать их в конце каждой недели.

Конечно, жаль, что я не вела такой дневник во время ассистентской практики, но теперь, когда у меня есть собственные пациенты, это гораздо важнее.

На вчерашний день у меня было шесть пациентов — полная нагрузка для врача-скописта, но четверо из них — дети, больные аутизмом, с которыми я работала весь год для исследований доктора Нэйдс по запросу натального псих. бюро (мои записи по этим вопросам хранятся в клинич. псих. делах). Остальные двое — недавно поступившие пациенты: Ана Джест, 46, упаковщица в пекарне, замуж., детей нет, д-з депрессия, направлена городской полицией (попытка самоубийства); Флорес Соде, 36, инженер, нежен., д-з не поставлен, направлен из ТРТУ (поведение психопатическое — агрессивное).

Доктор Нэйдс говорит, что очень важно делать записи каждый день, как только на работе что-то происходит:

спонтанность — вот что наиболее информативно в самоанализе (как и в аутопсихоскопии). И лучше все записывать, а не надиктовывать на пленку. А чтобы я не чувствовала себя неловко — дневник надо вести абсолютно конфиденциально и никому не показывать. Это трудно. Раньше я не делала ничего подобного. И мне до сих пор кажется, что я пишу все это для доктора Нэйдс! Возможно, если записи окажутся интересными, я смогу позже показать ей кое-что и получить совет.

Я предполагаю, что у Аны Джест депрессия климактерического периода и достаточно назначить ей гормональную терапию. Вот! А теперь посмотрим, какой из меня получится диагност. Завтра проведу скопические исследования обоих пациентов, мне не терпится начать работу. Хотя, конечно, коллективная работа тоже была очень поучительной.

31 августа

В 8:00 провела получасовой скопический сеанс с Аной Дж. С 11:00 до 17:00 анализировала полученные результаты. NB: На следующем сеансе отрегулировать адаптер правого полушария! Слабая визуальная передача. Слуховое отображение очень тихое, сенсорное — слабое, тела — неустойчивое. Завтра получу лабораторные анализы гормонального баланса.

Я не перестаю изумляться, насколько банальны мысли большинства людей. Конечно, несчастная женщина находится в состоянии ужасной депрессии. Исходные данные в измерении сознания оказались неясными и непоследовательными, измерение подсознания глубоко открыто, но как-то неразборчиво. Хотя то, что я затем выявила в этой неразберихе, оказалось столь тривиальным! Пара старых туфель и слово «география»! Туфли видны неясно — это не более чем схема, контур пары туфель, возможно, женских, возможно, мужских, либо темно-синих, либо коричневых. Хотя у Аны, несомненно, преобладает визуальное восприятие, она ничего не видит отчетливо. Как и многие люди. Как это угнетает! Когда я училась на первом курсе, то часто представляла себе, как прекрасны мысли других людей, думала, как интересно заглянуть в столь разнообразные миры, увидеть всевозможные цвета человеческих страстей и идей. Какая наивность!

Впервые я поняла, как ошибалась, на занятии док. Рамиа, когда мы изучали пленку одного очень известного преуспевающего человека и я заметила, что исследуемый никогда не смотрел на деревья, никогда не дотрагивался до них, не может отличить дуб от тополя или даже маргаритку от розы. Все растущее он определял лишь схематическими понятиями —

«деревья» и «цветы». Точно также обстояли дела и с лицами людей, хотя этот человек применял различные уловки, чтобы различать окружающих: он запоминал не лица, а имена — словно этикетки. Конечно, так действуют индивидуумы, у которых преобладает абстрактное мышление, но и восприятие конкретно мыслящего разума часто представляется в виде неразборчивой грязной мешанины — суп из фасоли с плавающими в нем туфлями.

Но не слишком ли я углубляюсь в детали? Весь день я изучала депрессивные мысли и сама впала в депрессивное состояние. Вот, чуть выше написано: «Как это угнетает!» Да, я уже вижу ценность этого дневника. Я слишком впечатлительна.

Конечно, именно поэтому я являюсь хорошим психоскопистом. Но это опасно.

Сеанса с Ф.Соде сегодня не предвидится, поскольку еще не прошло действие транквилизаторов. Пациенты, присланные ТРТУ, часто настолько напичканы лекарствами, что их невозможно скопировать несколько дней.

Завтра в 4:00 сеанс РЕМ-скопирования. Пора идти спать!

1 сентября

Док. Нэйдс сказала, что мои вчерашние записи превзошли все ее ожидания, и предложила показывать дневник, когда у меня вновь возникнут какие-либо сомнения. Спонтанные мысли — не техническая информация, излагаемая в больничных картах. Надо выбросить все несущественное. И обращать внимание на важное.

Сон Аны был интересный, но довольно жалкий. Волк, который превратился в блинчик! Такой отвратительный, расплывчатый, волосатый блинчик. Визуальное восприятие А. четче в состоянии сна, но тонус чувств остается низким (но помни: ты исследуешь пациента — не пытайся встать на его место). Сегодня начали курс гормональной терапии.

Ф.Соде проснулся, но он в таком смятении, что не в состоянии Идти на сеанс скопирования. Напуган. Отказывается от пищи. Жаловался на боль в боку. Я думала, он не понимает, в какой клинике находится, и сказала, что в физическом отношении с ним все в порядке. Он ответил: «Откуда, к черту, вы это знаете?» — что действительно справедливо, поскольку пациент, согласно обозначению «V» в больничной карте, одет в смирительную рубашку. Я осмотрела Соде и обнаружила кровоподтеки и ушибы. Рентген показал перелом двух ребер. Я объяснила пациенту, что он находился в состоянии, когда насильственное ограничение подвижности было необходимо, чтобы избежать повреждений, которые он мог нанести сам себе.

Он сказал: «Каждый раз когда один из них задавал вопрос, второй бил меня». Соде несколько раз повторил эту фразу, смущенный и злой. Параноидальные галлюцинации? Если после того как пройдет действие лекарств, ничего не изменится, я буду придерживаться этого предположения. Соде реагирует на меня довольно хорошо. Когда я пришла к нему с рентгеновским снимком, он спросил, как меня зовут, и согласился поесть. Мне пришлось извиниться перед ним — не лучшее начало в лечении параноика. Агентство, которое прислало пациента, или врач, который его принимал, должны были отметить повреждение ребер в больничной карте Соде. Подобная небрежность внушает беспокойство.

Но есть и хорошие новости. Рина (объект исследования аутизма номер 4) сегодня увидела личностное предложение. Увидела — тяжелым, черным, букварным шрифтом, все целиком на переднем плане измерения сознания: «Я хочу спать в большой комнате». (Она спит одна из-за недержания кала.) Предложение держалось ясно около 5 секунд. Рина мысленно видела его так, как я — на голографическом экране. Я наблюдала слабую мысленную вербализацию, без применения голоса, без единого звука. Рина никогда еще не говорила о себе в первом лице, даже сама с собой. Я рассказала о происшедшем Тио, и он спросил девочку после сеанса:

— Рина, где ты хочешь спать?

— Рина спит в большой комнате.

Ни одного местоимения, ни единого проявления воли. Но однажды она скажет «я хочу» — скажет громко вслух. И на этом, возможно, построится личность: на основании сказанного. Я хочу, а потому существую.

Так много страха вокруг. Откуда столько страха?

4 сентября

На оба выходных уезжала в город. Провела время с Б. в ее новой квартире на северном берегу. Она живет одна в трех комнатах! Но мне не очень нравятся эти старые здания, полные крыс и тараканов, и вся обстановка там такая старая и странная, словно по углам притаились года бедности и голода и поджидают своего часа. Я была рада вернуться домой, в свою маленькую комнатку, где я по-прежнему одна, но где рядом, на том же этаже, живут друзья и коллеги. Все выходные мне хотелось написать что-нибудь в дневнике. Привычки появляются у меня очень быстро. Непреодолимая тенденция.

У Аны заметные улучшения: одета, волосы причесаны, вязала. Но сеанс прошел довольно уныло. Попросила ее подумать о

блинчиках, и все подсознательное измерение заполнилось волосатым, мрачным, плоским волком-блином, хотя в измерении сознания пациентка покорно пыталась визуализировать чудесный сырный блин. Не так уж плохо: цвета и контуры получаются отчетливее. Я все еще рассчитываю на обычное гормональное лечение. Они, конечно, предложат ЭКТ, параллельно возможен и анализ результатов скопирования, мы бы начали с волка-оладьи. Но действительно ли нужно это делать? Двадцать четыре года Ана работала упаковщицей в пекарне, ее физическое здоровье оставляет желать лучшего. Она не в состоянии изменить жизненную ситуацию. По крайней мере при нормальном гормональном балансе она сможет смириться с собственной жизнью.

Ф.Соде: отдохнул, но все еще крайне подозрителен. Чрезвычайно испугался, когда я сказала, что пришла пора для первого сеанса. Чтобы успокоить его, я села и начала объяснять сущность и действие психоскопа. Соде внимательно слушал и наконец спросил:

— А вы собираетесь использовать только психоскоп?

— Да, — ответила я.

— Не электрошок? — не унимался он.

— Нет.

— А вы можете мне это пообещать? — поинтересовался он.

Я объяснила, что я — психоскопист и никогда не работала с оборудованием электроконвульсивной терапии, что этим занимается совершенно другое отделение. Я сказала, что в настоящий момент работа с ним носит диагностический характер, а не терапевтический. Соде слушал очень внимательно. Он человек образованный и понимает разницу между диагностикой и терапией. Интересно, что он попросил меня пообещать. Подобные действия не подходят под параноидальную схему: люди не просят обещаний у тех, кому не доверяют. Соде покорно пошел со мной, но, войдя в комнату скопирования и увидев аппаратуру, остановился и сильно побледнел. Я рассказала шутку док. Авен с зубоврачебным креслом, которое она обычно использовала для особо нервных пациентов.

— По крайней мере это не электрический стул, — вздохнул Ф.С.

Я считаю, что, когда имеешь дело с интеллигентными людьми, лучше не делать тайны из процесса диагностики и лечения, демонстрируя таким образом свое превосходство над пациентом и заставляя его чувствовать себя беспомощным (см. Т.Р.Олма «Техника психоскопии»). Поэтому я показала Соде стул и электродный шлем и объяснила, как все это действует. Соде

понаслышке знал кое-что о психоскопе и задавал вопросы, свидетельствующие о его инженерном образовании. По моей просьбе он сел на стул. Пока я укрепляла зажимы шлема. Соде обильно потел от страха, и запах пота, очевидно, очень смущал беднягу. Если бы он знал, как пахнет Рина, когда в очередной раз наложит в штаны! Соде закрыл глаза и так сильно вцепился в подлокотники, что у него побелели кисти. Экраны тоже оставались белыми.

— Но ведь вам совершенно не больно, разве не так? — шутя спросила я через некоторое время.

— Не знаю.

— А что, больно?

— Вы хотите сказать, что аппарат включен?

— Уже девяносто секунд.

Он открыл глаза, попытался оглядеться, насколько это позволяли зажимы электродного шлема, и спросил:

— Где экран?

Я объяснила, что исследуемому никогда не показывают работающий экран, поскольку воплощение мыслей может оказаться весьма волнующим и беспокоящим.

— Наподобие фоновых шумов от микрофона? — Соде применил сравнение, точно такое, какое обычно использует на сеансах док. Авен. Ф.С. — определенно образованный и умный человек.

NB: Умные параноики чрезвычайно опасны!

— Что вы видите? — спросил он.

— Сидите спокойно, — ответила я, — я хочу видеть не то, что вы говорите, а то, что думаете.

— Но это, в общем-то, вас не касается, — буркнул Ф.С., хотя и довольно вежливым тоном, как будто пытался пошутить.

Между тем белый цвет страха на экране поглотили темные, интенсивные волевые витки, а через несколько секунд все измерения сознания закрыла роза: распустившаяся розовая роза, прекрасно ощущаемая и визуализированная, четкая и устойчивая.

— О чем я думаю, доктор Собел? — спросил Соде.

— О медведях в зоопарке. — Интересно, почему я так ответила пациенту? Самозащита? От чего?

Соде засмеялся, и подсознание стало кристально-черным, рельефным, роза потемнела и заколебалась.

— Я пошутила. Не могли бы вы вернуть розу? — Экран тут же побелел, отображая реакцию страха. — Послушайте, — настаивала я, — так мы далеко не уйдем, если на первом же сеансе начнем понапрасну тратить время. Чтобы мы вместе смогли эффективно работать, вам надо многому научиться, а мне

— очень много узнать о вас. Поэтому давайте больше не будем шутить, хорошо? Просто расслабьтесь и думайте о чем угодно.

В измерении сознания возникли смятение и какие-то слова, подсознание поблекло и окрасилось в серый цвет, отображая подавленность. Роза несколько раз появлялась, но очень слабо и неустойчиво. Соде пытался сконцентрироваться на цветке, но не мог. Я увидела несколько быстро меняющихся образов: себя, свою рабочую форму, форму работников ТРТУ, серую машину, кухню, палату для буйных (сильный слуховой образ — крики), стол, бумаги на столе. Соде сосредоточился на бумагах, которые оказались чертежами какой-то машины, и начал их просматривать — намеренно и довольно эффективно.

— Что это за машина? — наконец спросила я.

Соде начал отвечать вслух, а затем замолчал, и я услышала его мысленный ответ в наушниках: «Схема ротационного мотора для тяги» — или что-то вроде этого, точные слова, конечно, записаны на пленке. Я повторила услышанную фразу и спросила:

— Но это не классифицированные планы, да?

— Нет, — вслух ответил он и добавил: — Я не знаю никаких секретов.

Реакция на вопрос была напряженной и запутанной, каждое слово поднимало рябь и волнение на всех уровнях, соединяющиеся кольца быстро и широко развертывались над сознанием и в подсознании. Через несколько секунд все это закрыла огромная вывеска, появившаяся на переднем плане сознания, которую Соде визуализировал намеренно, как розу и чертежи. Снова и снова читая надпись на вывеске, Соде мысленно выкрикивал прочитанное: «НЕ ВМЕШИВАЙСЯ! НЕ ВМЕШИВАЙСЯ! НЕ ВМЕШИВАЙСЯ!»

Затем все начало мерцать и затуманиваться, и вскоре стали преобладать соматические сигналы.

— Я устал, — вслух сказал пациент, и я закончила сеанс (12,5 мин.).

Сняв с Соде шлем и расстегнув зажимы, я принесла ему чашку чая со стойки персонала в холле. Когда я предложила пациенту чай, на глазах его показались слезы. Руки Соде настолько занемели от сжимания подлокотников, что он с трудом смог взять чашку. Я сказала, чтобы он расслабился и перестал бояться, так как мы пытаемся помочь ему, а не навредить.

Соде взглянул на меня широко раскрытыми глазами, в которых, к сожалению, ничего нельзя было прочесть. Жаль, что я уже сняла с него шлем. Наверное, никогда нельзя поймать на психоскопе самые лучшие моменты.

— Доктор, почему я в этом госпитале? — спросил он.

— Для диагностики и терапии, — ответила я.

Я сказала, что он, вероятно, не может вспомнить то, что произошло, но вел он себя весьма странно. Соде спросил, как и когда, и я ответила, что все прояснится, когда терапия возымеет свое действие. Даже если бы я знала подробности его психотического эпизода, то сказала бы то же самое. Таковы правила врачебной этики. И все же я чувствовала, что занимаю неверную позицию. Если бы отчет ТРТУ не был классифицирован, я бы спокойно беседовала с пациентом, основываясь на знаниях и фактах. И смогла бы лучше отреагировать на то, что он произнес в следующую секунду:

— Меня разбудили в два часа утра, отволокли в тюрьму, допрашивали, били и пичкали таблетками. Полагаю, что после этого я мог вести себя странно. Как вы думаете?

— Иногда человек, находящийся в состоянии стресса, неправильно истолковывает действия окружающих, — ответила я. — Пейте свой чай, и я отведу вас обратно в палату. У вас поднимается температура.

— Палата… — Соде как-то странно поморщился, а затем воскликнул в совершенном отчаянии: — А может, вы не знаете, почему я на самом деле здесь?

Это очень странно, он как будто включил меня в систему галлюцинаций, приняв на «свою сторону». Надо почитать Рейнгельда. Мне следовало учесть, что пациенты обычно переносят галлюцинации в реальную жизнь.

Все послеобеденное время анализировала голограммы Джест и Соде. Я никогда еще не видела психоскопические визуализации столь прекрасные и яркие, как эта роза, не сравнимая даже с вызванными лекарствами галлюцинациями. Тени одного лепестка, падающие на другой, их бархатисто влажная структура, полный солнца розовый цвет, желтая центральная часть — уверена, при наличии в психоскопе обонятельных адаптеров я бы почувствовала запах: это был не мысленный образ, а настоящий, живой, выращенный в земле цветок на колючем стебле.

Я очень устала, надо идти спать.

Перечитала написанное. Правильно ли я веду дневник? Я пишу то, что случилось, и то, что кто-то сказал. Это спонтанно? Но все это важно для меня.

5 сентября

Сегодня за ленчем обсуждала с док. Нэйдс проблему сопротивления сознания. Я объяснила, что работала с подсознательными блоками (дети и депрессивные пациенты, такие, как Ана Дж.) и имею некоторый опыт в этом деле, но еще

никогда не сталкивалась с такими блоками сознания, как у Ф.С., со знаками «НЕ ВМЕШИВАЙСЯ!», или методом, который он использовал сегодня на протяжении всего 20-минутного сеанса: концентрация на дыхании, физических ритмах, боли в ребрах и визуальном осмотре комнаты скопирования. Нэйдс предложила в случае повторения подобных уловок использовать повязку на глазах и сосредоточить внимание на измерении подсознания, поскольку пациент не может контролировать эту зону. Удивительно, как велика зона взаимодействия сознания и подсознания у Соде и насколько одно резонирует с другим. Я считаю, что концентрация на дыхательном ритме позволила ему достигнуть состояния, подобного трансу. Хотя, конечно, так называемый транс — всего лишь оккультный фокус, примитивный трюк, не представляющий интереса для психиатрической науки.

Ана сегодня по моей просьбе продумывала тему «День моей жизни». Все такое серое и унылое — бедная женщина! Она никогда не думала с удовольствием даже о пище, хотя и живет на минимальном рационе. Единственное, что на какое-то мгновение проявилось отчетливо, — детское лицо, ясные детские глаза, розовая вязаная шапочка, круглые щеки. В обсуждении после сеанса Ана рассказала, что по дороге на работу всегда проходит через школьный двор, потому что ей нравится, как «малыши бегают и весело кричат». Муж Аны воплотился на экране в виде большого мешковатого рабочего костюма и сварливого угрожающего бормотания. Интересно, знает ли бедная женщина, что много лет не видела лица собственного мужа и не слышала ни единого его слова? Но разговаривать с ней об этом бесполезно. Может, и хорошо, что она ничего не видела и не слышала.

Сегодня я заметила, что Ана вяжет розовую шапочку.

По рекомендации док. Нэйдс читала «Неприятие» Де Кама — главу «Исследование».

6 сентября

В середине сеанса (вновь сосредоточенное дыхание) я громко позвала:

— Флорес!

Оба пси-измерения мгновенно отреагировали, экран окрасился в белый цвет, но соматические реакции наступили гораздо позднее. Через 4 секунды Соде ответил вслух, вяло. Нет, это не транс, а аутогипноз.

— Ваше дыхание, — сказала я, — контролируется аппаратурой. Мне совершенно не надо знать, что вы все еще дышите. Это скучно.

— А мне нравится вести собственный контроль, доктор, — ответил он.

Я подошла, сняла с глаз Соде повязку и посмотрела на него. У него приятное лицо, типичная внешность технического работника, доброго, но упрямого как осел. Пишу какие-то глупости. Но не собираюсь ничего вычеркивать. В дневнике я вольна писать все, что приходит в голову. У ослов очень даже симпатичные морды. Все знают, что эти копытные тупы и упрямы, зато выглядят мудро и спокойно, как будто им приходится много страдать и терпеть, но они не видят причин для недовольства, словно знают какую-то таинственную причину, по которой следует о недовольстве забыть. А белые круги вокруг ослиных глаз придают им беззащитный вид.

— Чем больше вы дышите, — продолжила я, — тем меньше думаете. Мне нужна ваша помощь. Я пытаюсь выяснить, чего вы боитесь.

— А я знаю, чего боюсь, — хмыкнул Соде.

— Так почему же вы не говорите мне?

— Вы никогда меня не спрашивали.

— Очень неблагоразумно, — разозлилась я, хотя теперь понимаю, что возмущаться неблагоразумным поведением умственно больного просто смешно. — Ну хорошо, я спрашиваю вас сейчас.

— Я боюсь электрошока, — задыхаясь, проговорил он. — Боюсь, что разрушат мой разум. Что будут держать здесь. Или выпустят отсюда, когда я буду уже не в состоянии что-либо вспомнить.

— Прекрасно, так почему бы вам не подумать об электрошоке и всем прочем, когда я смотрю на экраны?

— А почему я должен это делать?

— А почему бы и нет? Вы рассказали мне о своих страхах, так почему не можете о них подумать? Я хочу посмотреть, какого цвета ваши мысли!

— Цвет моих мыслей — не вашего ума дело, — со злостью сказал Соде, но в этот момент я повернулась к экрану и увидела там незащищенное отображение мыслительной активности.

Конечно, пока мы говорили, все записывалось на пленку, и после обеда я изучала эти записи. Просто восхитительно. Два мысленных словесных уровня идут отдельно от произносимых вслух слов. Все сенсорно-эмоциональные реакции очень интенсивны и невероятно сложны. Например, меня Соде «видит» по крайней мере на трех различных мыслительных уровнях, а может, и больше, и анализ невероятно затруднен. Соотношение между сознанием и подсознанием чрезвычайно запутано,

воспоминания и текущие впечатления переплетаются крайне быстро, и все это сливается вместе. Мышление Соде напоминает машины, которые он изучает, — весьма замысловатые детали, объединенные единой математической гармонией.

Когда Соде понял, что я наблюдаю за экраном, он поднял крик:

— Извращенка! Подглядывает за чужими мыслями! Оставьте меня в покое! Убирайтесь! — Он обхватил голову руками и заплакал.

На экране на несколько секунд возникла отчетливая фантазия: Соде срывает шлем и зажимы с рук, крушит аппаратуру, разбивает ее, выскакивает из здания, а там, снаружи, находится высокий холм, покрытый короткой сухой травой, и Соде стоит один под темнеющим вечерним небом. Такой решительный и сильный в мечтах человек на самом деле сидел в кресле, удерживаемый многочисленными зажимами и всхлипывал.

Я прервала сеанс, сняла с пациента шлем и спросила, не хочет ли он чая. Он отказался отвечать. Тогда я освободила ему руки и принесла чашку. Сегодня для персонала поставили даже сахар, целую коробку. Я сказала Соде, что положила ему два куска сахара.

Отхлебнув немного чая, он заговорил вредным ироничным тоном, поскольку очень стыдился своих слез:

— А вы знаете, что я люблю сахар. Наверное, это ваш психоскоп сказал вам, что я люблю сахар.

— Не ведите себя так глупо, — ответила я, — сахар нравится всем.

— Нет, маленький доктор, не всем. — Затем таким же ехидным тоном Соде спросил, сколько мне лет и замужем ли я. — А, не хотите выходить замуж? — язвительно осведомился он. — Преданы работе? Помогаете душевнобольным вернуться к созидательной жизни на благо отечества?

— Мне нравится моя работа, — ответила я, — потому что она трудная и интересная. Как и ваша. Вам ведь нравится ваша работа, не так ли?

— Нравилась когда-то. Но всему теперь конец.

— Почему?

— Зззззззт! — Соде постучал по голове. — И ничего нет. Правильно?

— Почему вы так уверены, что вам предпишут электрошок? Я еще даже не поставила вам диагноз.

— Диагноз? — переспросил он. — Послушайте, прекратите ломать комедию, прошу вас. Мой диагноз уже установлен.

Известными докторами из ТРТУ. Тяжелый случай неприятия. Диагноз: «зло»! Терапия; «запереть в комнате, полной кричащих и дерущихся человеческих развалин, а затем тщательно просмотреть мозги, так же, как просмотрели бумаги, и сжечь их… выжечь дотла». Правильно, доктор? Ну зачем нужно все это позирование, диагнозы, чай? Неужели это обязательно? Неужели надо обшарить все закоулки моей памяти, прежде чем сжечь ее?

— Флорес, — сказала я очень терпеливо, — вы сами говорите: «Разрушьте меня». Вы что, не слышите сами себя? Психоскоп ничего не разрушает. И я использую его не для того, чтобы получить какие-то доказательства. Вы не в суде, не на судебном процессе. И я не судья. Я врач…

— Если вы врач, — прервал меня он, — неужели не видите, что я не болен?

— Как я вообще могу что-либо увидеть, если вы блокируете меня своими дурацкими «НЕ ВМЕШИВАЙСЯ!»? — закричала я. Да, я закричала. Мое терпение и в самом деле было позой, которая вдруг рассыпалась в прах. Но я увидела, что наконец проняла Соде, и продолжила: — Вы выглядите больным, ведете себя как больной. Два сломанных ребра, температура, отсутствие аппетита, приступы плача — это что, хорошее здоровье? Если вы не больны, докажите мне это! Позвольте мне увидеть, что у вас внутри, каковы вы на самом деле!

— Я все равно проиграю. — Соде посмотрел в чашку, усмехнулся и пожал плечами. — Почему я вообще с вами разговариваю? Вы выглядите такой честной, черт вас побери!

Я ушла из комнаты скопирования. Ужасно, как иногда умеют задеть за живое некоторые пациенты. Проблема в том, что я привыкла к детям, чья реакция абсолютна, как у животных, которые, испытывая страх, замирают, ощетиниваются или кусаются. Но с этим человеком, который старше и умнее меня, сначала наладились контакт и доверие, а потом последовал удар. А это гораздо больнее.

Мне даже неприятно все это писать. Снова больно. Но полезно. Теперь я гораздо лучше понимаю многие вещи, которые говорил Соде. Думаю, я не стану показывать записи док. Нэйдс, пока не установлю точный диагноз. Если в том, что Ф.С. говорил насчет ареста или подозрения в неприязни есть хоть доля правды (он, конечно, довольно легкомысленно относится к тому, что говорит), док. Нэйдс посчитает нужным забрать дело в связи с моей неопытностью. Я не хочу этого. Мне нужен опыт.

7 сентября

Идиотка! Вот почему Нэйдс дала мне книгу Де Кама.

Конечно, она знает. Как заведующая отделением она имеет доступ к досье ТРТУ на Ф.С. Она намеренно дала мне это дело.

И в самом деле, случай весьма поучительный.

Сегодняшний сеанс: Ф.С. все еще злой и угрюмый. Намеренно представлял сцены секса. Это было воспоминание, но, когда женщина под Соде стала размеренно двигаться, он внезапно нацепил на нее карикатуру моего лица. Эффектный трюк. Сомневаюсь, что такое могла бы сделать женщина: женские воспоминания о сексе обычно более затуманенные и возвышенные, и партнеры в таких воспоминаниях не превращаются в жутких кукол с перемещаемыми головами. Через некоторое время Соде устал от устроенного представления (кроме яркости и живости мысленных образов проявилось и некоторое соматическое участие, но не эрекция), и мысли его начали блуждать. В первый раз. Вновь появился один из чертежей на столе. Вероятно, Соде работал дизайнером, ибо он начал что-то поправлять карандашом. В то же время аудиоадаптер уловил какую-то мысленно напеваемую мелодию, а в подсознании, перекрывая сферу взаимодействия, появилась большая темная комната, видимая с высоты роста ребенка: очень высокие подоконники, вечер за окном, темнеющие ветки деревьев, а в самой комнате — женский голос, тихий, возможно, читающий вслух, иногда соединяющийся с мелодией. В то же время шлюха на кровати начала появляться и исчезать за волевыми вспышками, каждый раз распадаясь на все более мелкие части, пока не осталось ничего, кроме соска. Наконец-то у меня появился ценный материал для анализа — первая мыслительная последовательность длительностью более 10 секунд, которую можно рассматривать четко и целиком.

— И что вы узнали? — саркастически осведомился Соде, когда я окончила сеанс.

Я просвистела часть мелодии.

Ф.С. выглядел испуганным.

— Красивая мелодия, — сказала я, — никогда раньше ее не слышала. Если это сочинили вы, я больше не стану ее насвистывать.

— Это из одного квартета, — проговорил Соде, к которому вернулось ослиное выражение беззащитности и терпения. — Мне нравится классическая музыка. А вы…

— Я видела девушку, — сказала я. — С моим лицом. И знаете, что я хочу увидеть теперь?

Он покачал головой. Мрачно и виновато.

— Ваше детство.

Это удивило его.

— Хорошо, — кивнул он через некоторое время. — Вы получите мое детство. Почему бы нет? Вы ведь все равно любыми путями получите то, что хотите. Послушайте. Вы ведь все записываете, да? Могу я просмотреть запись? Я хочу видеть то, что видите вы.

— Пожалуйста, — ответила я. — Но вы поймете гораздо меньше, чем думаете. Я училась вести наблюдения целых восемь лет. Вы начнете с собственных записей. Я несколько месяцев рассматривала свои, прежде чем смогла что-либо разобрать.

Я посадила Соде на свое место, надела на него наушники и прокрутила последние 30 секунд.

После просмотра он стал задумчивым и вежливым.

— А что означало движение бегущих вверх и вниз линий, фона — вы это так называете?

— Визуальное сканирование — ваши глаза были закрыты — и исходные чувственные данные подсознания. Измерения тела и подсознания все время частично перекрывают друг друга. Мы рассматриваем все три измерения отдельно, потому что полностью они совпадают лишь у совсем маленьких детей. Яркий переливающийся треугольник в левом углу голограммы, вероятно, отображает испытываемую вами боль в ребрах.

— Но я представляю себе это совершенно по-другому!

— Вы же не видите свою боль, вы даже не чувствовали ее сознательно. Но мы не можем перенести боль в ребрах как таковую на голографический экран, а потому даем ей визуальный символ. То же самое со всеми ощущениями, аффектами, эмоциями.

— И вы умеете все это распознавать?

— Я уже говорила: чтобы научиться психоскопировать, мне понадобилось восемь лет. И поймите, что мы видим лишь фрагмент. Никто не может поместить всю человеческую психику, человеческую душу на четырехфутовый экран. Никто не знает, есть ли границы у души. Кроме границ вселенной.

— Возможно, доктор, — сказал Соде через пару секунд, — вы не такая уж дура. Вероятно, вы просто слишком погрузились в работу. Это может быть опасно — понимаете? — так погружаться в работу.

— Я люблю свою работу и надеюсь, что служу правому делу, — ответила я, внутренне готовясь увидеть проявление симптомов неприятия.

— Педантка, — печально улыбнулся Соде.

У Аны все в том же духе. Все еще некоторые проблемы с едой. Включила ее в группу Джорджа по устной терапии. Что ей действительно нужно — по крайней мере одно, что нужно на

самом деле, — так это компания. В конце концов, почему Ана должна есть? Кому надо, чтобы она жила? То, что мы называем психозом, на самом деле часто оказывается лишь реальностью. Но люди не могут жить одной реальностью.

Схемы Ф.С. не соответствуют ни одной классической параноидальной психоскопической схеме у Рейнгельда.

Я с трудом могу разобраться в книге Де Кама. Терминология политики так отличается от психологии. Все как будто задом наперед. Мне необходимо быть действительно внимательной на воскресных вечерних занятиях П.М. Я ленюсь думать. Или нет, Ф.С. сказал, что я слишком поглощена работой, а потому невнимательна к ее контексту — вот что он имел в виду. Не думаю, для чего работаю.

10 сентября

В предыдущие два вечера я так уставала, что даже ничего не написала в дневнике. Все результаты скопирования записаны на пленку и, конечно, отражены в журнале анализа. Долго изучала материалы Ф.С. Восхитительно. Действительно неординарный ум. Не гениальный и не оригинальный (интеллектуальные тесты показали средний результат), не художественная натура, не имеет шизофренической интуиции. И я не могу объяснить почему, но я чувствую гордость, что Ф.С. поделился со мной воспоминаниями о своем детстве. Там, конечно, есть боль и страх, смерть отца от рака, месяцы и месяцы нищеты и страданий, когда Ф.С. было двенадцать лет, ужасно, ужасно, но все это в конечном итоге не обернулось болью. Он ничего не забыл и даже не пытался забыть. Но Соде удалось изменить воспоминания о детстве благодаря любви к родителям, сестре, музыке, любви к форме и весу вещей, настроению событий, благодаря воспоминаниям о радостных — солнечных и пасмурных — давно минувших днях. И всегда мысль его работала спокойно и созидательно.

До совместного анализа дело еще не дошло, еще слишком рано, но сегодня Соде сотрудничал со мной так прилежно, что я спросила его, знает ли он что-либо о «темном брате», чей образ сопровождает несколько сознательных воспоминаний в подсознательном измерении. Когда я описала «темного брата» со спутанной копной волос, Соде испуганно посмотрел на меня и сказал:

— Вы имеете в виду Докки?

Это имя я тоже слышала в подсознании, хотя и не связывала его с непонятной темной фигурой.

Соде объяснил, что, когда ему было пять или шесть лет, он называл именем Докки медведя, которого часто представлял и

видел во сне.

— Я катался на нем, — рассказывал Соде. — Докки был большой, а я маленький. Он сокрушал стены, уничтожал все плохое — хулиганов, шпионов, людей, пугающих мою мать, тюрьмы, темные аллеи, по которым я боялся ходить, полицейских с ружьями, ростовщиков. Дрался и побеждал их. А затем он брел по булыжникам на гору. И вез меня на спине. Там было тихо. И всегда был вечер, сумерки, когда начинают появляться звезды. Очень странно это помнить. Тридцать лет спустя. Позже Докки превратился «в друга, мальчика или мужчину, с медвежьей шерстью. Он все еще крушил плохое, а я ходил с ним. Это так здорово.

Я записала рассказ о Докки-медведе по памяти, поскольку запечатлеть его на пленке не удалось: сеанс пришлось прервать из-за перерыва в подаче электроэнергии. Меня ужасно раздражает, что больница так низко котируется в списке государственных приоритетов.

Сегодня вечером посетила занятие позитивного мышления, делала записи. Док.К. рассказывала об опасности и лживости либерализма.

11 сентября

Сегодня утром Ф.С. попытался показать мне Докки, но безуспешно.

— Я больше не могу его увидеть, — рассмеялся он. — По-моему, в какой-то момент я сам в него превратился.

— Покажите мне, когда это случилось, — попросила я.

— Хорошо, — согласился он и начал вспоминать эпизод из ранней юности.

О Докки не было и речи. Соде видел арест. Ему сказали, что некто распространяет нелегально напечатанную литературу. Позднее он видел один из таких памфлетов и запомнил название: «Существует ли равенство справедливости?» Он прочел эту книжку, но не помнил содержание или скрыл его от меня. Картина ареста была потрясающе яркой. Передо мной проплывали жуткие подробности: голубая рубашка мужчины, чей-то ужасный кашель, звуки ударов, форма агентов ТРТУ и уезжающая машина — большая серая уезжающая машина с кровью на двери. Она появлялась снова и снова — уезжающая по улице машина, быстро уносящаяся по улице машина. Вот он — травмирующий Ф.С. инцидент, который может объяснить гипертрофированный страх перед насилием, чинимым органами национальной справедливости и оправданным национальной службой безопасности. Вот что могло привести его к иррациональному поведению при расследовании, поведению,

которое выглядело как тенденция к неприятию, причем, я думаю, ошибочно.

Я объясню, почему так думаю. Когда эпизод окончился, я сказала:

— Флорес, пожалуйста, подумайте о демократии, хорошо?

— Маленький доктор, — ответил он, — старого воробья на мякине не проведешь.

— Я не собираюсь ловить вас на чем-то. Можете вы подумать о демократии или нет?

— Я уже много раз о ней думал. — И Соде переключился на активность правого полушария — музыку. Это был хор из последней части Девятой симфонии Бетховена, мы проходили ее в институте на занятиях по искусству. Мы пели на эту мелодию какие-то патриотические слова.

— Не скрывайте от меня ничего! — крикнула я.

— Не кричите, я вас слышу. — Конечно, в комнате царила полная тишина, но в моих наушниках раздавался мощный шум, как будто одновременно пели тысячи людей. — Я и не собирался ничего скрывать, — вслух продолжил он, — я думаю о демократии. Вот она, демократия. Надежда, братство, нет преград. Все стены разрушены. Вы, мы, я — вершим вселенную. Слышите? — И вновь появились вершина горы с короткой травой и чувство высоты, ветер и огромное небо. Музыка звучала в небе.

Когда все кончилось, я сняла с Соде шлем и сказала:

— Спасибо.

Не понимаю, почему врач не может поблагодарить пациента за откровение. Конечно, авторитет врача важен, но не следует доминировать. Конечно, в политике власти должны вести за собой и иметь последователей, но в психиатрии все немного по-другому, врач не может «исцелять» пациентов, пациент «лечит» сам себя с нашей помощью, что не противоречит позитивному мышлению.

14 сентября

Я расстроилась после сегодняшнего разговора с Ф.С. Попробую объяснить, в чем дело.

Из-за ушиба ребер Соде не может посещать трудотерапию, а потому все время неспокоен. Палата для буйных тоже очень плохо влияла на него, а потому я, используя свои полномочия, удалила знак «V» с его больничной карты и три дня назад перевела Соде в мужскую палату «В». Кровать Ф.С. стоит рядом с кроватью старика Арки, и, когда я пришла, чтобы забрать Соде на сеанс, они оживленно беседовали.

— Доктор Собел, — сказал Ф.С., — вы знакомы с моим

соседом, профессором Аркой с факультета искусства и литературы нашего университета?

Конечно, я знаю этого старика, он находится в клинике уже много лет, гораздо дольше, чем я здесь работаю, но Ф.С. говорил столь учтиво и загадочно, что я ответила:

— Да. Как дела, профессор Арка? — и пожала старику руку. Тот сдержанно и вежливо поприветствовал меня как незнакомку — он часто забывает людей, которых видел даже день назад.

— А знаете ли вы, — спросил Ф.С., когда мы шли в комнату скопирования,

— сколько сеансов электрошока прошел профессор? — и, когда я ответила, что не знаю, сам ответил: — Шестьдесят. Он каждый день рассказывает мне об этом. С гордостью. — Немного помолчав, Ф.С. продолжил: — А знаете ли вы, что он был всемирно известным ученым? Он написал книгу «Идея свободы» — о свободе в политике, искусстве и науке в двадцатом веке. Я прочел эту книгу, когда учился в инженерном институте. Тогда она существовала. На книжных полках. Но больше ее нет. Нигде. Спросите доктора Арку. Он никогда о ней не слышал.

— После электроконвульсивной терапии всегда наблюдается некоторая потеря памяти, — ответила я, — но утерянный, забытый материал можно изучить и обрести вновь.

— После шестидесяти сеансов? — спросил Соде.

Ф.С. — высокий мужчина, немного сутулый, но даже в больничной пижаме он выглядит довольно внушительно. Я тоже высокая, и он называет меня «маленьким доктором» не потому, что я ниже его. Впервые он назвал меня так, когда разозлился, и теперь иногда использует такое обращение, когда злится, но не хочет обижать меня — ту меня, которую он знает.

— Маленький доктор, — нахмурился Соде, — хватит прикидываться. Вы же понимаете, что разум этого человека был разрушен намеренно.

Сейчас я напишу в точности то, что сказала, потому что это важно.

— Я не одобряю использование электроконвульсивной терапии как основной процедуры лечения. Я бы не рекомендовала ее использование для моих пациентов, кроме, возможно, особых случаев старческой меланхолии. Я занимаюсь психоскопией потому, что это созидательный, а не разрушительный метод.

Это правда, но я никогда раньше не говорила и не думала об этом сознательно.

— А что вы порекомендуете для меня?

Я объяснила, что, когда я поставлю окончательный диагноз, мои рекомендации еще должны быть одобрены заведующей

отделением и ее помощником. Но до сих пор ничего в истории Ф.С. или его личности не дает права на применение ЭКТ, хотя обследование еще не закончено.

— Так давайте продлим обследование как можно больше, — сказал Ф.С., шаркая ногами и сутулясь.

— Зачем? Вам что, это нравится?

— Нет. Но мне нравитесь вы. И мне хотелось бы оттянуть неизбежный конец.

— Почему вы постоянно твердите, что он неизбежен, Флорес? Неужели вы не понимаете, что ваши мысли по этому поводу просто-напросто иррациональны?

— Роза, — ответил он, впервые назвав меня по имени, — Роза, о настоящем зле нельзя рассуждать здраво. Существуют грани, неразличимые для человеческого разума. Конечно, я рассуждаю иррационально, если поставлен лицом к лицу перед надвигающимся разрушением моей памяти — меня самого. Но я рассуждаю правильно. Знаете, они просто не выпустят меня отсюда не… — Он надолго замолчал, но в конце концов закончил: — Неизмененным.

— Один психотичный эпизод…

— У меня не было психотичного эпизода. Вы должны были уже это понять.

— Так почему же вас прислали сюда?

— У меня есть несколько коллег, считающих себя соперниками, конкурентами. Думаю, они информировали ТРТУ, что я — либерал, ведущий подрывную деятельность.

— А доказательства у них есть?

— Доказательства? — К этому моменту мы уже пришли в комнату скопирования. Ф.С. на мгновение закрыл лицо руками и смущенно засмеялся. — Доказательства? Ну, однажды на собрании своего отделения я долго беседовал с одним гостем — иностранцем, работающим, как и я, дизайнером. И у меня есть друзья, вы знаете, — непродуктивные люди, богема. А этим летом я доказал начальнику отделения, что разработанный им и одобренный правительством дизайн оборудования не будет рациональным. Очень глупо. Может, я здесь именно поэтому — из-за слабоумия. И я много читал. Прочел книгу профессора Арки.

— Но все это неважно, вы думаете позитивно, любите свою страну, вы лояльны в конце концов!

— Не знаю, — задумчиво протянул Ф.С. — Мне нравится идея демократии, надежды, да, это я люблю. Даже жить без этого не могу. Но страна? Вы имеете в виду нечто на карте, линии? Все, что внутри этих линий, — хорошо, а все, что вне их, — не имеет

значения? Как может взрослый человек любить такую по-детски наивную идею?

— Но вы ведь не предадите нацию внешнему врагу.

— Ну, — ответил он, — если встанет вопрос выбора между нацией и человечеством или между нацией и другом, могу и предать. Если вы называете это предательством. Я называю это моралью.

Он действительно либерал. Именно о таком случае рассказывала док.Катрин в воскресенье.

Классический случай психопатии: отсутствие нормальной лояльности. Он довольно равнодушно произнес — «могу и предать».

Нет. Неправда. Он сказал это с трудом, с болью. А я была настолько шокирована, что ничего не чувствовала, кроме пустоты и холода.

Как я могу лечить подобный тип психоза — политический психоз? Я дважды перечитала книгу Де Кама и думаю, что теперь понимаю ее, но между политическим и психологическим все еще остается пробел. Книги рассказали мне, как надо думать, но не объяснили, как действовать позитивно. Теперь я знаю, что Ф.С. должен думать и чувствовать, понимаю разницу между должным и теперешним состоянием его разума, но не знаю, как научить его думать позитивно. Де Кам говорит, что неприятие — это негативное состояние, которое необходимо заполнить позитивными идеями и эмоциями, но для Ф.С. такой способ не подходит. Дело не в нем. Зато у Де Кама есть явный пробел между психологическим и политическим — сфера применения его идеи. А если идеи Де Кама неверны, то как можно их применить?

Мне очень нужен совет, но я не могу получить его у док. Нэйдс.

«Вы найдете здесь все, что вам надо», — сказала она, давая мне дело Соде. И если я скажу, что мне это не удалось, то тем самым продемонстрирую свою беспомощность и несостоятельность, и Нэйдс заберет у меня этого пациента. К тому же я думаю, что дело Соде дано мне для того, чтобы проверить меня. Но мне нужен опыт, я учусь, и, кроме того, пациент мне доверяет и свободно делится со мной своими мыслями. Он ведет себя раскованно, ибо знает, что я все сохраню в тайне. А потому я не могу никому показывать дневник и обсуждать проблемы с кем-либо, пока Соде не вылечится. И конфиденциальность больше не потребуется.

Но я не знаю, когда это случится. Возможно, тайну придется хранить всегда.

Мне нужно научить Ф.С. подстраивать поведение под реальную ситуацию, иначе его пошлют на ЭКТ, когда в ноябре состоится пересмотр дел на заседании комиссии. Соде прав во всем.

9 октября

Я прекратила вести дневник, когда материалы Ф.С. стали казаться мне «опасными» для него (и для меня самой). Сегодня ночью я перечитала все записи и теперь понимаю, что никогда не смогу показать написанное док.Н. Поэтому я снова собираюсь писать все, что вздумается. Что Н. и велела делать. Хотя она всегда ожидала, что я покажу ей записи, что мне захочется их показать (так я поначалу и делала) или что если она попросит, то я покажу. Вчера Н. попросила меня дать ей дневник. Я сказала, что перестала его вести, поскольку там всего лишь повторялись записи, которые я делала в больничных картах пациентов. И явно не одобрила мои действия, но промолчала. За последние несколько недель наши отношения «начальник — подчиненный» очень изменились. Я более не чувствую острой нужды в чьем-либо руководстве. После освобождения Аны Джест, статьи об аутизме и моего успешного анализа пленок Т.Р.Винхи Н. не может настаивать, чтобы я ей подчинялась. Но она может возмутиться моей независимостью. Я сняла с дневника обложку и храню страницы в прорези переплета книги Рейнгельда: будет очень трудно найти тетрадь здесь. Когда я прятала дневник, то чувствовала что-то неприятное в желудке и у меня разболелась голова.

Аллергия: человек может тысячи раз вдыхать цветочную пыльцу и терпеть укусы блох без всяких последствий. Затем он получает вирусную инфекцию, или психическую травму, или укус пчелы и в следующий раз, столкнувшись с цветущей липой или блохой, начинает чихать, кашлять, чесаться, плакать и пр. Так же и с другими раздражителями, действующими на людей с повышенной чувствительностью.

«Откуда столько страха?» — написала я. Что ж, теперь я знаю. Почему нет права на частную жизнь без постороннего вмешательства? Это несправедливо и подло. Я не могу прочесть классифицированные дела, хранящиеся в офисе Н., хотя работаю с пациентами, а она — нет. Но я не должна иметь собственные классифицированные материалы. Это могут только люди, наделенные властью. И все их секреты хороши, даже если люди эти — лгуны.

Послушай. Послушай, Роза Собел. Доктор медицины, дипломированный психотерапевт и психоскопист. Не зашла ли ты

слишком далеко?

Чьи мысли заполняют твою голову?

Ты работала от 2 до 5 часов на протяжении шести недель с сознанием одного человека. С творческим, цельным, здравомыслящим сознанием. Никогда раньше ты не работала ни с чем подобным. Ты имела дело лишь с покалеченными и запуганными. И ни разу не встретила равного себе.

Кто же здесь терапевт — ты или он?

Но если с ним все в порядке, что же я должна лечить? Как я могу ему помочь? Как могу спасти его?

Научив его лгать?

(Без даты)

Оба предыдущих дня я до полуночи просматривала пленки диагностического скопирования профессора Арки, записанные одиннадцать лет назад, когда он поступил в клинику, перед лечением электрошоком.

А сегодня утром док. Н. спросила, зачем я «просматривала такие старые дела». (Это означает, что Селена сообщает Н., какие дела использовались. Я знаю каждый квадратный сантиметр комнаты скопирования, но все равно проверяю теперь ее ежедневно.) Я ответила, что интересуюсь изучением прогресса идеологического неприятия у творческих работников. Мы пришли к единому мнению о том, что интеллигентность имеет тенденцию благоприятствовать негативному мышлению и может привести к психозу. И люди, страдающие такими психозами, должны пройти полный курс лечения, как проф. Арка, а затем, если они все еще останутся компетентными, их можно отпустить. Мы провели очень интересную и гармоничную дискуссию.

Я соврала. Соврала. Соврала. Соврала специально, сознательно, правдоподобно. И она солгала. Врунья. И к тому же тоже работник умственного труда! Она — сама ложь. Трусливая, малодушная.

Я хотела просмотреть пленки Арки, чтобы представить себе общую картину. Чтобы доказать самой себе, что Флорес, без сомнения, уникален и оригинален. И это правда. Разница просто восхитительна. Измерение сознания Арки имеет великолепную, прямо-таки архитектурную структуру, но материал подсознания распадается на отдельные элементы и не столь интересен. Док. Арка обладал обширными знаниями и по силе и красоте течения мыслей гораздо превосходил Флореса, мысли которого часто путаются и скачут. Но это — составляющая живости и непосредственности Ф.С., его энергии. У док. Арки — абстрактный ум, как и у меня, а потому его пленки понравились

мне меньше. Мне не хватает твердости, пространственно-временного реализма и интенсивной ясности чувств ума Флореса.

Утром в комнате скопирования я рассказала Ф.С. о своих действиях. Его реакция (как обычно) оказалась не такой, как я ожидала. Соде нравится старик Арка, и я думала, он обрадуется.

— Так это значит, что они сохранили пленки и разрушили разум? — возмутился он.

Я ответила, что пленки хранятся для использования в процессе обучения, и спросила, неужели он не одобряет, что существуют записи мыслей Арки в оригинале: ведь это почти как написанная профессором книга и, в конце концов, копия того выдающегося разума, который рано или поздно одряхлеет и умрет.

— Нет! — воскликнул Ф.С. — Нет, потому что книга — запрещена, а пленка — классифицирована! Неужели даже после смерти нельзя обрести покой и свободу? Нет ничего ужасней!

После сеанса он спросил, смогу ли я и захочу ли уничтожить его диагностические пленки, если его самого пошлют на ЭКТ. Я ответила, что подобные записи очень легко стереть и затерять, но мне это кажется жестоким. Я училась, диагностируя его, и другим записи скопирования тоже могут когда-нибудь пригодиться.

— Неужели вы не понимаете, — сказал Ф.С., — что я не буду служить людям с пропусками службы безопасности? Меня даже не станут использовать, вот в чем дело. Вы никогда не использовали меня. Мы просто работали вместе. Вместе построили нормальные человеческие отношения.

В последнее время в его воображении часто мелькала тюрьма. Фантазии, мечты о заключении, трудовых лагерях. Он мечтает о тюрьме, как человек в тюрьме мечтает о свободе.

Действительно, учитывая то, что ситуация становится все более критической, я бы послала Ф.С. в тюрьму, если бы могла, но раз уж он здесь — шансов нет. Если я сообщу, что Соде на самом деле политически опасен, его просто опять поместят в палату для буйных и назначат ему ЭКТ. И здесь нет судьи, который признал невиновность Ф.С. Только доктора, которые подпишут смертный приговор.

Все, что я могу сделать, — это протянуть процесс диагностики как можно дольше и подать требование о полном совместном анализе, с точным прогнозом полного излечения. Но я уже три раза составляла черновик отчета: очень сложно сформулировать текст так, чтобы любому стало ясно, что болезнь Соде — идеологическая (тогда мой диагноз хотя бы не сразу отвергнут), но несерьезная и излечимая, а потому можно снова применить психоскоп. Но, с другой стороны, зачем тратить около

года, используя дорогостоящее оборудование, когда под рукой имеется дешевый и простой метод лечения? И неважно, что я скажу, — у них есть этот аргумент. До пересмотра дела осталось две недели. Я обязана написать отчет так, чтобы его на самом деле было невозможно не принять. Но если Флорес прав и все это лишь комедиантство, ложь о лжи, и с самого начала у них уже имелись приказы из ТРТУ «уничтожить»…

(Без даты)

Сегодня — пересмотр дел отделения. Если я останусь здесь, у меня пока есть кое-какие полномочия, я смогу сделать что-то хорошее Нет нет нет но я не могу не могу даже сейчас даже в этот раз что теперь я могу сделать как могу остановить все это/

(Без даты)

Прошлой ночью мне снилось, что я еду на спине медведя вверх по узкому ущелью между крутыми склонами гор, которые уходят высоко в темное небо; была зима, и на камнях лежал лед.

(Без даты)

Завтра утром скажу Нэйдс, что увольняюсь и прошу перевести меня в детскую больницу. Но она должна утвердить перевод. Если нет — я окажусь на улице. Я уже почти там. Чтобы написать эти строки, пришлось запереть дверь. Как только я закончу писать, то пойду вниз и сожгу все в печке. Уже и места нет.

Мы встретились в холле. Его вел санитар.

Я взяла Ф.С. за руку. Рука была большой, костлявой и очень холодной.

— Роза, — тихо сказал он, — что, вот я и дождался, меня ведут на электрошок?

Я не хотела, чтобы Соде потерял надежду, прежде чем поднимется по ступенькам и пройдет по коридору. Коридор слишком длинный. И я сказала:

— Нет. Опять какие-то анализы — возможно, ЭЭГ.

— Тогда увидимся завтра? — спросил он, и я ответила «да».

И мы увиделись. Вечером я зашла в палату. Ф.С. не спал.

— Флорес, это я — доктор Собел. Роза.

— Очень приятно познакомиться, — пробормотал он. Левая сторона лица поражена легким параличом. Но это пройдет.

Я — Роза. Я роза. Роза, я — роза. Роза без цветка, из одних шипов, разум, который он создал, рука, которой он коснулся, зимняя роза.

БЕЛЫЙ ОСЛИК[28]

В старом каменном урочище было много змей, зато трава там росла настолько пышная и сочная, что она все равно продолжала гонять своих коз туда каждый день.

– Козы вошли в тело, – заметила как-то Нана. – Куда ты их водишь пастись, Сита?

Когда Сита ответила: «В старое каменное урочище в лесу», Нана вздохнула: «Это же так далеко», а дядя Хира пробурчал: «Ты поосторожнее там со змеями». Только заботились они, конечно, не о ней, а о козах, поэтому она не стала им говорить о белом ослике.

Белого осла она в первый раз увидела после того, как положила несколько цветков на красный камень под большим деревом. Ей этот камень нравился. Круглый, очень старый, он удобно лежал в люльке из корней. Он принадлежал Богине. Каждый, кто проходил мимо, оставлял в дар Богине цветы или брызгал на камень несколько капель воды. И каждую весну его заботливо красили в красный цвет.

Сита поднесла Богине ветку рододендрона, и ей вдруг показалось, что одна из коз забрела в лес; но тот, кто стоял там, в чаще, не был ни козой, ни козлом. Он был белым – белее, чем священный бык. Сита подошла к нему поближе, чтобы как следует разглядеть. Увидев округлый круп и хвост, похожий на веревку с кисточкой на конце, она поняла, что перед ней осел – но до чего же красивый осел! Только чей он? На всю деревню ослов было всего три, причем два из них принадлежали Чандре Бозу. Но те были обычными серыми мосластыми рабочими скотинками. Этот же осел был упитанным, холеным и повыше ростом – короче, удивительный осел! Он не мог принадлежать ни Чандре Бозу, ни кому-то другому в деревне. На нем не было ни уздечки, ни просто повода. Наверное, он дикий и живет в лесу сам по себе.

Сита свистнула вожаку стада – умнице Кала и, собрав коз, повела их в лес, туда, куда ушел белый ослик. Они долго топали по тропинке и наконец пришли в то место. Там было очень много древних камней – огромных, как дома в деревне, наполовину утонувших в земле, заросших дикими травами и оплетенных лианами керала. Белый осел оглянулся и посмотрел на нее из тени под деревьями.

Она подумала, что он бог, потому что у него был третий глаз, совсем как у Шивы. Но когда ослик повернулся в профиль, она увидела, что это не третий глаз, а рог, причем не загнутый, как у коровы или козы, а прямой, длинный и острый, как у оленя. Рог был один и сидел на лбу точь-в-точь как третий глаз у Шивы. Это точно какой-нибудь бог. Бог-осел. На случай если так оно и есть, Сита сорвала с керала желтый цветок и, положив на ладонь,

протянула ослу.

Белый ослик задумчиво оглядел ее, коз, цветок и медленно пошел к девушке, лавируя меж древних камней. У него были раздвоенные копыта, совсем как у коз, но двигался он легче и ловчее их. Он принял цветок. Потом нежно-розовым носом осторожно обнюхал ладонь Ситы. Она поспешно сорвала еще один цветок, и ослик принял его тоже. Но когда она протянула руку, чтобы коснуться витого рога или хотя бы просто погладить по голове, почесать за длинными чуткими ушами, он прянул в сторону, но не убежал, а остановился поодаль, исподлобья поглядывая на нее раскосыми черными глазами.

Сита его все еще немножко побаивалась и поняла, что он тоже ее побаивается; тогда она присела на один из камней и притворилась, что приглядывает за козами. Те и не думали разбегаться, торопясь набить желудки самой сочной травой, которая им попадалась за всю жизнь. Ослик успокоился, подошел к Сите и положил голову ей на ладонь. Она ощутила тепло и мягкость его подбородка. От мощного дыхания животного стеклянные браслеты на запястье слегка затрепетали. Она медленно и очень осторожно подняла вторую руку и погладила мохнатую шерсть за длинными ушами и легкий пушок, окружавший основание рога; и белый ослик остался рядом, тепло дыша ей в ладонь.

С этого дня она пригоняла коз только туда, хотя ей и приходилось все время смотреть под ноги, чтобы не наступить на змею. Козы сразу же накидывались на траву, которая явно шла им впрок, а ее друг – белый ослик – каждый день приходил из лесу, принимал угощение Ситы и оставался, чтобы составить ей компанию.

– Буйвол и еще сто рупий в придачу, – сказал дядя Хира. – Надо быть полной дурой, чтобы согласиться на меньший выкуп!

– Моти Лал – бездельник и лентяй, – возразила Нана. – И грязнуля к тому же.

– Вот потому-то ему и нужна жена. Кто ж еще будет обстирывать его и кормить? Да за работящую послушную жену – всего-навсего один буйвол и сто рупий!

– А может, женившись, он и сам возьмется за ум, – сказала Нана.

Вот так Ситу помолвили с Моти Лалом из соседней деревни. Каждый вечер, когда она пригоняла коз в деревню, он встречал ее на околице. Она знала, что он на нее всегда смотрит, но сама ни разу не подняла глаз, чтобы взглянуть на него. Ей ужасно не хотелось на него смотреть.

– Сегодня наш последний день, – сказала она белому ослику.

Козы паслись между древними круглыми, вросшими в землю камнями, а лес окружал урочище глухой стеной, звенящей птичьими голосами. – Завтра я возьму с собой младшего брата Умы, чтобы показать ему дорогу сюда. Теперь он будет деревенским козопасом. А послезавтра у меня свадьба.

Белый ослик стоял молча, и его мягкая короткая шерсть на подбородке согревала ее ладонь.

– Нана даст мне свой золотой браслет, – продолжала Сита. – Я надену красное сари и накрашу пробор и ладони хной.

Ослик молча слушал.

– На свадьбу приготовят сладкий рис, – добавила Сита и заплакала. – Прощай, белый ослик, – наконец тихо сказала она.

Белый осел искоса посмотрел на нее, затем, не оглядываясь, пошел прочь и вскоре исчез в густой тени под деревьями

ФЕНИКС [29]

Радио на комоде зашипело, как кипящая кислота, и сквозь хрипы помех пробился голос, хвастливо вещающий о новых победах.

– Мясники! – взорвалась она в ответ диктору. – Лгуны, убийцы и сволочи!

В глазах библиотекаря мелькнуло нечто такое, что заставило ее мгновенно присмиреть, – словно цепь, тянущая назад к будке разбрехавшуюся попусту собаку.

– Но вы же не партизан!

Библиотекарь не ответил. Но даже будь он способен говорить, он все равно промолчал бы.

Она убрала звук радио до минимума (выключать его совсем никто не решался, чтобы не пропустить сообщения о последнем штурме и окончательной развязке) и подошла поближе к кровати библиотекаря. Она уже успела досконально изучить это круглое, нездорово-желтое лицо, эти темные глаза с испещренными красными прожилками белками, эти черные волосы, кудрявившиеся на голове, на груди и торчащие из-под мышек, эти покрытые темными жесткими волосками руки, ноги и даже пальцы. На протяжении тридцати часов она нянчилась с этим коренастым, истрепанным жестокой болезнью, потным телом, пытаясь облегчить его страдания, – тех тридцати часов, пока город бился в агонии, сдавая улицу за улицей, нерв за нервом, но все еще насыщая радиоэфир бодрыми, тонущими в треске помех рапортами, содержание которых менялось от пропагандистского вранья до беспардонной лжи.

– И не пытайтесь меня в этом уверить! – крикнула она в ответ

на его молчание. – Вы не с ними. Вы против них.

Не издав ни звука, при помощи самой скупой мимики он выразил свое несогласие.

– Но я же вас видела! Видела в деле! Вы заперли библиотеку. Как вы думаете, с чего это я вожусь здесь с вами? Вам что, в голову прийти не может, что я могла пойти и на другую сторону улицы, чтобы помогать им?

Короткий презрительный смешок – и она была вознаграждена все тем же молчанием. Радио издало пронзительный писк, и послышался голос, тщетно пытающийся прорваться сквозь помехи. Она села в ногах кровати, так, чтобы быть в самом центре поля зрения лежащего без движения библиотекаря.

– Я знаю вас уже около двух лет. Окна моей второй комнаты выходят в парк. Прямо напротив библиотеки. Я сотни раз наблюдала, как вы ее открывали по утрам. И вдруг я вижу, что вы запираете дверь в два часа дня. Вижу, как вы, выйдя из подъезда, почти бегом мчитесь к чугунным воротам. С чего бы такая спешка? Но тут я услышала шум подъезжающих машин и этих чертовых мотоциклов. Я тут же задернула шторы. Но от окна не отошла и стала подсматривать в щелочку. Странно, правда? Раньше я поклялась бы всеми святыми, что, услышав их так близко, я бы от ужаса в ту же секунду забилась под кровать. Но они пришли – а я стою у окна и смотрю на них в щелку между занавесками. Словно это спектакль!

Но, говоря так, она несколько погрешила против истины. На самом деле, выглядывая из-за штор и трясясь от неконтролируемого страха, она мысленно прикидывала свои возможности. Может, именно в этот момент в ней зародилось то чувство, которое в дальнейшем подтолкнуло ее ко всем этим столь неожиданным для нее самой действиям?

– Первым делом они сорвали флаг и сбросили его на землю. Думаю, что террористы всегда действуют по одному и тому же сценарию. Они консервативны до мозга костей и всегда делают именно то, чего ты от них ждешь… Ну так вот: потом я видела, как вы, заперев ворота, направились к черному ходу с другой стороны здания. Точнее, этого я не видела, а скорее машинально зафиксировала на подсознательном уровне цвет вашего пальто, промелькнувшего где-то там, – ну, вы знаете, того дикого желто-коричневого оттенка. Они поднялись на крыльцо и высадили двери, а некоторые помчались к черному ходу (я еще подумала: «Совсем как муравьи, копошащиеся на куске мяса»), но довольно скоро все вышли, снова расселись по своим чертовым мотоциклеткам и с ревом умчались громить дальше. Тут я заметила курящийся со стороны черного хода дымок и вспомнила

о вас, потому что дым был таким же, как ваше пальто, – желто-коричневым. И вдруг мне пришло в голову, что, когда они уезжали, я этого цвета не заметила, следовательно, вас среди них не было. «Значит, – подумала я, – библиотекаря поставили к книжной полке и пристрелили». Ведь, заперев ворота и главный вход, вы вернулись в библиотеку. Но почему, почему вы не заперли все и не сбежали оттуда от греха подальше – вот чего я никак не могла понять. Я все стояла у окна и размышляла над этим. А в парке не было ни души. Все мы – крысы, и место наше – подпол. Наконец я поняла, что, если ничего не сделаю, жить с этим не смогу. И решила пойти посмотреть, что с вами. Я пошла напрямик, через парк. Было четыре часа дня – а вокруг ни души! Я была абсолютно спокойна. Я не боялась. Точнее, боялась, что найду вас мертвым. Раны, кровь – бр-рр! От одного вида крови у меня подгибаются коленки. И вот я иду, во рту у меня пересохло, глаза квадратные от испуга – и что же я вижу? Вы выходите мне навстречу, прижимая к груди стопку книг!

Она расхохоталась, но почти тут же осеклась, затем как будто отвернулась, но так, чтобы библиотекарь видел ее в профиль, и, бросив на него пытливый косой взгляд, спросила:

– Почему вы вернулись? И что вы там делали, пока они были внутри? Думаю, прятались. А когда они убрались, вы вылезли и попытались потушить пожар.

Он чуть заметно отрицательно качнул головой.

– Нет, вы пытались. Вы тушили его. На полу была лужа, и рядом валялось ведро.

Этого он отрицать не стал.

– Думаю, что книги не так-то просто поджечь. Наверное, они воспользовались газетами или распотрошили каталоги. Им же нужно было что-то, чтобы пламя занялось сразу. Дымище там был ужасный. До сих пор не понимаю, как вы не задохнулись в подвале книгохранилища. Но даже если вы и потушили огонь, оставаться в дыму было невозможно; а может, вы не были уверены, что потушили пожар, и на всякий случай наспех собрали самые ценные книги и стали пробираться к выходу…

Он снова покачал головой. И слегка улыбнулся… или ей это только показалось?

– Нет, вы именно это делали! Вы карабкались вверх по лестнице, прижимая к груди стопку с книгами. Я сама видела! Уж не знаю, хотели вы выбраться на улицу или нет, но то, что вы пытались это сделать, – святая правда.

Он кивнул и попытался что-то сказать, но с его губ слетел лишь невнятный шелест.

– Ладно-ладно. Не надо ничего говорить. Вы только скажите

мне… Нет, даже не пытайтесь сказать, что после всего этого вы – партизан. Да-да, особенно после того, как вы рисковали жизнью из-за нескольких книжонок!

Прилагая неимоверные усилия, он сумел издать несколько слабых звуков, похожих на скрежет железа по меди, – все, на что были способны его связки после изрядной дозы угарного газа.

– Не самое ценное… – прохрипел он.

Она наклонилась к нему, чтобы разобрать слова, потом выпрямилась, расправила складки на блузке и лишь тогда заговорила снова с оттенком металла в голосе:

– Все мы очень хорошо умеем судить о том, когда и где наша жизнь действительно имеет цену.

Он снова покачал головой и почти беззвучно, одними губами прошептал:

– Книги.

– Вы хотите сказать, что книги – не самое ценное?

Он кивнул, и его лицо расслабилось и просветлело. Его наконец поняли.

Она недоверчиво посмотрела на него и почувствовала, как в ней растет злость. Она злилась на него больше, чем на радио. Наконец накопившийся гнев, звеня, как подброшенная серебряная монета, выплеснулся в смехе.

– Вы сумасшедший! – сказала она, взяв его за руку.

Кисть была худой и маленькой для такого крупного коренастого тела, а ладонь жесткая, но не мозолистая, как у резчика по дереву. Это прикосновение заставило ее сменить гнев на милость.

– Вас надо отправить в больницу, – сказала она, словно извиняясь за свой срыв. – Вы же знаете, что вам нельзя разговаривать. Говорить буду я, а вы не отвечайте. Я и так знаю, что вы шли в больницу. Только как вы туда могли добраться – ведь кругом ни единого такси… Да и что сейчас творится в больницах и кого они теперь принимают на лечение – один Бог знает. Я, конечно, могу отважиться спуститься вниз и вызвать врача по телефону. Только есть ли они еще, эти врачи. И вообще неизвестно, останется ли хоть что-нибудь, когда все это кончится.

Последние слова ее заставила произнести навалившаяся тишина. Это был очень тихий день. В такой мертвой тишине вы будете рады услышать даже рев мотоциклетных моторов и треск автоматов.

Он лежал с закрытыми глазами. Весь вчерашний вечер и всю ночь его одолевали спазматические приступы, мучительные, как при астме или сердечной недостаточности. Даже сейчас его дыхание было тяжелым и неровным, однако, вымотав его до

предела, болезнь дала ему передышку и надежду на выздоровление. Да и чем может помочь врач при отравлении угарным газом? Уж наверное мало чем. Что вообще могут сделать доктора, когда приходится иметь дело с затрудненным дыханием, преклонным возрастом и социальными беспорядками? Болезнь библиотекаря была порождена метастазами умирающей страны: он принадлежал ей, был ее гражданином, ее частью и умирал вместе с ней. Недели и недели пропагандистских речей, автоматных очередей, взрывов, треска вертолетов, пожаров и тишины; политика неизлечимо больна, и ее трясет в бесконечной агонии. Сегодня вы пробегаете многие и многие мили, чтобы раздобыть хотя бы капусты, отыскать хоть килограмм какой-нибудь *еды,* а завтра… кондитерская на углу вновь открыта, и дети покупают в ней оранжад. А послезавтра в здание, где она находится, попадает бомба, и оно взлетает на воздух. Политика – полутруп. Лица людей – как фасады контор и лучших отелей в деловой части города, неприветливые, слепо глядящие пустыми окнами и надежно прячущие свои тайны. В субботнюю ночь была сброшена бомба на Феникс. «Тридцать погибших», – сказало радио. Потом умерло от ран еще шестьдесят. Но на нее все эти смерти не произвели никакого впечатления. Люди сами выбирают свою судьбу. Они сами решили посмотреть пьеску о гражданской войне – что ж, получили то, что хотели. Инициатива наказуема. Но вот сам старый Феникс, эти дома, здания!.. сцена, на которой переиграно столько ролей домохозяек, девиц на выданье, наперсниц, вдов… Ольга Прозорова… и даже те три потрясающие недели – Нора; красный занавес, красные плюшевые кресла, пыльная люстра и позолоченная гипсовая лепнина, весь этот мишурный блеск, коробка для кукол, такое беззащитное, такое уязвимое убежище для человеческой души. Да тронуть *такое*– грех. Да чего уж там, швыряли бы свои чертовы бомбы сразу в церкви – там хоть душа прямиком воспаряет в райские кущи, даже не заметив, что тело превратилось в кровавую лепешку. Когда Бог на твоей стороне, а ты сам в Божьем доме – что может пойти не так? А кто поможет тебе здесь? Пьеса давно умершего писаки? Рабочие сцены? Актеры-полудурки? Здесь все пойдет вкривь и вкось, как всегда и шло. Внезапно гаснет свет, а дальше – вопли, давка, толкотня, кого-то затоптали… и брань, брань до небес, брань такая смердящая, что куда там Мольеру или Пиранделло – или кого там играли в субботний вечер в Фениксе? Бог здесь даже не ночевал. Его там вообще никогда не было. Он с радостью признает свои победы, но не то, за что ему стыдно. Да говоря по правде, Господь Бог – это врач, знаменитый хирург: «Не задавайте мне вопросов, я все равно на них не отвечу, платите

гонорар, а я спасу вас на досуге, а если нет – то вы сами виноваты».

Она встала и принялась наводить порядок на столике у кровати, ругая себя за мыслеблудие. Но надо же ей было на кого-то выплеснуть свою злость, а под рукой, кроме Бога и библиотекаря, никого не оказалось. Однако на библиотекаря злиться не хотелось. Он был слишком болен – как и весь город. К тому же злость нарушила бы целостность ее страстного эротического влечения к нему, а это чувство доставляло ей слишком большое удовольствие, чтобы его так пошло испортить. Уже много лет ни один мужчина не вызывал в ней ничего маломальски похожего; она уж думала, что с этим давно покончено, причем навсегда. Но его болезнь уравняла их в возрасте и дала ей даже некоторые преимущества. В обычной жизни он, поглядев на нее, увидел бы не женщину, а старуху, и его слепота ослепила бы и ее: ей бы и в голову не пришло воспринять его как потенциального партнера. Но, раздев его и обследовав его тело, чтобы помочь, она, отбросив лицемерие, могла сколько угодно любоваться этим крепко сбитым беззащитным телом, лелея надежду (кстати, вполне невинную!). О том же, что таится в его мыслях и сердце, она почти ничего не знала. Она вообще ничего о нем не знала, кроме того, что он был храбр, – а это весьма славное качество. Да ей и не хотелось ничего знать. Было бы даже лучше, если бы он вообще не сказал ни слова – зачем это сиплое дурацкое: «Не самое ценное…»? К чему бы оно ни относилось: к его собственной жизни или к книгам, которые он ценой этой жизни пытался спасти. Что бы он ни имел в виду, все сводилось к тому, что для партизан ничто не имеет цены, кроме их пресловутых идей. Существование рядового библиотекаря, существование нескольких книжек – дрянь, мусор. Ничто не имеет ценности, кроме светлого будущего.

Но если он партизан, то какого рожна полез спасать книги?

А что, лоялист остался бы в этой жуткой желто-коричневой душегубке, пытаясь потушить пожар, чтобы не дать книгам сгореть дотла?

«Конечно», – ответила она самой себе. В соответствии с его мировоззрением, верой, принципами – конечно же! Книги, статуи, здания, фонарные столбы, украшенные красивыми плафонами, а не висельниками, Мольер в восемь тридцать, светские беседы за ужином, школьницы в голубых платьицах, порядок, благопристойность, надежное прошлое, обеспечивающее надежное будущее, – вот за что цепляются лоялисты. А он держится стойко, до конца. А что, если он просто полз, раздирая в кашле легкие и прижимая к груди стопку книг, полз наверх, на

улицу? – да, вовсе не потому, что они самые ценные, именно это он и пытался ей объяснить: не потому, что они самые ценные, теперь она его поняла – откуда в районной библиотеке ценные книги? Просто книги, потому что они – книги. Любые – не из-за принципов, а из веры, пусть даже и ценою жизни – ведь он библиотекарь! Человек, который заботится о книгах. Тот, кто за них в ответе.

– Так вот вы почему… – сказала она шепотом, потому что боялась его разбудить. – И вот почему я принесла вас сюда.

Радио зашипело, но она не нуждалась в аплодисментах. Ее публикой были библиотекарь и его спокойный сон.

ЗЕНИТ

ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ [30]

Капитан. Доброе утречко, привет-привет-приветик, мои наилучшие пожелания всем и каждому! Сколько же нас всего здесь, на борту нашего славного звездолета? Давайте-ка разберемся. С вами говорит, натурально, капитан — собственной персоной. Есть еще Первый помощник, с которым не все… как бы это помягче… ну, словом, он не совсем такой, как другие. Впрочем, с ушами у него все в полном ажуре. Доводилось мне встречать первых помощников с чертовски забавными лопухами, но к нашему такое определенно не относится. Значится, так… Еще имеется Бортинженер, запас слов у которого сводится к перечислению признаков износа клапанов, а также Чокнутый Второй помощник, который, запертый в кают-компании, выдирает там набивку из мебели и расстреливает заготовленными впрок комками шерсти приборы рассеянного освещения. Затем следует Связист, неизменно склоненный над своим вечно свистящим радиоприемником и всегда в наушниках. Бульканье и шипение, в которые он так внимательно вслушивается, по-моему, самый что ни на есть обычный звездный фон. Там ведь очень шумно — снаружи… Все, что ли? Никто больше на ум не приходит. Доблестный наш экипаж весьма невелик, зато все в нем как на подбор — одни офицеры. Сколько всего получается? Вроде бы шесть?

Первый помощник. Прошу прощения, капитан, пять.

Капитан. Всего пять? Вы уверены в том, мистер Боллс?

Первый помощник. Ответ утвердительный.

Капитан. Ну ладно, пять так пять. Знаю, вы посильнее меня в чертовой этой математике. И все же нелегко отделаться от ощущения, будто мы кого-то недосчитались.

Первый помощник. Возможно, вы, сэр, имеете в виду себя — в должности кока.

Капитан. Попрошу «сэром» меня больше не… не величать, мистер Боллс! Ладно, продолжим. Итак, мы все, команда звездолета «Мэри Джейн Хьюветт», класс F/B-1951, тип 36-25-38, размер 13, место приписки — Земля (Терра, третья планета Солнечной системы), совершаем разведывательный полет в направлении Южного рукава Пояса Ориона с трюмом, битком набитым плодами хлебного дерева. Мы с вами уже отмахали

чудовищное расстояние, многие и многие сотни световых лет, хотя порой мне чудится, что корабль и вовсе не трогался с места.

Прошу простить мне некоторую сентиментальность. Похоже, близится время ленча.

Не так уж, кстати, это легко, как иному кажется, — кормить Чокнутого Второго помощника, напрочь засорившего диванной набивкой супопровод в кают-компании. Пришлось проковырять отверстие под дверью — нечто вроде щелки в почтовом ящике. Теперь постоянно ждешь, пока Чокнутый Второй не заснет. Если она услышит кого-то за дверью, то тут же высунет в щель руки: средний палец левой оскорбительно оттопырен, а правая швыряется шерстяными колобками. Лишь когда спит или хнычет где-нибудь в уголке, удается пропихнуть ей туда обед. Спустя какое-то время, приложив ухо к двери, можно услышать громкое чавканье Чокнутого Второго помощника. Объедки она просовывает назад под дверь. Но чем дальше, тем меньше становится этих самых объедков. То ли она сметает все подчистую, то ли делает с пищей что-то еще. Порой даже начинает казаться, что она там, в кают-компании, не одна — настолько неумеренным для женщины средней комплекции представляется нынешний ее аппетит.

Бортинженер, прежде чем я переберусь на камбуз, хотелось бы занести в вахтенный журнал ваш очередной суточный рапорт.

Бортинженер. Есть, докладываю, капитан: подтекает водородный бак А-30. Устранить течь покамест не удалось. Не ликвидировано также засорение отводного патрубка ОП-599, в результате чего нарастает давление в центральном охладителе ЦО-2. Волосная трещина в оболочке изолятора антиматерии в данный момент обследуется на предмет доклада о… о возможности инструментального обеспечения ремонтных работ.

Капитан. А какие процедуры предусмотрены у нас на случай невозможности столь сложного ремонта?

Бортинженер. Автоматическое самоуничтожение.

Капитан. Веселенькие коврижки.

Бортинженер. Продолжаю доклад для занесения в вахтенный журнал: стабилизатор номер один, получивший обширное метеоритное повреждение, более не способен функционировать в полную силу. Для компенсации дисбаланса в действии стабилизаторов, который проявляется в медленном вращении корабля, пришлось подтянуть стабилизатор номер два, укоротив его при том на восемьдесят одну тысячу миль. Результаты скажутся в течение от пяти до тринадцати дней (по бортовому времени). Системы автоматической самоликвидации корабля также не функционируют более — ввиду короткого замыкания,

приведшего к автоматической самоликвидации этих самых систем автоматической самоликвидации.

Капитан. Вы что же, хотите сказать, что все системы автоматической самоликвидации как бы сами собою уничтожились?

Бортинженер. Так точно, капитан, нечто вроде того.

Капитан. Стало быть, уничтожить корабль в случае расширения микротрещины в изоляторе антиматерии мы не сможем? Но если так, а изолятор антиматерии рванет сам по себе, мы прихватим с собой на тот свет с полсотни ближайших звезд вместе со всеми их планетными эскортами, то есть выхватим из космоса весьма порядочный лоскуток. И это еще в лучшем случае. Если же на пути антивещества встретится звезда типа F-2, начнется неуправляемая цепная реакция. И будет уничтожена вся Галактика!

Бортинженер. Ну, видите ли, капитан, мы трудимся над этой проблемкой не покладая рук…

Капитан. Мы? Что значит «мы»? Ведь только один из всех нас находится сейчас в машинном отделении, а именно — вы. Или я что-то путаю?

Бортинженер. Никак нет, капитан, вы не ошиблись. Только уж очень хотелось бы, чтобы это было не так.

Капитан. Видит Бог, я разделяю ваши чувства. Болтс. Но вам придется полагаться лишь на собственные силы, а нам всем — на вас. И мы доверяем вам безоговорочно. Для женщины вы ведь просто гений механики.

Бортинженер. Рады стараться, капитан! Так я могу вернуться теперь к своей трещинке?

Капитан. Конечно-конечно, действуйте! Да и мае давно уже пора на камбуз.

Вот ведь чертовщина! Могу присягнуть, что сию минуту за плечом мелькнул кто-то, пробегавший по коридору «G». Этот коридор ведет к самому непопулярному на корабле отсеку — тренажерному залу. Кого бы это нелегкая могла туда занести? Мистер Боллс! Мистер Боллс, вы где сейчас?

Первый помощник. Я в Компьютерном отсеке, сэр.

Капитан. Вас не затруднит больше не «сэркать» мне, мистер Боллс? Это как-то отчуждает. Спаркс, а вы — вы где сейчас находитесь?

Спаркс! Ответьте капитанскому мостику по внутренней связи и немедленно! Спаркс!

Связист. Тс-с-с! Я внимаю эфиру. Ваш сигнал принят. Конец связи.

Капитан. Ладно. Стало быть, Болтс внизу возле изолятора

антиматерии, я все еще на мостике в тщетных потугах добраться до камбуза. Это уже четверо. Пятый, кто же пятый? Ах да! Чокнутый Второй помощник, немедленно доложите мостику свое местонахождение!

Чокнутый Второй помощник. Цепляюсь всеми зубами и когтями за скалу, чуть выступающую над бушующим морем жидкой соли, и борюсь с диким ветром, срывающим меня в пену волн — белее и тверже, чем у обычной воды. Стоит лишь шевельнуться, как меня тут же расшибет о камни и похоронит под тоннами ревущей соли, растопленной в этой иссушающей пучине. Если же не шевелиться, то придется держаться и висеть, висеть и цепляться — но для чего, собственно? Я так одинока здесь, хоть плачь! И я плачу навзрыд, но за диким воем ветра и грохотом бушующих валов не услышит никто. Надеюсь лишь, что вы все там еще как следует зафорсунькаетесь.

Капитан. Зафор… Чего?

Чокнутый Второй помощник. Надеюсь, прежде чем корабль самоуничтожится, вы все там здорово поразвлекаетесь, расфорсунькивая зафорсуньки… Ну, мне пора.

Капитан. Стой, погоди! Послушайте, Бэтс, с вами в кают-компании есть еще кто-нибудь?

Чокнутый Второй помощник. Я пошла… А-а-а-х! О Господи! Это же сахар! У-а-а!

Капитан. Ладно, похоже, удалось пересчитать всех шестерых. Таким образом, в коридоре «G» никого не было. Просто померещилось.

Первый помощник. Прошу прощения, капитан, нас на борту всего пятеро.

Капитан. Откуда у вас такая уверенность в том, мистер Боллс?

Первый помощник. Элементарная арифметика. Простое сложение натуральных чисел. Вы — это раз, я — это два, Болтс — три, Спаркс — четыре. Бэтс — пять. Один плюс один плюс один плюс один плюс один равно пяти.

Капитан. Может быть. С помощью вашей статистики все что угодно докажешь. А вдруг все-таки здесь есть еще одна единица, вами не учтенная?

Первый помощник. И кто же это, позвольте вас спросить?

Капитан. Это я вас спрашиваю о том, мистер Боллс!

Первый помощник. Капитан, вы позволите самым почтительнейшим образом напомнить, что уже время ленча, или же обеда, или чего бы там ни было еще.

Капитан. А что вы, интересно, скажете насчет трансцендентных чисел, а, мистер Боллс?

Первый помощник. Капитан, при всем моем к вам уважении — не лучше ли будет доверить математику мне и бортовым компьютерам?

Капитан. Хорошо-хорошо, мистер Боллс, только не лезьте в бутылку! А чего бы вам хотелось на ленч?

Первый помощник. Все, что только ни предложите, капитан.

Капитан. Мне уже осточертело думать за вас, постоянно составляя меню, даже мигрень оттого делается. Откупорю вот сейчас жестянку томатного супа «Кемпбелл», и, если он вам не придется по вкусу, сами же и будете виноваты. Всякий раз, как только я приближаюсь к постижению чего-то важного, всякий раз, когда моя интуиция что-то такое нащупывает, всякий раз, когда я начинаю ощущать себя настоящим капитаном межзвездного лайнера, — тут же приходит время сломя голову нестись на камбуз и решать, то ли макароны с сыром готовить для вас, то ли рисовый плов. Почему кто-нибудь другой не в состоянии заняться стряпней, хотя бы временно?

Первый помощник. Но ведь никто, кроме вас, не умеет.

Капитан. Любой может откупорить и разогреть жестянку с супом, и ничуть не хуже меня.

Первый помощник. Вы забыли, что Второй помощник уже как-то пыталась?

Капитан. Любой сможет, даже самый паршивый робот сумел бы. Почему у нас на камбузе нет ни единого робота? Почему корабль должным образом не подготовлен к полету? Просто беда мне с таким ленивым, недружным, скверно подобранным и несовместимым экипажем. И горше всего то, что подлинный камень преткновения всем моим неимоверным усилиям сплотить вас в единый кулак, сколотить из вас настоящую команду — лишь одна персона, один-единственный член экипажа. Всем, полагаю, понятно, кого я имею в виду?

Первый помощник. Ответ утвердительный.

Бортинженер. Так точно.

Чокнутый Второй помощник. Только не меня. Но ведь бедняга Том давно уже в морозилке.

Капитан. Спаркс, вы слушаете? Спаркс, отзовитесь! Отзовитесь немедленно!

Связист. Тс-с-с! Я внимаю эфиру. Конец свя…

Капитан. Нет! Вы сейчас же сдерете с себя эти чертовы наушники и выслушаете меня, Спаркс!

Связист. Как бы мне хотелось этого, капитан! Порой кажется, что я вот-вот соберусь с силами и даже сумею вырубить радио. Но ничего не выходит, я просто не в силах. Знаете, капитан, а ведь оно само смолкает порой. Случаются дни, недели, а то и месяцы,

когда я не могу поймать ничего, стихает даже бульканье звезд. Но мне все равно приходится слушать и слушать, только бы не прозевать *Послание*. Этим я и занимаюсь сейчас. Посланий не было уже пять дней по бортовому счислению. Но вдруг очередное именно сейчас на подходе! Что, если оно придет, когда я буду в камбузе разогревать какой-то там паршивый суп? Что, если оно идет уже прямо сейчас, пока я общаюсь с вами по внутренней связи? Только не подумайте, что у меня есть что-то против вас или что я желаю быть для вас камнем преткновения, просто такова планида любого связиста. Конец свя…

Капитан. Не сметь отключаться! Вы останетесь сейчас на связи со мной, Спаркс, и внимательно выслушаете *мое* послание. Связисты на других кораблях никогда не ведут себя подобно вам, и вы это знаете. Они не сидят непрерывно с отвисшей челюстью в этих чертовых нацепленных на уши телефонах. Они *связываются*. Они беседуют с другими кораблями нашего флота, записывают новости и приказы, обмениваются слухами и сплетнями, чтобы всем нам было веселее, коротать время в наших космических саркофагах. Почему же вы не хотите походить на своих коллег? Неужто не понимаете, что всем нам нужно время от времени пообщаться и с другими кораблями?

Связист. Но ведь я не могу слушать радио на волне космофлота.

Капитан. Что значит — не можете?

Связист. Ну, понятное дело, ведь я стараюсь не прозевать *Послание*.

Капитан. Какое еще послание?

Связист. Такое, какого прежде еще не бывало.

Капитан. А для чего, собственно?

Связист. Ну, возможно, оно прольет свет на Конечную Цель нашего путешествия — нашего и остальных кораблей флота.

Капитан. А какое значение имеет, куда мы летим, к какой такой Конечной Цели, коль скоро мы уже летим? Послушайте, Спаркс, мне не хотелось бы лаяться с вами. Более того, хотелось бы иметь возможность всецело и безоговорочно полагаться на вас. Ведь для женщины вы просто гений связи. Однако…

Связист. Прошу прощения, капитан! Нащупывается какой-то сигнал. Конец связи…

Капитан. Вот же дьявольщина! Мистер Боллс, вас не затруднит сию же минуту прибыть на мостик? Я какое-то время проведу на камбузе, займусь стряпней.

Первый помощник. Погодите минутку, капитан. В воздухе носится нечто подозрительное. Возможно, что-то случилось с системой циркуляции бортовой атмосферы.

Капитан. Может быть, просочились пары водорода от Болтс с ее вечными утечками?

Первый помощник. По запаху на водород не похоже. Весьма загадочный такой аромат. Но, может, это вибрации, а вовсе не запах? Или даже какие-то звуки?

Капитан. Мистер Боллс, с вами вообще все в порядке? Что-то вы сами на себя не похожи.

Первый помощник. Ответ утвердительный. Капитан, вынужден вас огорчить — есть веские основания подозревать присутствие на борту корабля посторонних.

Капитан. Пришельцев, что ли?

Первый помощник. Ответ утвердительный. Тревога. Тревога. Красная опасность. Все по боевому распорядку. Свистать всех наверх. Корабль подвергся проникновению извне. Бортинженер, доложите обстановку в машинном отделении.

Бортинженер. Это, ну, у меня в машинном все тип-топ, сэр.

Капитан. А как там изолятор антиматерии?

Бортинженер. Мы залатали микротрещину, наложив на нее микропластырь, так что пока все в ажуре, капитан.

Капитан. А что новенького насчет систем самоликвидации?

Бортинженер. Ну, видите ли, мы как раз сейчас трудимся над этим не покладая рук. Но, смею заверить, в остальном дела в машинном обстоят как нельзя лучше, капитан.

Первый помощник. Красная опасность! Красная опасность! Бортинженеру немедленно возобновить ремонт систем самоликвидации центральной реакторной зоны, а по завершении восстановительных работ привести системы в состояние экстренной готовности!

Капитан. Мистер Боллс, что это вы там так расшумелись?

Первый помощник. У нас на борту посторонние, капитан!

Капитан. Откуда вы это знаете?

Первый помощник. Скользкие, мерзкие, ползучие твари!

Капитан. Вы видели их, мистер Боллс? Часом уж не в тренажерном ли зале?

Первый помощник. Нет, не видел. И не дай Бог увидеть. Но я чувствую. Они здесь, капитан. *Это* уже на борту — нечто, чему здесь не место. И это не кто-либо из наших. Ему нет названия, оно явилось извне, из открытого космоса. С целью захватить нас врасплох. Оно выжидает и выжидает, скрываясь где-то глубоко в недрах корабля, выжидает и растет, и собирается с силами…

Капитан. Боже милосердный! Ну-ка, немедленно возьмите себя в руки, мистер Боллс!

Чокнутый Второй помощник. Помните, недавно я говорила вам, что бедняжка Том был сущей ледышкой. Так вот, теперь он

начал маленько подтекать и потрескивать.

Первый помощник. Оно там, в кают-компании, с тобой, не так ли, Бэтс? Ты знала о нем уже давно и скрывала от нас. Подлая изменница! Но я уже иду! Я войду к тебе. Бэтс, и я прихлопну эту мерзкую тварь, это гнусное аморфное существо, которое ты скрывала от нас, прикармливая нашей великолепной, высококалорийной пищей…

Капитан. Мистер Боллс! Где вы сейчас? И что собираетесь предпринять?

Первый помощник. Взламываю дверь в кают-компанию, капитан.

Не беспокойтесь. Я управлюсь сам. Оставайтесь себе на мостике, ведите корабль строго по курсу, и все будет в полном порядке.

Капитан. Но ведь я не в рулевой рубке сейчас, мистер Боллс. Я на камбузе.

Первый помощник. Ради всего святого, капитан, немедленно вернитесь на мостик! Если этой твари удастся ускользнуть от меня, она может попытаться захватить управление кораблем… Ну вот, Бэтс, и где же оно? Где ты прячешь его? Ну-ка, покажи немедленно, а не то… А-а-а! У-у-у-и-и-и! Ой!

Бортинженер. Капитан! Капитан-кок! Там наверху что, какие-то проблемы?

Связист. Попросила бы всех так не шуметь, я на приеме, внимаю эфиру.

Капитан. Мистер Боллс, доложите текущую обстановку в кают-компании. Мистер Боллс, жду немедленного доклада.

Чокнутый Второй помощник. Говорит Чокнутый Второй помощник. Ваш Первый помощник, капитан, временно не в состоянии отвечать.

Капитан. Тогда доложите вы. Второй.

Чокнутый Второй помощник. Ну, ведь вы все слышали, как он ворвался, вопя, что хочет размазать по стенке какого-то там пришельца. Наткнулся здесь на меня и попытался сбить с ног приемом каратэ. Но, как вам, капитан, известно, не на таковскую напал. Я чудовищно сильна, даже для Чокнутого Второго помощника. Пришлось слегка шмякнуть его по котелку, применив нечто вроде приема ай-чинь, и он тут же утихомирился.

Капитан. Доложите состояние Первого помощника, будьте столь любезны.

Чокнутый Второй помощник. Лежит на полу и ровно дышит.

Капитан. Очень хорошо. Бэтс, попрошу *вас* пройти на мостик и приглядеть там за приборами. Когда мне довелось смотреть на звезды в последний раз, Арктур немного сместился. Боюсь, если

возня с ленчем затянется, кто-нибудь еще может не выдержать.

Чокнутый Второй помощник. Слушаюсь, мой капитан.

Капитан. Кстати, а пришелец этот, он что, *действительно* у нас на борту?

Чокнутый Второй помощник. Разумеется, капитан.

Капитан. Так мне и думалось. Давно следовало догадаться, что мистер Боллс ошибается порой в своих математических выкладках. Вам, кстати, лучше бы захватить *существо* с собой на мостик и глаз с него не спускать.

Чокнутый Второй помощник. Боюсь, капитан, это невозможно. Придется оставить пришельца в кают-компании.

Капитан. Почему это, собственно?

Чокнутый Второй помощник. Ну, видите ли, капитан, так просто будет куда удобнее. Здесь мы сможем кормить его через щелку в двери. Признаться откровенно, сама-то я очень рада покинуть постылую кают-компанию. Здесь уже становится немного тесновато. Как верно отметил наш прозорливый мистер Боллс, *оно* растет. Вы не поверите мне, но вначале *оно* было величиной с маковое зернышко.

Капитан. А как там наш прозорливый мистер Боллс?

Чокнутый Второй помощник. Уже сидит, но все еще малость не в себе, как будто бы в шоке. Я помогу ему добраться до его персональной каюты.

Первый помощник. О Боже не могу встать эта мерзкая тварь точно огромный скользкий вонючий червь объедающий нас жиреющий за наш счет сосущий нас вампир использующий нас паразит *оно* непрерывно растет *растет* РАСТЕТ выпустите меня отсюда отпустите меня уберите свои грязные лапы красная опасность самоликвидация САМОЛИКВИДАЦИЯ!

Чокнутый Второй помощник. Ну вот, ну вот, Боллс, уже все. Уже добрался. Вот твой собственный уютный уголок, видишь? Замечательная такая каютка! Здесь можно запереться наглухо и не пускать никого, и всласть позаниматься твоими любимыми расчетами.

Первый помощник. О Господи, да ты даже хуже, чем *это*! Убирайся прочь! Вон отсюда! Немедленно! Капитан! Капитан-кок! Этот офицер рехнулся!

Капитан. Кто именно?

Чокнутый Второй помощник. Это он обо мне, капитан.

Капитан. Ну да, ну да, мы давно уже знаем это и даже величаем вас именно так. Чокнутым — за ваше неумение пользоваться ресурсами подсознания.

Первый помощник. Капитан-кок! Прикажите персоналу машинного отделения немедленно активировать систему

самоликвидации! Прервите полет! Аннулируйте полетное задание!

Капитан. Ну вот, опять вы за свое!

Первый помощник. Прекратите! Остановитесь! Мы захвачены чужаками, преследующими неизвестные цели. Они подчиняют себе наши мозги! Корабль представляет опасность для всей Экумены!

Чокнутый Второй помощник. Ну ни фига себе, да он излагает прямо как по-писаному — меня передразнивает, что ли?

Капитан. Если судить беспристрастно, то все это выглядит весьма и весьма любопытно. Уж не вызвано ли столь бурное негодование мистера Боллса против пришельцев тем, что сам он тоже в какой-то мере всегда оставался на нашем корабле чужаком? Кажется, психологи называют подобный феномен «смещением представлений».

Первый помощник. Вам не вообразить даже, до чего *оно* ужасно, ужасно, ужасно!

Связист. Капитан, прикажите, пожалуйста, Первому помощнику заткнуться. Его крики уже достали меня до печенок. А я как раз начала принимать по рации нечто интересное.

Капитан. Откуда на сей раз? Мне сейчас определенно не повредил бы дельный совет.

Связист. Трудно сказать. Но сигнал довольно близкий, звучит вполне отчетливо.

Капитан. И что там сказано?

Связист. Это не по-английски.

Чокнутый Второй помощник. Простите, здесь Бэтс, я уже на мостике, докладываю: все в полном ажуре.

Капитан. Ну вот и чудненько. Всем, всем, всем! Время ленча. Все к супопроводам, друзья мои, рот нараспашку! Готовы?

Чокнутый Второй помощник. Я готова.

Бортинженер. Готова.

Первый помощник. Готов.

Связист. Готова.

Капитан. Су-уп… пошел!

Бортинженер. А-а-ахм!

Первый помощник. М-м-м-м!

Чокнутый Второй помощник. Ням-ням.

Связист. Ням-ням.

Капитан. Ням.

Чокнутый Второй помощник. А как быть с чужаком?

Бортинженер. Я присмотрю за бедной изголодавшейся скотинкой. Пришлите мне, капитан, еще порцию супа, я перелью его в поддон из-под смазки и пропихну в щель. Ага, есть, спасибо!

Уже иду… Вот я и на месте. Скотинка, ты готова? Цып-цып-цып! Идет-идет, а то как же!

Пришелец. Ням-ням.

Бортинженер. Скотинка хорошая! Умничка! Ай, как мы здорово покушали! Теперь ступай баиньки. Капитан, а как все-таки она сумела пробраться к нам на борт?

Капитан. Над этим мне еще предстоит поразмыслить.

Чокнутый Второй помощник. Никуда она не пробиралась, это типичный автохтон, случай самозарождения. Она наша, целиком наша.

Капитан. Так не бывает, Бэтс. Во всяком случае, со звездолетами нашего класса. И уж никак — без Специального Разрешения. Что до меня, то единственно возможным способом считаю проникновение пришельца по топливным шлангам во время рандеву с тем крейсером, возле Денеба. Шлюзы тогда, как вы помните, несколько раз открывались, вот вам и результат.

Бортинженер. Ах, какая лапочка был тот крейсер! Гладенький, блестящий, длиннюсенький и такой весь из себя мощный! У меня от зависти аж патрубки полопались.

Связист. Да уж, будь неладен, и мне он барабанные перепонки как следует попортил. На неделю забил весь эфир своей сентиментальной галиматьей. Даже позывной для нас придумал тот еще — «Горшочек с медом», представляете себе!

Первый помощник. Вы что же, капитан, всерьез полагаете, что этого монстра нам нарочно подбросили на борт с того самого крейсера? С корабля космофлота?

Капитан. Ну, может, и не нарочно. Такие вещи случаются порой, если не принимать должных мер предосторожности. К примеру, если бы Второй помощник, не позаботившись задействовать вовремя силовую защиту шлюза, напомнила бы мне о необходимости дезинфекции, как это уже бывало прежде…

Чокнутый Второй помощник. Терпеть не выношу все эти силовые поля. Они так неестественны, столь неэстетичны! С ума можно рехнуться от их жутких вибраций. И еще, видите ли, изволь заботиться, чтобы не дай Бог не перепутать временные фазы! Такое никак не годится для корабля в долгом межзвездном перелете. Болтс наверняка меня в том поддержит.

Бортинженер. Ну, это и правда лишняя нагрузка на двигатели, к тому же приличная. А кроме всего прочего, к чему *нам* эти дурацкие меры предосторожности?

Чокнутый Второй помощник. Вот видите! Теперь вам понятно, почему я позабыла вовремя нажать на какую-то там махонькую кнопочку.

Капитан. В том-то все и дело.

Первый помощник. Все вы скопом чокнутые, просто недочеловеки какие-то, вы сами инфицировали наш корабль, вы сами позволили этому монстру захватить нас врасплох! Вы сознательно стремились к этому, а теперь, когда существо появилось, слепо потакаете ему, и оно все растет, *растет*…

Бортинженер. Ну вот, ну вот, опять он свое заладил, бедолага. Видать, обед ему впрок не пошел.

Первый помощник. Капитан-кок! Прислушайтесь ко мне! Вы прежде изредка… даже довольно часто прислушивались к моим советам и всегда… ну, иногда производили впечатление более-менее здравомыслящего человека. Взвесьте все «за» и «против», капитан, *поразмыслите* как следует — корабль в смертельной опасности! *Оно* берет над нами верх, неужто не видите? А ведь у нас наиважнейшее задание, Миссия! Сколько можно попустительствовать? Чем раньше начнем действовать, тем легче будет справиться, тем безопас…

Капитан. Кхм, а как давно *оно* у нас на борту?

Чокнутый Второй помощник. Уже… дней пятьдесят (по бортовому календарю). Во всяком случае, именно столько прошло с момента рандеву с душкой крейсером.

Капитан. Стало быть, остается… погодите-ка… из двухсот восьмидесяти вычесть пятьдесят…

Первый помощник. Двести тридцать.

Капитан. Верно. Именно. Осталось около двухсот тридцати дней пути (по бортовому счету). Если все пойдет заведенным порядком. Это ведь уже далеко не первый случай проникновения пришельцев на корабли космофлота — к вашему, мистер Боллс, сведению. И наверняка не последний. Так что, за вычетом явных катастроф, мы примерно знаем, чего именно следует ожидать. Возможно, вам также не повредило бы заглянуть в «Инструкцию на случай обнаружения на борту корабля посторонних», чтобы освежить в памяти имеющиеся там вполне четкие и недвусмысленные указания.

Первый помощник. Капитан, ваше спокойствие меня просто пугает.

Капитан. А меня, мистер Боллс, думаете, оно не пугает? Я боюсь до смерти, боюсь буквально до усрачки, извините за непечатное выражение. Но что же теперь я могу поделать?

Первый помощник. Избавиться от пришельца! Сию же минуту! Немедленно! Пока мы еще в состоянии! Прежде, чем он разбухнет и займет весь корабль! Давайте запихнем его в мусорный шлюз! Отоприте меня, позвольте выйти, нам нельзя терять ни секунды — клянусь, тогда ни одна живая душа на всем флоте ничего не узнает…

Чокнутый Второй помощник. Послушай-ка меня, малютка Боллс. Теперь я распоряжаюсь на мостике. И собираюсь делать это в течение ближайших двухсот тридцати дней (по бортовому времени). А капитан останется на камбузе, где ему самое место и где он гораздо нужней. Дверь твоей каюты надежно заперта и будет заперта, пока ты не свыкнешься с существующим порядком вещей. Тебе поначалу может не приглянуться твой новый командир. Знаю, ты считаешь меня недостойной капитанского звания, видишь во мне прирожденного исполнителя чужих команд. И в нормальных обстоятельствах это по большей части верно, так и есть. Я именно *такая* — бесчестная, непредсказуемая и себе на уме. Да и собственным глазам не могу доверять. Ныряешь вроде бы в ревущий океан жидкой соли, глядь — а там россыпи сахарной пудры. Смотришь через иллюминатор вроде бы на звезды, а видишь только драконов, лебедей, китов, скорпионов, больших и малых медведиц, стрельцов, возничих в колесницах, кресты, знамения, чудн**ы**е знаки и надписи гигантскими сияющими литерами, смысл которых мне неведом. Стоит только протянуть руку к главному пульту управления, клавиши тут же оборачиваются мохнатыми собачьими лапами, а пальцы мои — искрящимися бенгальскими огнями. Проходя по мостику к компьютерным экранам, я не вижу под ногами пола, внизу только мрачная бездна, кошмарная выгребная яма, наполненная бледными призраками в жутких корчах, призраками, обращающими ко мне, своей соотечественнице, слепые глазницы и беззубые провалы ртов — пока я, балансируя на невидимой проволоке, пытаюсь поймать свою порхающую трапезу. Воистину я недостойна занимать место на мостике судна подобного класса — за исключением ночной вахты, когда и ты, Боллс, и капитан оба дрыхнете, да еще за исключением необычных ситуаций, вроде нынешней. Но фактически именно благодаря всем этим своим завихрениям я единственная, кто сумеет вытащить корабль из беды.

Первый помощник. Капитан, капитан-кок, все же прислушайтесь ко мне. Не доверяйте этой мутантке, она одержима. Выслушайте меня. Я всегда… ну, почти всегда был честен с вами, капитан. И вы всегда… ну, почти всегда могли на меня положиться. Ведь для женщины вы, капитан, просто подлинный гений судовождения. Не позволяйте вашему Второму помощнику верховодить на мостике!

Капитан. Я теперь не в силах помешать ей, мистер Боллс. Похоже, виной тому влияние пришельца, исходящая от него мозговая радиация. Мы все как-то незаметно переменились, вы не находите?

Первый помощник. Переменились?

Капитан. Вот именно. Бэтс вдруг стала обладать чудовищной физической силой — вы сами ощутили ее на себе в виде удара *айчинь* — и всепобеждающим чувством своего предназначения. Болтс уже не жалуется более на неполадки в машинном отделении — счастливая, точно жаворонок по весне, она насвистывает «Братья скотты, как один, все на выручку Уэльсу!» и в ус себе не дует. Спаркс совсем от рук отбилась, даже откликаться перестала — эй, Спаркс! Спаркс, отзовитесь! Ну вот, видите? Что до меня, точно не скажу, какие именно перемены произошли во мне самой — разве что вдруг возникла уверенность, что Второй помощник сумеет справиться с командованием ничуть не хуже нас с вами, а то и лучше, пожалуй. Зато точно знаю, что с момента появления на борту инопланетянина чувствую себя как-то иначе, совсем иным человеком.

Первый помощник. А как же я, капитан? Я-то не изменился.

Капитан. Нет. В том-то и беда ваша, мистер Боллс. Вы не изменились. И именно потому теперь не в состоянии совладать с ситуацией. Но в том нет вашей вины, к тому же в столь долгом путешествии это еще может нам пригодиться, принести свою выгоду. Должно же хоть что-то на борту оставаться незыблемым. В конце концов, мы ведь тоже вовсе не хотим полностью переродиться в пришельцев и утратить человеческий облик.

Первый помощник. Капитан, пусть вы и не столь образованны, как я, но ведь во многом тоже продукт человеческой цивилизации — в отличие от остальных членов команды. Как можете вы мириться с подобным уничижением? Как можете позволять *использовать* себя, точно безмозглый горшок или небьющуюся тарелку? Мы ведь не наемный тарантас, не термостат для инопланетных слизней, этой дьявольской дрожжевой культуры! Мы корабль, звездолет непобедимого космофлота, мы идем под собственными парусами и земным штандартом, мы отправились в Великое Путешествие к Неведомым Мирам.

Капитан. Однако, как вам, мистер Боллс, должно быть хорошо известно, не так уж много у нас шансов до них добраться.

Первый помощник. Знаю. И все же шансы были. А теперь их нет. Нам не добраться до цели, нам никуда не добраться под каблуком у вонючих пришельцев, с экипажем, которому совершенно безразлично, что происходит за бортом корабля. Держу пари на что угодно, ваш Второй помощник даже не в состоянии правильно взять азимут по звездам. Ну-ка, Бэтс, определите наше склонение по Арктуру?

Чокнутый Второй помощник. Сейчас поглядим. Вот только

придавить бы эту царапучую собачью лапу да загнать обратно в пульт мерзких дождевых выползков. Ну вот, наконец-то удалось! Говорите, по Арктуру? Я не вполне уверена, но внизу по левому борту ясно вижу мертвую королеву, восседающую на огненном троне.

Первый помощник. Ну вот видите, капитан, что и требовалось доказать!

Капитан. Вы безусловно правы. И я не настолько уж выжила из ума, чтобы запереться в камбузе до конца дней своих. Но нам с вами следует быть чуток терпимее, мистер Боллс. Немного самообладания — не может же пришелец вечно оставаться у нас на борту. Всего пути осталось меньше чем восемь месяцев. А тогда, как вы, надеюсь, понимаете, все, что нам останется сделать, — это взять существо на временный буксир — максимум на несколько лет.

Первый помощник. На буксир? *Буксировать* это?

Капитан. Естественно, а как же иначе? Ведь теперь оно на нашей совести и под нашей протекцией.

Бортинженер. Не выставишь же бедную сиротку на зверский космический колотун, а, Боллс?

Первый помощник. Еще как выставишь! В мусорный шлюз ее! Немедленно! В шлюз и за борт!

Чокнутый Второй помощник. Заткни фонтан, Боллс!

Первый помощник. Капитан! Давайте-ка попробуем разобраться совершенно спокойно, без эмоций. Неужели вы хотите сказать, что когда мы наконец избавимся от монстра, когда тварь, разрастаясь, проломит себе путь наружу, причинив при этом судну колоссальные повреждения, возможно, даже полностью разрушив по пути машинное отделение, — вы допускаете себе подобную мысль, Болтс? — а может, погубив и весь корабль целиком, — так вот, неужто мы и тогда, если нам еще повезет уцелеть, поворачивая на обратный курс, возьмем бессознательную, беспомощную тварь на буксир и будем тащить ее по направлению к нашему флоту на пониженной тяге в течение пяти, десяти или двадцати лет (по бортовому счислению), а тварь тем временем станет расти, крепчать, умнеть и строить козни? Капитан, неужто вы до сих пор не осознали, что пришелец несет нам всем неминуемую погибель?

Капитан. Да, мистер Боллс, это я как раз осознаю. Но, видите ли, когда бы не пришелец, так непременно что-нибудь еще: метеор ли, спора ли межзвездной чумы, вездесущие гравитационные волны невидимой нейтронной звезды или встреча с каким-нибудь враждебно настроенным сверхразумом, а то и столкновение с другим кораблем нашего же родного

космофлота… Так или иначе, мистер Боллс, а от судьбы нам не уйти. Вся наша жизнь — лишь крохотная мимолетная искорка, затерянная в безбрежном пространственно-временном континууме. Так что еще остается нам делать, как не продолжать скорбный свой путь в небытие?

Первый помощник. Но зачем же тащить следом за собой еще и эту пакость?

Капитан. Если с самого начала не повести с пришельцем честную игру, то кто же доставит к Неведомым Мирам бесценные плоды хлебного дерева, когда у нас полностью иссякнут запасы топлива для двигателей?

Бортинженер. Я тут покумекала, капитан, и считаю, что крейсер наверняка пособит нам управиться со скотинкой, стоит только намекнуть ему об этом.

Капитан. Да уж, помощь крейсера при буксировке определенно не помешает. Вся проблема в том, как заставить Спаркс передать радиограмму. Эх, ну и пофартило же нам со связистом!

Связист. Тихо, попрошу всех заткнуться! Принимаю Послание.

Чокнутый Второй помощник. Уж не от моей ли левобортной королевы-покойницы?

Связист. Нет, от нее пока ни полслова. Это, похоже, от пришельца.

Чокнутый Второй помощник. Как, уже? Ха! Я всегда считала, что корабль прекрасно может договориться со своим пришельцем — стоит только прислушаться повнимательнее. И чего же он хочет?

Связист. Он по-прежнему вещает не по-английски.

Чокнутый Второй помощник. А как звучит послание?

Связист. Сплошная икота.

Капитан. Икота?

Связист. Существо икает. Должно быть, обожралось томатным супом. Вот, слушайте сами, подключаю его к внутренней связи.

Пришелец. Ик! И-ик!

Бортинженер. Капитан, у меня тут уже начинают трещать передние переборки и быстро растет давление в центре корпуса. Может, воспользуемся питьевой содой?

Капитан. Ни в коем случае! Категорически запрещено пользоваться содой, когда на борту пришелец! Вы что же, невнимательно читали «Инструкцию»? Попробуйте маалокс.

Бортинженер. Слушаюсь, капитан.

Пришелец. И-ик!

Бортинженер. Цып-цып-цып, иди ко мне, моя кроха, иди сюда, мой сладенький!

Первый помощник. О Господи, если бы я только мог снова оказаться сейчас на борту крейсера, с которого так легкомысленно перебрался на ваше порхающее корыто! С вами запросто можно рехнуться! Вы все тут чокнутые. Да и я тоже.

Чокнутый Второй помощник. Мистер Боллс, послушайте-ка меня! Может, вам полегчает, когда узнаете, что вы не единственный у нас на борту мужчина?

Первый помощник. Не единственный мужчина? Разумеется, полетает. Мускулатура! Разум! Логика! Опрятность! Благочестие! Да! Тысячу раз да!

Чокнутый Второй помощник. Даже если это чужак?

Первый помощник. Чужак?

Чокнутый Второй помощник. Видишь ли, пришелец вполне может оказаться самцом.

Первый помощник. Бог ты мой! А ведь вполне может быть. Даже наверняка. Ты абсолютно права — это самец. Вероятность ноль девяносто девять и девять в периоде.

Капитан. Превосходная мысль, Бэтс, благодарю вас.

Чокнутый Второй помощник. Ну, мне-то самой вовсе так не кажется, капитан, зато мистеру Боллсу это по кайфу и поможет взять себя в руки.

Первый помощник. Пришелец — самец. Мужчина. Ей-Богу! Только так, и никак иначе! Э-эй, пришелец! Отзовись!

Пришелец. И-ик!

Первый помощник. Кто ты, пришелец, а? Может быть, ты еще незрелый юноша? Или даже пришельчик-карапуз? А?

Капитан. Пожалуйста, мистер Боллс, не надо перехлестывать через край. Не забывайте о своих должностных обязанностях, а также чувстве собственного достоинства. Мы все нуждаемся в вас. Лучше бы вам заняться сейчас какими-нибудь несложными расчетами. Что до меня, займусь-ка я стряпней к обеду. Второй помощник, доложите обстановку на мостике.

Чокнутый Второй помощник. Все просто расчудесно, капитан. Пылающие медведицы и скорпионы, рассекаемые бушпритом, точно светящаяся морская пена, проносятся мимо, украшая наш могучий корвет пышным блистающим шлейфом. Внизу же, наверху и вообще куда только ни глянь по-прежнему царит глухая бездна, полная невообразимых ужасов, непредсказуемых бедствий, незаслуженных нами прелестей и неминуемой нашей погибели. Словно порхающий стебелек тысячелистника, мы стремимся вперед — если существует этот самый перед — сквозь бурлящий водоворот вероятностей.

Капитан. Отлично. Болтс?

Бортинженер. Тип-топ, капитан. Добрались уже до пятой палубы, маалокс действует — просто чудо.

Капитан. Превосходно. Тогда вплотную займусь обедом. Что-нибудь легкое, но питательное, полагаю. Китайский цветочный суп с черепашьими яйцами, например.

Связист. Умоляю! Помолчите хотя бы минутку. Я на связи с Космосом.

Чокнутый Второй помощник. Ба, а мне доводилось вступать с ним в связь порой даже без всякого радио. И что же там новенького?

Пришелец. И-ик!

Связист. Тс-с-с! Кстати, капитан, есть сообщение от одного из кораблей флота. Очень краткое: «Цик-цик».

Капитан. Не обращайте внимания. А что сообщает Космос?

Связист. Сигнал не очень-то ясный. Сильно фонят звезды, да и волна плывет. Но весьма похоже на «Поздравляю!». А может, и что-то совсем иное. Помолчите, пожалуйста! Я внимаю эфиру

ИЗМЕНИТЬ ВЗГЛЯД [31]

Мириам стояла в палате лазарета у большого окна, смотрела на расстилающийся за стеклами пейзаж и думала: «Двадцать пять лет я стою в этой палате и смотрю в окно. И ни разу не видела то, что хотела бы увидеть».

— Как мне забыть тебя, о Иерусалим…

Да, боль уже забылась. Забыты ненависть и страх. В изгнании не помнятся серые дни и черные годы. А вспоминаются солнечный свет, фруктовые сады, белые города. Даже если и попытаться, невозможно забыть красоту и величие Иерусалима.

Небо за окном палаты лазарета было затянуто дымкой. Над низким горным хребтом, называемом Арарат, садилось солнце — садилось медленно, так как Новый Зион вращался медленнее, чем Старая Земля, и день здесь длился двадцать восемь часов. Поэтому солнце скорее даже не садилось, а уныло сползало за тусклый горизонт. По небу не проплывали облака, которые бы отразили все разнообразие оттенков заката. Облака вообще очень редко появлялись над Новым Зионом. Здесь никогда не были видны звезды. И лишь туманная дымка никогда не исчезала полностью. Когда она сгущалась, шел душный моросящий дождь. Но чаще всего, как и сейчас, неясная и неподвижная тонкая пелена затуманивала небо, не давая увидеть, какого оно цвета. И через эту дымку пробивался свет солнца — нет, не солнца, а НСЦ 641, звезды класса G, которая призрачно светилась над Зионом, пупырчатая, словно апельсин, — помните апельсины? вкус сладкого сока на языке? фруктовые сады Хайфы?.. НСЦ 641 глядела вниз, словно затуманенный глаз. Эта звезда не излучала ослепляющего золотистого солнечного сияния, и люди могли спокойно смотреть на нее. Так они — жители Зиона и звезда НСЦ 641 — и глазели друг на друга, словно слабоумные, все эти годы.

Тени вытянулись через долину по направлению к зданиям поселения. В сумерках поля и деревья казались черными; дневной свет окрашивал их в разнообразные оттенки коричневого, багрового и темно-красного. Всюду преобладали грязные цвета, цвета, подобные тем, что получились, когда однажды Мириам намешала слишком много акварельных красок и учитель, проходя мимо, сказал: «Мими, налей лучше чистой воды, эта уже совсем грязная. И вообще, рисунок совсем не удался тебе, Мими. Выброс его и нарисуй новый» — учитель даже не задумался, говоря такие слова десятилетнему ребенку.

Мириам уже думала об этом и раньше — она уже обо всем думала раньше, стоя у окна лазарета, но сейчас, подумав о

рисовании, Мириам вспомнила о Гене и обернулась, чтобы посмотреть, в каком состоянии он находится. Симптомы шока у пациента практически прошли, на щеках появился легкий румянец, и пульс нормализовался. Пока Мириам держала Геню за запястье, он слегка застонал и открыл глаза, такие красивые глаза, серые, словно светящиеся на худом лице. Все, что у него было, у бедного Гени, — это глаза. Уже на протяжении двадцати четырех лет, с самого момента рождения, он являлся пациентом Мириам.

Мальчик появился на свет весом пять фунтов, багрово-голубой, словно эмбрион крысы. Он родился на месяц раньше положенного срока, фактически смертельно больной цианозом — пятый ребенок, рожденный на Новом Зионе, первый в округе Арарата. Коренной житель. Хилый и не подающий никаких надежд. У него даже не хватило ни сил, ни сознания, чтобы закричать при первом вдохе, наполнившим слабые легкие чужим воздухом. Остальные дети Софии родились в положенный срок: две здоровенькие девочки — обе уже замужем и имеют собственных детей — и толстый Леон, который в пятнадцать лет мог запросто поднять семидесятикилограммовый куль с зерном. Прекрасные молодые колонисты, сильные и крепкие. Но Мириам всегда любила Геню, и полюбила его еще больше после того, как перенесла несколько выкидышей и родила мертвых детей, в том числе последнего своего ребенка — девочку, прожившую два часа, глаза которой были такими же серыми, как у Гени. У детей не бывает серых глаз, глаза новорожденных — голубые. Но все это сентиментальная чушь. Да и как можно знать, какого на самом деле цвета предметы под этим чертовым пупырчато-оранжевым солнцем? Все здесь выглядит неправильно.

— А; это вы, Геннадий Борисович, — сказала Мириам, — ну что, снова вернулись домой?

Так они шутили с самого детства Гени. Мальчик проводил много времени в лазарете и всякий раз, когда он приходил с жалобами на лихорадку, периодические обмороки или приступы астмы, говорил: «Вот я и снова вернулся домой, тетя доктор…»

— Что произошло? — спросил он.

— Ты потерял сознание. Мотыжил землю на Южном поле. Аарон и Тина привезли тебя сюда на тракторе. Может, солнечный удар? Ведь у тебя вроде все было в порядке?

Геня пожал плечами и кивнул.

— Голова кружилась? Перехватывало дыхание?

— И то и другое.

— Так что же ты не пришел в клинику?

— Нехорошо это, Мириам.

Став взрослым, Геня стал обращаться к Мириам по имени. А ей так хотелось снова услышать «тетя доктор». За последние несколько лет юноша отдалился от нее, занявшись своим рисованием. Геня всегда делал эскизы, наброски, рисовал. Но сейчас проводил все свое свободное время и тратил все силы, остающиеся после выполнения обязанностей в поселении, на чердаке здания генератора, который превратил во что-то вроде студии. Там Геня, используя разной породы камни, растирал и смешивал краски, приготовленные из местных растений, мастерил кисточки из кусочков косичек, выпрошенных у поселенских девчонок, и рисовал — рисовал на щепках, добываемых на заводе пиломатериалов, на лоскутках, на драгоценных обрывках бумаги, на гладких сланцевых плитах из каменоломен Арарата, если под рукой не оказывалось ничего лучшего. Рисовал портреты, сцены из жизни поселенцев, здания, машины, натюрморты, растения, ландшафты, то, что рождалось в воображении. Рисовал все что угодно, все, что видел вокруг. Нарисованные им портреты пользовались спросом — люди всегда хорошо относились к Гене и другим больным. Однако в последнее время он рисовал не портреты, а странные, непонятные фигуры и линии, покрытые туманной дымкой, словно несформировавшиеся, неизведанные миры. Такие картины никому не нравились, но Гене ни разу не сказали, что он понапрасну теряет время. Он — больной. Художник. Ну и прекрасно. Здоровым людям некогда рисовать. Слишком много работы. Но не так уж плохо, когда рядом живет художник. Это — что-то человеческое. Как на Земле. Так ведь?

Люди хорошо относились и к Тоби, пареньку с таким больным желудком, что в шестнадцать лет он весил всего восемьдесят четыре фунта; хорошо относились к маленькой Шуре, которая научилась говорить лишь в шесть лет и глаза которой плакали и плакали, даже когда девочка улыбалась. Люди жалели всех своих больных, всех, чей организм никак не мог приспособиться к этому чужому миру, чьи желудки не способны были переваривать натуральные протеины даже при помощи метаболиков — препаратов, ускоряющих обмен веществ, которые каждый колонист был обязан принимать два раза в день в течение всей жизни на Новом Зионе. Несмотря на тяжелую жизнь в Двенадцати поселениях, где дорожили каждой парой рук, колонисты были добры к своим бесполезным соплеменникам, страдающим от различных болезней. В недугах проявляется Божья воля. Люди еще помнили такие слова, как «цивилизованность», «человечность». И помнили Иерусалим.

— Геня, дорогой, о чем ты? Что нехорошо?

— Нехорошо, — улыбнулся тот, и его тихий голос испугал Мириам. Серые глаза потеряли ясность, казались мутными. — Препараты, — пояснил он. — Таблетки. Лекарства.

— Ну конечно, ты разбираешься в медицине гораздо лучше, чем я, — сказала Мириам. — Ты более опытный врач, чем я. Или ты решил отказаться от лечения? Да, Геня? Отказываешься? — проговорила она надломленным голосом, даже покачнувшись от гнева, который внезапно вспыхнул в ней, вырос откуда-то изнутри, из столь тщательно и глубоко запрятанной тревоги.

— Отказываюсь. От метов.

— От метов? Отказываешься? О чем ты говоришь?

— За две недели я не принял ни одной таблетки.

От этих слов Мириам захлестнула волна отчаянной ярости; кровь ударила в лицо, и оно словно увеличилось в два раза.

— Две недели?! Так вот почему ты снова оказался в лазарете! Где, ты думал, окончится эта дурацкая затея? Какой же ты дурак! Хорошо еще, что не умер!

— Мириам, мне не стало хуже, когда я прекратил принимать пилюли. Всю последнюю неделю я чувствовал себя даже лучше, чем обычно. До сегодняшнего дня. Но тут дело в другом. Вероятно, тепловой удар. Я забыл надеть шляпу… — Щеки Гени залились слабым румянцем — то ли от попытки оправдать свои поступки, то ли от стыда. Очень глупо работать в поле с непокрытой головой. Несмотря на всю свою тусклость, НСЦ 641 могла нагреть незащищенную человеческую голову так же, как пламенное Солнце, и Геня поплатился за собственную небрежность. — Понимаешь, этим утром я чувствовал себя прекрасно, действительно хорошо, и не отставал от других, когда мы рыхлили землю. Потом появилось легкое головокружение, но я не хотел останавливаться: мне так нравилось работать вместе со всеми, я и не думал о тепловом ударе.

Мириам почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, и от этого настолько разозлилась, что не могла произнести ни слова. Она поднялась с кровати Гени и сделала несколько шагов между рядами кроватей — четыре с одной стороны и четыре с другой. Затем повернулась и остановилась, глядя в окно на окрашенный в грязные цвета бесформенный уродливый мир.

— Мириам, а на самом деле, может, метаболики действуют на меня хуже, чем натуральные протеины? — Геня говорил еще что-то, но она не слушала. Ее переполняли печаль, гнев и страх, которые наконец-то взорвались где-то внутри.

— Геня, Геня, ну как ты мог? — выкрикнула Мириам. — Как мог ты сдаться после стольких лет борьбы? Я не вынесу этого! — Но слова эти не были сказаны вслух. Ни слова. Никогда. Она

кричала мысленно, и лишь несколько слезинок пролились и сбежали по щекам, но пациент видел лишь спину доктора. Сквозь слезы Мириам посмотрела на плоскую равнину и тусклое солнце. — Ненавижу все это, — тихо сказала она окружающему миру. И через мгновение, собравшись с силами, повернулась к Гене, который сел на кровати, обеспокоенный столь долгим молчанием: — Ложись и лежи тихо. Перед обедом прими две таблетки. Если тебе что-то понадобится, Геза дежурит в комнате сиделок. — И Мириам вышла из палаты.

Выйдя из лазарета, Мириам увидела Тину, которая брела по ведущей с поля тропинке. Без сомнения, она шла навестить Геню. Из-за всех своих-одышек и лихорадок Геня никогда не искал дружбы с девушками. Выбор же у него был: Тина, Шошанна, Белла, Рахиль. В прошлом году, когда Геня жил с Рахилью, они регулярно брали в клинике контрацептивы, но в конце концов разошлись. Не поженились, хотя в таком возрасте — двадцать четыре года — дети поселенцев обычно были уже женаты и имели собственных детей. Геня не женился на Рахили, и Мириам знала почему. Генетическая этика. Скверные гены обязательно проявятся в следующем поколении. Поселению же больные не нужны. У Гени не должно быть потомства, а потому он никогда не женится и не может просить Рахиль остаться бездетной ради любви к нему. Поселениям необходимы крепкие дети, множество здоровых молодых туземцев, которые с помощью метаболиков смогут выжить на этой планете.

Рахиль не сошлась ни с кем другим. Но ей всего лишь восемнадцать. Она все преодолеет. Скорее всего выйдет замуж за парня из другого поселения и уедет, уедет подальше от больших серых глаз Гени. Так будет лучше для нее самой. И для него.

Не удивительно, что у Гени возникают мысли о самоубийстве! Мириам думала об этом и судорожно пыталась отогнать ужасные мысли. Она ужасно устала и собралась было уже пойти к себе, чтобы помыться и переодеться, сменить настроение перед ужином. Но пустая комната вызывала лишь тоску и уныние — Леонид уехал в поселение Салем и не собирался возвращаться еще по крайней мере в течение месяца. Не в силах вынести этого, Мириам направилась через пыльную центральную площадь поселения к зданию столовой и вошла в Гостиную. Чтобы убежать, скрыться от безветренной дымки, серого неба и уродливого солнца.

В Гостиной были двое: командор Марка дремал на одной из обитых мягким деревянных кушеток, а Рейне читал. Два

старейших члена поселения. Фактически командор Марка был самым старым человеком на свете. В сорок четыре года он руководил полетом Флота изгнанников со Старой Земли на Новый Зион. А сейчас, в семьдесят, стал дряхлым и больным. Людям плохо жилось на этой планете. Они рано старились, умирали в пятьдесят — шестьдесят лет. Рейне, биохимику, недавно исполнилось сорок пять, но выглядел он на двадцать лет старше. «Чертов клуб стариков», — угрюмо подумала Мириам. И это было действительно так: молодые люди, родившиеся на Зионе, приходили в Гостиную редко. Они приходили сюда почитать, поскольку здесь находилась библиотека поселения, полная книг, пленок, микрофильмов, но читали лишь немногие — остальные, вероятно, просто не имели для этого времени. Возможно, молодежь несколько беспокоил апрельский свет и картины. Все они такие высоконравственные, суровые, серьезные молодые люди, в их жизни нет места для досуга, для красоты — разве могут они понять, что старшему поколению необходима роскошь, этот единственный рай, единственное место, похожее на дом…

В Гостиной не было ни одного окна. Аврам, мастер-золотые руки по части всего электрического, оборудовал здесь искусственное освещение, воспроизводящее цвет и структуру солнечного света — не НСЦ 641, а именно Солнца. Поэтому вошедшему в Гостиную казалось, что он попал в дом, находящийся на Земле, в теплый солнечный апрельский или майский день и все вокруг озарено ясным, чистым, прекрасным светом. Аврам и еще несколько человек долго работали над картинами, увеличивая цветные фотографии приблизительно до квадратного метра: земные пейзажи, рисунки, привезенные колонистами, — Венеция, Негев, купола Кремля, фермы в Португалии, Мертвое море, степь Хэмпстеда, побережье Орегона, луга в Польше, города, леса, горы, кипарисы Ван Гога, Скалистые горы Бирстадта, кувшинки Моне, таинственные голубые пещеры Леонардо. Стены комнаты были покрыты рисунками и картинами, десятками картин, изображавшими все красоты Земли. Чтобы рожденные на Земле могли видеть и помнить, а рожденные на Зионе — видеть и знать.

Двадцать лет назад, когда Аврам начал развешивать картины по стенам, по этому поводу возникли разногласия. Как поступить мудрее? Стоит ли оглядываться назад? И так далее. В это время прибыл командор Марка, увидел Гостиную поселения Арарат и сказал, что наконец нашел место, где останется. Все поселения соперничали друг с другом, чтобы заполучить Марка, а он выбрал Арарат. Из-за изображений Земли, из-за этой комнаты, из-за

земного света, проливающегося на зеленые поля, заснеженные вершины и золотые осенние леса, из-за летающих над морем чаек, белых, красных и розовых кувшинок, плавающих в водоемах с голубой водой — все чистые цвета, настоящие, ясные, цвета Земли.

Сейчас командор Марка — этот статный старик — спал в Гостиной. Снаружи, в жестком, тусклом, оранжевом дневном свете, он показался бы больным и старым, с бледным, испещренным прожилками лицом. Здесь же он выглядел совершенно иначе.

Мириам присела рядом с Марка, глядя на свою любимую картину — спокойный ландшафт Коро, деревья, склонившиеся над серебристым потоком. Она настолько устала, что хотела лишь просто сидеть и не двигаться и не думать ни о чем. И сквозь это тупое состояние слабо, лениво начали просачиваться слова: «а может… на самом деле, может, меты действуют хуже… Мириам, на самом деле…»

«Неужели ты думаешь, что я никогда не допускала такой возможности? — мысленно возразила она. — Идиот! Неужели ты думаешь, что метаболики слишком сильно действуют на все твое нутро? Я же перепробовала пятьдесят разных комбинаций, чтобы избавиться от побочных эффектов, пока ты еще был маленький! Но лучше принимать метаболики, чем мучиться от аллергии ко всей этой чертовой планете! Конечно, ты знаешь все лучше, чем врач, да? Не говори мне эти глупости. Ты пытаешься…» — Внезапно она оборвала этот немой диалог. Нет. Геня не пытался убить себя. Нет. И не попытается. У этого парня есть силы и мужество. И голова на плечах.

«Ну хорошо, — мысленно сказала она молодому человеку. — Хорошо! Если ты останешься в лазарете под наблюдением две недели и будешь в точности выполнять все, что я велю, — хорошо. Попробуем!»

«Потому что, — произнес внутри Мириам еще более тихий голос, — все это неважно. Что бы ты ни делала, что бы ни придумывала — он умрет. В этом году или в будущем. Через два часа, через двадцать четыре года. Наши больные не могут приспособиться к этому миру. И мы тоже не можем, тоже не можем. Геня, дорогой, мы не предназначены для жизни здесь. Мы были рождены не для этого мира, а он — не для нас. Мы появились на Земле, из Земли, чтобы жить на Земле под голубым небом и золотистым солнцем».

Зазвонил гонг, сзывая всех на обед. У входа в столовую Мириам увидела маленькую Шуру. Девочка несла пучок омерзительных черновато-пурпурных сорняков, как ребенок на

Земле принес бы домой букет белых маргариток или красных маков, сорванных в поле. Глаза Шуры как обычно слезились, но она улыбнулась тете доктору. В красно-оранжевом свете заката, проливающемся сквозь окно, губы девочки казались мертвенно-бледными. И губы всех остальных после целого дня работы тоже выглядели мертвенно-бледными, а лица — застывшими, суровыми, усталыми. Люди входили в обеденный зал все вместе, все триста изгнанников, живущих в Арарате на Зионе, одиннадцатое потерянное племя.

Дела у Гени шли прекрасно. И Мириам пришлось с этим согласиться.

— Ты в порядке, — сказала она.

— Я же говорил! — ухмыльнулся он.

— Скорее всего это оттого, что ты сейчас бездельничаешь, — ответила Мириам, — ты, хитрюга.

— Бездельничаю? Все утро я заполнял больничные карточки для Гезы, два часа играл во всякие игры с Рози и Мойше, а днем растирал краски. Кстати, мне нужно еще минерального масла — можно взять литр? Как пигментное средство оно гораздо лучше, чем растительное масло.

— Конечно. Да, знаешь, у меня есть для тебя кое-что. Маленький Тель-Авив запустил на полную мощность бумажный завод. Позавчера они выслали грузовик с бумагой…

— С бумагой?

— Полтонны бумаги! Я взяла для тебя двести листов. Лежат в кабинете.

Геня пулей вылетел за дверь, и когда Мириам вошла в кабинет, он уже стоял там у пачки бумаги.

— О Господи, — произнес он, беря лист, — какая красивая… какая красивая бумага!

Мириам подумала, что часто слышала от юноши слово «красивый», употребленное по отношению к тому или иному бесцветному, бесполезному предмету. Геня не знал, что такое красота, и никогда не видел ничего по-настоящему красивого. Толстая, прочная, сероватая бумага была нарезана большими кусками, которые, конечно, надо бы нарезать более мелко и расходовать очень экономно. Ладно, пусть уж останутся такими для рисования. Чем еще можно порадовать этого беднягу?

— Когда ты выпустишь меня отсюда, — сказал Геня, крепко сжимая громоздкую пачку обеими руками, — я отправлюсь в Тель-Авив и нарисую их завод — нет, я увековечу этот завод!

— Лучше иди и полежи.

— Нет, видишь ли, я обещал Мойше, что обыграю его в

шахматы. Кстати, а что с ним?

— Сыпь.

— Он такой же, как я?

— До начала этого года у Мойше не было проблем со здоровьем. — Мириам пожала плечами. Половое созревание вызвало какие-то процессы. Не похожие на симптомы аллергии.

— А вообще, что такое аллергия?

— Ну, можешь назвать ее неудавшейся адаптацией. Дома, на Земле, люди обычно кормили младенцев коровьим молоком, из бутылочек. Некоторые дети могли привыкнуть к нему, у некоторых появлялась сыпь, возникали нарушения дыхания, колики. Коровий «ключ» не подходил к метаболическому «замку» этих детей. Ну а протеиновый «ключ» Нового Зиона не подходит к нашим «замкам», поэтому нам приходится изменять наш обмен веществ с помощью метаболиков.

— А я или Мойше были аллергиками на Земле?

— Не знаю. Но такие случаи встречались. Ирвин — он умер около двадцати лет назад — на Земле страдал от аллергии почти ко всему. Не стоило его, беднягу, пускать сюда: он и на Земле жил, постоянно задыхаясь от всевозможных аллергий, а здесь умер от голода, принимая учетверенные дозы метаболиков.

— Ага, — сказал Геня, — не надо было вообще давать ему меты. А только зионскую маисовую кашу.

— Маисовую кашу? — Только один-единственный злак давал на Зионе такой урожай, что его стоило собирать. Из этого маиса можно было приготовить клейкую массу, практически не поддающуюся никакой термической обработке.

— Я три чашки на завтрак съел.

— Слоняется по лазарету, целый день ноет, — возмутилась Мириам, — а потом набивает живот помоями. Как может человек с душой художника есть то, что по вкусу напоминает желеобразную застоявшуюся воду?

— Но вы кормите этим беспомощных больных детей в своем собственном госпитале! Я всего лишь доел остатки!

— И тебе не стало плохо?

— Ни чуточки. Я хочу порисовать, пока солнце не село. На листе новой бумаги, на целом листе новой бумаги…

День, проведенный Мириам в клинике, показался ей очень длинным, хотя лежачих больных не было. Прошлым вечером она отослала домой Осипа, поворчав напоследок, что нельзя вести себя настолько неосторожно: мол, опрокинул трактор, сам чуть не убился и машину едва не угробил, а ее починить труднее, чем человека вылечить.

Маленький Мойше вернулся в детский дом, хотя Мириам не нравилась его сыпь. Рози справилась с очередным приступом астмы, а сердце командора работало вполне прилично для его возраста. Поэтому палата лазарета оказалась пустой, если не считать ее постоянного на протяжении двух последних недель обитателя — Гени.

Сейчас он неподвижно лежал на кровати у окна, и сердце Мириам дрогнуло от испуга. Но цвет лица Гени был нормальным, дыхание — равномерным. Геня просто спал, спал крепко, как спят люди, уставшие после тяжелого дня, проведенного в поле.

Сегодня он рисовал. И уже успел вымыть тряпки и кисточки — он всегда мыл свои инструменты быстро и тщательно. Картина стояла на мольберте. В последнее время Геня стал очень скрытным, прятал свои картины — потому что люди перестали восхищаться его творениями.

— Какое уродство, бедный парень! — прошептал командор на ушко Мириам.

А маленький Мойше, осмотрев рисунок Гени, спросил:

— Геня, как тебе удалось нарисовать такую красотищу?

— Надо уметь видеть эту красоту, Мойше, — ответил тот.

Что ж, так оно и есть. Мириам подошла поближе, чтобы рассмотреть картину при тусклом дневном свете. Геня изобразил вид, открывающийся из окна лазарета. На этот раз в картине не было ничего неоконченного: реалистично, все слишком реалистично. Отвратительно узнаваемо. Плоский хребет Арарата, окрашенные в грязные цвета деревья и поля, тусклое небо, амбар и угол школьного здания на переднем плане. Мириам перевела взгляд с нарисованного пейзажа на реальный. Потратить часы, дни, чтобы нарисовать такое! Какая бесполезная трата времени!

Как неприятно и грустно, что Геня теперь рисует картины, которые никто не захочет видеть, кроме, возможно, ребенка вроде Мойше, очарованного простым умением владеть карандашом и кистью, ловкостью художника.

Нынче вечером Геня помогал наводить порядок в кабинете для инъекций — все эти дни он помогал служащим лазарета.

— Мне нравится картина, которую ты нарисовал сегодня, — сказала Мириам.

— Сегодня я ее закончил, — поправил он. — Чертова картина заняла у меня целую неделю. Я только начинаю учиться видеть.

— А можно я повешу ее в Гостиной?

— В Гостиной? — Геня спокойно и чуть насмешливо посмотрел на Мириам, держащую поднос с иглами для подкожных инъекций. — Но там же висят только изображения Дома.

— Может, уже пришло время поместить туда изображения нашего нового дома.

— Широкий жест из соображений этики, да? Что ж. Если картина тебе нравится…

— Очень нравится, — мягко сказала Мириам.

— Она не такая уж плохая, — произнес Геня, — и я нарисую еще лучше, когда научусь настраивать себя на систему.

— Какую систему?

— Ну, понимаешь, приходится смотреть, пока *не увидишь* систему, пока не разберешься, после чего надо вложить то, что *увидел*, в руку. — Зажав покрепче бутылку со спиртом, он широко повел рукой.

— Да-а, я думаю, каждый, кто задает художникам вопросы, заслуживает того, что получает, — сказала Мириам. — Слова, совершенно непонятные слова. Послезавтра возьми картину и сам повесь ее в Гостиной. Художники всегда так тщательно выбирают место для картины и так трепетно относятся к освещению. Кроме того, как раз с послезавтрашнего дня ты можешь начать выходить на улицу. Понемногу. На час или два в день. Не больше.

— Можно тогда я буду ужинать в столовой?

— Хорошо. А я попрошу Тину не приходить больше сюда, чтобы составить тебе компанию за ужином, а то она скоро съест все продовольственные запасы лазарета. Эта девушка поглощает пищу словно вакуумный насос. Послушай, если ты собираешься выходить на улицу днем, будь любезен, надевай шляпу.

— Значит, все-таки я был прав?

— Прав?

— В том, что виноват тепловой удар.

— Этот диагноз поставила я, если помнишь.

— Ладно, но я добавил, что без метаболиков лучше себя чувствую.

— Не знаю. Ты и до того чувствовал себя неплохо, а потом — ба-бах, опять в лазарете. Так что ничего не доказано.

— Но я же установил систему! Прожил месяц без таблеток и поправился на шесть фунтов!

— И теперь думаешь, что ты самый умный, мистер Всезнайка?

На следующий день перед ужином Мириам увидела Геню, который сидел рядом с Рахилью на склоне за амбаром. Девушка не навещала больного, пока тот находился в лазарете. Сейчас они сидели бок о бок, очень близко, неподвижно и молча.

Мириам отправилась в Гостиную. В последнее время у нее вошло в привычку проводить здесь полчаса перед ужином. Ей

казалось, что эти полчаса снимают с нее всю накопившуюся за день усталость. Но на этот раз обстановка в комнате была не такой спокойной, как обычно. Командор не спал и разговаривал с Рейне и Аврамом.

— Но откуда же она взялась? — говорил Марка с заметным итальянским акцентом — он начал учить иврит лишь в сорок лет, когда попал в транзитный лагерь. — Кто ее повесил?.. О, доктор! — увидев Мириам, как всегда радушно поприветствовал ее командор. — Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, прошу, разгадайте для нас эту загадку. Вы знаете все картины в этой комнате так же хорошо, как и я. Где же и когда мы приобрели вот эту новую? Видите?

Мириам чуть не сказала, что это очередное творение Гени, но тут она увидела картину. Нет, Геня тут явно ни при чем. Да, на стене висела картина, пейзаж, но пейзаж земной: широкая долина, зеленые и золотистые поля, цветущие фруктовые сады, широкий горный склон вдалеке, башня, а на переднем плане — вероятно, замок или здание средневековой усадьбы и над всем этим — чистое, нежное, солнечное небо. Восхитительный, наполненный солнцем рисунок, торжество весны, восхваление земных красот.

— Как красиво… — Голос Мириам дрогнул. — Это ты повесил, Аврам?

— Я? Я умею фотографировать, но не умею рисовать. Посмотри, это же не репродукция. Это работа темперой или маслом, видишь?

— Кто-то привез ее из Дома. И хранил в багаже, — предположил Рейне.

— Двадцать пять лет? — удивился командор. — Зачем? И кто? Мы все знаем, что у кого есть!

— Нет. Думаю, нет, — смущенно запинаясь, произнесла Мириам. — Наверное, это дело рук Гени. Я попросила его повесить сюда один из рисунков. Но не этот. Как ему удалось нарисовать такую красоту?

— Скопировал с фотографии, — предположил Аврам.

— Нет, нет, нет и нет, невозможно, — оскорбленно сказал старый Марка. — Перед нами картина, а не копия! Произведение искусства. И то, что здесь изображено, кто-то увидел, увидел глазами и сердцем!

Глазами и сердцем.

Мириам посмотрела и *увидела*. Увидела то, что скрывал от глаз свет НСЦ 641, то, что открыл для нее искусственный дневной свет Земли. Она увидела то, что видел Геня: красоту мира.

— Я думаю, что это Центральная Франция, Овернь, —

задумчиво проговорил Рейне.

— О нет, это место рядом с озером Комо, — возразил командор, — я уверен.

— А по-моему, это похоже на Кавказ, где я вырос, — сказал Аврам, и все присутствующие повернулись к Мириам.

— Это здесь… — Мириам издала какой-то странный звук — не то вздох, не то смешок, не то всхлип. — Здесь, на Арарате… Гора. Это поля, наши поля, наши деревья. А вот эта башня — угол школы. Видите. Это здесь. На Зионе. Так все это видит Геня. Глазами и сердцем.

— Но посмотри: деревья-то — зеленые. Посмотри на цвета, Мириам. Это Земля!

— Да, это Земля. Земля Гени!

— Но он не может…

— Откуда нам знать? Мы ведь понятия не имеем, что видят дети Зиона. Мы можем видеть картину при освещении, лишь похожем на свет Земли. Вынесите ее наружу, и вы увидите то, что и всегда: жуткие цвета, уродливую планету, на которой нет нам приюта. Но для Гени дом — здесь. Он — дома. Это у нас,

— глядя на окружающие ее озабоченные, усталые, старческие лица, Мириам смеялась и плакала одновременно, — *у нас* нет «ключа». У нас с нашими… с нашими… — Она запнулась и вся подобралась, собираясь высказать пришедшую в голову мысль, словно лошадь, готовящаяся взять барьер, — с нашими метаболиками!

Все с удивлением уставились на Мириам.

— Принимая метаболики, мы можем выжить здесь, на Зионе, — лишь выжить, так? Но неужели вы не понимаете, что Геня живет здесь? Все мы были прекрасно приспособлены к жизни на Земле, слишком хорошо, и не можем приспособиться к чему-либо другому. Но это не касается Гени, он не землянин: аллергичный, неприспособленный — видите, система немного неправильная? Система! Но существует много систем, множество. Геня соответствует системе Зиона немного лучше, чем мы…

Аврам и командор продолжали недоуменно пялиться на Мириам.

— Ты говоришь, что аллергия Гени… — быстро проговорил Рейне, бросив взволнованный взгляд на картину.

— Не только Гени! Может, и всех наших больных! Двадцать пять лет я кормила их метами, а они аллергичны к земным протеинам, метаболики лишь засоряют их организмы, они — другая система! О, идиотка, идиотка! Господи! Геня с Рахилью могут пожениться! Они должны пожениться, и у него должны быть дети. Только вот надо ли Рахили принимать метаболики во

время беременности? Как это повлияет на плод? Я отвечу на этот вопрос, я могу это сделать. Я должна позвонить Леониду. И Мойше, слава Богу… Слушайте, я должна поговорить с Геней и Рахилью, немедленно. Прошу прощения! — Мириам стремительно вышла из комнаты, — невысокая, неприметная женщина.

Марка, Аврам и Рейне посмотрели ей вслед, друг на друга и наконец снова на картину Гени.

Картина висела перед ними, яркая и радостная, наполненная светом.

— Ничего не понимаю, — буркнул Аврам.

— Системы… — задумчиво протянул Рейне.

— Очень красивая картина, — сказал старый командор Флота изгнанников. — Только, глядя на нее, я снова начинаю скучать по Земле.

ЛАБИРИНТЫ [32]

Я долго пытался сохранять мужество и относиться ко всему происходящему с юмором, но сейчас знаю, что не в силах более выдерживать эти пытки. Я уже почти не ориентируюсь во времени, но, по-моему, несколько дней назад понял, что не могу больше контролировать эмоции и очень близок к полному упадку сил. Я практически потерял способность двигаться. Не могу говорить. Даже дышать этим тяжелым чуждым воздухом становится все труднее. Когда паралич дойдет до груди – я умру, что, вероятно, сегодня и случится.

Жестокость этих пришельцев утонченная, хотя и нерациональная. Если они хотят уморить меня голодом, почему просто не прекратят приносить пищу? Вместо этого они дают мне много еды, горы еды, любые чуть распустившиеся зеленые листья, которые только можно пожелать. Только листья эти – не свежие, а сорванные. Мертвые. В них уже нет элемента, который делает пищу удобоваримой для нас, – с таким же успехом можно есть и камни. Тем не менее передо мной постоянно лежали горы листьев, запахом и формой так похожих на съедобные, и вызывали страшное желание удовлетворить мой все возрастающий аппетит. Не сразу, конечно. Сначала я сказал себе, что я не ребенок, чтобы есть сорванные листья. Но желудок взял верх над разумом. Через какое-то время уже казалось, что лучше жевать хоть что-то, все равно что, пусть даже это принесет боль и еще большее желание есть. И потому я ел, ел и при этом оставался голодным. Теперь мне гораздо легче, теперь я настолько слаб, что уже не в силах есть.

И такая же тщательно продуманная, изощренная жестокость характеризовала весь характер пришельцев. И самое ужасное из всего – то, что я сперва воспринял с радостью, облегчением и восхищением, – это лабиринт. Сначала я был совершенно сбит с толку – некий гигант заманил меня, схватил и посадил в клетку; и это место вокруг клетки оказалось пространственно тревожным и совершенно дезориентирующим. Странная, гладкая, согнутая стена-потолок была сделана из какого-то чужеземного материала, и контуры ее не несли никакой смысловой нагрузки. Поэтому, когда после всех этих странностей меня подняли в воздух и поместили в лабиринт, узнаваемый, почти знакомый лабиринт, – после всех испытанных страданий я вдруг почувствовал себя сильным, и ко мне вернулась надежда. Совершенно ясно, что меня поместили в лабиринт, чтобы провести какое-то испытание или исследование, и что это – первая попытка установить контакт. Я пытался помочь пришельцам как только мог. Но довольно скоро начал сомневаться, что целью их является установление контакта.

Без сомнения – это ясно по тысяче причин, – я имею дело с существом разумным, высокоразвитым. Мы оба – создания разумные, оба – строители лабиринтов. Наверняка нам было бы довольно легко научиться разговаривать друг с другом! Если разговор со мной – то, что нужно пришельцу. Но это не так. Я не знаю, какие лабиринты он строит для себя. Те, которые он соорудил для меня, представляли собой орудия пыток.

Как я уже говорил, структура лабиринтов в основном оказалась знакомой для меня, только стены были построены из какого-то неизвестного материала, более холодного и гладкого, чем уплотненная глина. В конце каждого лабиринта пришелец оставлял груду сорванных листьев – не знаю почему, возможно, таков их ритуал или суеверие. Первый лабиринт, в который меня поместили, оказался по-детски коротким и простым. Я не смог из него извлечь ничего познавательного или даже интересного. Второй, однако, походил на упрощенную версию Незапертых Ворот и вполне подтвердил сделанный мной успокоительный вывод о попытке пришельца установить контакт. И последний, длинный лабиринт с семью коридорами и девятнадцатью соединениями изгибался на удивление практически в соответствии с методом Малуви. И способ его построения действительно почти походил на технику Новых Экспрессионистов. К пространственному пониманию пришельцев еще надо было приспособиться, но именно приспособившись, я смог осознать определенный характер созидания. Я усердно работал над этим лабиринтом, планировал всю ночь, снова и

снова представляя себе петли и интервалы, ложные ходы и остановки, беспорядочный, незнакомый и все-таки прекрасный ход Истинного Маршрута. На следующий день, когда меня поместили в длинный лабиринт и пришелец начал вести наблюдения, я представил Восьмой Малуви во всей полноте.

Представление не было безупречным. Я нервничал и смог вообразить пространственно-временные параметры всего лишь приблизительно. Но Восьмой Малувийский остается прекрасным даже при грубом представлении в самом ужасном Лабиринте. Развитие в девятом переходе, где повторяющаяся тема (облака) так удивительно переходит в старинную, постепенно ускоряющуюся основную тему, – невыразимо прекрасно. Однажды я видел, как Восьмой Малуви исполнял один весьма почтенный старец, такой старый и с такими негнущимися суставами, что мог только навести на мысль о движении, намекнуть, попытаться изобразить жест, лишь неясно отразить тему – и все наблюдавшие это были очень и очень растроганы. Нет более величественного выражения нашей сути, всего нашего существования. Когда я исполнял Восьмой, сила движений унесла меня куда-то вдаль, и я даже забыл, что нахожусь в плену, что за мной наблюдают глаза пришельца. Я преодолел все препятствия лабиринта и собственную слабость и танцевал Восьмой Малуви так, как никогда еще не танцевал.

Когда я наконец остановился, пришелец поднял меня и посадил в первый лабиринт – самый короткий, лабиринт для маленьких детей, которые еще не научились говорить.

Намеренно ли пришелец унижал меня? Теперь, когда все это уже в прошлом, я понимаю, что невозможно узнать правду. Но все же очень трудно приписать поведение пришельца его невежеству.

В конце концов, он не слепой. У него есть глаза, хорошо различимые глаза, довольно похожие на наши. То есть видеть пришелец должен практически так же, как мы. У него есть рот, четыре ноги, он может двигаться на двух ногах, может хватать руками и прочее. Несмотря на то что пришелец – гигант и выглядит очень странно, думаю, что с физической точки зрения он отличается от нас меньше, чем рыбы. Но ведь рыбы собираются в стаи и танцуют, и пусть своим собственным глупым образом, но вступают в контакт. Пришелец ни разу не попытался поговорить со мной. Он целыми днями находился рядом, наблюдал, трогал меня, брал в руки – и хотя все его движения были сознательными, целью их не являлся контакт. Очевидно, пришелец – существо одинокое, абсолютно погруженное в себя.

Объяснить его жестокость очень трудно.

С самого начала я заметил, что время от времени он двигает

своим странным горизонтальным ртом, производя серию мелких, без конца повторяющихся движений, словно что-то жует. Сначала я подумал, что пришелец насмехается надо мной, но потом решил, что он пытается побудить меня есть предлагаемый неудобоваримый корм, и тогда я задался вопросом – может, он вступает в контакт при помощи *движений губ?* Но такой язык слишком ограничен и неловок для создания, имеющего руки, ноги, конечности, гибкий позвоночный хребет и все прочее; хотя, возможно, существо, с которым имею дело я, – больно или имеет какой-то физический изъян. Я изучил движения его губ и долго пытался повторить их. Существо не ответило. Какое-то время поглазело на меня и удалилось.

Фактически я получил лишь один очевидный *ответ* на ничтожно низком уровне межличностной эстетики. Пришелец ежедневно изводил меня нажиманием кнопок. Первые несколько дней я стойко и довольно терпеливо сносил эти нелепые процедуры. Если я нажимал одну кнопку – появлялось отвратительное ощущение в ногах, если нажимал вторую – выкатывался шарик высушенной пищи, третью – я не получал вообще ничего. Очевидно, чтобы продемонстрировать свою разумность, мне надо было нажать третью кнопку. Но тут выяснилось, что такое проявление разумности раздражает моего мучителя, поскольку на второй день он удалил нейтральную кнопку. Я даже не мог себе представить, чего он пытался этим достичь и что доказать, кроме факта, что я пленник и по размерам гораздо меньше, чем он. Когда я пытался отойти от кнопок, пришелец физически принуждал меня вернуться. И я должен был сидеть и нажимать на кнопки, получая в результате издевательства. Намеренная жестокость ситуации, невыносимая тяжесть и плотность воздуха, чувство, что постоянно наблюдающее существо так никогда меня и не поймет, – все это вместе повергло меня в состояние, для которого у нас даже не существует описания. Наиболее подходящее, что я могу предложить, – последняя интерлюдия к Мечте о Десяти Вратах, в которой закрываются все ложные проходы, танец сужается и снижается, пока в судорожном вихре не переходит в вертикаль. Я чувствовал что-то вроде этого, хотя и не могу точно описать свое состояние. Если мои ноги будут терзать еще хоть раз или в меня еще раз швырнут комом отвратительной испорченной пищи, я уйду в вертикаль навсегда. Я выдернул кнопки из стены (что оказалось легче, чем сорвать цветок), положил их на пол и испражнился.

Пришелец тотчас же схватил меня и возвратил в тюрьму. Он получил сообщение и дал на него ответ. Но на какое невероятно

примитивное сообщение он оказался способен отреагировать! А на следующий день он снова посадил меня в комнату с кнопками – новыми кнопками, – и мне вновь пришлось выбирать для себя различные виды наказаний на забаву мучителю… До этого момента я говорил себе, что это создание – пришелец, непонятный и непостижимый, возможно, *разумный* не в таком смысле, как мы, и так далее. Но теперь я понял, что если даже все, что я думал раньше, – правильно, существо это, несомненно, до вульгарности жестоко.

Когда вчера мучитель поместил меня в лабиринт для детей, я не мог даже пошевелиться. Я утратил всю силу речи (эти фразы я танцую, конечно, мысленно: лучший лабиринт – это мысль, утверждает старая пословица) и молча припал ко дну своей темницы. Через некоторое время пришелец довольно осторожно достал меня снова. И в такой осторожности выразилась вся извращенность характера этого существа: никогда оно не касалось меня грубо.

Пришелец посадил меня в клетку, запер дверцу и наполнил кормушку отвратительной несъедобной пищей. Затем, глядя на меня, встал на две ноги.

Лицо пришельца очень подвижно, но если он говорит при помощи лица – я не в силах понять его, это слишком чуждый язык. А тело его всегда укрыто большим куском рогожи, словно у старой вдовы, принявшей Обет Молчания. Но я уже привык к огромным размерам своего мучителя и к его угловатым конечностям, которые, как мне сначала показалось, изображали постоянный поток бессвязных и неразборчиво произносимых фраз, жуткий, бессмысленный танец, подобный движениям слабоумного. В конце концов я понял, что все движения пришельца не бессмысленны и целенаправленны. С такой точки зрения я увидел нечто большее. Слов здесь не было, хотя некий язык общения присутствовал. Я смотрел на наблюдающего за мной пришельца, и все его тело выражало злобную печаль, что было ясно, как Стансы Сембрия. Та же неопределенная неподвижность, согнутость, воплощение крушения надежд. Ни одно слово не явилось мне совершенно определенно, и все же существо дало понять, что оно переполнено негодованием, сожалением, раздражительностью и разочарованием. Что ему ужасно надоело пытать меня и он просит о помощи. Я уверен, что понял пришельца. И попытался ответить. Я попытался сказать: «Чего же ты хочешь от меня? Только скажи, чего же ты хочешь», но я был слишком слаб, чтобы говорить четко, и он не понял меня. Как и никогда не понимал.

И теперь мне придется умереть. Мучитель, конечно же,

придет посмотреть, как я умираю, но он все равно не поймет последний танец, который я станцую, – танец смерти.

ТРОПКИ ЖЕЛАНИЯ [33]

Тамара предполагала застать Рамчандру за работой на свежем воздухе, но нашла в хижине, где он, на вид изможденный и в холодном поту, распластался на узкой койке.

– Извини, Рам. Я за последними детскими снимками.

– Пошарь в рундучке.

Указательный жест, которым он сопроводил свои слова, был столь вялым, столь нетипичным для обычного его состояния, что гостья не на шутку встревожилась:

– С тобой все в порядке?

– Бывало и лучше.

Для Рама признание в немощи было равносильно потере лица, но Тамара не отставала, упорно ждала, и он принужден был добавить:

– Диарея.

– Что ж ты раньше-то молчал?

– Шутишь?

Стало быть, Боб все-таки ошибается – Рам тоже не лишен чувства юмора, пусть и несколько своеобразного.

– Я справлюсь у Кары, – сказала Тамара. – Должно же у них найтись что-нибудь для подобных случаев, хотя бы для малышей.

– Что угодно, кроме взбитых сливок да дохлых мышей, – слабым эхом откликнулся Рамчандра, и она невольно рассмеялась – описание вышло весьма точным: основной пищей для ндифа служили бескостная плоть поро да приторно сладкие муссы из плодов ламабы.

– Старайся как можно больше пить. Я принесу еще воды. А ломокс что же, не помогает?

– Там уже не осталось чему помогать. – Похлопав себя по животу, Рама поднял на Тамару грустный взгляд своих больших агатово-темных глаз. – Хотелось бы и мне оставаться здесь таким цветущим, – добавил он, – как Боб, например.

Последнее замечание застало гостью врасплох. Она ожидала чего угодно: отпора, отчуждения, резкости – но никак не подобной прямоты. Это выбивало почву из-под ног, и ответ получился несколько невпопад:

– О да, Боб… Он… Ну, он вполне счастлив здесь.

– А ты, ты сама?

– Уже по горло сыта таким счастьем, даже ненавидеть начинаю все это. – Медленно покачав за горлышко глиняный,

грубой лепки кувшин, Тамара уточнила: – Ну, не то чтобы и впрямь ненавидеть… Здесь ведь так красиво. Просто… просто на душе отчего-то кошки скребут.

– И жрать к тому же абсолютно нечего, – с горечью подсказал Рамчандра.

Тамара вновь рассмеялась и, прихватив посудину, отправилась к ручейку, журчавшему в двух шагах от хижины. Кругом все сияло и благоухало под жарким полуденным солнцем: вековые ламабы радовали глаз пурпурными переливами на могучих стволах, дымчатой голубизной листвы и чуть тронутой багрянцем охрой зрелых плодов; ручей, стыдливо прикрываясь призрачной пенной вуалью в буроватой песчаной постели, вел свой нескончаемый незамысловатый мотив. Но всем этим красотам Тамара предпочла сумеречную хижину с угрюмым и хворым лингвистом.

– Да не переживай ты так, Рам, – посидев по возвращении еще немного, сказала она на прощание. – Я непременно раздобуду что-нибудь у Кары или у кого-то еще.

– Спасибо тебе, – прошелестело в ответ.

«Какие красивые слова, – думала Тамара, шагая сквозь благоухающую светотень по тропке, спускавшейся вниз к реке. – Особенно когда их произносит мужчина с таким бархатным баритоном».

Сразу, как только она встретилась с Рамчандрой впервые – а случилось это в базовом лагере на Анкаре, там и формировалась их экспедиционная тройка, – ее потянуло к нему, точно магнитом, в груди вспыхнул безошибочно узнаваемый жгучий огонь желания. Вспыхнул и вскоре угас, задушенный самоиронией и легким стыдом. А Рамчандра, всегда такой отрешенный, такой буквально неприкасаемый, так ничего и не заметил. К тому же там был Боб – рубаха-парень, плечистый красавец-блондин, потаенная мечта любой женщины, совершенный принц из сказки. Отчего же было противиться? Проще дать, чего от тебя ждут, – легко, приятно и лишь чуток грустновато. Но побоку грусть, это лишнее, так недолго и захандрить. Жить следует лишь настоящим – срывай день, как листок календаря, и тому подобное. Ей, видать, суждено было оказаться в объятиях Боба, так оно и вышло. Но, увы, ненадолго, всего лишь до прибытия экспедиции на Йирдо и встречи с ндифа, обитателями этой далекой от родной Земли планеты.

Туземные девушки – а таковыми считались здесь особи женского пола от двенадцати до двадцати трех (или же четырех?) лет – оказались весьма привлекательными, страстными и опытными по части флирта. Роскошные их кудри золотистого или

рыжего цвета ниспадали на точеные плечики, чуть раскосые изумрудные или фиалковые глазищи призывно постреливали по сторонам, суля мужскому полу неземные блаженства. Облегающие одеяния из расщепленных вдоль стебля длинных листьев пандсу то и дело распахивались, приоткрывая нескромным взорам то изящные ягодицы, то нежно-розовые соски. Девушки до четырнадцати обыкновенно плясали гучейю – гипнотизирующе монотонный групповой танец. Выстроившись рядком с забавно серьезным выражением на шаловливых личиках, они синхронно переступали ножками и плавно покачивались под собственный заунывный напев. Те, что постарше, до восемнадцати, совершенно нагими отплясывали зажигательную зиветту, поочередно солируя в кругу отхлопывающих ритм мужчин. Точеная смуглая фигурка танцовщицы принимала в танце самые откровенные позы, пока ее подружки в ожидании своего звездного часа нудным хором тянули: «Ай-вей, вей, ай-вей, вей…» Девушкам постарше – от восемнадцати – танцы на публике строго-настрого возбранялись. Тамара оставила на долю Боба выяснять, чем они занимаются в приватной обстановке. После сорока с лишним дней, проведенных на Йирдо, Боб стал настоящим экспертом по этой части.

Тамара ясно видела теперь, шагая вниз по тропе, что, хотя их с Бобом отношения и не отличались глубиной и серьезностью, столь внезапная в них перемена причинила ей сильную боль. Взять хотя бы прошлый вечер – как полная дура, как сопливая вертихвостка, она напропалую кокетничала с ним, корча из себя нечто вроде постреливающей глазками пышнокудрой танцовщицы-ндифа. «Дура, распоследняя дура! – мысленно кляла себя Тамара. – Где был твой стыд, где достоинство, где, наконец, твоя хваленая ирония?» Отмахнувшись от горьких мыслей, словно от паутинок, занавесивших путь сквозь заросли к речной заводи, где у женщин-ндифа была устроена прачечная, она попыталась думать о другом. «Как благороден твой профиль, Рам, как изящно сложен ты, как хрупок – весом, наверное, даже меньше меня. Спасибо тебе, сказал ты, и как красиво сказал».

– Освейн, Муна! Как поживает твой малыш? Освейн, Вана! Освейн, Кара! – «Как прекрасен твой нос, о возлюбленный мой, он подобен высокому мысу меж двух бездонных озер, и вода в тех озерах холодна и черным-черна. Спасибо тебе, спасибо!» – Жаркий денек нынче, уважаемые, не так ли?

– Жарко, очень жарко, – с готовностью закивали прачки, тут же выбираясь на мелководье, дабы поприветствовать гостью да заодно дух перевести.

– Зайди в воду, сразу и полегчает, – любезно посоветовала Вана.

– Освейн, – молвила Брелла, проходя к сушильным камням с очередной охапкой отжатого белья и попутно ласково потрепав Тамару по плечу.

Возраст женщин в племени колебался от двадцати трех и до сорока, сорока с хвостиком – точно еще не установлено. С точки зрения Тамары, некоторые из них выглядели куда привлекательнее девушек – были красивы той красотой, что делает незаметными и выпавшие зубы, и бесформенную грудь, и растянутые непрерывной беременностью животы. Щербатые улыбки женщин-ндифа светились подлинным жизнелюбием, вислые груди сочились животворными белыми каплями, рыхлые животы колыхались от нутряного смеха. Девушки лишь хихикали, смеяться по-настоящему умели одни только женщины. «Они смеются, – глядя на них, поняла вдруг Тамара, – как истинно свободные люди».

Молодые мужчины-ндифа об эту пору дня обычно охотились на поро («Гоняются за своими любимыми зубастыми сарделькаами», – мелькнуло у Тамары в голове, и она тоже, будучи в свои двадцать восемь лет настоящей женщиной, звонко рассмеялась) или сиднем сидели, таращась на танцовщиц гучейи и в особенности зиветты, а то и попросту отсыпались после ночных похождений. Пожилых мужчин у ндифа как бы не было вовсе, они считались молодыми вплоть до сорока лет, когда вдруг переставали ходить на охоту, глазеть на танцовщиц и переходили сразу в категорию стариков. А вскоре и помирали.

– Кара, – обратилась Тамара к лучшей своей осведомительнице по этнографической части, скидывая между тем сандалии, дабы последовать разумному совету Ваны, – мой друг Рамчандра захворал, животом болен.

– Ох, беда, ох, страдалец, освейн, освейн, – нестройным хором запричитали женщины.

Кара же, чьи жидкие и изрядно посеребренные волосы, собранные на затылке в небольшой узел, выдавали весьма почтенный ее возраст, сразу подошла к делу практически:

– А что у него – гвулаф или кафа-фака?

Тамара не слыхивала этих слов прежде, но смысл вопроса представлялся ей очевидным.

– Думаю, последнее.

– Ягоды путти, вот что ему тогда нужно, – сказала Кара, резко хлопая влажным одеялом по раскалившемуся на солнце валуну.

– Рамчандра уверяет, что пища, которую он получает здесь, хороша, очень хороша – даже слишком.

– Объелся жареным поро, – понимающе кивнула Кара. – Когда такое случается с нашими детишками и они ночи напролет проводят на корточках в кустиках, мы целую неделю даем им только ягоды путти и отвар гуо. Вкус хороший, почти медовый. Я заварю горшочек гуо для Тичизы Рама немедленно, вот только разберусь со стиркой.

– Кара замечательная, наиблагороднейшая особа, – ответила Тамара принятой у ндифа формулой особой признательности.

– Освейн, – ответила Кара с ясной улыбкой.

Слово «освейн» звучало здесь куда как чаще и куда труднее поддавалось точному переводу. Рамчандра так и не подыскал ему точного эквивалента в английском. Боб предлагал немецое «bitte», но «освейн» значило много больше, чем «bitte»: пожалуйста, простите, добро пожаловать, погодите, пустяки, здравствуйте, до свидания, да, нет, может быть – все это вместе взятое и много чего еще.

Тамара со своими бесконечными вопросами: отчего случается кафа-фака, как у ндифа отучают ребенка от груди, когда и как пользуются Хижиной Нечистот (фактически отхожим местом, но не только), в горшке какой формы лучше всего готовить пищу – всегда оказывалась желанной гостьей в женской компании. Вот и сейчас все они дружно расселись кружком на горячих камнях, доверив реке самой довершать стирку, и всласть почесали языками. В мыслях у Тамары непонятно почему неотвязно вертелось Гераклитово «Нельзя ступить в одну реку дважды», но уши исправно вылавливали в беседе все, что могло иметь хотя бы косвенное отношение к демографическому контролю. Раз затронув тему, говоруньи не торопились ее исчерпать, обсуждая чистосердечно и обстоятельно – хотя обсуждать здесь оказалось почти что нечего. У ндифа напрочь отсутствовал какой бы то ни было контроль за рождаемостью. Сама природа позаботилась о девушках – несмотря на чрезвычайное пристрастие к сексуальным играм, зачать до двадцати лет они попросту не могли. Тамара поначалу отнеслась к подобной новости с некоторым недоверием, но собеседницы даже слегка обиделись – мол, именно в этом, в таинственной способности зачать и выносить ребенка, и заключается вся разница между бесплодной девушкой и настоящей женщиной-ндифа. Единственным известным ндифа способом предохраниться от беременности было половое воздержание, но женщины считали его делом никчемным и весьма нудным. Аборты и детоубийство даже не упоминались. Стоило Тамаре лишь намекнуть на подобное, как лица собеседниц ошарашенно вытянулись.

– *Женщина* не вправе убивать своего *ребенка,* – в ужасе

выдохнула Брелла.

– Если попадется, – как всегда деловито заметила Кара, – мужчины выдерут ей все волосы и навечно запрут в Хижине Нечистот.

– Никто у нас не дерзнет даже помыслить подобное, – прибавила Брелла.

– Никто пока еще не попадался с поличным, – сухо уточнила Кара.

Стайка мальчиков, все до двенадцати лет, высыпав из зарослей, с дикими воплями понеслась вниз по склону к воде; не разбирая дороги, малыши промчались прямо по подсохшему белью. Дружно вскочив, заболтавшиеся прачки разразились бранью и криками, и беседа сама собою увяла – негоже осквернять мужские уши разговорами о нечистом. И живо расхватав свое белье, женщины отправились по домам.

Заглянув в хижину к задремавшему наконец Рамчандре, Тамара вынула из металлического ящика фотоснимки, запечатлевшие мальчиков за игрой в буасто. Сразу после общего ужина, приготовленного и накрытого женщинами на длинном столе под открытым небом, она поспешила следом за Карой, Ваной и старухой Бинирой, уже направлявшимися к больному с визитом.

Разбудив Рамчандру, женщины напоили его отваром гуо, злака бледно-розового цвета, отваром, по вкусу напоминавшим тапиоку с добавлением экзотических пряностей, растерли больному ноги и плечи, обложили грудь и живот нагретыми камнями, а койку развернули изголовьем к северу. Затем влили в рот глоток горячего темного зелья, сильно отдающего мятой; Бинира, напевая какой-то заговор, пошаманила над больным, и, сменив остывшие камни на свежие, гостьи откланялись. Рамчандра воспринял весь визит с легкой иронией завзятого этнографа и стоицизмом паралитика, обреченного сносить любые женские причуды.

По завершении процедур ему все же заметно полегчало, и, прижав к животу самый крупный из плоских камней-грелок, он, казалось, опять впал в прострацию. Тамара тоже совсем уж было собралась уходить, но на пороге ее остановил тихий голос Рамчандры:

– Ты успела записать песню старой дамы?

– Нет, каюсь, даже не сообразила. Извини.

– Освейн, освейн, – почти прошептал Рамчандра. Затем, приподнявшись на локте, добавил: – Мне уже много лучше. Все-таки жаль, что мы проворонили песню. Я не разобрал почти ни слова.

– Разве старики говорят на каком-то особом языке?

– Да нет, в принципе язык тот же. Только более полный. Куда как более.

– У женщин, кстати, тоже словарный запас побогаче, чем у девиц.

– Лексикон девушек в Баване составляет до семисот слов, у юношей он с учетом охотничьей терминологии достигает тысячи ста, а у женщин я оцениваю его аж под две с половиной. Заниматься вплотную стариками мне покуда не доводилось. Думаю, что они вполне могут приблизить меня к цели, к подлинной разгадке. – Рамчандра снова осторожно улегся, плотно прижимая к животу каменную грелку, и замолчал.

– Ты, наверное, хотел бы вздремнуть? – осведомилась Тамара.

– Поговорить, – кратко ответил Рамчандра.

Гостья присела на краешек тростниковой скамеечки. За стенами хижины уже вовсю полыхала ночь – яркая, почти как и день. Апир, огромная газовая планета, спутником которой Йирдо и являлась, вставала над кромкой леса, словно большой, светящийся изнутри аэростат в полосатой, как матрас, оболочке. Серебристо-золотое его сияние проливалось сквозь бесчисленные щели в плетеных стенах хижины, прорисовывая мельчайшие трещинки в земляном полу возле входа, а в луже за порогом складывалось в настоящий фейерверк. Свет сотнями лазерных игл вспарывал потемки внутри хижины, практически ничего не оставляя без призора и расписывая лица людей таинственными узорами.

– До чего же нереальным кажется мне все окружающее, – заметила Тамара.

– Вот именно, – ответил тихий, чуть смешливый голос.

– Они все здесь точно сговорились.

– Нет.

– Да. То есть не то чтобы сознательно водят нас за нос… Я имею в виду скорее некоторую искусственность окружающего. Как-то слишком уж все у них благостно и без затей. Аркадия. Словно самые первые люди, блаженствующие в первозданных райских кущах посреди вселенского изобилия.

– Кхм-кхм, – хмыкнул Рамчандра, отваливая в сторону камень-грелку и снова приподнимаясь на локте.

– Но почему, собственно, здесь и не быть миру типа «островов в океане»? – Тамара как бы пыталась оспорить саму себя. – Почему это жизнь туземцев кажется мне столь уж условной, вроде театрального задника? Может статься, я просто впадаю в ханжество, уподобляюсь старой деве, повсюду вынюхивающей след первородного греха?

– Ну нет, это уж точно чепуха, сущий вздор! – возмутился Рамчандра. – Чисто дамский подход. Послушай-ка лучше вот что. – Выдержав краткую паузу, он заговорил на ндифа: – Освейн-пшасса йатолшти пуэй рупье. Ну-ка, переведи.

– Позвольте пройти, пожалуйста.

– Буквально, дай дословный перевод!

– В лучших преподавательских традициях касты брахманов? – не удержалась от сарказма Тамара. – Ну, даже не знаю, ведь здесь у каждого слова чертова уйма значений. Может быть, «Извините, но я хочу идти именно этим путем»?

– Все-таки ты не услышала!

– Не услышала что?

– Людям так трудно распознавать свою родную речь. Ладно, попробуем еще раз, только будь повнимательнее. – Приходя в волнение, Рамчандра становился очарователен – все его высокомерие как рукой снимало. – Я построю фразу, как это сделал бы мой родной дядя, не изучавший английский во Всемирной школе. «Извини, пожалуйста, я должен пройти по этой тропе». Повтори!

– Извини, пожалуйста, я должен пройти по этой тропе.

– Освейн-пшасса йатолшти пуэй рупье.

По спине Тамары побежали мурашки, словно бы навеянные зябким светом ночного светила.

– Забавно, – вымолвила она.

– Гучейя – качели, зиветта – танец живота, аферг – лощина, овраг, буасто – бита, бейсбол, вуани – кабина, каванья, шиану – океан, море…

– Ономатопея![34]

– Ти – идти, финус – вернусь, ифинус – я вернусь, тифинса – ты вернешься, афинса – он вернется. Тарти – бить, ударять, аразти – строить, сооружать. Тилути – делать, тилтуйя – мастерская. Назови мне любое слово на ндифа!

– Филиса.

– Хижина Нечистот. Погоди. Нет, не могу подобрать. Давай другой пример.

– Лусикка.

– Удочка, леска.

– Тичиза.

– Пришельцы, странники, гости… Стоп, это же в единственном числе! Ты чужой. Тичиза.

– Рам, у тебя вовсе не диарея. Ты параноик.

– Ну уж это нет! – отрезал он так решительно, что Тамара аж вздрогнула, и поперхнулся. Лучистые сумерки скрывали глаза лингвиста, но гостья не сомневалась – они прикованы к ней. – Я

вполне серьезен с тобой, Тамара, – добавил он, прокашлявшись. – И я боюсь!

– Чего же, собственно?

– Боюсь до тошноты, – продолжал Рамчандра. – Боюсь – прошу прощения за резкость – буквально до усрачки. Ведь слова – это очень серьезно. Собственно, это все, что у нас есть.

– *Чего же* все-таки ты так боишься, Рам?

– От Земли нас отделяет пропасть в тридцать один световой год. Никто из землян не посещал эту систему до нас. А здешние туземцы говорят по-английски!

– Какой же это английский!

– Семантика и словарь молодых ндифа по меньшей мере процентов на шестьдесят совпадают с современным английским. – Голос Рамчандры при последних словах дрогнул – то ли от страха, то ли от облегчения, вызванного долгожданной возможностью выговориться.

Переменив позу, Тамара плотнее сомкнула колени и призадумалась. Слова ндифа одно за другим всплывали в сознании, и каждое со своей английской тенью – тенью, лишь как бы ожидавшей пролития лучика света, дабы проявиться воочию. Но ведь это же явный бред, настоящий делирий! Ей не следовало вслух называть Рамчандру параноиком – диагноз, похоже, вполне верен. Он определенно нездоров. Долгие недели полной замкнутости в себе, а теперь вот столь разительная перемена: возбуждение, словоохотливость, исповедальная откровенность. Типичные симптомы душевного расстройства. Да это же настоящая мания – углядеть английскую основу в языке аборигенов-инопланетян! Тоже мне гений-одиночка нашелся! Одиночка?.. Один – оно, два – туо, три – ти…

– Все женские имена, – мрачно подлил масла в огонь Рамчандра, – кончаются на «а». Это космическая константа, установленная еще Генри Райдером Хаггагадом. Мужские же никогда не кончаются на «а». Никогда.

Голос Рамчандры, такой бархатистый, все еще подрагивающий от волнения, разом смешал ей все мысли.

– Послушай меня, Рам!

– Да? – Он молча ждал продолжения – стало быть, слышал не только себя самого, как обычно бывает с параноиками.

И Тамара не решилась задать вопрос, готовый было сорваться с кончика языка, – уж не разыгрывает ли он ее, не затеял ли от скуки эдакую изящную мистификацию? Непристойно на подобную откровенность отвечать обычными бабьими ужимками да экивоками. Не зная, что сказать, Тамара замешкалась, и затянувшуюся паузу первым нарушил собеседник:

– Я заметил это уже с неделю назад, Тамара. Сперва в синтаксисе, но это были только цветочки. Случайные совпадения, твердил я себе поначалу, ведь быть того не может. Но совпадения перли из всех щелей, открывались в каждом новом слове, и я поднял руки. Я капитулирую, Тамара. Это так, мы имеем здесь дело пусть с искаженным, но настоящим английским.

– А как же язык стариков?

– Нет-нет, там дело другое, – скороговоркой ответил Рамчандра, и голос его вдруг потеплел. – Язык стариков сам по себе – по крайней мере во всем, что отличает его от говора молодежи. Однако же…

– Тогда все в порядке, – перебила Тамара. – Язык стариков – *вот* оригинальный язык ндифа, а молодежь говорит на жаргоне, перемешанном с английским, которого они нахватались от парней из Космической службы. При контактах, о которых нас просто позабыли известить.

– Каких еще контактах? Когда? С кем? Мы получили твердые заверения, что будем здесь самыми первыми. Зачем им было лгать?

– Костоломам из Космической службы, хочешь сказать?

– Им самым. А также ндифа. И те и другие уверяли нас в том.

– Ну, если уж мы действительно самые первые, стало быть, и вина наша. Мы и повлияли на язык аборигенов. Они говорят на наречии, которое мы подсознательно желаем от них услышать. Телепатия, например. Допустим, что все они телепаты.

– Телепаты! – с энтузиазмом ухватился за идею Рамчандра. Долгую минуту он переваривал ее, вертел так и сяк, пытаясь пригнать к обстоятельствам, затем в полном расстройстве махнул рукой: – Знать бы хоть что-нибудь об этой самой телепатии!

Тамара, решив между тем попытать счастья с другой стороны, поинтересовалась:

– А почему ты до сих пор даже не обмолвился об этом?

– Думал, что у меня крыша едет, – ответил он смущенно, с явным усилием. – Мне уже доводилось прежде знаться с психиатрами. Шесть лет тому назад, после смерти жены. Лежал в психушке. Ведь мы, лингвисты, – такая неуравновешенная публика…

Помолчав с минуту, Тамара растроганно прошептала на ндифа:

– Рамчандра – замечательный, наиблагороднейший человек…

«Ай-вей, вей, ай-вей, вей», – доносились издали напевы танцовщиц гучейи. Где-то по соседству надрывался младенец. Лучистые сумерки одуряюще пахли ночными цветами.

– Послушай-ка, Рам, – решительно начала Тамара. –

Телепаты, как известно, умеют читать чужие мысли. Ндифа же подобным талантом не обладают. Я знаю, мне самой доводилось сталкиваться с чем-то вроде телепатии. Мой родной дед, русский по происхождению, всегда знал, что о нем думают другие. Это жутко нервирует. Не знаю уж, была ли то телепатия, или просто старческое всеведение, или же сказывалась русская кровь в его жилах, или что-то еще, в любом случае – телепаты воспринимают мысленные *образы,* а не *слова,* не так ли?

– Кто его знает! Всякое может быть… Но вот ты говорила, что окружающая идиллия напоминает тебе дешевую оперетку или пошлый голливудский фильм. Похоже, ндифа и в самом деле чувствуют, чего мы ожидаем от них, они как бы улавливают наши неосознанные желания и отвечают на них соответствующей инсценировкой.

– Но на кой ляд им все это?

– Адаптация! Мимикрия! – торжественно возгласил Рамчандра. – Чтобы мы любили их и не причинили им вреда.

– Но вот взять, меня, к примеру, – я весьма далека от любви к ним, мне они даже не нравятся. Жизнь ндифа – сплошное занудство. Никакой тебе системы родства, никакой социальной организации – кроме, пожалуй, тупейшей возрастной иерархии да грубого мужского доминирования. Абсолютно никаких ремесел, никакого искусства – одни безвкусные резные ложки, вроде тех, за которыми туристы, точно мухи на мед, слетаются на Гавайи. В области идей у них тоже круглый ноль – стоит ндифа выбраться из колыбели, как жизнь его сразу входит в колею и становится смертельно скучна. Знаешь, что вчера сказала мне Кара? «Мы, ндифа, живем на свете невыносимо долго». Так что если они и пытаются воспроизвести слепок с чьих-то скрытых желаний, то уж никак не с моих!

– И не с моих, – согласно кивнул Рамчандра. – Тогда, может быть, все дело в Бобе?

В этом его вопросе прозвучала такая отрезвляющая обоих холодность, что Тамара опять замешкалась с ответом.

– Ну… даже не знаю, – сказала она наконец. – На первый взгляд вроде бы так. Но ведь он в последнее время такой… такой неугомонный. А кроме того, большой любитель травить байки, фантазер, каких поискать. Коллекционер сказок и мифов со всей вселенной. Ндифа же никогда и ничего не сочиняют. Все их разговоры – кто с кем трахался прошлой ночью да кто сколько поро подстрелил на охоте. Боб считает, что их диалоги чуть ли не дословно повторяют Хемингуэя.

– Но ведь он еще не общался со стариками.

Снова в тоне Рамчандры скользнула та же брезгливая

холодность, и Тамара, невольно защищая бывшего любовника, возразила:

– Я тоже не так уж много дел имела с ними. Как и ты, впрочем. Живут старики особняком, незаметно, всех чураются – призрачные, как тени.

– Но ты ведь собственными ушами слышала целительный заговор старухи Биниры!

– И что же, ты полагаешь, он означает что-то особенное?

– Думаю, да. Это песенное заклинание на куда как более сложном и древнем языке. Если здесь и существуют более высокие формы культуры, искать их следует именно у стариков. Может статься, ндифа с возрастом утрачивают свои телепатические способности, поэтому им и приходится удаляться от племени. Но именно поэтому они и не подвержены внешним влияниям, у них нет никакой нужды приспосабливаться…

– А молодежи это зачем? К кому или к чему им приходится приспосабливаться? Ведь ндифа – единственные разумные обитатели своей планеты.

– Разные деревни, разные племена.

– Но ведь все они говорят на одном языке. Соблюдают одни и те же обычаи.

– В том-то все и дело! Здесь и кроется разгадка их культурной гомогенности, вот где настоящее решение проблемы Вавилона.

Рамчандра говорил с такой убежденностью, буквально вещал, да и сами рассуждения звучали столь правдоподобно, что Тамара честно попыталась переварить услышанное. Но все, чего она при этом сумела достичь, излилось в кратком признании:

– Твои идеи вызывают желудочные колики уже и у меня.

– Старики развивали свой настоящий язык, язык без телепатии. Они единственные, с кем здесь вообще имеет смысл разговаривать. Завтра же попытаюсь получить разрешение посетить Дом Старости.

– Тогда тебе для этого не помешало бы немного поседеть.

– Нет ничего проще! К тому же разве мои волосы так уж черны?

– Лучше бы ты просто выспался как следует.

Снова повисла неловкая пауза. Рамчандра явно не торопился укладываться обратно в постель.

– Тамара, – глухо выдавил он, – надеюсь, ты не глумишься надо мной?

– Нет, ну что ты, что ты! – даже испугалась Тамара, пораженная такой уязвимостью собеседника.

– Но ведь все мои теории так иллюзорны, точно мираж в пустыне…

– Тогда это *folie a dew*[35].То, что связано с языком, может пролить свет и на остальное. Ведь во всех шести деревнях, которые мы успели посетить, все то же самое – одни и те же неразрешимые загадки, те же декоративность и неправдоподобие, рядящиеся реальностью.

– Телепатическое *отражение,* – грустно констатировал Рамчандра. – Нас попросту надувают. Искажают наши ощущения, погружая нас тем самым в мир субъективных иллюзий…

– И уводят от подлинной реальности? – вставила Тамара, вновь весьма недоверчиво. – Сущий вздор! – Оба улыбнулись, признав в последней реплике свежую цитату. – Что-то чересчур уж мы с тобой сегодня разумничались да заболтались, вряд ли в столь поздний час удастся прийти к какому-то разумному заключению.

– Ага, вот и в психушке я тоже был весьма словоохотлив, – согласился Рамчандра. – Сразу на нескольких языках болтал, даже на санскрите.

Сказано это было, впрочем, тоном весьма спокойным, даже шутливым, и Тамара поднялась, собираясь откланяться.

– Пора и честь знать, – объявила она, сладко потягиваясь. – Ох и высплюсь же я сегодня. Раньше полудня не встану. Может, освежить тебе грелку напоследок?

– Нет, спасибо, не стоит. Послушай, я сожалею, что причинил тебе столько…

– Освейн, освейн.

Но пришла беда – отворяй ворота. Не успела Тамара прикрутить фитиль в вечно коптящем жировом светильнике, как на пороге ее хижины вырос Боб. Свет Апира играл на пышной шевелюре гостя; от нежданного в столь поздний час визита тут же повеяло недобрым, и атмосфера в хижине до отказа заполнилась тревожными предчувствиями, как и дверной проем – плечами в косую сажень.

– Только что вернулся, – объявил Боб.

– Откуда на сей раз?

– Из Ганды.

Гандой именовалась деревушка по соседству, вниз по реке.

Пока Тамара второпях оттирала с пальцев горячий жир поро из коптилки, Боб прошел и уселся на жалобно хрустнувшую под его весом камышовую скамейку. Его мрачный взгляд не предвещал ничего доброго, и Тамара ответила примерно таким же, намереваясь сразу же свести очередной вероятный гейм к ничьей.

– Рам приболел, – первой поделилась новостями она.

– Что с ним?

– Мягко выражаясь, животом слаб.

– Разве здесь такое возможно?

– Как видишь. Между прочим, у ндифа, как выяснилось, имеется некое подобие врачевания. Тебе в постель кладут разогретые камни.

– Мило! Весьма похоже на лечение от импотенции, – заметил Боб, и оба засмеялись.

Еще прыская, Тамара стала прикидывать, как лучше всего поведать Бобу об эпохальном лингвистическом открытии Рамчандры, снова вдруг представившемся ей весьма надуманным, притянутым за уши, но гость, уже вернувшийся в прежнее мрачное расположение духа, начал первым:

– Мне предстоит нечто вроде дуэли, Тамара. Поединок, схватка один на один.

– О господи! Вот же не было печали! Когда? И из-за чего?

– Помнишь Потиту? Ну, ту, рыженькую? Один юнец из Ганды положил на нее глаз. И бросил мне вызов.

– Какие-то экзогамные соглашения? Они сговорены, что ли?

– Нет у них здесь никаких помолвок, как тебе это и самой прекрасно известно, так что давай не трепаться попусту. Все, что упомянутая девица представляет собой, – лишь формальный повод для поединка.

– Похоже, у тебя серьезные неприятности, коготок увяз – всей пташке пропасть. Наконец-то, – невольно съехидничала Тамара, на самом деле так не считая. – Нельзя же порхать по всем туземкам подряд и рассчитывать, что остальные дикари, отложив в сторону свои дротики, будут вечно спускать тебе это с рук и благожелательно лыбиться. Ладно бы еще с половиной местных красоток, но с каждой!..

– Вот же дерьмо, – обескураженно вздохнув, заметил Боб. – Кто же мог знать! Никогда еще так не запутывался. Добывать сведения через постель! Думаешь, я хотел? Но ведь они сами напрашивались, *подталкивали* меня прямо в койку. Помнишь, мы уже как-то обсуждали это дело – когда возвращались в Бавану, все вместе? Рам сказал, что не смог бы. Ладно, ему уже где-то под сорок, для туземцев он почти старик, да и вид у него не подходящий для местных. Но я-то, я-то внешне похож на них. А отказываться – значит нарушить местные обычаи. Практически единственный обычай этих милых аборигенов. Так что выбор у меня, как сама видишь, был весьма невелик.

Смех, настоящий нутряной *женский* смех, всколыхнул Тамару. Боб глянул с изумлением.

– Ну ладно, пусть, давай считать, что все в полном ажуре, –

сказал он и тоже расплылся в неуверенной улыбке. – Пропади оно пропадом! Однако аборигены всегда уверяли нас, что их поединки – дело сугубо добровольное.

– А разве это не так?

Боб отрицательно помотал головой.

– Я представляю деревню Гамо против деревни Ганда, – пояснил он. – Таков у них единственный способ ведения войн. Парни просто свихнулись, на уши встали. Они уже с полгода не выигрывали поединков с Гандой, для них же это целая историческая эпоха. Называется Чаша Мира. Так что никуда не денешься – завтра мне предстоит обряд очищения.

– И в чем же он заключается, собственно? – Находя затруднения Боба весьма забавными, Тамара с радостью ухватилась за надежду поглазеть на какую-нибудь настоящую церемонию – ритуал, в котором, возможно, удастся усмотреть зачатки общественной жизни ндифа.

– Танцы. Гучейя и зиветта. Весь день напролет.

– Пф-ф!

– Понимаю, ты, как демограф, хотела бы извлечь какую-то пользу для науки, но все же не забывай – у нас проблема. Послезавтра мне предстоит драка на ножах. Публичная, перед зрителями сразу из двух деревень.

– На ножах?!

– Точно. По охотничьим правилам. Далентайи всегда дерутся на ножах.

– Далентайи? – Выслушав перевод Боба: «соперники в любовных делах», – Тамара по образцу Рамчандры мысленно проделала обратный – «дуэлянты». И после краткого раздумья предложила: – Может, просто уступить ему эту девушку?

– Не пройдет. Никак нельзя. Честь, гордость, местный патриотизм – все такое.

– А она… она согласна послужить вам эдаким призовым поросеночком?

Боб молча кивнул.

– Как это все мне знакомо! – заметила Тамара и неожиданно для самой себя выпалила: – Всё! Всё здесь точно такое же! Ничегошеньки инопланетного!

– На что это ты намекаешь?

– Ерунда, не бери в голову. Над этим еще трудиться и трудиться. У Рама тут мелькнула одна идейка… Но вернемся к нашим баранам. Слушай, Боб, я считаю, что тебе следует отступить, даже если всерьез рискуешь потерять лицо. Ведь мы всегда можем ретироваться, уехать отсюда. Лучше уж так, чем убивать ни в чем не повинного парня. Или погибать самому.

– Благодарю за утешительную альтернативу. – Боб склонил голову в подчеркнуто церемонном поклоне: – Но не тревожься. Я смухлюю малость.

– Возьмешь инъектор?

– Или применю прием карате. Не суть важно. Все равно чувствую себя совершенно по-дурацки. Публичная поножовщина из-за сопливой девчонки. Точно разборки губошлепов-тинейджеров.

– Так ведь здешний социум, Боб, и есть нечто вроде банды земных тинейджеров.

– Сплошные сюрпризы мне с этими инопланетянами!

Взъерошив свою львиную гриву, Боб поднялся и хрустнул мускулистыми плечами. Он был прекрасен, как герой античности, – неудивительно, что выбор туземцев пал именно на него. Тот факт, что его совершенная физическая оболочка таила в себе могучий интеллект, хранивший в памяти чуть ли не все поэтические шедевры человечества, ничего не значил для ндифа – как, впрочем, и для большинства обитателей родной Земли.

Но не для Тамары. Она видела Боба таким, каков он есть, – *настоящим* царем природы.

– Боб, милый! – взмолилась она. – Ну скажи им «нет». Отговорись. Сочини что-нибудь. Или же давай уедем отсюда.

– Не канючь! – отрезал он и как бы в знак признательности за заботу по-медвежьи ласково обнял Тамару за плечи. – Я выбью из бедолаги дух прежде – он даже глазом моргнуть не успеет. А затем прочту публичную лекцию. Тема: «Правила гигиены для новичков». Содержание: «Кровопускание опасно для вашего здоровья». Зрелище выйдет что надо.

– Мне пойти туда с тобой или лучше остаться в деревне?

– Сходи на всякий пожарный, – ответил Боб с улыбкой. – А вдруг у поганца тоже черный пояс.

На следующий день, когда Тамара коротала свои полуденные часы возле прачечной за весьма любопытной беседой с Карой и Либизой о деталях климактерического периода женщин-ндифа, на берегу, выйдя из цветистых зарослей, появился Рамчандра. Глядя на него издали с верхушки валуна, возвышавшегося над пенистой поверхностью заводи, Тамара невольно мысленно согласилась с Бобом – воистину вид у Рамчандры как у человека не от мира сего, точно на экран, демонстрирующий красочную эпопею из жизни экзотических джунглей, пала тень от зрителя в первом ряду, поднявшегося, чтобы покинуть кинозал. Слишком уж он хрупок, слишком смугл, чересчур костляв для здешних буйных красот.

– Ну как там твой живот нынче, Тичиза Рам? – крикнула,

заметив его, Кара.

Приблизившись, чтобы не повышать голос, он ответил:

– Освейн, Кара, освейн, мне уже значительно лучше. Сегодня утром я допил твой гуо до капли.

– Отлично, отлично! Занесу еще кувшин сегодня вечером. А то смотреть страшно – одна кожа да кости. – Последнее Кара подчеркнула особо.

– Пожалуй, двух кувшинов маловато будет, чтобы вернуть ему человеческий облик да нормальный цвет кожи, – заметила, оторвавшись от постирушки и разглядывая гостя, Брелла; казалось, лишь после упоминания о коже с костями она впервые разглядела Рамчандру по-настоящему. Ндифа вообще отличались потрясающей ненаблюдательностью и невниманием к мелочам. Сравнив теперь внешность обоих чужеземцев, Брелла прибавила: – Да и ты, Тамара, тоже выглядишь ненамного лучше. Кушай побольше еды нормального цвета – и не будешь такой ужасно темной.

– Меня это не особенно беспокоит, – улыбнулась землянка.

– Тамара, мы приглашены в Дом Старости, – сообщил Рамчандра.

– Мы оба? Когда?

– Оба. Прямо сейчас.

– Как только тебе удалось это? – подивилась Тамара по-английски, соскакивая с валуна, который делила с Карой, Либизой и охапкой отжатых одеял, и выбираясь на берег.

– Просто попросил.

– Я пойду с вами, – объявила Кара, прыгая следом. – Освейн!

– А разве *женщинам* можно? – спросила Тамара.

– Конечно. Ведь это Дом Старости, значит, *мужчин* там не встретишь, – ответила Кара, отряхиваясь и целомудренно натягивая край туники на свою плоскую грудь. – Вы идите вперед. Я забегу за Бинирой – она растолкует, если что не пойму. Встретимся прямо там.

Наспех отряхнув со ступней облепивший их серебристый речной песок, Тамара двинулась следом за Рамчандрой по тропке, петлявшей сквозь пестро изукрашенный лес.

То и дело соприкасаясь со спутником плечом, она остро ощущала близость его смуглого, ладно скроенного, хотя и хрупковатого тела, и краешком глаза любовалась горделивым орлиным профилем. Она прекрасно сознавала, что получает от того буквально физическое удовольствие, но теперь у нее имелись заботы и посущественней.

– Нас ждет там какая-то церемония?

– Понятия не имею. Я не расшифровал еще некоторые

ключевые термины. Моя просьба допустить нас в Дом Старости сама по себе оказалась достаточным основанием для созыва там какого-то собрания.

– А против этого у них не будет возражений? – Тамара указывала на диктофон, висевший у Рамчандры на поясе.

– Какие еще возражения могут быть в этом марионеточном царстве грез? – отозвался он, и скупая улыбка чуть смягчила жесткие его черты.

Двое древних старцев, иссушенных безжалостным временем до полупрозрачности, провели землян в потемки большого, но ветхого прибежища дряхлости; еще шесть-семь таких же почти что теней, рассевшись полукругом, уже ждали там. Гостей встретил неистребимый дух жареного поро и нестройное бормотание – «Освейн!»; усевшись прямо на земляной пол, они присоединились ко всей честной компании. Огня не разводили, единственным источником тусклого света служил дымоход в углу; никаких церемониальных принадлежностей и приготовлений также не наблюдалось. Вскоре к собранию под вялый хор «освейн» и горестное покрякиванье *бывших* мужчин присоединились и «молодки» – Кара с Бинирой. Кто-то через круг задал Каре какой-то вопрос – кто именно, в потемках не разобрать. Смысл вопроса тоже ускользнул от Тамары. Однако Кара вроде бы поняла; «Разве я недостаточно стара?» – гласил ее ответ. Раздался общий смех. В помещении появился еще один участник собрания, Бро-Кап, в прошлом знаменитый охотник, все еще массивный мужчина, хотя уже изрядно согбенный годами, лицо в глубоких морщинах и с по-черепашьи ввалившимся беззубым ртом. Не присаживаясь, он прошел через круг прямо к холодному очагу и, уперев руки в боки, встал там под лучом света из дымохода. Сразу наступила тишина.

Бро-Кап медленно обводил взглядом собравшихся, пока не остановил свое внимание на Рамчандре:

– Ты пришел к нам, чтобы научиться танцам?

– Если смогу, – без запинки ответил землянин.

– Достаточно ли ты стар для этого?

– Уже не молод.

Господи Боже мой, сообразила Тамара, да это же буквально настоящее посвящение – выдержит ли еще Рамчандра подобный экзамен? Следующий вопрос она не поняла, в нем как будто бы и вовсе не было знакомых ей слов; но лингвист, похоже, все разобрал, так как отозвался без промедления:

– Не часто.

– Когда в последний раз ты приносил домой дичь?

– Мне вообще не приходилось убивать животных.

Это вызвало общий неодобрительный гул, смешки, ехидные возгласы.

– Он, должно быть, родился уже стариком! – хихикнув, съязвила Бинира.

– А может, просто лентяй, каких поискать? – заметил самый моложавый из старцев, подаваясь вперед, чтобы разглядеть Рамчандру получше.

Смысл еще двух вопросов вместе с ответами на них ускользнул от понимания, пока Бро-Кап не возгласил наконец громко и торжественно (и даже как будто с некой угрозой, подумалось Тамаре):

– Чего же ты взыскуешь здесь, пришелец?

– Я ищу перменсуа.

Чем бы ни было это самое перменсуа, ответ вроде бы пришелся по вкусу, вызвав краткий гул одобрения. Коротко кивнув, Бро-Кап утер нос тыльной стороной ладони и уселся в круг рядом с Рамчандрой.

– Что именно хотел бы ты узнать? – спросил он уже без всяких церемоний.

– Хотелось бы узнать, – ответил Рамчандра так же просто, – как возник мир.

– О-хо-хо! – обежало круг.

– Да он стар не по годам, этот паренек, – добавил кто-то. – Ему, должно быть, никак не меньше ста.

– Мы считаем так, – ответил Бро-Кап без обиняков. – Ман создал весь наш мир.

– Хотелось бы узнать – как?

– У себя в голове, между ушами, как же еще? Все у него в голове. Нет дерева, нет камня, нет воды, нет крови, нет плоти – все сущее суть санисукъярад.

Тамара, расстроенная тем, что не поняла одно-единственное, но – увы! – очевидно, ключевое слово, попыталась угадать его смысл по выражению лица Рамчандры – а тот вроде бы все понимал, глаза его буквально сияли, резкие черты лица заметно смягчились.

– Он танцует! – возвестил лингвист о своей догадке. – Ман пляшет!

– Может быть, и так, – важно ответствовал Бро-Кап. – Может быть, Ман и пляшет у себя в голове, это тоже дает санисукъярад.

Лишь после очередного повторения имени Ман Тамара осознала наконец его случайное (или неслучайное) сходство с английским «man» – человек. И – вздрогнула…

Что же это творится такое?..

На бесконечно долгое мгновение весь мир в ее сознании как

бы разделился, распался на две половины – на два отчасти перекрывающих друг друга занавеса-экрана: по одному скользят только безмолвные звуки, по второму их значения – и те и другие равно нереальные. Скрещиваясь, сплетаясь и трансформируясь, они все помрачают, все и вся обращают в химеры, уже и единожды нельзя ступить в реку, ибо даже бегущая вода – это ты сам. Мир возник, но ничего, абсолютно ничего не происходит – разве назовешь событием невнятную беседу кучки увядшего старичья с каменной статуей Шивы в насквозь провонявшей горклым салом хижине? Болтовня, одна болтовня, мне опостылели слова, слова, слова – вдвойне лишенные смысла вербальные знаки.

Распавшиеся покровы мироздания сомкнулись вновь.

Убедившись, что диктофон исправно фиксирует происходящее, Тамара чуток подрегулировала уровень записи. Позже, прослушивая ленту, она все равно заставит Рамчандру растолковать ей все до последнего слова.

А вокруг нее меж тем уже начинались танцы. Притомившись от затянувшихся разговоров, Бинира объявила, что будет уже, хватит, мол, перменкъярада без музыки, на что Бро-Кап грубовато рявкнул: «Вот ты и давай, старая, вперед, освейн!» Бинира тут же завела песню, а вернее сказать, заныла своим визгливо дребезжащим сопрано, и старцы, поднимаясь один за другим, принялись отплясывать в такт с ее стенаниями – удивительно плавно и как бы замедленно, почти не отрывая пяток от грязного пола. Тела их принимали некие фиксированные позы с причудливо вскинутыми руками, на отрешенных морщинистых лицах читалась угрюмая сосредоточенность. От этой странной пляски теней в полутьме, загадочной и скорбной, на глаза у Тамары навернулась непрошеная слеза. Вот уже и остальные включились в танец; наконец танцевали все, кроме разве что Кары с Тамарой. То и дело торжественно соприкасаясь, все они кланялись, точь-в-точь деревянные болванчики или журавли в брачном танце. Все ли? Да, все, даже Рамчандра участвовал в удивительном действе. Золотистый сумрак струился, стекая с его плеч, медленно и плавно переступал он босыми ногами, двигаясь лицом к лицу с одним из старичков – божьих одуванчиков. «О, комейя, о, комейя, ама, ама, о, о-о-о!» – стенал над ухом незримый дребезжащий сверчок, и кулачки Кары с Тамарой сами собой отбивали ритм по замызганному полу. К костлявым, задранным как бы в мольбе рукам старца тянулись порхающие распахнутые ладони Рамчандры; улыбаясь, он коснулся стариковских мощей и повернулся в танце; старец тоже заулыбался в ответ и подхватил: «О, комейя, ама, ама, о-о-о…»

– Неплохо бы нам с тобой вечерком прослушать одну любопытную запись, – сказала Тамара, спускаясь следом за Бобом по узенькой тропке, ведущей к месту дуэли. Сказала в основном для того, чтобы хоть как-то отвлечь спутника от черных дум и тревожных предчувствий. Под ногами у них то и дело чавкали огрызки плодов ламабы, густо усеявшие тропу после того, как здесь прошествовала целая армия болельщиков.

– Какой-нибудь свеженький лирический хит?

– Нет. То есть в каком-то смысле да. Песнь любви к божеству, своего рода акафист, аллилуйя… Знаешь, кстати, как его величают здесь, местного бога?

– Знаю, – равнодушно отозвался Боб. – Один старик в Ганде сказал. Бик-Коп-Ман.

Поединок прошел как по нотам, почти в полном соответствии с замыслами сторон. Хотя, как водится, без сюрпризов дело тоже не обошлось.

Кроме набивших оскомину гучейи и зиветты, Тамаре посчастливилось запечатлеть на пленку некий новый ритуал в исполнении молодых ндифа – действо явно оригинального свойства. Ни на миг не отрывая глаза от видоискателя, она фиксировала все подряд: жуткую спесь на лице Потиты (вот он, твой звездный час, мисс Йирдо!), мгновенный просверк ножа, брошенного дуэлянтом из Ганды Пит-Ватом и угодившего Бобу в бедро (огненно-алое на ослепительно-белом), эффектный жест землянина, отбросившего далеко в сторону свой собственный клинок (мерцающая парабола траектории, нисходящей ветвью ткнувшаяся в розовые заросли путти), и молниеносный, завершающий весь поединок прием карате, повергнувший противника в прах бездыханным (но лишь на время).

Правда, прочесть заранее запланированную лекцию – о некоторых антисанитарных аспектах поединков насмерть – Боб уже не смог. Рана в бедре кровоточила вовсю, и Тамара, обронив камеру и схватив пакет первой помощи, бросилась на подмогу. Поэтому ликующие вопли жителей Гамы и стон разочарования болельщиков из Ганды оказались запечатленными лишь на звуковой дорожке да в уголках памяти. Ленты в аппарате хватило ровно до того момента, когда, ко всеобщему замешательству, поверженный дуэлянт от Ганды «восстал из мертвых». Случай беспрецедентный, с далентайи такого еще не бывало. К тому времени, однако, Боб – в лице ни кровинки, – тяжело опираясь на плечо Тамары, проковылял уже с полпути до Гамо.

– А где же Рам? – спохватился он вдруг, впервые за день. Тамаре пришлось признаться, что она и словом не обмолвилась о

предстоящей дуэли и Рамчандра попросту не в курсе.

– Это как раз хорошо, – похвалил ее Боб. – Правильно сделала. Представляю, что пришлось бы выслушать, узнай он обо всем заранее.

– И что же именно?

– Недопустимо вмешиваться в естественный уклад жизни аборигенов, – дурашливым тоном прогнусавил спутник.

Тамара несогласно тряхнула головой:

– Я не рассказала лишь потому, что сегодня еще не виделась с ним. И полагаю…

Только теперь Тамара осознала, что вчера просто-напросто увлеклась и напрочь позабыла о предстоящем Бобу поединке, он отступил куда-то на самый задний план и по сравнению с безумной пляской в Доме Старости казался ей сущей ерундой, безобидным пустячком, чем-то не вполне реальным. Да он и был таким – эдакой пусть досадной, но мелкой занозой в безмятежной общей идиллии – до того момента, пока сквозь видоискатель по глазам не полоснул прекрасный и страшный алый цвет, цвет крови под безжалостным солнцем. Но Бобу ведь не расскажешь теперь такое.

– Рам сейчас на самой грани открытия, – нашлась она. – Связанного, между прочим, как раз с определенным вмешательством в этот самый уклад. Вчера он весь день проторчал в Доме Старости. Хотелось бы, чтобы ты побеседовал с ним сегодня, сразу после того, как разберемся с твоей царапиной. Ему будет небезынтересно узнать, что старики Ганды говорят о Мане. О божестве то есть, хочу я сказать. Осторожней, не зацепись за этот гадкий колючий плющ… О господи, нас нагоняют, это твои болельщики-фанаты!

Сзади с явным намерением осыпать Боба охапками цветов путти приближалась стайка девушек.

– Потита с ними? – выдавил Боб сквозь зубы.

– Нет, ее как раз вроде бы не видать. А ты что, всерьез втрескался? Сохнешь?

– Нога моя по ней сохнет. Нет, разумеется, мы с ней просто развлекались, весело проводили время. А все же интересно, кому она в итоге достанется – мне или противнику?

Дело обернулось так, что призовой поросенок достался в итоге именно Пит-Вату – единственному, кто не покинул поле битвы и кое-как отплясал Танец Победного Торжества. Узнав о том, Боб вздохнул с заметным облегчением – и темпераментом, и по всем прочим обстоятельствам местной жизни Пит-Ват как нельзя лучше подходил девушке. А что до не запечатленного камерой Танца Победы – нескольких минут вычурных поз и

сплошного кривлянья, – то землянам уже доводилось снимать нечто подобное и прежде, всякие иные состязания с торжественными, по обыкновению, финалами, так что наука едва ли пострадала всерьез.

– Вот чего еще не хватало – снять фильм, в котором я подскакиваю, как орангутанг, и с воплями луплю себя по груди, – простонал, узнав о том, Боб. – Подумать только! С искалеченной ногой! По кругу, точно хромой осел из цирка!

– Орангутанг, говоришь? Осел из цирка? Весьма, весьма примечательные сравнения, – заметил Рамчандра, подбрасывая в огонь хворосту.

Они растопили очаг в хижине Боба. Шел дождь – обычное дело для ночной поры на Йирдо, – и раненый, потерявший немало крови, нуждался в дополнительном тепле. А также в словах ободрения. Воздух в хижине сразу пропитался пахучим дымком, но рыжеватые блики на стенах создавали определенный уют – это живо напомнило Тамаре долгие зимние вечера на Земле, немыслимые здесь из-за фантастически ровного климата. Боб ерзал на койке, подыскивая позу поудобнее, двое других устроились прямо у камелька, то и дело подбрасывая в огонь сухие сучья ламабы, сгоравшие с тихим треском и слабым ананасовым ароматом.

– Скажи-ка, Рам, а что означает «перменсуа»? – вспомнила вдруг Тамара.

– Мысли. Идеи. Понимание. Разговор.

– А перме… перменкъярад – так, кажется?

– Нечто схожее. С некоторым оттенком… иллюзорности, заблуждения, обмана. Игры, наконец.

– Это на языке стариков, что ли? – подал голос Боб. – Ты, Рам, когда словарь составишь, дашь мне посмотреть. А то я ни черта не понял, болтая со старичьем в Ганде.

– Кроме имени бога, – уточнила Тамара. Рамчандра удивленно поднял брови.

– Вселенную сотворил Бик-Коп-Ман при помощи своих ушей, – пояснил Боб. – Местный вариант Творения, том первый.

– Между ушей, а не при помощи ушей, – ядовито поправил Рамчандра.

– Какая, к черту, разница для Акта Творения?

– Не тебе с твоими куцыми познаниями в языке судить о том!

– Почему он взял в разговоре с Бобом подобный тон? – напряглась Тамара. Надменный, презрительный даже, голос лингвиста вдруг приобрел визгливые менторские нотки.

Вежливый и доброжелательный ответ Боба поражал контрастом:

– Я потратил несколько недель, Рам, покамест разобрался, что если у кого тут и можно найти древние предания, так только у стариков. Возможно, обратись я к тебе за помощью раньше, не потерял бы столько времени даром.

Рамчандра смотрел в огонь и не отвечал.

– Чего же ты, Рам? – гневно воззвала к нему Тамара. – Бобу следовало бы знать, о чем мы беседовали с тобой позавчера вечером. Давай-ка, поведай нам свою этимологию языка ндифа.

Лингвист не сводил взгляда с огня в камельке.

– Ты объяснишь это лучше меня, – вымолвил он наконец и неопределенно помотал головой.

– Так ты что же, успел уже усомниться в собственной теории? – вскинулась Тамара, как бы вновь обретая некую утраченную надежду.

– Нет, – ответил Рамчандра. – Все записи у тебя, в том блокноте, который ты вчера взяла просмотреть.

Сгоняв к себе в хижину за блокнотом, Тамара засветила коптилку и устроилась на полу возле самой койки – так чтобы и Боб мог все видеть через ее плечо. Часа полтора кряду они вдвоем просматривали методично собранные Рамчандрой исчерпывающие доказательства необычного происхождения местного языка, пробуя на слух многочисленные заимствования из современного английского. Сперва Боб то и дело покатывался со смеху, принимая все дело за чертовски забавную школярскую проказу, затем от души повеселился над очевидным безумием самой гипотезы. Она явно не произвела на Боба и малой толики того гнетущего впечатления, что прежде на Тамару.

– Если даже шуточка эта и не твоих рук дело, Рам, то все равно фальшивка, причем убого сработанная.

– Но кем? Как? С какой такой целью? – воскликнула Тамара, снова загораясь надеждой. Не суть важно, ошибка то или мистификация, – любое из объяснений приемлемей, чем коллективное помешательство.

– Ну, скажем, сам этот язык, к примеру… – Боб задумчиво листанул блокнот. – Он не настоящий. Подделка, артефакт, очевидная выдумка. Не так ли?

Рамчандра, битый час не произносивший ни слова, на сей раз отозвался – странно тусклым, безжизненным тоном:

– Так. Именно так. Выдумка. Фантазия дилетанта. Переклички с английским наивны и хаотичны, как в детской тарабарщине… Зато язык стариков вроде бы аутентичен.

– Видимо, он старше, архаичнее и…

– Нет. – Рамчандра часто и со вкусом повторял это короткое словцо, словно получал оттого некое непонятное

удовлетворение. – Язык стариков отнюдь не рудиментарен, это вовсе не пережиток, не атавизм. Он целиком основан на языке молодежи, вырос из него, как из коротких штанишек. И перерос. Вроде плюща, опутавшего телеграфный столб.

– Думаешь, спонтанно?

– Точно так же спонтанно, как и любой другой язык, самым натуральным образом. Когда новое понятие, востребованное самой жизнью, возникает, люди придумывают ему имя. Это так же естественно, как птичье пение, но это еще и работа вроде той, какую в свое время проделывал Моцарт, сочиняя свои райские мелодии.

– Тогда почему же ты утверждаешь, что настоящий стариковский язык вырос из откровенной фальшивки? Разве такое возможно?

– А разве я назвал его настоящим? Нет. И впредь не собираюсь. – Рамчандра поерзал на полу, устраиваясь поудобнее, обхватил руками колени и, по-прежнему не сводя глаз с голубоватых язычков пламени, продолжил: – Рискну предположить, что язык стариков как-то связан с самим сотворением этого мира. Лишь человеческие существа воспользовались бы для того средствами выражения, которые предоставляют нам язык, музыка и танец.

Боб недоумевающе уставился на него, затем перевел взгляд на Тамару.

– Ну и что же из этого следует?

Рамчандра не ответил, вновь погрузился в себя.

Тамара попыталась подвести некий предварительный итог.

– Итак, – начала она, – занимаясь здесь исследованиями в трех различных, весьма удаленных друг от друга регионах, мы обнаруживаем единый язык без заметных диалектных отклонений, одну и ту же рудиментарную модель социального и культурного устройства племенной жизни. Боб практически не находит у них старинных преданий, никаких выразительных архетипов, никакой развитой символики. Я устанавливаю признаков социальной иерархии едва ли больше, чем в овечьей отаре, – точно в самой примитивной первобытной общине. Секс и возраст определяют все ролевые функции. В культурном плане ндифа как бы и не люди вовсе, буквально недочеловеки какие-то, как полноценные homo sapiens, они еще не состоялись. Одни лишь старики подают некоторую надежду. Я верно резюмирую, Рам?

– Кто его знает? – ответил тот, зябко поеживаясь.

– Что за миссионерский бред! – возмутился Боб. – Ндифа – недочеловеки? Да вы в своем ли уме? Их общество застойно, это

да, не спорю. Но виной тому – окружающая среда, условия существования. Еда падает тебе в рот прямо с ветки, охота необременительна и богата добычей, сексуальных запретов нет и в помине…

– Последнее-то как раз и *не* свойственно людям, – бросила Тамара, но Боб как бы не заметил шпильки.

– У них нет стимулов, согласен. Зато старики, лишенные обычных занятий и радостей, начинают скучать – вот вам и стимул. Чего только не затеешь со скуки. Они начинают перебирать и мусолить слова, идеи, изобретают себе новые. Так что все зачатки мифопоэтики и традиции – дело рук стариков. И не так уж это необычно, всегда и всюду молодежь увлечена лишь сексом да развитием плечевой мускулатуры. В любом обществе носители подлинной культуры – практически одни старики. Единственная серьезная закавыка во всей этой петрушке – перекличка ндифа с английским. Вот что действительно нуждается в объяснении. Только не компостируйте мне мозги телепатией и прочей мистикой. Нельзя строить науку на песке оккультизма. Единственная разумная догадка, что приходит мне в голову: все эти ндифа, все до единого, по всей планете – одна большая подсадка. Как в цирке. Причем довольно свежая.

– Верно, – вновь подал голос Рамчандра.

– Но послушайте! – вскинулась Тамара: настал и ее черед негодовать. – Как могут четверть миллиона человек оказаться подсадкой? А как тогда быть с теми, кому за тридцать? Ведь один только наш перелет занял тридцать лет по местному времени! Всего восемь релятивистских лет назад мы все как один, весь наш исследовательский отдел по здешней системе, скопом погрузились на борт. Там никого не осталось, никаких шутников. Так что все ваше разумное объяснение – сущий вздор, ахинея, бред, чепуха на постном масле!

– Верно, – повторился Рамчандра, по-прежнему не отрывая своих грустных агатово-черных глаз от огня, мерцающего в камельке.

– Очевидно, на одну миссию народу все ж таки наскребли, – стоял на своем Боб. – Причем на весьма многолюдную миссию – на колонизацию целой планеты. Другой вопрос, как такая операция могла проскочить мимо неусыпного внимания наблюдателей от Галактического совета. Боюсь, мы с вами вляпались во что-то очень серьезное, вляпались по самые уши, и это начинает злить меня по-настоящему. Терпеть не могу дворцовые интриги, к тому же…

Излияния Боба были прерваны нежданным визитом. Без стука – ндифа не ведали подобных церемоний – в хижину ввалилась

весьма многочисленная делегация во главе с рослым Бро-Капом. Еще два старичка – божьих одуванчика помельче скромно стушевались у стенки разом ставшей тесной лачуги, но две молодки – судя по всему, танцовщицы зиветты – бросились прямо к постели и заохали, запричитали над раненым. Бро-Кап распрямил сутулые свои плечи, принимая осанку повнушительнее, и воззрился на Боба, явно поджидая, пока девицы не приутихнут. Одна из них меж тем перешла к затяжным стенаниям, в то время как другая увлеклась откровенно эротическим массажем.

– Тичиза Боб! – воззвал гость наконец. – Поведай нам, Бик-Коп-Ман ты все же или нет?

– Я Бик-Коп-Ман?! Освейн, Вана! – Боб отмахнулся от пылкой своей поклонницы. – Нет, Бро-Кап, я не Бик-Коп-Ман, увы. Освейн, но я ни черта не понимаю…

– Бывает, Ман приходит сюда. Он является нам порой, – торжественно пояснил старик. – Он появлялся в Гамо, а также в Фарве. Но никогда – в Ганде или Акко. Он высок и строен, златовлас и бледнокож, он великий охотник, могучий боец и неутомимый любовник. Он приходит издалека и снова уходит вдаль. Мы решили было, что ты – это он. Значит, мы ошибались?

– Вы ошибались, – поставил жирную точку Боб.

Бро-Кап с заметным усилием перевел дух.

– Тогда тебе предстоит умереть, – сообщил он.

– Умереть? – машинально повторил Боб.

– Как это умереть? Отчего вдруг умереть? – воскликнула Тамара, протискиваясь ближе к старику. – Что все это значит, досточтимый Бро-Кап?

– Бойцы от Ганды всегда смачивают свои ножи ядом, – был ответ. – Чтобы определить, кто из жителей Гамо является Маном. Бик-Коп-Ман не может умереть от яда.

– А что за яд?

– Это они держат в глубокой тайне, – вздохнул Бро-Кап. – Жители Ганды злы и нечестивы. Мы в Гамо никогда не прибегаем к отраве.

– Ради всего святого! – воскликнул Боб по-английски и тут же сам перевел свою реплику на ндифа: – Почему вы не сказали об этом раньше?

– Молодые думали, ты знаешь. Они считали тебя Маном. И усомнились лишь тогда, когда ты позволил Пит-Вату поранить тебя, а затем, отбросив собственный нож, «убил» противника так, что тот остался жив и здоров. Тогда они пришли к нам, в Дом Старости, за советом. Только у нас, стариков, есть перменсуа о Мане. – В голосе Бро-Капа отчетливо прозвенела гордость, тут же

сменившаяся печалью. – Вот я и пришел. Освейн, Тичиза Боб!

Неуклюже повернувшись, старик протолкался наружу. Двое его ровесников поспешили следом.

– Пошли прочь! – прикрикнул Боб на суетящихся над ним красоток. – Сию же секунду!

Обиженно надув губки, те неохотно удалились.

– Я сбегаю в Ганду, – объявил Рамчандра. – Разузнаю насчет противоядия.

Лингвист выскочил, и Тамара осталась наедине с побелевшим как мел Бобом.

– Вот вам и очередной дьявольский розыгрыш, – криво усмехнулся он.

– Ты потерял много крови, Боб, – сказала Тамара. – Возможно, яд вышел вместе с нею. Если вообще был. Давай-ка глянем на рану… Выглядит чисто, никакого воспаления нет и в помине.

– Дышать почему-то становится все труднее, – пожаловался Боб. – Я думал, виноват шок.

– Похоже на то. Сверюсь-ка я покуда с полевым руководством.

Они так и не сумели обнаружить в походном медицинском справочнике никаких подходящих к случаю указаний. Равно как и отыскать антидот в Ганде – тамошние туземцы то ли утаили правду от землян, то ли действительно не ведали никаких противоядий.

Отрава поражала центральную нервную систему, и спустя два часа после объявления приговора у Боба начались конвульсии. Вначале спорадические, они становились все чаще, все болезненней, и вскоре после полуночи, задолго до наступления нового дня, сердце Боба перестало биться.

Бешено ударив с десяток раз по бездыханной груди, Рамчандра занес было руку снова, но замер, обессиленный. Рука застыла как бы в некоем загадочном па из ритуального танца, символизирующего не то созидание, не то разрушение. Кулак безвольно разомкнулся, парящие пальцы зависли высоко над восковым лицом покойного. Спустя бесконечное мгновение Рамчандра пал на колени у койки и разразился рыданиями – настоящим морем слез.

Ветер полосовал дождем худую тростниковую крышу. Томительно тянулись, складываясь в часы, минуты, а Рамчандра оставался столь же недвижим и тих, как покойник, у тела которого он скрючился, глубоко втянув голову в плечи. Так и заснул, изнеможенный. Ливень то стихал, то заряжал вновь. Наконец Тамара, подняв коптилку угловатым механическим

движением – медленным и точным, как бы исполненным некоего скрытого смысла, независимого от человеческой воли, – задула ее и, подбросив в огонь последние остатки хвороста, устроилась пережидать ночь на полу у камелька. Возле покойника должен ведь кто-то бодрствовать, мелькнула мысль, да и спящему сегодня негоже оставаться без присмотра. И Тамара осталась сидеть так до утра – бездумно наблюдая за опаданием пламени в очаге да медленным зарождением нового серого дня.

Похоронный обряд ндифа, как Тамара и предполагала, тоже не отличался замысловатостью, скорее был какой-то весь куцый и не вполне пристойный. Могилу вырыли неподалеку, в лесочке, который туземцы обычно предпочитали обходить далеко стороной и при случайном упоминании о котором в разговоре опасливо смолкали. Рытье могил оказалось заботой стариков, и те по хилости своей выкопали щель едва ли глубже траншейки для телефонного кабеля. Два старца вкупе с Карой и Бинирой помогли донести до места тело. Изготовлением гробов ндифа себя не утруждали, укладывая своих покойников в землю совершенно обнаженными. «Холодно, так ему будет слишком холодно!» – в бессильном отчаянии вскинулась Тамара, решительно пресекая попытку стащить с Боба штаны и рубаху. Оставила на руке и золотой швейцарский хронометр – единственное его сокровище. Заботливо выстелив дно тесной могилки узкими листьями пандсу, оставшимися она обернула тело. Старики молча и с каменными лицами наблюдали за ее действиями. Затем пособили уложить Боба в могилу – на бок и чуть подогнув ему колени. Тамара потянулась было за цветами, но от тошнотворно крикливых красок снова зарябило в глазах, и тогда она, рванув с шеи крохотный кулон с бирюзой – подарок матери, последний привет родной Земли, – вложила его в холодную ладонь бывшего возлюбленного. Ей пришлось поторопиться – старики уже вовсю орудовали своими кривыми деревянными заступами, спешно засыпая могилу. Как только дело было сделано, все четверо ндифа немедленно удалились, не проронив ни слова и не оглядываясь. Рамчандра опустился на колени.

– Прости за то, что завидовал тебе, – глухо выдавил он. – Если нам суждено встретиться в иной жизни, ты снова будешь король, я же – только пес у твоих ног.

Низко склонившись, он губами коснулся рыхлой сырой земли, затем медленно встал и обратил взор к Тамаре. Ей знаком был этот взгляд, выражение неподдельной скорби, и она потупилась. Настал ее черед оплакивать друга, но не было слез.

Рамчандра, перешагнув могильный холмик, обнял Тамару за плечи, и ее прорвало наконец. Когда самое трудное, первые рыдания, осталось позади, они медленно удалились по полузаросшей тропе в неуместно цветистые заросли.

– Кремация все же лучше, – заметил под конец пути Рамчандра. – Душе легче вырваться из бренных оков.

– Лучше земли ничего нет, – сипло отозвалась Тамара.

– Может, пора связаться с базой на Анкаре, чтобы высылали катер?

– Не знаю.

– А и верно, не след нам торопиться с подобным решением.

Радужные краски бесчисленных ламаб вокруг двоих землян то затенялись, то вновь вспыхивали под солнцем, то опять погружались в призрачную тень. Даже опираясь на твердую руку спутника, Тамара то и дело спотыкалась на ровном месте.

– С тем же успехом мы могли бы и завершить то, за чем явились сюда, – сказала она.

– Завершить, – эхом отозвался Рамчандра. – Этнологию сновидений.

– Сновидений, говоришь? О нет! Вокруг нас реальность. И порой куда суровее, чем хотелось бы.

– Такова природа всех сновидений.

Спустя три дня наступило время очередного рапорта базе, располагавшейся на Анкаре, внутренней планете системы. Там-то земляне, добравшись до этого удаленного уголка Галактики, и разместили главный экспедиционный центр, обслуживающий всех занятых исследованием окрестных планет. Сжато, как это и было принято в Этнографической службе, доложив о смерти Боба: «Несчастный случай, виновных нет», они отключились, не желая выслушивать дежурные фразы соболезнований.

Жизнь в Гамо без Боба продолжалась, как и прежде. Женщины избегали поминать его при Тамаре, лишь старуха Бинира несколько вечеров подряд провела под стеной ее хижины, уныло выводя свои шаманские рулады – скрипучее легато незримого сверчка. Однажды на глаза Тамаре попались две юные танцовщицы, возлагавшие к порогу опустевшей хижины Боба охапку цветущих веток пандсу. Она решительно направилась к ним, но те, таинственно хихикая, тут же метнулись в ближайшие заросли. Вскоре пожар поглотил и саму хижину. В результате, видимо, детских шалостей с огнем – расследование проводить не стали – она выгорела дотла, а уже через неделю все следы свежего пепелища скрыла молодая поросль.

Рамчандра все дни и даже ночи проводил в компании

стариков Гамы и Ганды, долбя гранит науки и накопив уже чертову уйму новой информации. По-прежнему нестройными рядами покачивали бедрами танцовщицы гучейи и колыхали пышными бюстами солистки зиветты – под как и прежде заунывный хор благодарных зрителей: «Ай-вей, вей, ай-вей, вей…» Как всегда, кусты вокруг деревенской танцплощадки кишели совокупляющимися в светлых сумерках парочками. Охотники, как обычно, гордо возвращались домой с богатой добычей, подстреленные поро, точно молочные поросята, болтались у них на длинных шестах. Рамчандра объявился лишь на двенадцатую после гибели Боба ночь. Он пришел, когда Тамара пыталась перечитывать какие-то старые записи, – с равным успехом она могла бы листать и пустые страницы: голова раскалывалась, строчки плясали перед глазами, слова теряли смысл и ничего не означали.

Гость встал у двери – тихий и незаметный, словно не человек, а тень человека, – и Тамара встретила его замутненным, бессмысленным взором. Рамчандра пробормотал что-то пустое о неизбывном одиночестве, а затем – темный силуэт на фоне светлых сумерек – добавил:

– Это точно внутренний огонь. Словно аутодафе изнутри. Только душа не освобождается, а тоже горит…

– Входи же, чего стоишь, – сказала Тамара.

Спустя несколько дней, снова ночью, они беседовали, лежа рядом в потемках, и снова под аккомпанемент барабанной дроби дождя по тростниковой кровле.

– …Как только увидел тебя впервые, – сказал Рамчандра. – Честное слово, в тот самый день, когда мы познакомились в столовой базы на Анкаре.

– А по твоему поведению тогда этого никак не скажешь, – заметила Тамара, томно улыбаясь.

– Я испугался самого себя, – признался Рамчандра. – Стоп, сказал я себе тогда. Нет, нет и нет, хватит, мол, с меня жены-покойницы, в жизни человека такое не повторяется, в эту игру не играют дважды. Лучше уж всегда лелеять память о светлом прошлом.

– Но ведь ты и теперь не забываешь ее, – прошептала Тамара.

– Не забываю. Однако теперь я в силах сказать «да» и ей, и тебе. Да… Да. Да! Послушай, Тамара, ты сделала меня свободным, твои руки, твои ласки освободили меня. И вместе с тем связали, опутали по рукам и ногам. Никогда в жизни я больше не буду свободен, никогда не перестану желать тебя и не желаю переставать…

– Как просто все стало теперь. И как сложно было прежде. Что-то стояло между нами…

– Мой страх. И ревность.

– Ревность? Неужто ты ревновал меня к Бобу?

– О да. – Голос Рамчандры дрогнул.

– Ох, Рам, да я и помыслить… С самого начала я…

– Морок, – перебил он шепотом. – Наваждение.

Тепло мужского тела под боком, чертовски уютно, а Боб стынет там в холодной своей могиле. Огонь лучше земли…

Тамара вздрогнула и проснулась – Рам, ласково поглаживая ее по щеке, тихо приговаривал:

– Спи, усни, родная моя, спи, любимая, все хорошо, все будет хорошо…

– Что? Где я? Что такое?

– Всего лишь дурной сон.

– Сон. Ах да, сон! Только вовсе не дурной, просто чудной какой-то…

Дождь уже перестал, и свет газового гиганта в небесах, просеянный сквозь плотные облака, молочной дымкой стелился по укромным уголкам хижины. На этом мглистом фоне Тамара отчетливо видела лишь орлиный профиль Рамчандры да темные его кудри.

– И о чем же?

– Мальчик, молодой человек… Нет, все же подросток, тинейджер – лет эдак пятнадцати. Стоит прямо передо мной. Но занимает в то же время как бы все пространство вокруг – так что ни мимо пройти, ни кругом обойти. И все же – самый обыкновенный парнишка, наверняка даже очкарик. Таращится на меня, эдак подслеповато мигая и щурясь, тупо пялится и повторяет, как попка: «Били меня, били меня…» И мне вдруг становится до слез жалко его, я спрашиваю – кто, мол, да за что? Но он заладил свое как заведенный: «Били меня, били меня…» И тут я проснулась.

– Били меня? Любопытно, любопытно… – сонно пробормотал Рамчандра. – Били меня… Билли… Меня зовут Билли…

– Точно! Так и есть. Меня зовут Билли, это он и хотел мне сказать.

– Ох! – выдохнул вдруг Рамчандра, рывком садясь на постели. Утратив со дня смерти Боба былое доверие к ндифа, ко всему их благостному мирку, Тамара постоянно теперь была начеку. Вот и сейчас, вздрогнув, она невольно оглянулась на вход – уж не закрался ли кто в хижину?

– Что-то не так?

– Да нет, все в порядке.

– Чего ж ты задергался?

– Ничего, пустяки, спи спокойно. Просто ты пообщалась с Творцом.

– Во сне, что ли?

– Во сне. И он назвал тебе свое настоящее имя.

– Билли? – не поверила Тамара. Тревога уже отпускала ее и, поскольку на Рамчандру явно нашла охота попаясничать, она тоже позволила себе слабый нервический смешок. – Здешнего бога кличут Биллом?

– Да. Его зовут Билл Копман. Или Билл Каплан. Или Кауфман.

– Бик-Коп-Ман?

– Звук «ле» вытеснен, сменился буквой «к», как, например, в слове «шикка» – шелк.

– Что за ахинею ты несешь?

– Билл Копман. Человек, сотворивший мир.

– Что-что он сделал?

– Он творец мира сего. Всего здесь сущего: Йирдо с остальными планетами, визгливых поро, пестрых кустов путти, беззаботных ндифа. Именно его ты и видела во сне. Пятнадцатилетний юнец, близорукий, возможно, весь в прыщах и с хилыми лодыжками. Ты видела его, а с твоей помощью увидел на мгновение и я. Нескладный такой, кожа да кости, лодырь, застенчивый, как кисейная барышня. До дыр зачитывает комиксы, обожает фантастику, постоянно грезит наяву, воображая себя эдаким космическим волком, суперменом, плечистым блондином, удачливым в охоте, непобедимым в сражениях и неутомимым в постели. Он одержим своим персонажем. Сознание попросту переполнилось, выплеснулось наружу – вот так оно все здесь и образовалось.

– Будет тебе паясничать, Рам! Хватит уже!

– Но ведь это ты разговаривала с Творцом, не я. Ты спрашивала его. И он тебе не ответил. Да и не мог бы ответить. Он попросту не знает ответа. Не осознает еще собственных желаний. Но охвачен ими, буквально одержим, не видит и не замечает ничего, кроме единственно своей страсти. Так и только так творятся миры. Лишь тот, кто не ведает страстей, кто полностью свободен от любых желаний, тот свободен и от сотворения миров. И ты знаешь это.

Прикрыв на миг глаза, Тамара снова вгляделась в недавний сон.

– Он говорил по-английски, – вырвалось у нее против воли.

Рамчандра кивнул. Его хладнокровие, поощрительный, почти игривый тон действовали на Тамару расслабляюще – забавно

было лежать так, вглядываясь на пару в один и тот же дурацкий сон.

– Мальчик все записывает, – внесла свою лепту в игру Тамара. – Все свои фантазии. Составляет карты местности. Как очень многие дети. И даже некоторые взрослые…

– Полагаю, у него должна быть отдельная тетрадка для вымышленного им самим языка ндифа. Вот бы сравнить с моими записями!

– Чего же легче! Сходи одолжи.

– Хм… пожалуй. Однако ему ведь неведом язык стариков.

– Рамчандра!

– Что, любимая?

– Ты что же, всерьез полагаешь, что из-за какого-то там мозгляка, записывающего разную чепуху где-нибудь в… допустим, в Канзасе, на расстоянии в тридцать один световой год от него может возникнуть целая планета с растительностью, животным миром и даже разумными обитателями? Причем так, будто существовала всегда. Из-за сопливого мальчишки с тетрадкой? А как же тогда с остальными фантазерами – откуда-нибудь из Шенектеди? Или из Нью-Дели? Да откуда угодно!

– По-моему, это очевидно.

– Да ты городишь чушь, пожалуй, почище той, что Билл Копман в своей тетрадке!

– Ты так думаешь? Но почему?

– Время… И пространства на всех не хватит.

– Хватит. И времени, и пространства. Вселенная безгранична, ее циклы нескончаемы. Так что пространства хватит для всех снов, для любых фантазий. Пределов нет, мир бесконечен. – Голос Рамчандры звучал теперь глуховато, как бы издалека. – Билл Копман видит сны, – прибавил он. – И Бог танцует. Боб умирает. А мы любим друг друга.

Тамара снова увидала мысленным взором подслеповато мигающие глазки, сопливый нос, конопатое лицо снова заполняло собою весь мир – ни пройти, ни проехать.

– Признайся, Рам, что ты просто шутишь, – взмолилась она, ее уже маленько знобило.

– Я просто шучу, любимая, – послушно повторил он.

– Если это не розыгрыш, если такова правда, то кому по силам такое вынести? Так влипнуть, угодить в чей-то сон, как кур в ощип, в мир чужих грез, параллельный мир, альтернативную вселенную – как ни называй, все едино.

– Почему угодить? Почему влипнуть? В любой момент мы радируем на Анкару, и за нами вышлют челнок. А там ближайшим рейсом, если захочешь, вернемся на Землю.

Абсолютно ничего не изменилось.

– Но невыносима же сама мысль, что мы в чьем-то там сне! Кошмар! А что, если… что, если, пока мы здесь, Билл Копман вдруг возьмет да проснется?

– Только раз в тысячи и тысячи лет суждено душе пробудиться, – сказал Рамчандра, и голос его был исполнен печали.

Тамара же, напротив, находила это весьма ободряющим. Поразмыслив, она отыскала еще один дополнительный источник самоутешения.

– Но ведь не может решительно все зависеть от него, даже если он и затеял это, – сказала она. – Места, где нет поселений, они ведь должны быть пустыми на его картах. Но жизнь в них так же, как и повсюду, бьет ключом – звери, птицы, насекомые, лес, трава… Стало быть, существует и реальность сама по себе, свободная от сна. Затем еще старики. Они никак не вписываются, не могут быть частью… влажных снов Билла. Он, возможно, по жизни не знаком еще ни с одним стариком, не интересуется ими вообще. Вот почему они тоже свободны.

– Ты права. Старики начинают придумывать свой собственный мир. Фантазируют, изобретают слова. Рассказывают предания.

– Навряд ли мальчишка хотя бы раз задумывался о смерти.

– По силам ли живому вообразить смерть? – вопросил Рамчандра. – Ее можно только пережить. Как это сделал Боб… Точно сон о сне.

На месте облаков, мягко сносимых ветром на запад, уже забрезжил рассвет.

– Он выглядел встревоженным в моем сне, – пробормотала Тамара. – Таким испуганным. Как… Словно чувствовал определенную вину за смерть Боба.

– Тамара, Тамара, всегда ты на шаг впереди, всегда опережаешь меня. – Рамчандра зарылся лицом в ее грудь.

– Рамчандра, – сказала Тамара, ласково ероша жесткие кудри. – По-моему, я уже хочу домой. Прочь из этого мира. Назад в реальный.

– Иди первая, я следом.

– Ох, какой же ты весь из себя смиренный! Лжец и клоун! Сам ведь даже ни капельки не напуган.

– Это правда, – согласился Рамчандра, едва слышно вздыхая.

– Как давно уже ты все это понял? Когда отплясывал там с Бро-Капом и остальными? Уже тогда, что ли?

– Нет-нет. Только теперь, в эту ночь, после твоего вещего сна. Ты же сама его видела. А все, что я мог, – лишь облечь в слова

твое озарение. Но, если угодно, можно сказать, что я знал это всегда. И теперь, когда ты хочешь увезти меня домой, я начинаю вспоминать свой родной язык. Язык, на котором разговаривал в детстве в том маленьком домике под сенью деревьев, что возле храма Шивы в одном из предместий Калькутты. Но там ли теперь мой дом? А может, здесь? Какой из двух миров воистину реален? Да и имеет ли это хоть какое-нибудь значение? Ведь и Земля кому-то снится. Какому великому сновидцу? Но ведь и мы с тобой тоже парни не промах, тоже видим сны, мы оба Шакти, и нашим с тобой мирам суждено быть, покуда живы наши желания.

ЗАПАД

АРФА ГВИЛАН [36]

Арфа перешла к Гвилан от матери, и, как все говорили, мастерство игры тоже досталось ей по наследству.

«Ах, — говорили люди, когда играла Гвилан, — да ведь это же манера игры Диеры». Точно так же говорили их родители, когда играла Диера: «Ах, это же настоящая манера Пенлин!»

Матери Гвилан арфа досталась от Пенлин, которая, умирая, оставила этот чудесный инструмент самой достойной ученице. Пенлин тоже усердно трудилась, чтобы получить арфу от одного музыканта; инструмент никогда не продавался и не обменивался, и никто даже не брался оценить стоимость арфы в денежном выражении. Лишь простой бедный музыкант мог владеть столь роскошным и совершенно невероятным инструментом. Форма арфы была самим совершенством, и каждая деталь — великолепная и прекрасная: твердое и гладкое как бронза дерево, отделка серебром и слоновой костью. Большой изгиб корпуса обрамляла серебряная оправа, гравированная длинными переплетающимися линиями, которые превращались в волны, а волны переходили в листья, и из этих листьев выглядывали глаза лесных эльфов и оленей, которые вновь превращались в листья, а затем в волны, и волны снова переходили в линии. Арфу сделал великий мастер — это видел с первого взгляда даже несведущий человек, и чем дольше кто-либо на нее смотрел, тем яснее это понимал. Но вся красота инструмента создавалась ради одной лишь цели — лучшего звучания. Звук арфы Гвилан был подобен журчанию воды, и дождю, и реке, искрящейся в солнечном свете, шелесту пенистых волн на темном песке, лесу, листьям и веткам, и сияющим глазам лесных эльфов и оленей среди листьев, шелестящих, когда в долинах дует ветер. Звук арфы был одновременно всем и ничем.

Когда Гвилан играла, рождалась музыка, а что такое музыка, если не незначительное колебание воздуха?

Она играла всегда, когда этого хотели люди. Гвилан имела хороший голос, но в нем не хватало мелодичности, поэтому, когда люди хотели услышать песни и баллады, она аккомпанировала певцам. Ее игра поддерживала слабые голоса, хорошие же становились еще лучше, а громогласные, самодовольные певцы иногда даже старались сдержать свою мощь, чтобы услышать звучание арфы. Гвилан играла в

сопровождении флейты, тростниковой флейты и тамбурина, исполняла музыку, специально написанную для арфы, и мелодии, которые рождались сами по себе, когда пальцы касались струн.

«Приедет Гвилан и сыграет на арфе», — говорили на свадьбах и фестивалях. «Когда же выступит Гвилан?» — спрашивали на музыкальных соревнованиях.

Гвилан была молода; руки ее загрубели словно железо, но прикосновение было подобно шелку; она могла играть всю ночь и еще следующий день. Она путешествовала из долины в долину, из города в город, останавливаясь здесь, живя там и двигаясь дальше, путешествуя вместе с другими музыкантами. Они шли пешком, или за ними присылали телегу, или подвозили их на фермерской повозке. И как бы они ни передвигались, Гвилан несла свою арфу в футляре, обитом шелком и кожей, на спине или в руках. Когда она ехала верхом, то ехала вместе с арфой, и когда шла пешком — шла с арфой, и когда спала… нет, она не спала с арфой, но клала ее так, чтобы могла дотянуться до нее и потрогать. Гвилан не относилась к арфе с ревностью и с радостью поменялась бы инструментом с другим музыкантом; она получала огромное удовольствие, когда ее собственная арфа возвращалась к ней и музыкант говорил с завистью: «Я никогда еще не играл на столь прекрасном инструменте». Гвилан содержала арфу в чистоте, полировала отделку и натягивала струны, сделанные старым Улиадом, каждая из которых стоила как целый комплект обычных струн для арфы. В летний зной она несла арфу в тени собственного тела, а в зимний холод укрывала ее своим плащом. В зале с камином Гвилан садилась не слишком близко, но и не слишком далеко от огня, потому что смена жары и холода могла изменить голос инструмента, а возможно, и повредить корпус. Так она не заботилась даже о себе самой. Она не видела в этом необходимости. Гвилан знала, что есть другие арфисты и могут быть другие арфисты: некоторые хорошие, другие не очень. Но ее арфа

— самая лучшая. Нет и не было инструмента лучше. Эта арфа дарила наслаждение и требовала заботы. Гвилан считала себя не собственником, а исполнителем. И величественный инструмент был для нее всем — музыкой, радостью, жизнью.

Гвилан была молода, путешествовала из города в город, играла «Прекрасную долгую жизнь» на свадьбах и «Зеленые листья» на фестивалях. Ей случалось аккомпанировать пению элегий, играть на похоронах и на поминках, и там Гвилан исполняла музыку Ламента и Ориота, музыку, которая обрушивается и кричит, словно море и чайки, которая приносит облегчение и помогает разразиться слезами иссушенному горем

сердцу. Иногда проходили соревнования арфистов, выступающих в сопровождении визгливых скрипок и мощных теноров. Гвилан шла из города в город, под солнцем и дождем, неся арфу в руках или на спине. Однажды она ехала на ежегодный День музыки в Комин. Ее подвозил землевладелец Торм Вейл — человек, который так любил музыку, что поменял хорошую корову на плохую лошадь, потому что на корове не мог доехать туда, где играли прекрасную музыку. Торм и Гвилан ехали на шаткой повозке, запряженной тощей длинношеей чалой кобылой, которая шагала по склону по залитой солнцем дороге.

Медведь в придорожном лесу, или привидение в образе медведя, или тень ястреба: лошадь метнулась в сторону. Торм в этот момент говорил с Гвилан о музыке, размахивая руками, словно дирижировал хором, и от испуга и неожиданности выронил поводья. Лошадь подпрыгнула, как кошка, и понесла. На крутом изгибе дороги повозка покачнулась и сильно ударилась о каменистый склон. Колесо оторвалось и, подпрыгивая, прокатилось несколько ярдов. Кобыла продолжала взбрыкивать и скакать, волоча за собой полуразломанную повозку, и наконец скрылась из виду. И на залитой солнцем дороге, пролегшей между лесных деревьев, вновь воцарилась тишина.

Торма выбросило из повозки, и он лежал минуту или две оглушенный.

Когда лошадь метнулась, Гвилан схватила арфу, но во время внезапного падения ослабила хватку. Повозка опрокинулась, подмяв под себя арфу, но продолжала двигаться. Инструмент оставался в своем футляре из кожи и расшитого шелка, но когда уцелевшей рукой Гвилан достала футляр из-под колеса и открыла, то вынула оттуда не арфу, а кусок дерева, и еще один кусок, и спутанный клубок струн, крошки слоновой кости, скрученные обломки серебра, гравированного линиями, листьями и глазами, которые все еще удерживал серебряный гвоздь на куске рамы.

Шесть месяцев после этого события Гвилан не играла, поскольку сломала руку в запястье. Запястье заживало довольно быстро, но арфу починить оказалось невозможно. К этому моменту землевладелец Торм сделал Гвилан предложение, и она ответила согласием. Иногда она сама удивлялась, почему согласилась, ведь никогда ранее особо о замужестве не помышляла. Но если бы Гвилан заглянула в глубины своей памяти, то поняла бы — почему. Она видела, как Торм стоял на коленях возле сломанной арфы на залитой солнцем дороге, все лицо его было перепачкано кровью и пылью, и он рыдал. Когда

Гвилан увидела эту картину, то поняла, что время скитаний и странствий прошло. Бывают дни, подходящие для путешествий, но проходит ночь, наступает следующий день, и уже не стоит двигаться дальше, потому что ты пришел туда, куда стремился.

Главное богатство Гвилан, накопленное к свадьбе, составлял кусок золота, который ей вручили в качестве приза в прошлом году на Дне музыки Четырех Долин. Гвилан пришила его к корсажу как брошь — ибо где на земле можно продать столько золота? Кроме того, у нее были два куска серебра, бронзовая монета и хороший зимний плащ. Торм же имел деньги и прислугу, леса и поля, четверых батраков, еще более бедных, чем он сам, двадцать кур, пять коров и сорок овец.

Они поженились по старому обычаю, сами, над истоком ручья, там, где начинается течение, вернулись и рассказали обо всем прислуге. Торм никогда не предлагал сыграть свадьбу с пением и игрой на арфе, не сказал об этом даже ни слова. Торм был человеком, которому можно доверять.

То, что начинается с болью, в слезах, обречено на новый страх новой боли. Торм и Гвилан были добры друг к другу. Не то чтобы они прожили тридцать лет без каких-либо ссор. Даже камни, недвижно стоящие рядом тридцать лет, и то надоедают друг другу, и кто знает, что говорят люди, когда их никто не слышит. Но если два человека доверяют друг другу, они могут и поворчать, а немного ворчания убавляет силы для злости и гнева. Ссоры Торма и Гвилан вспыхивали и сгорали, словно бумага, не оставляя ничего, кроме кусочков золы, смеха в кровати под покровом ночи. Земля Торма никогда не приносила больше чем достаточно, и они не накопили никаких сбережений. Но жили они в хорошем доме, и солнечный свет мягко падал на каменистые поля. У Торма и Гвилан родились два сына, которые выросли и стали веселыми, благоразумными мужчинами. Одному нравились скитания, а второй оказался фермером от рождения; но ни у одного не было музыкального таланта.

Гвилан никогда не говорила о том, что хочет иметь новую арфу. Но к тому времени как зажило запястье, Улиад прислал странствующего музыканта, который привез арфу на время; когда же Улиад получил выгодное предложение продать эту арфу, он забрал ее обратно. В это время Торм выручил деньги от продажи трех хороших телок землевладельцу с высокогорной фермы Комин, решил, что на эти деньги надо купить арфу, и так и сделал. А год или два спустя старый друг Гвилан, все еще путешествующий повсюду флейтист, привез ей в подарок арфу с юга. Арфа, купленная на деньги от продажи трех телок, была обычным инструментом, простым и тяжелым; «южная» же имела

тонкую гравировку и позолоту, но постоянно расстраивалась и тихо звучала. Гвилан могла извлечь мелодичность из одной и силу — из другой. Когда она брала в руки арфу или разговаривала с ребенком, то и инструмент, и ребенок слушались ее.

Гвилан играла на похоронах и на фестивалях, проходивших по соседству, и на заработанные деньги купила хорошие струны; но то были не струны Улиада, потому что Улиад умер еще до рождения ее второго ребенка. Если где-то поблизости проводили День музыки, Гвилан ехала туда вместе с Тормом. Она не участвовала в соревнованиях, не потому что боялась проиграть, а потому что больше не считала себя арфисткой, и если люди не знали этого, то она знала. Поэтому Гвилан судила на соревнованиях, что делала справедливо и беспощадно. В ранние годы странствующие музыканты часто останавливались в доме Торма на две или три ночи; с ними Гвилан играла «Охоту» Ориота, «Танцы» Кайля, изысканную и прекрасную музыку севера и узнавала от проезжих музыкантов новые песни. Даже в зимние вечера в доме Торма звучала музыка: Гвилан играла на арфе — обычно на «трехтелочной», а изредка на капризной «южанке», — Торм подпевал приятным тенором, а мальчики — сначала мелодичными дискантами, а потом — хрипловатыми ломкими баритонами; один из батраков оказался веселым скрипачом; а пастух Керт, когда был дома, играл на трубе, хотя никогда не мог настроить ее в унисон с другими инструментами.

«Сегодня у нас День музыки, — говорила Гвилан. — Подкинька еще одно полено в огонь, Торм, и спой со мной „Зеленые листья“, а мальчики подпоют нам».

Шли годы, и сломанное запястье Гвилан утратило былую гибкость, а потом начался артрит. Работа, которую она делала по дому, была нелегкой. Но кто вообще, глядя на руку, может сказать, что она создана для легкой работы? Напротив, рука существует для выполнения всяческих сложных действий и является прекрасной, послушной слугой сердца и разума. Но с годами даже самые лучшие слуги становятся неловкими. Гвилан все еще могла играть на арфе, но не так хорошо, как раньше, а делать что-либо наполовину ей не нравилось. А потому две арфы, хотя и настроенные, висели на стене. Приблизительно в это время младший сын отправился странствовать, чтобы посмотреть, как живут люди на севере, а старший сын женился и привел жену в дом Торма. Старого Керта нашли мертвым высоко в горах под весенним дождем, его собака молча лежала рядом, невдалеке паслись овцы. А потом пришли засуха, хороший год, и плохой год, и были продукты, чтобы готовить и есть, и одежда, чтобы

носить и стирать, хороший год или плохой год. В середине зимы Торм заболел. После кашля у него началась лихорадка, затем он затих и умер, пока Гвилан сидела рядом.

Тридцать лет… Никто не знает, долго ли это, но не дольше, чем произнесение этих слов: «тридцать лет». И никто не знает, тяжело ли бремя тридцати лет, однако можно собрать все тридцать лет в горсть, и они покажутся легче, чем зола, короче, чем смех в темноте. Тридцать лет начались с боли и прошли в мире и довольстве. Но они не окончились сейчас. Они окончились там, где начались.

Гвилан встала с кресла и пошла в каминную комнату. Прислуга и все домашние спали. В свете свечи она увидела две арфы, висящие на стене: «трехтелочную» и позолоченную «южную» — унылую музыку и фальшивую музыку. «В конце концов, — подумала Гвилан, — я сниму их и разобью о камни камина, и буду ломать до тех пор, пока они не превратятся в щепки и клубки проволоки, как моя арфа». Но Гвилан не сделала этого. Она не могла больше играть на арфе, руки стали слишком непослушными. Но глупо ломать инструмент, на котором даже не можешь играть.

«Больше не осталось инструмента, на котором я могу играть», — подумала Гвилан, и мысль эта звучала у нее в голове, словно длинный аккорд, пока она не поняла, из каких нот он составлен. «Я думала, что моя арфа — это я сама. Но это не так. Арфа сломалась, а я — нет. Я думала, что я — жена Торма, но и это не так. Торм умер, а я — нет. И теперь у меня не осталось ничего, кроме меня самой. Ветер дует из долины, у ветра есть голос, отрывок мелодии. А потом ветер стихает или меняется. Работа должна быть сделана, и мы ее сделали. А теперь настал их черед, детей. А мне не осталось ничего, только петь. Я никогда не умела петь. Но надо играть на том инструменте, который имеешь». Она стояла у холодного камина и пела «Похоронную песнь» Ориота. Люди в доме пробудились в своих кроватях и услышали, как поет Гвилан, — все, кроме Торма, но он и так знал эту мелодию. И тогда проснулись расстроенные струны висящих на стене арф и тихо ответили, голос в голос, вместе, словно глаза, которые сияют среди листвы, когда дует ветер.

ОКРУГ МЭЛХЬЮ [37]

— Эдвард, — сказала теща, — посмотри фактам в лицо. Ты не можешь убежать от этой жизни. Люди не позволят. Ты слишком хороший, слишком милый и даже симпатичный, хотя сам как будто этого не замечаешь. — Она перевела дыхание, а потом

продолжила более холодно: — И мне всегда было интересно, замечала ли это Мэри.

Он молча сидел по другую сторону камина, съежившись и обхватив себя огромными ручищами.

— Ты не можешь убежать от того, в чем даже не участвуешь! Ах, прости, — беспощадно добавила она.

Он улыбнулся, слегка захмелевший от выпитого пунша.

— Индейцы навахо, — продолжила она, — по-моему, не разрешают тещам и зятьям разговаривать друг с другом. Это табу. Причем весьма благоразумное. А мы так чертовски самонадеянны — никаких правил, никаких табу…

Седая полная женщина в возрасте за шестьдесят мрачно замолчала, выпрямившись в кресле у огня. Она вообще никогда не сутулилась. Сигарета в левой руке и стакан с виски в правой демонстрировали грубоватую натуру этой женщины, происходящей из порядочной, никогда не умевшей приспосабливаться семьи. Семья эта покинула насиженное место в Западном Орегоне, округе Мэлхью, находящемся на самой границе бесплодных земель, и двинулась на запад, оставив позади сотни разорившихся ферм, самоубийства мужчин и, младенческие могилы, разбросанные по всей территории от Огайо до побережья.

— Конечно, Мэри знала, что ты симпатичный, — задумчиво продолжила она,

— и гордилась этим. Но я никогда не замечала, что она получает массу удовольствия, находясь рядом с таким мужчиной. Не ты — Мэри, а она тебе приносила настоящую радость.

Ему было лишь двадцать семь лет. Наклонившись, чтобы бросить в огонь докуренную сигарету, Генриетта Аванти отвлеклась от потока бегущих мыслей и охвативших ее эмоций, увидела лицо Эдварда, и все мысли тут же улетучились.

— Не стоит мне думать вслух, — сказала она, — я не хотела причинить тебе боль.

— Нет-нет. Все в порядке, — успокаивающе произнес он, повернув к женщине доброе, мрачное молодое лицо.

— Но я опять задела тебя. Ты чувствителен, а я нет. Ты одержим чувством вины, а я даже не знаю, что это такое.

И снова она тронула Эдварда за больное место; он нахмурился и заговорил:

— Нет, я не одержим виной, Генриетта. Я не виноват. Не виноват в том, что выжил. Только я не вижу в этом никакого смысла.

— Смысл! — Она сидела прямо, не двигаясь. — А смысла и нет.

— Знаю, — прошептал он, глядя в огонь.

Они довольно долго молчали. Генриетта думала о своей дочери Мэри, красивом, капризном ребенке. «Мама, это Эдвард». И молодой человек, смотрящий на девушку с недоверчивой, восторженной страстью — о, это был он, единственный, кто смог отвлечь Генриетту от постоянного, неутихающего горя, вызванного смертью мужа, кто еще раз показал ей с плоской равнины и бесплодной земли невероятно высокие горы. Эдвард напомнил ей, что даже после всего пережитого в жизни есть нечто большее, чем способность терпеть и мириться с тем, как уходят дни и годы. К сожалению, Генриетта знала, что терпение — это ее нормальное состояние. Она терпела бы всю жизнь, постепенно зачерствев и окаменев, если бы ей не посчастливилось выйти замуж за Джона Аванти, который научил ее радоваться. Он умер, и Генриетта тут же провалилась обратно в терпение и никогда больше не познала бы удовольствия и восторга, если бы однажды вечером в дом не вошла ее дочь, ведя за собой высокого парня с сияющим лицом: «Мама, это Эдвард».

— Может, ты не знаешь, — внезапно проговорила она. — Бессмысленность — это не для тебя. А для меня. Я рождена, чтобы вести бессмысленное существование, как мои родители и братья. По какой-то ошибке я попала в действительно стоящую жизнь, жизнь, в которой есть смысл. Как раз в такую жизнь, для которой рожден ты. А потом ты — ты, а не кто-нибудь другой, столкнулся с этим ужасом, с пьяным на шоссе, с ненужностью и бессмысленностью, когда тебе исполнилось всего лишь двадцать пять. Без сомнения, произошла еще одна ошибка. Но это неважно, Эдвард. Смерть Мэри не является самым важным событием в твоей жизни. И ты смалодушничаешь, если признаешь ее важной, примешь бессмысленность.

— Возможно, — ответил он. — Но дело в том, Генриетта, что в последнее время я чувствую, что дошел до точки.

Генриетта была напугана болью Эдварда, его неуверенностью в себе. Она не много знала о боли, в ее жизни встречались только страдания, терпимые, бесконечные, но не разрушающие муки. Она попыталась настроиться на более оптимистический лад, сказав: «Что ж, точка — это всегда начало следующего предложения…» Слезы — вот чего боялась Генриетта. Дважды здесь, в этой комнате, Эдвард не выдерживал и плакал, первый раз — когда вернулся из госпиталя после аварии, а потом — несколько месяцев спустя. Она боялась этих слез, хотя знала, что слезы помогают справляться с болью. Но при виде плачущего мужчины Генриетта начинала жалеть себя. Когда Эдвард внезапно поднялся с низкого каминного кресла, она вся

напряглась, ожидая чего-то плохого.

— Я хочу еще выпить. А ты? — только и сказал он, а затем взял стаканы и пошел на кухню.

В этот момент часы на каминной полке мрачно пробили полночь, тем самым возвестив, что окончился октябрь и начался ноябрь. Они прожили еще месяц. Генриетта сидела у огня, а Эдвард открывал на кухне буфет: обоим тепло, оба выпили хорошего бурбона — и еще была Мэри, умершая восемнадцать месяцев назад. «Может, я безжалостная и суровая женщина, если даже ни разу по-настоящему не плакала, когда умер мой ребенок? Если бы она умерла прежде чем Джон, я бы плакала по ней», — подумала Генриетта.

Эдвард вернулся, сел и вытянул ноги.

— Я пытался… — произнес он так спокойно и серьезно, что Генриетта забыла все свои страхи и попыталась понять, что он имеет в виду. Эдвард был искренним, но молчаливым, а его мысль, тренированная неизменными правилами и формулами химии, неотступно следовала логике даже там, где ее и в помине не было. — Я честно пытался, — повторил он и вновь замолчал, скрестил ноги, задумчиво отхлебнул из стакана и наконец продолжил: — Техник в медицинском отделении. Элинор Шнейдер. Довольно привлекательная блондинка, очень умная. Моя ровесница. («Старше», — подумала Генриетта). Ну и… — Эдвард замолчал и усмехнулся, подняв стакан. — Я пытался.

— Что?

— Заинтересоваться.

Бедная Элинор Шнейдер, теперь, наверное, специально обходит Эдварда стороной, едва завидев его хмурое, темное лицо. Боль заставляет человека концентрироваться на собственной особе.

— Я полагаю, лаборатория — подходящее место для экспериментов… — Генриетта слегка вздохнула.

— В любом случае это была попытка вновь соединиться с жизнью, или называй это как угодно. Но не сработало. Я не смог. И не хотел. Я знаю, ты считаешь меня слабым.

— Тебя? Конечно, нет. А если бы и да, что тогда? Ты лучше знаешь себя.

— Нет, Генриетта, не знаю. Ты действительно первый человек, который много знает обо мне. Чтобы судить объективно. Родители… — Родители Эдварда развелись, когда он был еще маленьким, и постоянно перекидывали бедного ребенка от отца с женой к матери с мужем — дитя раздора. Эдвард отогнал неприятные воспоминания и добавил: — А мы с Мэри в некотором смысле вообще ничего друг о друге не знали.

— Ты был очень молод.

— Мы просто не успели, — ясно и тихо проговорил Эдвард, и в этой короткой фразе выразилось все — его боль, тоска и сожаление о том, что ничего нельзя вернуть.

Генриетта сидела неподвижно, с отрешенным видом, стараясь не вдумываться в услышанное.

— Поэтому, — он продолжал рассуждать логически, — в тебе я вижу первое ясное отражение самого себя. И оно выглядит слабым.

— Ты смотришь в старое зеркало, которое искажает отражение.

— Нет, ты судишь о людях очень справедливо.

— Хочешь знать, каким я вижу тебя на самом деле? — строго спросила она, разгоряченная двумя стаканами непривычно крепкого напитка. Эдвард хотел. — Светлым и удачливым человеком. — Генриетта старательно подбирала слова. — Не везучим, а удачливым. Удача никогда не сопутствовала тебе. И все же ты был удачливым. Ты рано обрел свободу, слишком рано, а ведь многие люди вообще никогда не становятся свободными. Ты познал настоящую страсть, настоящие свершения — и ни одного разочарования. Ты никогда не познаешь разочарования, отчаяния. Ты пришел в зрелость свободным, и дальше пойдешь свободным или… — Но «или» завело ее слишком далеко. Если бы она была моложе, ровесницей Эдварда, то могла бы закончить: «или покончишь с собой». Но люди разных поколений не должны говорить о смерти. О мертвых — да, об умирающих — тоже, но о смерти — нет. «Это табу», — сказала себе Генриетта, испытывая отвращение ко всему сказанному. Эдвард же выглядел довольным и заинтригованным; он размышлял об услышанном.

— Да, и что касается Элинор, — сказал он, — этой девушки из лаборатории. Она любит детей. Я всегда думаю об Энди.

— С Энди я справлюсь сама, с ним все будет в порядке. Никто не просит тебя жениться на няне. Боже упаси!

Эдвард облегченно вздохнул. Но через несколько минут, сквозь сонливость и расслабленность, навеянные виски, Генриетта почувствовала, что он снова думает об Элинор.

— Когда я сказала, что ты поймешь, что не можешь убежать, не можешь освободиться, отсоединиться, знаешь, я просто хотела тебя предупредить. Ты сейчас очень уязвим. Можешь попасть в ловушку. А я не хочу этого. — «Хватит того, что ты побывал в сетях у Мэри», — подумала она. Генриетта считала, что ее дочь вышла замуж больше из желания самоутвердиться или даже от зависти, чем по любви. Она знала, что в душе Мэри под приятной мягкой живостью и итальянским изяществом таится

унаследованная от матери разрушительная, пагубная черта характера — беспомощность, бессмысленность, которая привела их всех в конце концов в округ Мэлхью. Генриетта так и не смогла поплакать о Мэри, никогда не осуждала ее — и опять с горечью, как и раньше, подумала, что ранняя смерть Мэри свидетельствует об удачливости любившего ее мужчины.

— Ты портишь меня, Генриетта, — сказал молодой человек, приведенный в замешательство результатами своих размышлений.

— Конечно. Но я не порчу твоего сына. Я знаю разницу между неиспорченностью и просто невинностью. — Она коротко рассмеялась, испытывая удовольствие от произнесения столь сложного изречения. — Я становлюсь многословной — все, пойду спать. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — неохотно ответил Эдвард, когда Генриетта пошла к лестнице, так неохотно, словно хотел удержать ее. Как будто хотел, чтобы его снова предупредили об «отсоединении». Он никогда, даже когда ему было очень больно, не убегал от самого себя и всегда заботился о тех, кому нужен. Все, что у него осталось, — это ребенок и старая женщина, которых он любил всей душой. И им втроем было хорошо друг с другом. «По крайней мере я — хорошая защита от дурных мыслей», — подумала Генриетта с гордостью.

С тех пор как четыре года назад умер ее муж, она не спала нормально ни одной ночи. Половину темной части суток она бодрствовала и читала и часто вставала еще до того, как просыпался ребенок. Генриетта помнила, как ее мать, уже в пожилом возрасте, молча сидела на кухне, освещенной керосиновой лампой, и смотрела в окно на огромное небо, тускнеющее над заросшей полынью равниной. Но в этот вечер Генриетта заснула сразу же, на всю ночь, провалившись в омут сновидений. Ей снилось, что кто-то умер — точно неизвестно кто и неизвестно, умирает ли он или уже умер, — и в конце концов в каком-то незнакомом летнем домике, стоящем в саду, она нашла кого-то, съежившегося на полу, одна длинная рука откинута в сторону, но это оказался всего лишь пустой рукав серого пиджака. В ужасе убежала она в другой, давний кошмарный сон, виденный лет пятьдесят назад, в котором нечто сверкающее гонялось за ней по пустыне. Наконец солнечный свет пролился на стены комнаты и разбудил ее, не развеяв ночные страхи. Генриетта в душе пыталась отрицать, что боится за Эдварда, но за завтраком вела себя с ним довольно беспощадно. Все утро она делала в доме уборку, оставив ребенка играть одного, пытаясь забить страх работой прежде, чем ее сознание решит, что

действительно стоит чего-то бояться.

Ребенок не мог все время оставаться в одиночестве. Ему было два года. И он походил на маленького шимпанзе; физическая красота родителей утратилась, смешавшись в ребенке. Малыш был задумчивым и любознательным.

— Ген, Ген, Ген! — закричал он и вошел, покачиваясь, на кухню. — Моко! Моко!

— До обеда ничего не получишь, — ответила ему Генриетта.

Мальчик улыбнулся и пристально посмотрел вверх мудрыми обезьяньими глазками.

— Моко? Песенье? Ябоко?

— Ничего до обеда, ты, прожорливое брюшко, — строго ответила бабушка.

— Ген, Ген! — залепетал ребенок, крепко обнимая ее ногу.

Он был любящим ребенком, очень милым ребенком. В полдень Генриетта бросила все домашние дела и пошла вместе с мальчиком вниз по холму в парк. И там, в розовом саду, полном последних лимонных, чайных, золотистых, бронзовых и малиновых роз, она бродила за ребенком, который крича бегал по дорожкам между колючими благоухающими кустами, освещенными осенним солнцем.

Эдвард Мейер сидел в машине и смотрел сквозь огни Беркли и черную, поблескивающую бухту на Золотые Ворота, тускло мерцающие в центре огромной панорамы света и темноты. Над машиной шелестели эвкалипты, листьями которых играл северный ветер, зимний ветер. Эдвард потянулся.

— Черт, — сказал он.

— Что случилось? — спросила сидящая рядом женщина.

— Что ты видишь там, внизу? Что значит для тебя это место, этот город?

— Все, что мне надо в этой жизни.

— Извини, — пробормотал он и взял ее руки в свои.

Они замолчали. В молчании проявлялось все изящество и мягкость Элинор. Он пил из этой женщины спокойствие, словно воду из ручья. Дул холодный, сухой январский ветер. Внизу, вокруг бухты, пересеченной множеством мостов, расстилались города.

Эдвард зажег сигарету.

— Так нечестно, — промурлыкала Элинор. Недавно она в пятый или шестой раз попыталась бросить курить. Она никогда ни в чем не была уверена до конца, послушная и тихая, принимающая то, что есть. Эдвард передал ей зажженную сигарету. Она слегка вздохнула и закурила.

— Это правильная мысль, — сказал он.

— В настоящий момент.

— Но зачем останавливаться на полпути?

— Мы не останавливаемся. Просто ждем.

— Ждем чего? Пока моя психика не придет в норму и ты не будешь уверена, что на меня не оказывают давление, и все в этом роде? Тем временем мы занимаемся любовью в машине, потому что ты живешь с подружкой, а я — с тещей, и не едем в мотель, потому что ждем — но только все это неправда. Все это нелогично.

Услышав такие слова, Элинор вдруг тихо, тяжело всхлипнула. Нервное раздражение Эдварда переросло в тревогу, но женщина отодвинулась от него, не пожелав его успокаивать. Раньше она никогда ни в чем не отказывала ему. Эдвард попытался извиниться, объяснить.

— Пожалуйста, отвези меня домой, — попросила она и затем все время, пока машина ехала по крутым улицам от пика Гризли в Южный Беркли, сидела молча.

Эта тишина действовала Эдварду на нервы, он чувствовал себя совсем беззащитным. Элинор выскочила из машины, прежде чем та полностью остановилась перед ее домом, и, шепнув «спокойной ночи», убежала. Эдвард сидел в автомобиле смущенный, озадаченный и чувствовал себя полным дураком. Он завел машину, и вместе с шумом работающего мотора рос его гнев.

Когда через десять минут он добрался домой, то был совершенно зол. Сидящая у камина Генриетта на мгновение оторвалась от книги и удивленно посмотрела на зятя.

— Ну-ну, — сказала она.

— Вот тебе и ну, — ответил он.

— Прости, — сказала Генриетта, — я должна дочитать главу.

Эдвард сел, вытянул ноги и уставился на огонь. Он был ужасно зол на Элинор за ее слабость, упрямство, нерешительность, колебания, привычку приспосабливаться. А здесь, слава Богу, сидела Генриетта — сидела, словно камень, словно дуб, дочитывая главу книги. Если даже произойдет землетрясение и дом рухнет, Генриетта постелит ребенку кровать, разожжет камин и закончит читать главу. Неудивительно, что Элинор до сих пор не замужем, у нее нет характера. Эдвард все еще злился, полный самооправданий, разомлевший от сексуального удовлетворения, которое дала ему Элинор, готовый к еще большему гневу, большей страсти и свершенности. И счастливый впервые за два года. Генриетта захлопнула книгу.

— Стаканчик на ночь? — спросил он.

— Нет. Я иду спать. — Она встала прямая, невысокая, непоколебимая.

Эдвард посмотрел на тещу с восхищением.

— Ты выглядишь грандиозно, — сказал он.

— Ого, — ответила она, — что еще придумаешь? Спокойной ночи, дорогой.

Генриетта простудилась. Обычно она простужалась в апреле. Простуда проникала ей в грудь, все внутри болело и при кашле громыхало, как трактор. В конце концов Генриетта добралась до телефона и попросила старушку Джоан прийти и присмотреть за Энди.

— Я сегодня не в состоянии бегать за ребенком, — прохрипела она, когда Эдвард пришел домой и удивился увиденному.

Затем Генриетта вернулась в постель и лежала, проклиная себя за то, что пожаловалась. Никогда нельзя жаловаться мужчинам. Женщины по крайней мере знают, для чего люди жалуются, — это помогает справляться с трудностями, но Эдвард поймет все иначе, подумает, что нельзя просить шестидесятидвухлетнюю женщину целый день присматривать за ребенком. И теперь, что бы Генриетта ни сказала или ни сделала, эта мысль прочно засядет Эдварду в голову. И у нее заберут ребенка. Постепенно или сразу она потеряет малыша, сына, которого ей всегда так не хватало и которому она была лучшей матерью, чем собственным дочерям. А ей так необходимо это маленькое обезьянье личико, песня по утрам, рубашки, которые надо гладить, маленькие машинки и разбросанные журналы по химии, и ежедневное и еженощное присутствие сына, мужчины, мужчины утраченного дома — да, утраченного — и утраченной жизни.

Когда Эдвард вошел, Генриетта даже не повернулась к нему. Лежала мрачная, больная до мозга костей.

— Послушай, — сказал он. — Энди расплескал молоко и бросил яйцо на пол. Слышишь, как он зовет Ген? — Действительно, снизу раздавались громкие театральные вопли. — Если ты не выздоровеешь за день или два, придется послать его в исправительную школу.

— Я собираюсь поправиться завтра, — все еще мрачно сказала Генриетта. Но на душе у нее полегчало. Доброта Эдварда всегда попадала в точку — вроде бы небрежно, не специально, но он всегда попадал в точку.

— Терпеть не могу валяться в постели, — чуть помолчав,

произнесла она.

— Знаю. Ты не очень хорошо справляешься со всякими болячками. Слушай, я попросил людей, которых пригласил на пятницу, отложить визит на неделю.

— Ерунда, послезавтра я встану на ноги. А твой друг, игрок в шашки, придет?

— Да, — рассмеялся Эдвард, — наверное, он хочет снова потерпеть поражение. — Как-то Генриетта прослышала про молодого парня из Филадельфии, который хвастался, что с пятнадцати лет ни разу не проиграл в шашки, пригласила его в гости и выиграла у него шесть раз подряд.

— Я мстительная женщина, Эдвард. — Она лежала неподвижно, волосы ее разметались по подушке.

— А ему все равно — он просто пытается понять твой метод игры.

— Не люблю хвастунишек. — В Генриетте заговорил округ Мэлхью, край безнадежности, место, из которого бессмысленно пытаться убежать. — Все мы дураки, тут и хвастаться нечего, — твердо и безнадежно продолжила она.

— Как насчет стаканчика перед ужином?

— Да, я бы не отказалась от виски с горячей водой. Но никакого ужина — не могу есть, когда болею. Принеси мне горячий пунш и «Домби и сына», хорошо? Я как раз начала читать эту книгу.

— Сколько раз ты уже ее читала?

— Ну не знаю. Каждые несколько лет, с тех пор как мне исполнилось двенадцать. И положи бедного ребенка спать, Эдвард, он не привык к Джоан.

— Меня она тоже пугает, — усмехнулся он.

— Да, это она может, ее не возьмешь ни обаянием, ни убеждением. Мы с ней договорились, — продолжила Генриетта, повинуясь внезапному порыву, — что, когда ты с Энди уедешь, Джоан переселится ко мне, если не передумает до тех пор. Она уже не в состоянии следить за домом, муж умер, а сын плавает по морям. Мы сумеем поладить.

Эдвард настороженно молчал. Генриетта посмотрела на него, уязвимого и величественного молодого человека, чья высокая фигура заполняла и оживляла весь дом.

— Не смотри так удивленно, — сказала она с мягкой иронией, — должна же я думать о будущем. А теперь иди и принеси мне виски, а то у меня глотка как наждачная бумага.

Сделать Эдварда свободным — вот ее главная задача. И она справлялась с этой задачей. Будучи матерью двух дочерей, Генриетта не знала, должна девушка быть свободной или нет, и

потому из-за этих постоянных колебаний Роза получилась слабохарактерной, а Мэри — избалованной. Но с мальчиками такие вопросы не возникали, мальчики должны быть храбрыми, а потому нуждаются в свободе. Главное для девочки — умение терпеть, хотя Генриетта не очень была в этом уверена. По крайней мере сама она слишком нетерпелива

— это касалось не жажды удовольствий и желания обладать, которые переполняли Мэри, но свершения, законченности событий и желаний: безнадежная и нетерпеливая.

Генриетта с удовольствием провела ночь и день в постели, развлекаясь Диккенсом, слушая дождь за окном и ужасные, длинные методистские гимны, которые Джоан распевала на кухне. В четверг Генриетта поднялась весьма бодрая, постирала и выгладила все занавески из спальни и прополола клумбу ириса, овеваемая свежим апрельским ветром, в то время как ребенок исследовал свежую мокрую грязь и нашел дождевого червя. В пятницу вечером пришли друзья Эдварда: две супружеские пары, Том — специалист по шашкам, у которого она дважды выиграла и один раз нечаянно проиграла, и невысокая милая женщина по имени Элинор. Элинор… Что Генриетта недавно, совсем недавно слышала об Элинор? Женщина была привлекательна, с пышными великолепными волосами и спокойным, словно вода в бассейне, лицом. И она смотрела на Эдварда. Вода в лучах солнца. О великолепие, невероятная яркость настоящего солнца, невероятные высоты.

— Мне всегда не слишком везет, когда я играю черными, — неловко проиграв, сказала Генриетта. — Но все равно согласитесь, мистер Харрис, я удерживаю позиции.

И молодой Том Харрис, ужасаясь, что обыграл хозяйку дома, извинялся, коверкая слова своим жутким западным акцентом, до тех пор, пока Генриетта не начала смеяться. Он искренне считал ее прекрасной пожилой женщиной, дочерью первых поселенцев, и если бы она сказала, что училась играть в шашки у самого Чифа Жозефа, он бы поверил. Но на самом деле Генриетта все время наблюдала за Элинор.

Она некрасивая. Застенчивая, часто терпящая поражение, около тридцати. О да, зато терпеливая, терпеливая женщина, обладающая таким страстным, разумным терпением, что умеет ждать, ждать десять лет, ждать не удачного прорыва, а известного, предвиденного свершения. Одна из удачливых, которые знают преимущество, знают, в чем смысл. «Но и в этом тоже должна сопутствовать удача! — закричала в душе Генриетта. — Можно прождать всю жизнь, и все пройдет мимо!» Но Элинор была похожа на Эдварда — одна из удачливых. Такие

не спешат, такие всегда спокойны. Берут то, что приходит, и получают ответ, когда спрашивают. Такие люди видели высокие горы, и даже трагедии полезны для них. Эдвард встретил себе ровню, пару, свою половину.

Генриетта не пошла наверх, пока не поболтала немного с Элинор. Каждая из женщин чувствовала искреннюю попытку другой продемонстрировать расположение, предложить искреннюю дружбу, и хотя они сразу не смогли принять друг друга, но симпатии зародились. Довольная собой, в десять Генриетта пошла наверх. Надев халат, она пересекла комнату, чтобы посмотреть на фотографию мужа, живое смуглое лицо Джона Аванти в тридцать лет, когда они познакомились. Как всегда, при виде фотографии сердце Генриетты забилось быстрее. Джон сильно повлиял на нее, изменил ее жизнь и потому жил в ее сердце. Генриетта часто с ним разговаривала. «Ну, Джон, — подумала она, — вот я снова продвигаюсь дальше». Она легла в постель, закончила читать «Домби и сына», послушала тихие веселые звуки голосов, доносящиеся снизу, и заснула.

Генриетта проснулась очень рано, в серой предрассветной мгле, зная, что она потеряла. Теперь они уйдут, через год или чуть больше, ребенок и мужчина, а вместе с ними ее покинут все радости, опасности, свершения. Даже после смерти Джона она не чувствовала себя одиноко, но теперь останется одна, совершенно одна. Больше ей не надо быть нетерпеливой. Даже это изнуряет в конце концов. Она все сделала правильно, выполнила свою задачу. Но это оказалось бессмысленным, бессмысленным для нее. Все, что теперь остается, — терпеть эту жизнь, мириться с уходящими днями и годами. Она добралась до сути вещей, пришла наконец туда, куда приходят все люди. Седая, освещенная предрассветными сумерками, Генриетта села на кровати и громко заплакала.

ВОДА ШИРОКА [38]

— Ты здесь?

— Пришла к тебе.

— Где это — здесь? — спросил он, помолчав.

Лежа на спине, он мог видеть только потолок да голову и плечи Анны. И в глазах мутится.

— Ты в больнице.

Опять пауза. Он проговорил что-то вроде: «Это не я здесь». Слова расплывались.

— Это не ты, — добавил он уже яснее. — Ты хорошо выглядишь.

— Спасибо. Ты здесь. И я здесь. Пришла к тебе.

Он улыбнулся. Улыбка лежащего на спине взрослого напоминает улыбку младенца — тяготение помогает ей, а не мешает.

— Можешь мне сказать, — прошептал он, — или знание меня убьет?

— Если бы знание могло убивать, ты бы давно умер.

— Я болен?

— Ты себя хорошо чувствуешь?

Он отвернулся — первое движение за весь разговор.

— Паршиво. — Невнятная речь. — Накачали лекарствами какими-то. — Голова снова беспокойно качнулась. — Противно. — Он глянул ей в лицо. — Паршиво. Анна, мне холодно. Я мерзну. — В глазах выступили слезы, скатились струйками и намочили седеющие волосы. Так бывает при страданиях лежащих на спине пожилых человеческих существ.

Анна окликнула его по имени, взяла за руку. Ее кисть была чуть поменьше, чем у него, чуть теплее, а в остальном — такая же, вплоть до формы ногтей. Она взяла его за руку, и он сжал ее пальцы. Потом рука его разжалась.

— Л'карства к'кие-та, — пробормотал он. Глаза его были закрыты.

Спустя какое-то время он проговорил еще одно слово — не то «тошно», не то «тяжко». Анна ответила на первое: «Потерпи», а потом подумала, что ему просто тяжело дышать. Грудь спящего вздымалась медленно, с усилием.

— Это лекарства, — сказала она врачу. — Каждый раз он просит не давать ему лекарств. Вы не можете уменьшить дозу?

— Химиотерапия, — ответил врач и произнес еще какие-то слова, все больше названия лекарств, потому что они кончались на «цин» и «цил».

— Он говорит, что не может заснуть, и проснуться тоже не может. Думаю, ему нужен сон. И пробуждение.

Врач наговорил еще каких-то слов: говорил так гладко, ладно и ровно, что Анна верила ему почти три часа.

— Это дурдом? — спросил Гидеон совершенно отчетливо.

— Ммм? — Анна вязала.

— Психушка.

— О, это просто отдельные палаты. Отличная частная больничка. Домашний уход. Очень вежливо. Очень дорого.

— Старческий мам… мар-разм. Говорить нет сил. Анна.

— Ммм?

— Инсульт?

— Нет, нет. — Она отложила спицы. — Ты переутомился.

— Опухоль?

— Нет. Ты крепок как скала. Потрескался только. Устал. Вел себя странно.

— Что я сделал? — Глаза лежащего прояснились.

— Выставил себя ужасным глупцом.

— Да?

— Ты вымыл все грифельные доски. В институте. С мылом.

— И все?

— Ты сказал, что надо начать все сначала. И погнал декана за мылом и ведрами. — Они рассмеялись разом. — Остальное уже неважно. Поверь, ты их занял надолго.

Теперь-то всем было понятно, что его новогоднее письмо в «Таймс», полное необычной для него ярости, было симптомом. Для многих это стало облегчением — для тех, кому неуютно было думать об этом письме, как об укоре. Весь институт теперь вспоминал, что Гидеон уже не первый месяц был не в себе. Какое там — уже три года, с тех пор, как лейкемия унесла его жену Доротею. Конечно, он мужественно перенес потерю, но разве не стал он после этого отстраненным? И с каждым годом все больше? Никто не замечал этого лишь потому, что Гидеон был очень занят. Он перестал брать отпуска, выезжать в семейный домик у озера, а все произносил речи в обществе по защите мира, в котором был сопредседателем. Он слишком много работал. Теперь все было ясно. Только почему-то никто не замечал этого до того апрельского вечера, когда Гидеон начал публичную лекцию по вопросам научной этики. Сначала он молчал, глядя в зал, 35 секунд (приблизительно; кто-то из математософов в зале засек время, когда тишина стала болезненной, но еще не была невыносимой), а потом медленно, тихо, хрипло — никто не мог потом выкинуть из головы его голос — объявил: «Основной проблемой, занимающей ныне физиков-теоретиков нашей половины Западного полушария является квантовое определение смерти». Потом он закрыл рот и уставился на аудиторию.

Хансен, произносивший вступительную речь, был человеком сообразительным и крепко сложенным. Он без особого труда уговорил Гидеона зайти за кулисы и затащил профессора в одну из аудиторий. Там-то Гидеон и настоял на мытье грифельных досок. К насилию он не прибегал, хотя вел себя, по словам Хансена, «исключительно своенравно». Позднее Хансен долго раздумывал, не было ли поведение Гидеона и прежде своенравным и даже, можно сказать, своевольным, и не следовало ли ему употребить вместо того слово «иррациональный», как от него и ожидали. Но размышления эти привели, в свою очередь, к раздумьям, а было ли поведение Гидеона (как физика-

теоретика) когда-либо рациональным, и более того — было ли, в строгом смысле слова, рациональным поведение самого Хансена (как физика-теоретика или по жизни). Обо этих философских спекуляциях он, однако же, промолчал, и несколько выходных посвятил строительству сада камней.

Не проявляя агрессивных тенденций, Гидеон, однако, попытался бежать. В какой-то момент он, очевидно, как-то разом осознал, что медицинская помощь уже вызвана, и взялся за дело решительно. Заявив находившимся рядом декану, доктору Хансену, доктору Мехта и студенту мистеру Чью (еще несколько работников института и слушателей занимались тем, что не пускали в здание репортеров и любопытствующих): «Вы заканчивайте тут, а я пойду в сороковую», — он подхватил ведро и губку и ринулся в пустую аудиторию по другую сторону коридора. Только последовавшие за ним доктор Хансен и мистер Чью не дали профессору открыть окно. Этаж был первый, и намерения Гидеона были совершенно ясны. Он непрестанно повторял: «Выпустите меня, пожалуйста, выпустите», — и Чью с Хансеном пришлось удерживать его силой. Профессор немного поборолся, пытаясь высвободиться, потом затих и, казалось, задумался. Незадолго до прибытия скорой медицинской помощи он тихонько предложил Чью: «Знаете, если мы сядем на пол, они нас не заметят», — а когда медики вошли в комнату, громко заявил: «Ну ладно, как пожелаете», — и заорал или, быть может, завизжал. Студент Чью, восходящая звезда биофизики, не сталкивавшийся дотоле с человеческими страданиями, отпустил руку профессора и разрыдался. Медики, сталкивавшиеся с человеческими страданиями даже слишком часто, спешно ввели пациенту быстродействующий транквилизатор. Через 35 секунд (приблизительно) профессор замолк и покорно дал надеть на себя смирительную рубашку. На лице его застыло выражение легкого удивления или, быть может, любопытства.

— Мне надо выйти отсюда.

— Ох, Гид, не сейчас. Тебе надо отдохнуть. Это очень милое местечко. Тебе уменьшили дозы. Это уже заметно.

— Я должен выйти, Анна.

— Ты еще нездоров.

— Я не больной. Я борзой. Помоги мне выйти отсюда. Пожалуйста.

— Зачем, Гид? Почему?

— Они не пускают меня туда, куда я должен сойти.

— Куда?

— С ума.

«Дорогой Лин!

Мне все еще позволяют навещать Гидеона каждый день с пяти до шести, потому что я его единственная родня, вдовая сестра вдовца, и я просто вламываюсь внутрь. Кажется, доктор моих визитов не одобряет; по его мнению, пациента они беспокоят, но власти остановить меня у него нет, пока Гидеон не признан сумасшедшим. Похоже, у него вовсе нет никакой власти — это все же частная клиника, — но мне его жалко. Никогда не понимала, как можно кому-то подчиняться. А ведь этот врач тут лучший специалист по нервным срывам. В последние дни он ходит мрачный, говорит, что состояние Гидеона ухудшается, что тот перестает реагировать — а на что ему тут реагировать? На лекарства? Что он им скажет? Гидеон четыре дня не ест. Когда рядом никого нет, он отвечает мне; вернее, он говорит, а отвечаю я. Вчера спросил о вас, детях. Я рассказала ему о разводе Кейт. Он загрустил. Сказал: «Все друг с другом разводятся». Мне тоже стало грустно. «Ну, мы не разводились, — напомнила я ему. — Ты и Доротея, я и Луи. Нас разделила смерть. Не знаю, что лучше». «В конце концов все одно, — ответил он. — Деление, слияние. Все человечество — одна большая ядерная семья». Интересно, что бы сказал о нашем разговоре доктор — что так говорит безумец? Или два безумца?

Потом Гидеон рассказал мне, что за тяжесть давит его. Это умирающие. Многие из них — дети, маленькие, исхудалые, опустошенные дети. Многие — старики, легкие, иссохшие старики и старухи. Каждый по отдельности легче перышка, но ведь их так много. Старики лежат на его ногах, куча детей навалена на грудь, над сердцем, и ему тяжело дышать.

Сегодня он все просил меня выпустить его, позволить уйти туда, куда он должен идти. Когда он говорит об этом, он плачет. Когда мы были детьми, я всегда ненавидела его слезы, я всегда плакала вместе с ним, даже когда мне было тринадцать или четырнадцать. Он плачет только от большого горя. Доктор говорит «депрессия», говорит, что надо давать ему лекарства. Но у Гидеона не депрессия. Думаю, у него горе. Почему нельзя позволить ему горевать? Неужели его скорбь принесет горе всем нам? Мне кажется, нас губят лишь те, кто не умеет скорбеть…»

— Вот твоя одежда. Вставай, Гидеон, одевайся. Если хочешь уйти со мной. Разрешения у меня нет. Не могу уговорить этого доктора, он все хочет тебя лечить. Так что если желаешь уйти — надо встать и одеться.

— Постель брать?

— Не дури.

— Библию?

— Бога ради, не впадай в религию. А то я приведу тебя

обратно. Быстрее. Вот штаны.

«Сойдите с меня на секундочку», — попросил он умирающих детей и стариков.

— О-ох, как ты похудел. Дай застегну. Вот так. Осилишь? Держись. Нет! За меня держись! Ты ничего не ел, у тебя от голода голова кружится.

— Гидеон-головастик.

— Да заткнись! Старайся выглядеть неприметно.

— Мы и есть неприметные.

Они вышли из комнаты, прошли по коридору рука об руку — неприметная пожилая пара. Прошли мимо старухи в кресле-каталке, тискающей куклу, мимо комнаты, где девушка глядела в пустоту. Мимо стойки регистратуры. Анна улыбнулась, сказала регистраторше с какой-то странной интонацией: «Мы пойдем погулять в сад». «Отличная погода», — улыбнулась регистраторша. Они вышли на выложенную кирпичом дорожку, через лужайку, к чугунным воротам. Свернули за воротами налево. Под вязами стояла машина Анны.

— О-ох. Если меня хватит инфаркт, то все из-за тебя. Погоди. Так руки трясутся, что завести не могу. Ты в порядке?

— Конечно. Куда мы едем?

— К озеру.

— Он ушел с сестрой погулять, доктор. С полчаса назад.

— Погулять, — повторил врач. — Господи ж ты боже мой. Куда?!

Я Анна. Я Гидеон. Я Гидеанна. Я брат сестры и сестра брата. Я умирающий Гидеон, но я умираю за тебя — не за себя. Я Анна, сохранившая рассудок, но я безумный брат твой. Протяни ко мне руку из тьмы, о брат! Reich' mir das Hand, mein Lieben, komm' in mein Schloss mit mir. О, но в этот замок я не хочу входить, брат мой, я не хочу входить в этот замок. Темны башни его. Кто я, по-твоему, — Чайльд-Роланд? Роланд для твоего Оливера? Нет, глянь: мы знаем этот край, мы играли в нем детьми. Потанцуем же здесь, на берегу, у воды. Ты башня, я озеро. Я отражу в себе твой танец, я заполнюсь тобой, твоими отполированными водой блестящими камнями. Не дави на меня, башня, брат, и тогда мы станем одним. Но мы всегда были одним, сестра, брат. Мы всегда танцевали в одиночестве. Я Гидеон, танцор в душе твоей, и я умираю. Я не могу более танцевать. Я склоняюсь, склоняюсь, склоняюсь. Ни лечь, ни танцевать. Отражения расколоты. Ни танцевать, ни дышать. Они лежат на мне, во мне. Как могут истощенные стать такой тяжестью, Анна?

Гидеон, разве это наша вина? Это не твоя вина. Ты ни одной живой душе не причинил вреда.

Но это моя вина. Вина твоей души и моей, вина без вина. Земля пьяна без вина, и пьяная дрожь бьет ее, и трясется земля. Умирают люди: изумленные дети, и юноши с автоматами, и женщины, застрявшие с коляской в растворяющемся универмаге, и старики, тянущие костлявые пальцы к дрожащей земле. Я предал их всех. Я не дал им насытиться.

Как ты мог? Ты ведь не бог.

О да, я бог. Мы бог.

Мы?

Мы. Воистину, мы — бог. Не будь я богом, как мог бы я умирать? Бог-то, что умирает. Бог есть скорбь. Мы все умираем друг за друга.

Если я бог, то я бог-женщина, и меня ждет возрождение. Я рождаю себя.

Воистину так, но лишь если я умру; а я есть ты. Или ты станешь перечить мне на краю могилы, полвека спустя?

Нет, нет. Я не стану перечить тебе, хотя порой так хотела. Но это не край могилы, мой юный мрак, мой страх, мой маленький братишка. Это лишь озерный берег, видишь?

Но нет другого берега.

Должен быть.

Нет. У всех морей общий берег. Откуда взяться иному?

Есть лишь один способ узнать это.

Мне холодно. Холодно. Вода — ледяная.

Смотри: вот они. Их так много, так много! Дети держатся на воде, потому что они легкие, их держит воздух. Старики плывут, хотя и недолго. Смотри, как старик цепляется за ком земли, кусочек мира, отвалившийся при землетрясении. Это слишком маленький остров. Смотри, как женщина держит младенца над водой. Я должен помочь ей, я должен плыть к ней!

Если я коснусь хоть одного, они завладеют мной. Тонущие, они цепкой хваткой уволокут меня за собою на дно. Я никудышный пловец. Если они коснутся меня, я утону.

Смотри: я знаю его. Это же Хансен. Он цепляется за камень, бедняга; доска послужила бы ему лучше.

Вот Кейт. Вот ее бывший муж. А вот Лин. Лин хороший пловец, это у него с детства. За Лина я не волнуюсь. А Кейт захлебывается, Кейт нужна помощь. Кейт! Не выкладывайся, милая, не дергайся так! Вода широка. Береги силы, плыви медленней, милая, Кейт, дитя мое!

Вот молодой Чью. А смотри — вон там, за его головой, плывет доктор. И регистраторша. И старуха с куклой. Но их так много, так много. Если я протяну руку одному, к ней потянется сотня, тысяча, тысяча миллионов, и они утянут меня на дно,

утопят. Я не могу спасти даже одного ребенка, хоть одного ребенка. Я и себя не могу спасти.

Да будет так! Держи мою руку, дитя! Прими мою руку, незнакомец, плывущий во тьме, в глубоких водах. Плыви со мной, пока есть силы. Так утонем же вместе, ибо я понял — поодиночке нам не выплыть.

На глубине так тихо. И я больше не вижу лиц.

Доротея, кто-то преследует нас. Не оглядывайся.

Я не жена Лота, Луи. Я жена Гидеона. Я могу оглянуться, и не обращусь в соляной столб. Да, в моей крови никогда не хватало соли. Это тебе оглядываться опасно.

Ты принимаешь меня за Орфея? Я был неплохом пианистом, но не настолько же. Хотя признаюсь, мне страшно оглядываться. И не хочется.

Я оглянулась. Их двое. Женщина и мужчина.

Этого я и боялся.

Думаешь, это они?

А кому мы еще нужны?

Да это они, наши муж и жена. Уходите! Возвращайтесь! Вам не место здесь!

Здесь хватит места для всех, Доротея.

Да, но не теперь, не сейчас. О Гидеон, вернись! Он не слышит меня. Я уже не могу говорить. Луи, окликни ты их.

Уходите! Не идите за нами! Они не слышат нас, Доротея. Смотри, как они движутся, точно песок — это вода. Разве они не знают, что здесь нет воды?

Я не знаю, что они знают, Луи. Я забыла. Гидеон! О Гидеон, возьми меня за руку!

Анна, держись!

Слышат ли они нас? Видят ли?

Не знаю. Я забыл.

Холодно. Как холодно. Слишком глубоки эти воды, слишком широки. Я протянул руку, я потянулся в темноту, но не знаю, помог ли я кому— то: удержал ли на секунду ребенка или потянулась ко мне в ответ призрачная рука, не знаю. Не могу сказать. Там, на суше, они были правы. Они советовали не скорбеть. Советовали не смотреть. Советовали есть обед и глотать таблетки с названиями на «цил» и «цин». И они были правы. Мне советовали не шуметь, не кричать, не плакать. Быть хорошим и тихим. И они были правы. Что толку кричать «Помогите! Тону!», когда тонут все? Я слышал, как они взывают ко мне о помощи, а теперь не слышу ничего — только плеск глубоких вод. Возьми мою руку, любимая, мне холодно, холодно.

Вода широка, мне не переплыть ее,

И крыльев мне не дано,

Но вместе с любимой я перейду ее

Туда, где быть должен давно.

Вот он, вот другой берег! Смотри, вон свет, утренний свет на камнях, озаренные солнцем берега. Я просвечен насквозь, я прозрачен, и тяжести больше нет.

Но это тот же берег, Гидеанна.

Мы вернулись домой. Всю ночь мы плыли в ледяной тьме и вернулись домой: в дом, где никогда не были, в дом, который никогда не покидали. Возьми меня за руку, ступи на берег со мной, сестра моя жизнь, брат мой смерть. Смотри: это исток. Отсюда начинаемся мы, у потока, разделившего нас.

ЮГ

РАССКАЗ ЖЕНЫ [39]

Он был хорошим мужем, хорошим отцом. И я не понимаю. Не верю. Не могу поверить в то, что случилось. Я видела, как все произошло, но это неправда. Невозможно, невероятно. Он всегда был таким добрым. Если бы вы только видели, как он играл с детьми, — любой, кто увидел бы его с детьми, с уверенностью сказал бы, что в нем нет ничего плохого, ни капельки.

Когда я впервые встретила его, он все еще жил со своей мамой, недалеко от Весеннего озера. Я часто видела их вместе, мать и сыновей, и думаю, что не знала другого такого, у кого были бы настолько хорошие отношения с семьей. Однажды я гуляла в лесу и увидела, как он возвращался с охоты. Он не поймал даже полевой мышки, но отсутствие добычи не повергло его в уныние. Наслаждаясь утренним воздухом, он весело шагал по тропинке. И это

— первое, что мне в нем понравилось. Он легко относился к жизни, никогда не ворчал и не хныкал, когда что-то не получалось. В тот день мы впервые заговорили. И мне кажется, что события начали развиваться именно после нашего первого разговора, потому что очень вскоре он стал проводить со мной практически все время. И тогда сестра сказала… дело в том, мои родители около года назад отправились на юг, оставив нам дом, — так вот, сестра сказала, вроде бы в шутку, но весьма серьезно:

— Что ж, если он собирается проводить у нас каждый день и полночи, мне кажется, что здесь нет места для меня! — И она поселилась неподалеку.

Мы были очень близки с сестрой. Наши отношения всегда оставались очень хорошими. И я бы не пережила эти ужасные времена без сестры.

Так он и стал жить со мной. И все, что я могу сказать: это был самый счастливый год моей жизни. Муж относился ко мне исключительно хорошо. Много работал и никогда не ленился, такой большой и симпатичный. Все уважали его, понимаете, уважали такого молодого. А члены общества охотников все чаще и чаще приглашали его руководить пением на ночных собраниях. У него был такой красивый голос, и он запевал так мощно, а все остальные присоединялись и подхватывали высокими и низкими голосами. И теперь, когда я вспоминаю о ночах, когда я не ходила

на собрания, а сидела с детьми, пока они были совсем маленькими, у меня мурашки бегают по телу. Мне кажется, я вновь слышу пение, которое доносилось из-за деревьев, вновь вижу лунный свет и чувствую тепло летней ночи, залитой сиянием полной луны. Я никогда больше не услышу что-либо столь же прекрасное. Никогда больше не испытаю такой радости.

Говорят, это случилось из-за луны. Во всем виновата луна. И кровь. Кровь, унаследованная мужем от отца, которого я никогда не видела. Теперь мне интересно, что же с ним стало. Отец мужа родился где-то в районе Белой реки, и в наших краях у него не было родственников. Я всегда думала, что он вернулся к Белой реке, в чем теперь сомневаюсь. Об отце мужа ходили разные разговоры, которые всплыли после того, что случилось. Говорят, всему виной нечто странное, что бежит в жилах вместе с кровью. Можно прожить спокойно всю жизнь, и это никогда не проявится, но если проявится — то из-за перемен, происходящих с луной. Это всегда случается в новолуние. Когда все спят по домам. И тогда, как мне говорили, что-то ужасное овладевает беднягой, на кровь которого наложено проклятие, и он встает, потому что не может спать, и выходит на ослепительный солнечный свет, и уходит совершенно один — чтобы найти себе подобных.

Возможно, все это правда, потому что мой муж так и сделал.

— Куда ты идешь? — спросила я, с трудом открывая глаза.

— На охоту, вернусь вечером, — ответил он каким-то странным чужим голосом. Но я так хотела спать и боялась разбудить детей, а он всегда был таким хорошим и ответственным, что я не посчитала нужным спрашивать, почему, зачем и разные прочие глупости.

И такое повторилось три или четыре раза. Муж возвращался поздно, измученный и раздраженный, чего раньше с ним никогда не случалось, и не желал ни о чем разговаривать. Конечно, думала я, такое может со всяким произойти, и ворчание тут не поможет. Но прогулки мужа начали меня беспокоить. Беспокоило не то, что он уходил, а то, что возвращался такой усталый и странный. Даже пахло от него странно. У меня от этого запаха волосы становились дыбом.

— Чем это от тебя пахнет? — наконец, не выдержав, спросила я. — Пахнет всюду.

— Не знаю, — коротко ответил он и притворился, что спит. А чуть позже, думая, что я не замечу, он спустился вниз и мылся, мылся. Но этот запах еще очень долго оставался в его волосах и в нашей постели.

А потом случилось нечто ужасное. Мне трудно рассказывать об этом. И хочется плакать при одном воспоминании. Наша

малышка — самая маленькая доченька — отвернулась от отца. Ни с того ни с сего. Он вошел, а крошка так испуганно на него посмотрела, вся застыла, а затем, широко раскрыв глаза, заплакала и попыталась спрятаться за меня.

— Пусть он уйдет! Пусть он уйдет! — снова и снова повторяла она, хотя еще не умела говорить достаточно разборчиво.

Выражение глаз мужа, всего лишь на секунду, когда он услышал это, — вот что я даже не хочу вспоминать. Вот что я не могу забыть. Выражение глаз отца, смотрящего на собственного ребенка.

— Как тебе не стыдно! — сказала я. — Что случилось? — Я ругала малышку, но при этом крепко прижимала ее к себе, потому что тоже испугалась. Испугалась так, что вся дрожала.

— Наверное, ей приснился страшный сон, — пробормотал муж и отвел взгляд, сделав вид, что ничего не случилось. Попытался сделать вид.

Так же повела себя и я. И безумно сердилась на малышку, когда она продолжала ужасно бояться собственного отца. Но она все равно очень боялась, и я не могла ничего с ней поделать.

Целый день муж держался в стороне. Потому что, мне кажется, он уже знал. Как раз начиналось новолуние.

В доме было жарко, душно и темно, все уже спали, когда что-то разбудило меня. Мужа рядом не оказалось. Я прислушалась и услышала легкое движение где-то неподалеку. Тогда я встала, потому что уже не могла больше выносить эти странности, и направилась к выходу. Там было светло, яркие солнечные лучи врывались в открытый проем. И я увидела, что муж, опустив голову, стоит прямо у входа в высокой траве. Вскоре он сел, словно почувствовал усталость, и посмотрел вниз, на ноги. Я затаилась в доме и наблюдала — сама не знаю за чем.

И увидела то, что увидел муж. Увидела изменения. Сначала что-то начало происходить с его ногами. Они росли и росли, каждая нога вытягивалась, пальцы удлинялись, и ноги становились длинными, мясистыми и белыми. И безволосыми.

Потом волосы стали выпадать и на теле. Они словно сгорали в солнечном свете и исчезали. Вскоре муж весь стал белым, словно червяк. А потом он повернулся ко мне. Лицо его менялось у меня на глазах, становилось все более плоским. Губы растянулись и сплющились, обнажившиеся в улыбке зубы оказались плоскими, а нос стал похож на кусок мяса с дырками ноздрей, уши исчезли, и голубые глаза — голубые с белым ободком — смотрели на меня с этого плоского, мягкого, белого лица.

Затем он встал на две ноги.

Я увидела его — мне надо было его увидеть, мою великую любовь, превратившуюся во что-то отвратительное.

Я замерла и, глядя на него, не могла пошевелиться от страха. И тут раздалось рычание, переходящее в сумасшедший, ужасный рев, от которого я вся затряслась. Печальное рычание, и ужасный вой, и зовущий вой. И все остальные, все кто спал, услышали этот рев и проснулись.

Оно смотрело-смотрело, это существо, в которое превратился мой муж, и наконец разглядело вход в наш дом. Смертельный страх все еще сковывал меня, но от шума проснулись дети и захныкала малышка. И тогда, движимая материнским инстинктом, я двинулась вперед.

Человекообразное существо посмотрело вокруг. У него не было ружья, какие носят некоторые люди. Но он поднял своей длинной белой лапой упавший сук и, целясь в меня, ткнул его в наш дом. Я вцепилась в сук зубами и стала прорываться наружу, потому что знала — это существо убьет детей, если доберется до них. Но моя сестра уже приближалась. Я увидела, как она бежит к человеку, низко наклонив голову, волосы на загривке взъерошены, а глаза сияют желтым светом, словно зимнее солнце. Человек повернулся к сестре и вскинул сук, собираясь ударить ее. Но тут я вышла из своего убежища, безумная в порыве защитить детей, и все остальные уже приближались. Отвечая на мой зов, под ослепительно сияющим и палящим полуденным солнцем собиралась вся стая.

Человек посмотрел на нас, громко закричал и замахал суком. А затем бросил его и побежал в сторону возделанных полей, вниз по склону горы. Он бежал на двух ногах, прыгая и покачиваясь, а мы преследовали его.

Я бежала последней, потому что любовь до сих пор сдерживала злобу и страх во мне. И я все еще бежала, когда увидела, что преследователи повалили человека на землю. Зубы моей сестры вонзились ему прямо в горло. Когда я приблизилась, человек был мертв. Все пятились от убитого, не в силах вынести вкуса и запаха крови. Самые молодые сбились вместе, некоторые плакали, а сестра снова и снова терлась губами о свои передние лапы, чтобы избавиться от тошнотворного привкуса крови. Я подошла близко: я думала, что если существо умерло, то чары, проклятие должны исчезнуть и мой муж вернется — живой или даже мертвый. Если бы мне хоть раз увидеть его, мою единственную любовь, в его настоящем, прекрасном виде. Но на земле лежал человек — белый и окровавленный. Мы все отступали, пятились, а потом повернулись и побежали назад, в

горы, в лесную тень, в полумрак и благословенную темноту.

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ НЕДОСТАТКА ВРЕМЕНИ [40]

ТЕОРИЯ КРОХОТУЛЕЧНЫХ ДЫРОЧЕК

Гипотеза, выдвинутая Джеймсом Осбоддом из Ликской обсерватории, несмотря на поистине всеохватный масштаб, ставит определенные трудности перед сторонами, желающими найти практическое решение проблемы. Если отступить от математического обоснования, гипотеза Осболда постулирует, в самом приближенном описании, существование аномалии пространственно-временного континуума. Причиной аномалии служит неспособность природы подчиниться одному маленькому, но важному выводу Общей Теории Относительности. В реальности это означает местную диссипацию, разрыв, или, проще говоря, дырку в континууме.

Дыра эта, по вычислениям Осболда, является определенно пространственной дырой, и в том кроется ее главная опасность. Дисбаланс континуума вызывает соответствующий приток его временного аспекта в область разрыва. Иными словами, время утекает в дыру. Процесс этот, вероятно, идет с момента образования вселенной, то есть от 12 до 15 миллиардов лет, но лишь недавно утечка приобрела угрожающие размеры.

Создатель теории, однако, не поддается пессимизму и замечает, что было бы куда хуже, если бы дыра образовалась во временной ткани. В этом случае через нее утекало бы пространство, возможно, измерение за измерением, причиняя нам бесчисленные неудобства, хотя, как добавляет Осболд, «тогда у нас хватало бы времени с этим разобраться».

Поскольку теория предусматривает локализацию дыры, Ликская и две австралийские обсерватории начали совместные поиски местных вариаций красного смещения, которые могут помочь определить ее место/времянахождение. «Дыра может оказаться совсем маленькой, – предупреждает Осбодд. – Крохотулечной. Она не обязана быть большой, чтобы причинить много вреда. Но поскольку эффект настолько заметен на Земле, я полагаю, что у нас есть хороший шанс обнаружить ее не дальше галактики Андромеды. А тогда останется только подобрать подходящую пробку».

НЕБИОДЕГРАДАБЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Исследовательские лаборатории корпорации «Интерко» предлагают совершенно иное объяснение недостатку времени. Вместо космологического подхода к проблеме ими в лице Н. Т. Чодури, всемирно признанного эксперта по этнологии и этологии двигателя внутреннего сгорания, предложен химический подход. Чодури доказал, что продукты неполного сгорания бензина при определенных условиях – смутное беспокойство является основным фактором – химически соединяются со временем, «связывая» мгновения так же, как нуклеофильный агент связывает свободные атомы в молекулы. Этот процесс называется хронокристаллизацией, или (в случае острого беспокойства) хронопреципитацией. Получившееся в результате правильное расположение мгновений является куда более регулярным, чем изначальное хаотическое «сейчас», однако, к сожалению, уменьшение энтропии сопровождается резким падением биологической толерантности. Честно сказать, соединение бензина со временем не усваивается ни одной формой жизни, даже (как мы ни надеялись) анаэробными бактериями.

Опасность заключается в том, что, как описывает это член исследовательской группы Ф. Гонсалес Парк, такое количество свободного, или, правильнее сказать, радикального времени будет связано в виде этой ядовитой субстанции (которую она называет «петропсихотоксин», или ППСТ), что мы будем вынуждены извлечь из пещер, болот, скважин, океанов и тупичков огромные количества накопленного федеральным правительством ППСТ и подвергнуть его принудительному разложению, высвобождая свободные временные радикалы. Сенатор Хелмс и несколько южных демократов уже выразили свой протест. Разумеется, процесс выделения времени из ППСТ крайне рискован и, кроме того, требует таких количеств свободного кислорода, что, как выразился О. Хейко, третий член группы, мы можем оказаться с уймой свободного времени, но без воздуха.

Хейко, считая, что запас времени истощается быстрее нефтяных скважин, предлагает в качестве способа решения проблемы режим жесткой экономии. Начать предлагается с запрета на сверхзвуковые самолеты, а затем постепенно отказываться от простых самолетов, гоночных машин, обычных автомобилей, кораблей, катеров и так далее, пока не исчезнут все моторные средства передвижения. Скорость служит тут определяющим параметром, поскольку чем быстрее перемещается транспорт с двигателем внутреннего сгорания, тем сильнее концентрируется подсознательное беспокойство водителя/

пассажиров и тем более полно проходит петролизация времени и тем ядовитее получившийся ППСТ. Считая, что «безопасного уровня» загрязнения не существует, Хейко утверждает, что даже мопеды должны быть запрещены. Как справедливо замечает ученый, одна бензиновая газонокосилка со скоростью менее 3 миль в час может петролизировать три часа полноценного воскресного отдыха в пределах городского квартала.

Но запрет на сжигание бензина не решит всей проблемы. Недавняя попытка Исламской лиги поднять цену на сырое время до 8,5 доллара за час была сорвана решительными действиями Организации стран – импортеров времени, но Западная Германия уже платит по 18,75 доллара за час – втрое дороже, чем обходится время среднему американскому потребителю.

КРОВЬЮ НАШИХ СЕРДЕЦ? ДВИЖЕНИЕ ЗА ЭКОНОМИЮ ВРЕМЕНИ

Растет число объединений ученых и просто обеспокоенных граждан, которые готовы прислушаться и к космологической, и к химической гипотезе, не принимая полностью ни одну. Среди них такие организации, как «Le Temps Perdu»[41] (Бельгия), «Протестанты против растраты времени» (Индианаполис) и растущее латиноамериканское народное движение «Manana»[42]. Представительница маньянистов Долорес Гузман Макинтош из Буэнос-Айреса так высказывает свои взгляды: «Мы – все мы – растратили свое время. Если мы не сохраним остатки, нам конец. Времени больше не осталось». До сих пор маньянисты старательно избегали политических союзов, открыто утверждая, что ситуация временного голода сложилась по вине как коммунистических, так и капиталистических держав. Все большее число священников от Мексики до Чили присоединялось к движению, однако Ватикан недавно официально отмежевался от тех, кто, «говоря о сохранении времени, теряет собственные души». В Италии коммунистическая группировка темпорал-консервационистов раскололась после выхода из ее рядов президента группы, после визита в Москву заявившего в печати: «Пронаблюдав советскую бюрократию в действии, я потерял веру в пробуждение классовой солидарности как основного средства в достижении нашей цели».

Группа социологов в Кембридже (Англия) продолжает изучать недоказанную пока связь между недостатком времени и недостатком терпения. «Если мы сможем доказать корреляцию, – говорит психолог Деррик Гроут, – группы за экономию времени смогут действовать более эффективно. Пока что они больше

скандалят. Все хотят сохранить время, пока оно совсем не кончилось, но никто не знает как, и все только ссорятся. Если бы у нас был заменитель – знаете, как солнечная и геотермальная энергия для нефти, – это облегчило бы напряжение. Но, очевидно, нам придется обходиться тем, что имеем». В качестве примера Гроут упомянул «растягиватель времени», выпускавшийся «Дженерал Субстанциус» под торговой маркой «Зюдохрон», снятый с производства в прошлом году после того, как проверка показала, что умеренные дозы препарата превращали лабораторных мышей в бумажные салфетки. В ответ на сообщение о том, что корпорация «Рэнд» вкладывает огромные средства в поиски заменителя времени, он ответил: «Желаю им удачи. Но боюсь, что им придется работать сверхурочные часы». Британский ученый, несомненно, намекал на то, что Соединенные Штаты сократили час на десять минут, сохранив прежние двадцатичетырехчасовые сутки, в то время как страны ЕЭС в преддверии временного голода сохранили длительность часа, но приняли девальвированный европейский день длительностью в двадцать часов.

А покуда средний обыватель в Москве или Чикаго, хотя и жалуется порой на недостаток времени и все ухудшающееся качество того, что осталось, склонен посмеиваться над пророками, возвещающими о Судном дне, и строгие меры вроде распределения времени по карточкам предпочитает оттягивать, пока возможно. Скорее всего, этот обыватель, вслед за Экклезиастом и президентом, считает, что «довлеет дневи» злоба именно его.

SUR

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ АНТАРКТИЧЕСКОЙ

ЭКСПЕДИЦИИ «ЕЛЬЧО»

В 1909-1910 ГОДАХ

Хотя у меня и нет намерения публиковать этот отчет, я думаю, будет все-таки замечательно, если мои внуки или чьи-то еще внуки найдут его спустя многие годы. Я буду хранить его в кожаном чемодане на чердаке вместе с платьем Роситы, в котором ее крестили, серебряной погремушкой Хуанито и моими

свадебными туфлями.

Первое необходимое условие для снаряжения любой экспедиции – наличие денег – выполнить обычно труднее всего, и я очень сожалею, что даже в этом отчете, который будет храниться в чемодане на чердаке дома в тихом предместье Лимы, не могу упомянуть имени нашего щедрого благодетеля, человека большой души, без чьей помощи экспедиция «Ельчо» так и осталась бы лишь праздной экскурсией в страну воображения. Самое лучшее и самое современное оборудование, обильные запасы превосходного продовольствия, принадлежавший чилийскому правительству корабль с храбрыми офицерами и галантной командой, дважды высланный через полмира для наших нужд, – все это благодаря тому благодетелю, чье имя – увы! – я не имею права назвать, но чьим осчастливленным должником я останусь до самой смерти.

Когда я была еще совсем ребенком, мое воображение захватил газетный рассказ о путешествии «Бельгики», которая, отплыв с юга Огненной Земли, оказалась захваченной льдами в море Беллинсгаузена и целый год, пока люди на борту страдали от голода и ужаса нескончаемого зимнего мрака, дрейфовала вместе со льдиной. Я читала и перечитывала этот рассказ много раз. Позже с огромным интересом следила за отчетами о спасении доктора Норденскьолда с Южных Шетландских островов отважным капитаном «Уругвая» Иризаром и приключениях «Шотландии» в море Уэдделла. Но все эти подвиги были для меня лишь предвестниками Британской национальной антарктической экспедиции «Дискавери» 1902—1904 годов и замечательного отчета о ней капитана Скотта. Эта книга, которую я выписала из Лондона и перечитывала, наверное, тысячу раз, наполнила меня страстным желанием своими глазами увидеть загадочный континент, Ультима Туле юга, что изображается на картах и глобусах белым облаком, огромной пустотой, очерченной кое-где участками побережья, сомнительными мысами, ненадежными островами и землями, которые то ли существуют, то ли нет. Одним словом, Антарктиду. Чистое, как полярный снег, желание: побывать и увидеть, не больше и не меньше. Я преклоняюсь перед научными достижениями экспедиции капитана Скотта и с огромным интересом читала об открытиях физиков, метеорологов, биологов и других ученых. Но, не располагая никакой научной подготовкой и не имея возможности такую подготовку приобрести, я едва ли смогла бы из-за своего невежества добавить что-либо к массе знаний об Антарктике. То же самое касается и всех остальных членов нашей экспедиции. Жаль, но тут мы ничего не могли поделать. Наши задачи

ограничивались наблюдениями и географическими исследованиями. Мы хотели всего лишь пройти немного дальше и увидеть немного больше, а если не удастся дальше и больше, то просто пройти и увидеть. Не такие уж грандиозные планы. Скромные, я бы сказала.

Однако все это не дошло бы даже до планов, так и оставшись лишь стремлением, если бы не поддержка и поощрение моей дорогой кузины и друга Хуаны (я не указываю фамилий, чтобы не вызвать смущения и неприятной огласки для ничего не подозревающих мужей, сыновей и т. д., если этот отчет случайно попадет в чужие руки). Я дала Хуане почитать «Путешествие „Дискавери“», и именно она сказала, когда мы, возвращаясь с мессы в одно из воскресений 1908 года, прохаживались под зонтиками по Плаза-де-Армас: «Что ж, если капитан Скотт смог, то почему не сможем мы?»

Именно Хуана предложила написать Карлотте в Вальпараисо. Через Карлотту мы познакомились с нашим благодетелем и таким образом получили деньги, корабль и даже правдоподобное объяснение нашего отсутствия: половина участниц экспедиции заявила дома, что они отправляются на время в боливийский монастырь, другие объявили, что собираются на зимний сезон в Париж. И именно Хуана даже в самые трудные мгновения оставалась непреклонной и исполненной решимости достичь поставленной цели.

А трудностей у нас хватало, особенно в начале 1909 года. В то время я еще просто не представляла себе, каким образом можно превратить экспедицию в нечто большее, чем четверть тонны истраченного впустую пеммикана и повод для сожалений до конца жизни. Ох, как нелегко было собрать нашу группу! Многие из тех, кого мы спрашивали об участии в экспедиции, думали, что мы или сошли с ума, или задумали что-то недостойное, или и то и другое сразу. Из тех же, кто разделял нашу увлеченность, далеко не все смогли, когда дошло до дела, оставить свои ежедневные обязанности и дать согласие на путешествие, обещавшее растянуться по крайней мере на шесть месяцев, путешествие, связанное с немалыми опасностями и неизвестным исходом. Больные родители, тревожащийся муж, осаждаемый деловыми заботами, ребенок, которого не с кем оставить, кроме неграмотных и некомпетентных слуг, – такую ответственность нельзя снять с себя и с легкостью отбросить в сторону. А тех, кто хотел бы избежать подобных обязанностей, мы вряд ли пожелали бы себе в компаньоны, с которыми придется делить тяжелую работу, риск и лишения.

Но поскольку усилия наши увенчались успехом, к чему

останавливаться на задержках и неудачах, на изощренных выдумках и откровенной лжи, что нам всем пришлось использовать? С сожалением я оглядываюсь назад, только вспоминая наших подруг, которые хотели отправиться с нами, но не смогли вырваться, тех, кто остался позади – продолжать жить той же привычной жизнью без опасностей, без риска, без надежды.

Впервые все участницы экспедиции встретились в Чили, в Пунта-Аренас, 17 августа 1909 года. Хуана и я из Перу; Зоя, Берта и Тереса из Аргентины; Карлотта и ее подруги Ева, Пепита и Долорес из Чили. В последний момент я получила письмо из Кито, в котором Мария сообщала, что ее муж тяжело заболел и она вынуждена остаться выхаживать его. Таким образом, нас вместо десяти стало девять. Честно говоря, мы уже думали, что нас будет только восемь, когда с наступлением ночи все-таки прибыла в крошечной индейской пироге неукротимая Зоя: ее яхта дала течь, едва войдя в пролив Магеллана.

В тот вечер перед отплытием мы начали знакомиться и тогда же за отвратительным ужином в ужасном приморском отеле в Пунта-Аренас мы решили: если возникнет ситуация столь опасная и требующая срочного решения, что мы должны будем подчиниться одному голосу, почетная, но незавидная роль говорить этим голосом выпадет мне; если я по каким-то причинам не в состоянии буду выполнить возложенную на меня задачу, меня заменит Карлотта; если и с ней что-то случится, тогда командование примет Берта. После со смехом и тостами нас троих окрестили именами Верховный Инка, Ла Араукана и Третий Помощник. К моему великому облегчению и удовольствию, вышло так, что мои способности «лидера» не пришлось проверять. С начала и до конца мы вдевятером решали все сообща, обходясь без приказов, и лишь два или три раза прибегли к голосованию. Конечно, мы нередко спорили. Но у нас было на это время. И так или иначе споры всегда заканчивались принятием решения, в соответствии с которым мы впоследствии действовали. Обычно по крайней мере кто-нибудь один оставался недовольным решением, сердился, иногда сильно. Но что такое жизнь без недовольства и редкой возможности заметить: «Вот, я же вам говорила!»? Как можно вести домашнее хозяйство, присматривать за детьми и тем более волочь за собой сани в антарктических снегах, всегда оставаясь довольной? Офицерам, как мы узнали на борту «Ельчо», ворчать и выражать недовольство запрещено, но мы, девять женщин, по рождению и воспитанию однозначно и неизменно представляли собой команду, рядовой состав.

Хотя самые короткие маршруты к южному континенту, предложенные вначале капитаном нашего славного корабля, пролегали через Южные Шетландские острова и море Беллинсгаузена или через Южные Оркнейские острова и море Уэдделла, мы запланировали отправиться на запад к морю Росса, которое исследовал и описал в своей книге капитан Скотт и откуда только предыдущей осенью вернулся бесстрашный Эрнест Шеклтон. Эти районы побережья Антарктиды были изучены больше других, и, хотя «больше» представляло собой не так уж много, все же имеющиеся знания служили определенной гарантией безопасности корабля, которым мы не имели права рисковать. Капитан Пардо полностью согласился с нами, изучив карты и наш предполагаемый маршрут. Поэтому, выйдя на следующее утро из пролива Магеллана, мы повернули на запад.

Нашему полукругосветному путешествию сопутствовала удача. Маленький «Ельчо» весело пыхтел сквозь шторма и холодный блеск вод Южного океана, охватывающего по кругу весь земной шар. Хуана, сражавшаяся в свое время с быками и еще более опасными коровами в ее родовом поместье, называла наш корабль «La vaca valiente»[43], потому что он никогда не сдавался волнам. Когда нас перестала наконец мучить морская болезнь, путешествие морем даже пришлось нам по вкусу, хотя временами немного раздражало доброе, но навязчивое покровительство капитана и офицеров корабля, считавших, что мы в безопасности, только когда сидим в трех крошечных каютах, которые они галантно освободили для нас.

Наш первый айсберг мы увидели гораздо дальше к югу, чем рассчитывали, и отпраздновали это событие «Вдовой Клико» к обеду. На следующий день корабль вошел в зону пакового льда – пояс плавучих льдин и айсбергов, отломившихся от материкового ледника или прибрежных ледяных полей, замороженных зимой и дрейфующих по весне к северу. Фортуна все еще улыбалась нам: наш маленький пароход с неукрепленными стальными бортами, не приспособленный для того, чтобы проламывать себе дорогу во льду, без колебаний выбирал путь от одного водного просвета к другому, и уже через три дня мы прошли зону пакового льда, где корабли, случается, неделями воюют со льдинами и в конце концов поворачивают обратно. Теперь перед нами раскинулось море Росса, а за ним, у самого горизонта, угадывался далекий блеск отраженной облаками белизны Великого Ледового Барьера.[44]

Войдя в море Росса чуть восточнее 160-го градуса западной

долготы, мы приблизились к Барьеру в том месте, где высадилась, обнаружив уступ в огромной стене льда, экспедиция капитана Скотта, и выпустили наполненный водородом шар для разведки и фотографирования. Высящаяся стена Барьера с острыми скалами и вытесанными водой нишами лазурного и лилового цветов – все в точности соответствовало описаниям Скотта, но сама бухта сильно изменилась: вместо узкой промоины появился довольно значительных размеров залив, где, выбрасывая вверх фонтаны воды, резвились под ярким солнцем ослепительной южной весны ужасающие и одновременно прекрасные касатки.

Очевидно, с тех пор, как здесь в 1902 году побывала экспедиция «Дискавери», ледяные массы по краям Барьера (который почти целиком покоится не на земле, а плавает на воде) обламывались огромными кусками. Это ставило под сомнение наш план установить лагерь на самом шельфовом леднике, и, обсуждая альтернативные варианты, мы до принятия окончательного решения попросили капитана Пардо направить корабль на запад, к острову Росса и заливу Мак-Мердо. Поскольку море было спокойно и свободно ото льда, он с радостью согласился это сделать и, когда мы увидели впереди по курсу дымок над горой Эребус, принял участие в нашем праздновании, унесшем еще пол-ящика «Вдовы Клико».

«Ельчо» бросил якорь в бухте Прибытия, и мы с помощью шлюпок высадились на берег. Не могу описать чувства, охватившие меня, когда я ступила на землю, на ту землю, на холодные камни пустынного берега у подножия длинного вулканического склона. Я испытывала душевный подъем, нетерпение, признательность, трепет и еще такое чувство, словно мне все здесь знакомо. Словно я вернулась наконец домой. Восемь пингвинов Адели тут же вышли поприветствовать нас удивленными криками, в которых мне слышалась заинтересованность и некоторая доля неодобрения. «Ну, где же вы были? Почему так долго? Хижина тут, рядом. Сюда, пожалуйста. Осторожней, здесь камни». Без приглашения они последовали за нами на мыс Хижины к большому деревянному строению, поставленному еще экспедицией капитана Скотта. Выглядело оно точно так же, как на фотографиях и рисунках в его книге. Однако местность вокруг хижины напоминала отвратительное кладбище: повсюду валялись шкуры тюленей, их кости, кости пингвинов, мусор, и везде хозяйничали крикливые суматошные поморники. Наш эскорт проследовал через эту заброшенную бойню в молчании, и один пингвин подвел меня прямо к двери, хотя войти внутрь отказался.

В хижине все выглядело гораздо пристойнее, но тем не менее

тоже безотрадно. В отгороженной комнате лежали ящики с припасами. Я совсем по-другому представляла себе хижину, когда читала, как в долгую полярную ночь участники экспедиции «Дискавери» разыгрывали тут пьесы и устраивали выступления поэтов. (Много позже мы узнали, что сэр Эрнест перестроил хижину, когда побывал здесь за год до нас.) В хижине царили грязь и беспорядок: открытая фунтовая банка с чаем; валяющиеся повсюду пустые жестянки из-под мяса, рассыпанные галеты; собачьи экскременты, замерзшие, конечно, но это несильно меняло дело. Без сомнения, последние обитатели покидали хижину второпях, возможно, даже во время снежной бури. Но банку с чаем они могли бы и закрыть. Впрочем, нелегкое искусство ведения домашнего хозяйства – это занятие не для любителей, здесь требуется профессионализм.

Тереза предложила использовать хижину в качестве базы. Зоя в свою очередь предложила ее просто поджечь. В конце концов мы захлопнули дверь и оставили все как есть. Пингвины это, похоже, одобрили и с радостными криками проводили нас до самой шлюпки.

В заливе Мак-Мердо льда не было, и капитан Пардо предложил перевезти нас с острова Росса на побережье Земли Виктории, где мы смогли бы поставить лагерь у подножья Западных гор, на твердой сухой земле. Но эти горы с их темными от штормов пиками, отвесными пропастями и ледниками выглядели так же мрачно, как описал их капитан Скотт во время своего путешествия на запад, и никто из нас не захотел искать там прибежища.

Возвратившись в тот вечер на корабль, мы решили повернуть назад и поставить лагерь, как планировалось раньше, на шельфовом леднике: все имевшиеся у нас отчеты указывали, что наиболее удобный путь на юг пролегает через ровную поверхность Барьера, потом по одному из перетекающих в него ледников на высокогорное ледовое плато, по-видимому занимающее всю центральную часть континента. Капитан Пардо возражал против этого плана, обеспокоенный опасностями, грозящими нам в том случае, если кромка ледника, где будет расположен наш лагерь, оторвется и начнет дрейфовать к северу. «Что ж, – сказала Зоя, – тогда вам не придется плыть за нами так далеко». Тем не менее капитан настоял, чтобы в лагере осталась одна из шлюпок с «Ельчо», на всякий случай. Позже она пригодилась нам для рыбной ловли.

Мои первые шаги по антарктической земле, мой единственный визит на остров Росса вовсе не были сплошным безоблачным удовольствием. Мне вспомнились тогда строки

одного английского поэта:

Лишь человек извечно грешен,
Хотя ему открыты все пути.

Оборотная, скрытая от глаз сторона героизма нередко довольно печальна: женщины и слуги прекрасно это знают. Но они знают также, что героизм от этого не менее реален. А ведь достижения человеческие не так уж велики, как люди думают. Большими могут быть небо, земля, море, душа… В тот вечер, когда корабль снова плыл на восток, я смотрела назад. Уже минула середина сентября, и солнце стояло над горизонтом больше десяти часов в день. Весеннее солнце, повисающее над пиком вулкана Эребус высотой в двенадцать тысяч футов и окрашивающее шлейф дыма и пара в розовато-золотистый цвет. Дым трубы нашего маленького парохода растворялся в синеве потемневшей от сумерек воды, и мы медленно продвигались вдоль громадной бледной стены льда.

Вернувшись в залив Касаток (как мы узнали позже, сэр Эрнест назвал его заливом Китов[45]), мы нашли небольшую бухту, где край Ледового Барьера вздымался над водой не очень высоко: это облегчало нам высадку с корабля. «Ельчо» закрепил якорь во льду, и несколько долгих, трудных дней мы потратили на выгрузку снаряжения и организацию лагеря в полукилометре от края Барьера. Команда «Ельчо» оказала нам в этом неоценимую помощь и поделилась множеством советов: помощь мы приняли с благодарностью, но к большинству советов отнеслись скептически.

Погода для весны в этих широтах стояла необычайно мягкая: температура еще ни разу не опускалась ниже –20 градусов по Фаренгейту, и, пока мы устанавливали лагерь, лишь однажды разразилась метель. Однако капитан Скотт предупреждал в своей книге о злых южных ветрах в области Барьера, и мы, планируя экспедицию, это учли. Хотя лагерь наш стоял на открытом для всех ветров месте, мы не стали строить надо льдом никаких жестких конструкций. Только установили палатки, чтобы было где укрыться, пока мы выдалбливали в самом льду небольшие комнаты, обшивали их сеном и сосновыми досками, закрывали брезентом поверх бамбуковых стропил и засыпали снегом для веса и теплоизоляции. Большую центральную комнату наши аргентинки, для которых центр – это всегда Буэнос-Айрес, тут же окрестили «Буэнос-Айресом». Там у нас размещалась плита для обогрева и приготовления пищи. Складские тоннели и отхожее

место (названное «Пунта-Аренас») обогревались лишь тем теплом, что доходило туда от печи. От «Буэнос-Айреса» шли в стороны маленькие спальни, действительно маленькие, скорее даже просто короткие тоннели, куда нужно было забираться ногами вперед. Выложенные толстым слоем сена, они быстро прогревались от тепла человеческих тел. Моряки с ужасом смотрели на эти приготовления и называли наши комнаты «гробами» или «норами». Однако спальные пещеры сослужили нам хорошую службу, даря тепло и возможность уединиться, по крайней мере настолько, насколько можно ожидать в подобных обстоятельствах. Если бы «Ельчо» не смог пробиться сквозь льды к февралю и нам пришлось бы провести в Антарктиде зиму, мы наверняка пережили бы это. На очень скудном рационе, но пережили бы. Ведь база – «Зюдамерика дель Сур» («Южно-южная Америка»), хотя обычно мы называли ее просто Базой, – планировалась просто как место, где можно спать, хранить припасы и укрываться от метелей в течение наступающего лета.

Впрочем, для Берты и Евы база означала нечто гораздо большее. Именно они были нашими главными архитекторами-планировщиками, изобретательными строителями и наиболее заботливыми и благодарными жильцами: они постоянно то улучшали вентиляцию, то учились делать окна в потолке, то удивляли всех остальных новыми прибавлениями к нашему многокомнатному дому, вырубленными во льду. Именно благодаря им необходимое снаряжение всегда располагалось в доступных местах, а наша плита всегда хорошо горела и эффективно обогревала помещения. Благодаря им «Буэнос-Айрес», где хранились экспедиционные книги и карты, где готовили, ели, работали, разговаривали, спорили, иногда обижались друг на друга, занимались живописью, играли на гитаре и банджо сразу девять человек, всегда оставался чудом удобства и комфортности. Мы действительно жили дружно, а если кому-то хотелось побыть в одиночестве, для этого достаточно было залезть в свою нору головой вперед.

Берта, однако, не успокаивалась. Сделав все, что можно, чтобы превратить «Южно-южную Америку» в пригодное для житья место, она выкопала неподалеку еще одно помещение под самой поверхностью льда, где оставила лишь тонкую, почти прозрачную, как в теплице, крышу. Берта уединялась в этой комнате и подолгу работала над своими скульптурами, создавая прекрасные творения изо льда: коленопреклоненные человеческие фигуры с изящными обводами и формами тюленей Уэдделла или фантастические лабиринты. Может быть, они до сих пор там, под снегом, в пузырьке воздуха, застывшем в теле

Великого Ледового Барьера. Там, где Берта их создала, они, возможно, проживут так же долго, как камень, но взять скульптуры с собой она не могла: таково суровое условие, когда ваяешь изо льда.

Капитан Пардо не хотел оставлять нас, но полученные им инструкции не позволяли ему долго задерживаться в море Росса, и в конце концов с множеством различных наставлений (не устраивать далеких вылазок, не рисковать, не допускать обморожений, осторожно обращаться с острыми предметами, следить, не появятся ли во льду трещины) и сердечным обещанием вернуться в залив Касаток 20 февраля или так близко к запланированной дате, как позволят ветры и льды, этот замечательный человек с нами распрощался. Поднимая якорь, команда салютовала нам дружными криками. В тот вечер мачты «Ельчо» скрылись в долгих оранжевых сумерках октября за северным горизонтом, за краем мира, оставив нас наедине со льдом, безмолвием и Южным полюсом.

И в ту же ночь мы начали планировать поход на юг.

Месяц пролетел в коротких тренировочных вылазках и организации промежуточных складов. Жизнь, которую мы вели дома, порой нелегкая, никого из нас не подготовила, однако, к трудностям, встречающимся, когда нужно, например, тащить за собой груженые сани при температуре 10 или 20 градусов ниже нуля. Всем нам необходимо было тренироваться как можно больше, прежде чем мы решились бы на долгий поход.

Маршрут моего самого длинного путешествия (с Долорес и Карлоттой) пролегал в юго-западном направлении к горе Маркем. Совершенно кошмарное путешествие: сплошные торосы и метели, трещины во льду, никакой видимости в горах, когда мы туда добрались, пурга и заносы на всем обратном пути. Оно оказалось, впрочем, полезным в том смысле, что мы смогли оценить свои силы. Кроме того, мы подготовили два промежуточных склада в 100 и 130 милях к юго-юго-востоку от Базы. Позже участницы других пробных вылазок прошли еще дальше, и вскоре у нас появилась целая цепочка обозначенных пирамидами из снега складов, растянувшаяся до широты 83° 43′, где Хуана и Зоя обнаружили огромные каменные ворота, открывающие дорогу по леднику на юг. Склады эти мы оставляли, чтобы избежать по возможности голода, неудобств и лишений, преследовавших южную экспедицию капитана Скотта. И к нашему удовлетворению, мы открыли, что в состоянии справиться с санями не хуже, чем сильные собачьи упряжки Скотта. Конечно, едва ли можно было ожидать заранее, что мы сумеем увезти так много и передвигаться так быстро, как его люди: удалось нам это

лишь потому, что нашей экспедиции сопутствовала гораздо более благоприятная погода, чем та, что досаждала экспедиции капитана Скотта на всем протяжении перехода по шельфовому леднику. Кроме того, сыграло свою роль и качество пищи. Я уверена, что именно добавка в наш пеммикан пятнадцати процентов сушеных фруктов спасла нас от цинги. Картофель, замороженный и высушенный по древнему индейскому рецепту, оказался очень питательным и одновременно легким и компактным, что весьма удобно при перевозке на санях. Одним словом, к путешествию на юг мы подготовились основательно и в значительной степени были уверены в своих способностях.

Южная группа отправилась с двумя санями: одна команда состояла из Хуаны, Долорес и меня, другая – из Карлотты, Пепиты и Зои. Вспомогательная группа, в которую входили Берта, Ева и Тереса, отправилась с большим грузом припасов сразу на материковый ледник, чтобы разведать маршрут и оставить склады для нашего возвращения. Мы вышли пятью днями позже и встретились с ними, когда они уже возвращались, между складом Эрсилла и складом Миранда (смотри карту). В ту «ночь» (конечно же, настоящая ночь так и не наступила) мы собрались вдевятером почти в самом центре огромной ледяной равнины. Было 15 ноября, день рождения Долорес. Мы отпраздновали это событие, добавив в горячий шоколад восемь унций писко[46], развеселились, даже пели. Странно вспоминать теперь, как тонко звучали наши голоса посреди великого безмолвия. Небо, затянутое ровной белой пеленой без теней; ни горизонта, ни любых других выделяющихся черт местности не видно; вообще, кроме белизны, не на что смотреть. А мы пришли в это белое место на карте, в эту ледяную пустыню и веселимся и поем, словно пташки…

Переночевав и плотно позавтракав, вспомогательная группа ушла на север, а мы двинулись с санями дальше. Небо немного расчистилось. Высоко над нами быстро-быстро бежали с юго-запада на северо-восток худые облачка, но у самого ледника установилась спокойная погода и как раз настолько холодная – от пяти до десяти градусов ниже нуля, – чтобы снежный покров оставался достаточно твердым для саней.

По ровному льду мы ни разу не прошли за день меньше одиннадцати миль, т. е. семнадцати километров, а обычно проходили по пятнадцать-шестнадцать миль, или около двадцати пяти километров. (Все наши приборы, изготовленные в Британии, были прокалиброваны в футах, милях, градусах Фаренгейта и т. п., но мы часто переводили мили в километры, потому что

большие цифры выглядели внушительнее.) Отбывая из Южной Америки, мы знали, что в 1908 году мистер Шеклтон предпринял еще одну экспедицию в Антарктику с тем, чтобы достичь Южного полюса, но ему это не удалось, и в июне 1909 года (года нашей экспедиции) он вернулся в Англию. Ко времени нашего отъезда до Южной Америки еще не дошли подробные отчеты о его исследованиях, и мы не знали, каким маршрутом он двигался и как далеко ему удалось дойти. Однако нас не особенно удивило, когда вдали, на безликой белой равнине, мы увидели трепещущую черную точку, крошечную на фоне вздымающихся горных вершин и бегущих в странном молчании дымчатых облаков, окрашенных по краям в радужные цвета. Мы свернули с нашего курса к западу, чтобы осмотреть это место: снежная горка, почти засыпанная зимними штормами; флаг на бамбуковой мачте, от которого остался лишь обрывок истончившейся до нитей ткани; пустая банка из-под масла да сохранившиеся следы, торчащие на несколько дюймов над поверхностью льда. При определенных погодных условиях случается, что снег, спрессованный под тяжестью шагов человека, остается на месте, тогда как мягкий снег вокруг следов тает или уносится ветром. Вывернутые наизнанку следы стояли там все эти месяцы, словно цепочка колодок сапожника, – на редкость необычное зрелище.

Других подобных стоянок мы на своем пути не встретили. Я думаю, что в целом наш путь пролегал восточнее маршрута мистера Шеклтона. Хуана, наш картограф, хорошо подготовилась к экспедиции и очень тщательно, скрупулезно фиксировала весь маршрут, однако оборудованием мы располагали самым примитивным: теодолит на треножнике, секстант с искусственным горизонтом, два компаса и хронометры. Пройденные расстояния мы замеряли с помощью колеса со счетчиком, укрепленного на санях.

Через день после того, как мы миновали стоянку мистера Шеклтона, я впервые ясно увидела вдали среди гор на юго-востоке огромный ледник, через который нам предстояло подняться с Барьерного ледника на уровне моря до плато на высоте десяти тысяч футов. Перед нами словно распахнулись чудесные ворота, слева и справа сжатые огромными каменными колоннами. Зоя и Хуана назвали вытекающую из ворот ледяную реку ледником Флоренс Найтингейл в честь англичанки, которая в определенном смысле вдохновила и направила нашу экспедицию; образ этой очень смелой и очень необычной леди воплощает в себе, возможно, все самые хорошие и самые странные черты, присущие островной расе британцев. Разумеется, на всех картах ледник обозначен тем именем, которое дал ему

мистер Шеклтон, – ледник Бирдмора.

Подъем по леднику оказался делом нелегким. Сначала наш путь пролегал по довольно ровной и хорошо размеченной вспомогательной группой местности, но через несколько дней стали встречаться ужасные пропасти и лабиринты занесенных снегом трещин от фута до тридцати шириной и от тридцати до тысячи футов глубиной. Шаг за шагом мы продвигались вперед и вверх, проведя на леднике целых пятнадцать дней. В начале пути погода стояла теплая, до 20 градусов по Фаренгейту, и в душные ночи, наполненные светом, наши маленькие палатки становились удивительно неудобными. Все мы в той или иной степени пострадали от снежной слепоты, и это как раз тогда, когда острое зрение было необходимо нам, чтобы уверенно выбирать дорогу среди торосов и расселин в измученном теле ледника, а также чтобы просто наслаждаться красотами вокруг нас, ибо каждый день являл нашим взорам все новые и новые безымянные величавые пики на западе и юго-западе: вершина за вершиной, долина за долиной, голый камень и снег, застывшие в середине бесконечного дня.

Всем этим горным вершинам мы давали имена, но не очень серьезно, поскольку не рассчитывали, что наши открытия станут достоянием географов. У Зои обнаружился настоящий дар придумывать названия, и это благодаря ей на некоторых самодельных картах, до сих пор хранящихся по чердакам нескольких домов в тихих южноамериканских предместьях, встречаются такие любопытные места, как «Большой Нос Боливара», «Я – Генерал Росас», «Творец Облаков», «Чей Палец?» и «Трон Девы Марии Южного Креста». Когда мы выбрались наконец на высокогорное плато, огромную внутриконтинентальную равнину, именно Зоя назвала ее «пампасами», утверждая, что вокруг нас бродят огромные стада невидимых животных. Призрачные стада, пасущиеся на обметаемом поземкой снегу, а их гаучо – беспокойные, безжалостные ветры. Мы все тогда немного тронулись от усталости, большой высоты – все-таки двенадцать тысяч футов над уровнем моря, – холода, задувающего ветра и сияющих колец или крестов вокруг солнц, которых, нам иногда казалось, на небосводе сразу три или четыре.

Это место совсем не для людей. Нам следовало повернуть назад, но, добравшись с такими трудностями туда, мы сочли необходимым продолжить путь, по крайней мере, какое-то время.

Когда началась метель и стало очень холодно, нам пришлось в течение тридцати часов оставаться в палатках в спальных мешках. Отдыху мы, конечно, были рады, но больше всего нам

хотелось тепла, которого на всей этой ужасной равнине не осталось нигде, кроме как в наших венах. Почти все тридцать часов мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, а под нами был лед в две мили толщиной.

Потом внезапно небо очистилось, и на плато пришла хорошая погода: двенадцать ниже нуля и не очень сильный ветер. Мы трое выползли из своей палатки как раз в тот момент, когда наши подруги выбирались из второй. Карлотта сказала, что ее команда хочет вернуться. Пепита чувствовала себя плохо, и даже после отдыха во время метели температура у нее не поднималась выше 94 градусов. Сама Карлотта дышала с трудом. Зоя еще держалась, но сказала, что лучше останется с подругами и поможет им в трудной ситуации вместо того, чтобы продолжать двигаться к полюсу. Мы вылили четыре унции писко, оставленные до Рождества, в какао за завтраком, откопали палатки, нагрузили сани и расстались на пронизанной белым светом беспощадной равнине.

К тому времени наши сани стали заметно легче, и мы продолжали двигаться к югу. Хуана ежедневно вычисляла наши координаты, и 22 декабря 1909 года мы достигли Южного полюса. Погода, как всегда, не радовала, и абсолютно ничего там не нарушало монотонности унылой белизны. Мы обсудили, стоит ли нам оставить на полюсе какой-нибудь знак, например пирамиду из снежных кирпичей или флаг на штоке от палатки, и решили, что делать это незачем. Все то, что мы могли сделать, все то, чем мы были, не имело никакого значения в этом ужасном месте. Мы поставили палатку на час, чтобы попить чаю и отдохнуть, а затем сняли наш «Лагерь 90*о*». Долорес, стоявшая, как обычно, терпеливо, впрягшись в ремни от саней, взглянула на снег: он так плотно смерзся, что там не осталось даже следов нашего посещения. Потом она спросила:

– Куда?

– На север, – ответила Хуана.

Конечно же, она пошутила, потому что в этой точке планеты нет другого направления, но мы даже не засмеялись: губы наши потрескались от мороза, и смех причинял слишком много боли. Вскоре группа отправилась в обратный путь. Ветер дул нам в спины, подталкивая нас и срезая острые кромки с волн застывшего снега.

Всю следующую неделю метель преследовала нас, как стая бешеных собак. Я даже не могу описать свои ощущения. Мне начало казаться, что нам не следовало ходить к полюсу. Порой мне и сейчас так кажется. Но уже тогда я думала, что мы правильно поступили, не оставив на полюсе никаких следов

нашего пребывания, потому что позже туда мог прийти какой-нибудь мужчина, страстно желавший быть первым, и, обнаружив, что его опередили, он, возможно, почувствовал бы, что оказался в глупом положении. Это разбило бы его сердце.

Мы говорили, когда могли разговаривать, о том, что скоро, может быть, догоним группу Карлотты, поскольку они, как мы полагали, должны были двигаться медленнее нас. На самом же деле они использовали свою палатку в качестве паруса и намного нас опередили. По дороге нам часто встречались снежные пирамиды и другие указатели, которые они оставляли для нас. В одном месте Зоя написала на подветренной стороне трехметрового снежного наноса, как, играя, пишут дети на мокром песке пляжа в Мирафлорес: «Домой – в ту сторону!» Ветер, проносящийся над обледеневшим краем наноса, почти не тронул слова.

Буквально в тот же час, когда мы начали спуск с ледника, погода улучшилась: стало теплее, а бешеные собаки-ветры навсегда остались на привязи у земной оси. То же расстояние, на которое, поднимаясь, мы затратили пятнадцать дней, при спуске мы преодолели за восемь. Но хорошая погода, помогавшая нам, когда мы спускались по леднику Найтингейл, превратилась на льду Барьера в сущее наказание. И это как раз там, где мы рассчитывали на легкую дорогу от склада к складу, на возможность поесть вволю и не торопясь преодолеть последние три с небольшим сотни миль. Свои очки я уронила в расселину на леднике (сама при этом повисла на упряжи от саней), потом Хуана разбила свои, когда нам пришлось спускаться по скалам к Воротам. Спустя два дня при ярком солнце и только с одной парой темных очков на троих мы все начали мучиться от снежной слепоты. Высматривать приметы местности или флагштоки складов, делать визирование и даже снимать показания компаса, который приходилось класть на снег, чтобы успокоилась стрелка, стало просто больно. У склада Конколоркорво, где остался особенно хороший запас продовольствия и топлива, мы наконец сдались и забрались, перевязав глаза, в спальные мешки, несмотря на то что, лежа в палатке под неутомимым солнцем, чувствовали себя словно живые омары в котле на медленном огне. Услышав голоса Берты и Зои, я подумала, что в жизни не слышала звука приятнее: несколько встревоженные нашим долгим отсутствием, они на лыжах вышли в южном направлении, навстречу нам, и потом отвели нас на Базу.

Оправились мы довольно быстро, но ледовое плато оставило мне свою метку. Когда Росита была маленькой, она часто спрашивала, не собака ли «укусила маму за палец на ноге». И я

говорила ей: «Да, большая белая бешеная собака по кличке Метель». Пока Росита и Хуанито не подросли, я часто рассказывала им сказки и об этой страшной завывающей собаке, и о прозрачных стадах, которые пасут невидимые гаучо, и о том, как кузина Хуана пила чай, стоя под семью солнцами на самом дне мира, и о разных других невероятных событиях.

Когда мы прибыли наконец на Базу, нас ждало сильное потрясение. Оказалось, что Тереса беременна. Должна признаться, что, увидев ее большой живот и застенчивую улыбку, я прежде всего почувствовала злость, даже ярость. Чтобы одна из нас скрыла что-то от других, тем более такое! Но, как выяснилось, Тереса и не думала ничего скрывать. Винить можно лишь тех, кто скрыл от нее факты, которые ей более всего необходимо было знать. Воспитывали ее слуги, потом четыре года обучения в монастыре. В шестнадцать ее выдали замуж, и, оставаясь в двадцать лет в полном неведении, она решила, что месячные у нее прекратились «от холодной погоды». Впрочем, не так уж это и глупо: у нас у всех во время Южного похода они сдвигались или пропадали по мере того, как сильнее становились холод, голод и усталость. Через некоторое время, однако, всеобщее внимание стал привлекать аппетит Тересы, а потом она, по ее собственному выражению, начала «толстеть». Всех немного беспокоило то, что она долго таскала тяжелые сани, но Тереса чувствовала себя отлично, и единственную проблему представлял собой ее неутолимый аппетит. Насколько мы смогли определить из ее застенчивых упоминаний о последней ночи, проведенной на гасиенде с мужем, ребенок должен был появиться в то же время, что и «Ельчо», примерно 20 февраля. Но уже через две недели после нашего возвращения из Южного похода, 14 февраля, у нее начались схватки.

У многих из нас были дети, некоторым даже доводилось помогать при родах. Кроме того, все, что нужно делать, и так достаточно очевидно. Однако первые схватки бывают долгими и тяжелыми, и мы все очень волновались, а Тереса так вообще боялась просто безумно. Она продолжала звать своего Хосе, пока не охрипла. Зоя, потеряв терпение, сказала наконец: «Боже, Тереса, если ты крикнешь „Хосе!“ хоть еще один раз, я буду молиться, чтобы у тебя родился пингвин!» Но после двадцати долгих часов у нее родилась милая маленькая девочка с красным личиком.

Как только не предлагали восемь тетушек-повитух назвать ребенка: Полита, Пингвина, Мак-Мердо, Виктория… Но Тереса, после того как выспалась и проглотила здоровую порцию пеммикана, сказала: «Я назову ее Росой. Роса дель Сур». Южная

Роза. В тот вечер мы выпили в честь нашей маленькой Розы последние две бутылки «Вдовы Клико» (поскольку последнее писко выпили еще на широте 88° 33′).

19 февраля, на день раньше, чем мы ожидали, моя Хуана торопливо вбежала в «Буэнос-Айрес». «Корабль! – сказала она. – Корабль пришел». И залилась слезами. Хуана, которая не заплакала ни разу за все недели нашего долгого похода, переполненного болью и усталостью.

О нашем обратном плавании рассказывать нечего. Назад мы вернулись без приключений.

В 1912 году весь мир узнал о том, что храбрый норвежец Амундсен достиг Южного полюса. Потом, много позже до нас дошли известия о том, как капитан Скотт и его люди отправились вслед за ним, но его экспедицию снова постигла неудача.

В этом году мы с Хуаной написали письмо капитану «Ельчо», когда в газетах появились сообщения о его отважном рейде к острову Элефант[47] для спасения экспедиции сэра Эрнеста Шеклтона. Нам хотелось поздравить его и еще раз поблагодарить. Ни единым словом не обмолвился он о нашей тайне. Луис Пардо – человек чести.

Эти последние строки я добавляю уже в 1929 году. Прошедшее время разъединило нас. Женщинам нелегко встречаться, когда они живут так далеко друг от друга. С тех пор как умерла Хуана, я не видела никого из моих старых подруг по экспедиции, хотя иногда мы обмениваемся письмами. Наша маленькая Роса дель Сур скончалась в возрасте пяти лет от скарлатины. Но у Тересы было еще много детей. Карлотта постриглась в монахини десять лет назад в Сантьяго. Мы теперь старые женщины со старыми мужьями, взрослыми детьми и даже внуками, которые когда-нибудь, возможно, захотят прочесть о нашей экспедиции. Даже если они устыдятся своих взбалмошных бабушек, прикосновение к тайне доставит им, наверное, немалое удовольствие. Но они ни в коем случае не должны сообщать о ней мистеру Амундсену! Он будет крайне смущен и очень разочарован. Ему или кому-то за пределами семьи вовсе не обязательно знать о нашей экспедиции. Ведь мы даже не оставили на полюсе следов.

РЫБАК
ИЗ ВНУТРИМОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ С ГОРГОНИДАМИ [48]

Миссис Джерри Дебри, героиня Перекрестка Гронг, любила прихорашиваться. Это очень помогало деловым связям Джерри, а кроме того, она чувствовала себя донельзя уверенной и счастливой, зная, что волосы свежевыкрашены, ресницы приклеены намертво, а румяна подчеркивают скулы, как и сказала продавщица. Но очень трудно было выглядеть свеженькой и чистенькой, когда пустыня становится все жарче и жарче, краснее и краснее, пока ей не начало казаться, что это похоже на… ну, вы понимаете… преисподнюю, только тут еще и народу меньше. Совсем никого.

– Как ты думаешь, мы не проехали ненароком?.. – осмелилась поинтересоваться она и без особого удивления выслушала звук спускаемого пара.

– Как, мать его, мы могли что-то проехать, когда по обочинам ничего, мать его, кроме, мать их, кустов драных на целых девяносто миль?! Господи Иисусе, ну ты и ду-ура!

Ругался Джерри безбожно. Порой с ним так тяжело разговаривать. Ей почему-то казалось – совсем немного, знаете, такая своего рода женская интуиция, – что парни, рассказавшие, как добраться до Перекрестка Гронг, подкалывали Джерри, ну, разыгрывали, что ли. Он так громко разглагольствовал в отеле, как он разочарован этим самым корробори[49], после того как притащился на эти выпляски аж из самой Аделаиды. Все сравнивал с индейским танцем, который они видели в Таосе. На самом деле в Таосе Джерри скучал неимоверно, злился, им пришлось уйти с половины представления, потому что ему приспичило выпить, так что она так и не увидела, как выходят танцоры в масках, но Джерри все равно принялся рассказывать, как у них в США умеют организовать пляски туземцев. Он заявил, что пара судорожно подпрыгивающих тощих аборигенов – это такая малость, что о ней и домой-то написать стыдно. А австралийцам, дескать, надо поучиться в Диснейленде – вот там умеют, это да!

Тут его супруга была полностью согласна: Диснейленд она обожала. Это было единственное место во Флориде – а оттуда никуда не уедешь, у Джерри работа такая, – которое было ей по душе. Один из австралийцев в баре тоже бывал в Диснейленде и согласился, что это и вправду да. А может, он хотел сказать «в

проводах», потому что понять его было решительно невозможно. Но парень был с виду приятный – сказал, что его зовут Брюс и друга его тоже Брюс. «Обычное имя», – пояснил он, хотя с тем же успехом он мог сказать и «мимо», потому что понять его было решительно невозможно, но все-таки он имел в виду имя, она была уверена. Джерри продолжал жаловаться, и тут первый Брюс сказал:

– Ну, приятель, раз так, тогда тебе надо отправиться на Перекресток Гронг – верно я говорю, Брюс?

Второй поначалу не понял, о чем это его приятель толкует, – тут-то и проснулась женская интуиция. Но очень скоро оба Брюса наперебой объясняли, что это за славное местечко – Перекресток Гронг, «там, в буше», и были совершенно уверены, что там настоящие аборигены действительно живут в пустыне. «Близ Элис-Спрингс», – понимающе кивнул Джерри. Оказалось, нет, еще дальше на запад. Указания Брюсы давали так четко, что ясно было – они те места знают превосходно.

– Тут ехать всего пару часов, – пояснил Брюс, – но туристы, они же с проторенной тропы не сходят. А это вроде как сбоку.

– Туземные шоу, – добавил Брюс. – Корробори каждый вечер.

– Отель получше этой дыры? – с надеждой поинтересовался Джерри.

Брюсы рассмеялись и объяснили, что отеля нет.

– Это вроде сафари – ну, палатки под открытым небом. Дождя-то нет, – сказал Брюс.

– И кормят отлично, – добавил Брюс. – Свежие кенгуровые отбивные. Ежедневная охота на кенгуру. Коктейль перед обедом. Суровая роскошь, верно, Брюс?

– Абсолютно, – согласился Брюс.

– А эти туземцы, они дружелюбные? – спросил Джерри.

– О, соль земли. Нас обожают. Думают, что белые люди – это вроде богов, – небрежно отмахнулся Брюс, и Джерри кивнул.

Так что Джерри записал, как туда проехать, и теперь они бесконечно тряслись в старом фургончике – ничего другого в городишке, куда они приехали на корробори, взять напрокат не удалось, – а понять, где тут дорога, можно уже было только по тому, что она так и шла прямо, не сворачивая. Поначалу Джерри был в отличном настроении. «Будет что засунуть Тилю в задницу», – говорил он. Его приятель Тиль вечно отправлялся куда-нибудь на Тибет, переживал там невероятные приключения и показывал друзьям видеосъемки себя на яке. Джерри ради этой поездки купил страшно дорогую видеокамеру и все повторял: «Вот наснимаю сейчас этих дикарей, и пусть этот долбаный Тиль подавится своими овцебыками!» Но утро кончилось, а дорога не

кончалась, и пустыня тоже не кончалась – и почему ее называют «буш»? Потому что каждую милю попадается чахлый кустик[50]? – а Джерри становился все горячее и горячее, все краснее и краснее, в точности как пустыня. А супруга его начала впадать в депрессию оттого, что с нее слезает тональный крем.

Она уже раздумывала, не сказать ли: «Давай повернем назад», если на ближайших сорока милях ничего не случится (четыре было ее любимым числом), когда Джерри воскликнул:

– Вон!

Впереди и правда что-то виднелось.

– Я что-то таблички не видела, – с сомнением сказала она. – Про холм нам ведь ничего не говорили, да?

– Черт, да это не холм, это скала, как бишь ее?.. здоровая такая долбаная рыжая скала…

– Эйерс-Рок? – Она прочла книжечку «Добро пожаловать к антиподам» в отеле Аделаиды, пока Джерри сидел на конференции по пластикам. – Но это ведь в центре Австралии, разве нет?

– А где мы, мать твою, по-твоему, находимся? В центре Австралии! Или что это, по-твоему, – долбаная Восточная Германия? – Джерри повысил голос и прибавил газу.

Ужасающе прямая дорога шла прямо через холм, или скалу, или как оно там называется. Это был *не* Эйерс-Рок, она была в этом *уверена,* но, когда Джерри начинает кричать, злить его не стоит.

Оно (холм? скала?) было рыжее и с виду походило на старый «Фольксваген», только бугристое, а вокруг него ходили люди, и поначалу она была очень рада их видеть. Полное одиночество – за последние два часа они не видели ни машины, ни фермы, совсем ничего – действовало ей на нервы. Но когда фургончик подкатил поближе, она решила, что эти люди выглядят как-то странно. Еще более странно, чем туземцы на корробори.

– Это, наверное, аборигены, – задумчиво произнесла она.

– А какого хрена ты тут ждала – французов? – поинтересовался Джерри, но беззлобно, и его жена рассмеялась. Но…

– О господи! – воскликнула она, впервые разглядев одного из туземцев.

– Здоровые парни, а? – удовлетворенно заметил Джерри. – Бушмены – кажется, так они называются.

Кажется, они назывались не так, но она все еще не могла отойти от шока при виде этой высокой, тощей, черно-белой фигуры. Фигура стояла и смотрела на машину, но глаз не было видно – их скрывали тяжелые, кустистые брови и нависающий

лоб. Черные косички закрывали пол-лица и торчали из-за ушей.

– Они что – раскрашенные? – тихонько спросила она.

– Дикари всегда раскрашивают тела. – Презрение Джерри к ее невежеству успокаивало.

– Они и на людей-то едва похожи, – сказала она совсем тихо, чтобы туземцы не обиделись, на случай если они знают английский, потому что Джерри уже остановил машину, распахнул двери и рылся в багаже в поисках видеокамеры.

– Держи!

Она и держала. Пятеро или шестеро черно-белых великанов вроде бы повернулись к ним, но в основном туземцы были заняты чем-то у подножия холма, или скалы, или как оно там называется. Вроде бы там палатки стоят или шатры. Приветствовать новоприбывших никто не вышел, но ей показалось, что оно и к лучшему.

– Держи! Господи Иисусе, да куда ты задевала… а, черт, ладно, давай сюда.

– Джерри, может, их спросить надо? – робко предположила она.

– Кого о чем? – прорычал он, пытаясь втиснуть кассету на место.

– Здешних. Можно ли тут снимать. Помнишь, в Таосе нам говорили, что…

– Да иметый в рот, какое тут *разрешение* нужно, чтобы снять банду долбаных *туземцев!* Боже! Ты хоть *иногда,* мать твою так, заглядываешь в драный «Нэшнл джиографик»? Черт! Разрешение!

Когда Джерри начинал кричать, спорить с ним становилось бессмысленно. Туземцев его вопли нимало не интересовали, хотя куда они смотрят на самом деле, было трудно понять.

– Ну ты вылезешь из этой долбаной колымаги?!

– Тут жа-арко, – пожаловалась она.

Когда она боялась получить солнечный ожог, тепловой удар или еще что-нибудь, Джерри не возражал, потому что ему нравилось чувствовать себя крутым и сильным. Ей сошло бы с рук, даже заяви она, что боится туземцев, потому что чувствовать себя храбрым Джерри тоже нравилось. Но иногда ее страхи его раздражали ужасно, как в тот раз, когда он заставил ее есть ту ядовитую рыбу, которая иногда бывает ядовитая, ну, вы знаете, в Японии, потому что она заявила, будто боится, и затем ее стошнило при всех, и было очень стыдно. Так что она сидела в машине, не глуша мотор и включив кондиционер на полную мощность, хотя окно с ее стороны было открыто.

Джерри уже пристроил камеру на плечо и снимал ландшафты – далекий жарко-алый горизонт, странную скалу-камень-

штуковину с блестящими, как стекло, пятнами, обожженную, почерневшую землю вокруг нее, кишащих вокруг людей – четыре, а то и пять десятков. Ей только сейчас пришло в голову, что если на них и была одежда, то какая – не разобрать, потому что все они так странно сложены и раскрашены белыми пятнами по черному, не как зебры – полосками, а сложнее, почти как костюм скелета, только по-другому. И ростом они футов восемь, а ручки коротенькие, как у кенгуру. И волосы как черные шнурки и стоят дыбом. Нехорошо, конечно, голых разглядывать, но ничего подобного она в жизни не видела. Не разберешь даже, мужчины это или женщины.

Все туземцы были страшно заняты своей работой, или церемонией, или что это у них там. Одни перебирали огромные, тонкие золотые листья, другие делали что-то с проволочками или веревками. Разговоров не было слышно, но в воздухе висело мягкое гудение, гул, то громче, то тише, как мурлыканье множества котов.

Джерри направился к ним.

– Ты поосторожнее, – слабо посоветовала она, но Джерри, конечно, не обратил внимания.

Туземцы тоже внимания на него не обращали, и он продолжал самозабвенно снимать. И когда он подошел к паре туземцев, те обернулись к нему. Глаз она не видела, но *волосы* их встали дыбом и повернулись к Джерри – каждый черный шнур извернулся по направлению к нему, точно вглядываясь. Тут у нее самой волосы дыбом встали, и струя холодного воздуха из кондиционера ударила льдом по взмокшим рукам. Она вылезла из машины и окликнула мужа.

Джерри продолжал снимать.

Она подбежала к нему, насколько можно бегать на высоких каблуках по каменистой почве.

– Джерри, вернись. Мне кажется…

– Заткнись! – заорал он с такой злостью, что она застыла на мгновение. Но теперь она отчетливо видела, что волосы-шнурки шевелятся и что у них есть и глазки, и ротики, и красные язычки шевелятся.

– Джерри, вернись. Это не туземцы. Это инопланетяне. Это их тарелка!

Она читала в «Сан», что над Австралией видели летающие тарелки.

– Да заткнись, мать твою! – огрызнулся Джерри. – Эй, здоровый, ты шевелись, а? Не стой столбом. Буга-буга, не? – Он не отрывал глаз от видоискателя.

– Джерри… – пробормотала она, хотя слова застревали в

горле. Один из инопланетян указал слабенькой ручкой на автомобиль.

Джерри сунул камеру ему под нос, и существо закрыло объектив ладонью. Джерри, конечно, взъярился.

– Убери лапы, ты! – заорал он и глянул прямо на инопланетянина, не через объектив, а нос к носу. – Ох ты ж… – только и выдавил он.

Рука его метнулась к бедру. Он всегда носил с собой пистолет, потому что американец имеет право носить оружие, а в наши дни вокруг столько наркоманов. Через таможню в аэропорту он проносил пистолет каким-то хитрым способом. Уж у *него-то* никто оружия не отнимет.

Она совершенно ясно разглядела, что случилось дальше. Инопланетянин открыл глаза.

У него были глаза под этими темными кустистыми бровями, только до сих пор они были закрыты. Теперь веки поднялись, и взгляд уперся в лицо Джерри, и тот застыл, точно камень. Так и стоял – в одной руке камера, другая тянется к пистолету.

Собрались вокруг еще несколько инопланетян. У всех глаза были закрыты, кроме тех, что на концах волос. Глазки поблескивали, красные язычки мелькали, а гудение звучало все громче. Многие волосы-змеи повернулись к ней. Колени ее подкосились, сердце колотилось в горле, но ей надо было выручить Джерри.

Она протиснулась между двумя великанами-пришельцами, протянула руку к мужу, похлопала его по плечу, сказала: «Джерри, проснись!» Но он стоял парализованный, как статуя.

– Ох, – выдавила она и разрыдалась. – Что же мне делать, что же мне делать?

Она в отчаянии оглянулась. Ее окружали тонкие, длинные, черно-белые лица, белые зубы, закрытые глаза, шевелящиеся, бормочущие волосы. Шепоток их был мягок, как музыка, не злобен, он успокаивал. Она смотрела, как двое огромных инопланетян осторожно поднимают Джерри – как ребенка или куклу – и нежно несут к машине.

Они пытались положить его поперек заднего сиденья, но Джерри не помещался. Пришлось прийти им на помощь – опустить заднее сиденье и втиснуть Джерри наискось. Инопланетяне подложили ему под бок видеокамеру, потом выпрямились и посмотрели на нее блестящими глазками волос, мягко промурлыкали что-то и показали крохотными ручками на дорогу.

– Да, – выговорила она. – Спасибо. До свидания!

Они промычали что-то в ответ.

Она села за руль, закрыла окно, развернула машину на широком месте – там все же *стояла* табличка «Перекресток Гронг», хотя никакого перекрестка не было и в помине.

Назад она ехала поначалу медленно, поскольку руки тряслись, затем все быстрее и быстрее: во-первых, потому, что Джерри надо к доктору, а во-вторых, она любила гонять по длинным прямым дорогам, а Джерри пускал ее за руль только в городе.

Паралич оказался полным и необратимым, и это было бы ужасно, если бы она не могла обеспечить бедного Джерри круглосуточным первоклассным уходом, потому что заключила очень выгодные контракты сначала с телевизионщиками, а потом с парнями на видео. Вначале запись показывали под заголовком «Инопланетяне высаживаются в австралийской пустыне», а потом она вошла в историю и науку как «Перекресток Гронг, Южная Австралия: первый контакт с горгонидами». Дикторский голос объяснял, как она, Энн Лори Дебри, стала первым человеческим существом, заговорившим с нашими друзьями из космических далей еще до того, как те отправили послов в Канберру и Рейкьявик. За весь фильм она попала в кадр только однажды, руки у Джерри тряслись, а тушь для ресниц у нее размазалась, но это все ничего. Героиней-то была она.

СОН НЬЮТОНА [51]

Когда правительство Атлантического союза, спонсировавшее ОСПУЗ в рамках очень секретной программы, пало в результате Високосного путча, Мэстон и его люди уже были готовы. В один день все накопления, документы и члены Общества были переброшены в США. Немного оправившись, они подали прошение правительству Республики Калифорния на поселение, заявившись группой сектантов-хилиастов, и им выделили для проживания обезлюдевшие отравленные болота долины Сан-Хоакин. Построенный ими город-купол был прототипом самого Особого Спутника Земли, и жизнь в нем была приятна настолько, что кое-кто из колонистов начал поговаривать, будто вовсе незачем тратить зря столько сил и энергии – почему бы, дескать, тут и не остаться? Но разрыв калифорнийско-мексиканского мирного договора, первая волна вторжения с юга и новая вспышка грибковой чумы показали лишний раз, что Земля более для жизни непригодна. В течение четырех лет четырежды в год сновали туда-обратно челноки со строительными командами. Через семь лет после переезда в Калифорнию последний челнок, десять раз просновав между Землей и золотым пузырьком в точке либрации, доставил колонистов на ОСПУЗ, в безопасность. А пять недель спустя мониторы ОСПУЗа показали, как орды Рамиреса захлестнули Бейкерсфилд, разрушив взлетную площадку, разграбив все, что осталось в комплексе, и подпалив купол.

– Мы были на волосок от гибели, – заметил Ноах, обращаясь к своему отцу Изе.

Ноаху было одиннадцать, читал он много и каждое вновь открытое клише смаковал с упоительной серьезностью.

– Вот чего я не понимаю, – пожаловалась пятнадцатилетняя Эстер, – так это почему все остальные за нами не последовали.

Она приподняла очки и, прищурившись, вгляделась в экран. Корективная хирургия мало чем могла помочь ей, а учитывая жестокие аллергические реакции и проблемы с иммунитетом, вопрос о пересадке глаз не стоял – она даже контактные линзы носить не могла. Обходилась очками, как в гетто. Врачи уверяли Изю, что пара лет в свободной от загрязнения среде ОСПУЗа избавит ее от большинства проблем и тогда она сможет выбрать себе пару новеньких глаз из заморозки. «Будешь тогда синеглазка моя!» – утешал он тринадцатилетнюю дочку, когда третья по счету операция не увенчалась успехом. Главное, что дефект был приобретенным, а не наследственным. «Гены у тебя чистенькие, – говорил ей Изя. – У нас с Ноахом рецессивный ген сколиоза, а вот

у тебя, девочка моя, безупречные спиральки. Ною-то придется искать себе подругу в группах B или G, а ты можешь выбрать кого угодно во всей колонии – ты неограниченная. У нас таких только дюжина».

– Значит, я смогу вести неприличный образ жизни, – заключила Эстер; выражения ее лица не было видно под повязками. – Да здравствует номер тринадцать!

Сейчас они с братом стояли у монитора – Изя позвал их, чтобы показать, какая судьба постигла купол Бейкерсфилд. Некоторые на ОСПУЗе, особенно женщины и дети, впадали в сентиментальность, или, как они говорили, «ностальгию». Изя хотел показать детям, чем стала Земля, почему они покинули ее. Электронный мозг, запрограммированный на выбор интересных для обитателей ОСПУЗа тем, завершил репортаж о разграблении Бейкерсфилда показом карты с отмеченными завоеваниями Рамиреса и переключился на бассейн Амазонки, где работали перуанские метеорологи. Экран заполнили дюны и голые ржавые равнины; за кадром нудел голос ЭМ, переводящего дикторский текст на английский.

– Только гляньте, – сказала Эстер, поднимая очки. – Там все мертво. Почему они все сюда не подались?

– Деньги, – бросила ее мать.

– Потому что большинство людей не хотят довериться разуму, – ответил Изя. – Деньги – средства – лишь вторичный фактор. Последние сто лет любой, кто мог взглянуть на мир разумно, видел, что происходит: истощение ресурсов, демографический взрыв, распад государственных систем. Но чтобы действовать рационально, нужно поверить в разум. А большинство скорее поверит в удачу, в Господа Бога или в очередную панацею. Разум суров. Трудно планировать, ждать годами, принимать решения, экономить снова и снова, хранить тайну, чтобы ее не украли или не разрушили жадностью или мягкотелостью. Многим ли под силу держаться выбранного пути, когда рушится мир? Разум – вот компас, который привел нас сюда.

– И никто другой не пытался?

– О других мы не слышали ничего.

– Были еще фои, – пискнул Ноах. – Я читал о них. Они тысячи людей помещали в заморозку, живых и здоровых, потом строили эти дешевые ракетки и отправляли в полет: дескать, через тысячи лет они прилетят к какой-то звезде и проснутся. Они не знали даже, есть ли там планета.

– Вот-вот, а их вождь, преподобный Кевин Фой, уже будет ждать их, чтобы поприветствовать с прибытием на землю

обетованную, – закончил за него Изя. – Аллилуйя!.. Бедные придурки – так их в народе звали. Я тогда был твоим ровесником, смотрел по телевизору, как они залезают в эти свои ракеты. У половины или грибок, или БМВ-инфекция. Детей несут на руках, поют гимны. Это не люди, доверившиеся разуму. Это люди, в отчаянии отбросившие его.

В объемном экране над пустынями Амазонии набирала силу колоссальная пыльная буря – тусклое рыже-серо-бурое пятно. Цвета грязи.

– Нам, похоже, повезло, – заметила Эстер.

– Нет, – ответил ее отец. – Удача тут ни при чем. И мы не избранный народ. Мы те, которые выбрали.

Изя был мягким человеком. Но сейчас в голосе его слышался тугой звон. Дети и жена удивленно глянули на него.

– И мы принесли жертвы, – произнесла Шошана. Карие глаза ее были прозрачны.

Изя кивнул.

Она, вероятно, думала о его матери. Сара Розе могла претендовать на одно из четырех мест, оставленных для женщин, вышедших из детородного возраста, но все еще полезных для колонии. Но когда Изя сообщил ей, что внес ее в списки, Сара взорвалась: «Жить в этой кошмарной банке, в этом летающем мячике? Без воздуха, в тесноте?» Изя пытался рассказать ей о пейзажах, но она отвергала все возражения. «Исаак, меня клаустрофобия одолевала в куполе Чикаго, а там миля в поперечнике! Забудь об этом. Бери Шошану, бери детей, а меня оставь дышать смогом, ладно? Езжай. А мне пришлешь открытку с Марса». Не прошло и трех лет, как она умерла от БМВ-3. Когда Изина сестра позвонила и сказала, что мать умирает, Изя уже прошел санобработку. Покинуть купол Бейкерсфилд значило проходить все сначала, а кроме того, подвергнуться риску заражения последней, самой смертоносной формой быстро мутирующего вируса, который унес тогда уже два миллиарда человеческих жизней – больше, чем отложенная радиационная болезнь, и почти столько же, сколько голод. Изя не поехал. Потом пришло письмо от сестры: «Мама умерла в ночь на среду, похороны в пятницу в десять». Он посылал письма, факсы, е-мэйлы, звонил, но не мог пробиться – а может, сестра не захотела отвечать. Теперь боль почти унялась. Они выбрали. И принесли жертву.

Перед Изей стояли его дети, прекрасные дети, ради которых приносилась эта жертва, его надежда и будущее. А на Земле сейчас приносили в жертву детей. В жертву прошлому.

– Мы выбрали. Мы принесли жертву. И мы были избавлены. –

Слетевшее с губ слово изумило его.

– Эй, – воскликнул Ноах, – пошли, Эся, пятнадцать часов, мы шоу пропустим!

Они сорвались с места – тощий мальчишка и пухленькая девочка – и, выскочив в дверь, рванули по пейзажу.

Семья Розе жила в Вермонте. Изе подошел бы любой ландшафт, но Шошана заявила, что Флорида и Боулдер-Дам выглядят ненатурально, а городской ландшафт свел бы ее с ума в два дня. Так что их блок выходил на пейзаж Вермонта. Общая ячейка, куда направлялись дети, выглядела сельским домом, сияющим белой штукатуркой, а на мнимом горизонте синели уютные лесистые холмы. Свет солнца падал на квадрант Вермонт под самым удачным углом: «Не то позднее утро, не то начало дня, – говорила Шошана, – всегда есть время поработать». Это, конечно, не вполне соответствовало реальности, но, по мнению Изи, не слишком, а потому он не протестовал. Будучи «совой», он нуждался лишь в трех-четырех часах сна и радовался уже тому, что продолжительность ночи на спутнике всегда постоянна и не сокращается летом.

– Знаешь, что я тебе скажу… – произнес он, продолжая думать о детях и внимательном взгляде Шошаны.

– Что же? – переспросила та, глядя на головид, в глубине которого буря, уродливая ползучая клякса, раскидывала по стратосфере свои щупальца.

– Я не люблю мониторы. Не люблю смотреть вниз.

Признание это не было легким. Но Шошана только улыбнулась и ответила:

– Знаю.

Этого было мало для Изи. Он хотел услышать больше и больше высказать.

– Порой мне хочется выключить их, – усмехнулся он. – Не всерьез, конечно. Но… это связь, канат, пуповина. Ее я хотел бы оборвать. Чтобы они начали заново. С чистого, белого листа. Наши дети, я хочу сказать.

Шошана кивнула.

– Может, так было бы лучше, – заметила она.

– Их детям это так и так предстоит… Знаешь, сейчас в отделе ДС идет интересный спор. – По профессии Изя был инженером-физиком, выбранным Мэстоном на роль главного специалиста ОСПУЗа по искусственным интеллектам Шонвельдта. Сейчас приоритетной из восьми его должностей была работа на посту начальника группы дизайна среды для второго ОСПУЗа, строящегося сейчас в мастерских.

– О чем?

– Эл Левайтис предложил вообще избавиться от пейзажей. Произнес большую речь. Утверждает, что дело в честности. Давайте, дескать, честно пользоваться тем или иным сектором, позволим ему найти собственную эстетику и не будем навязывать ему иллюзорную. Если наш мир – ОСПУЗ, давайте примем его таким, какой он есть. Что будут значить для следующего поколения эти потуги воспроизвести земные ландшафты? И многие считают, что он в чем-то прав.

– Так и есть, – ответила Шошана.

– А ты смогла бы так жить? Без иллюзии простора, без горизонта… без деревенской церкви… может, даже без астропочвы – только полированный металл и керамика. Смогла бы ты принять это?

– А ты?

– Думаю, да. Так было бы проще… и, как говорит Эл, честнее. Не цепляясь за прошлое, мы могли бы все усилия отдать настоящему и будущему. Знаешь, мы прошли такой долгий путь, что трудно осознать, что бегство закончено, что мы здесь. Мы уже строим новую колонию. Когда в каждой оптимальной точке будет висеть станция – или когда мы решим построить Большой корабль и вовсе покинуть Солнечную систему, – какое значение будут иметь для наших потомков воспоминания о Земле? Они будут истинными косможителями. В этой свободе весь смысл нашего пути. И я не отказался бы глотнуть ее прямо сейчас.

– Достаточно честно, – отозвалась Шошана. – Думаю, я просто опасаюсь упрощенчества.

– Но эта вот башня – что она будет значить для рожденных и выросших в пространстве? Бессмысленная руина. Мертвое прошлое.

– Я, например, не скажу, что она значит для меня, – возразила Шошана. – Это ведь не мое прошлое.

Но изображение притягивало Изю…

– Смотри! – воскликнул он. Карта показывала береговые линии Перу в 1990 и 2040 годах, отмечая поглощенные морем земли. – Погода. Ничего хуже на свете нет! Хорошо, хоть от этой невозможной, непредсказуемой глупости мы избавились!

Из волн поднимался полуразрушенный небоскреб – все, что осталось от Мирафлореса. Низко над бурным морем висел тусклый облачный полог. Изя отвел глаза от монитора, глянул на иллюзию мирной Новой Англии и увидал за иллюзией истинное убежище, хранящее их в себе, дарующее свободу. «Правда сделает вас свободными», – подумал он и, приобняв жену за плечи, произнес это вслух.

– Ты лапочка, – прошептала Шошана, прижавшись к мужу.

Великие слова спустились до уровня семейных отношений, но Изе и это было приятно. Подходя к лифту, он осознал вдруг, что счастлив – совершенно счастлив. Должно быть, отрицательные ионы в воздухе, укорил он себя, но одной физиологии для объяснения было мало. Он ощущал то, что человек на Земле так долго искал и не находил, не мог найти, – разумное счастье. Там, внизу, роду человеческому оставались лишь жизнь, свобода и путь к цели, а теперь он лишился и этого. Четыре Всадника гнали человечество через прах умирающего мира. И вновь в памяти Исаака всплыло странное слово: «избавлены». «Мы были избавлены».

Собрание по пересмотру школьного расписания случилось в третьем квартале второго года ОСПУЗа. Изя присутствовал как член родительского комитета, Шошана – как родитель и учитель на полставки (приоритетной ее профессией была диетология), а Эстер – потому что подростков приглашали на собрания в рамках политики деинфантилизации, а кроме того, ее привел отец. Председатель комитета по образованию Дик Аллардайс произнес речь о целях и достижениях, пара учителей внесли предложения и зачитали отчеты. Изя выступил в пользу обучения детей при помощи ЭМ. Все шло по накатанной колее, пока не поднялся Сонни Вигтри. Сонни был улыбчивым американцем-южанином со стопроцентным конфедеративным акцентом, четырьмя или пятью университетскими дипломами (разными) и умом жестоким, как стальной капкан с бритвами вместо лезвий.

– Я б што ха-ател знать, – протянул он скромно, – што вы тута думати нащет учить гивалогию? Знате, я бы на ее плюнул.

Пока Изя мысленно переводил его речь на привычный коннектикутский диалект, встал Сэм Хендерсон. Геология была одной из его профессий.

– Ты что, Сонни, – изумился он на своем гортанном огайоском наречии, – предлагаешь вычеркнуть из расписания геологию?

– Да я тольки шпросил, што вы тута думати?..

Это Изя перевел с легкостью: Сонни уже обеспечил себе большинство при голосовании и теперь готов внести предложение. Сэм тоже знал эту игру.

– Ну, по моему мнению, вопрос достоин обсуждения…

Вскочила Элисон Джонс-Курава, преподававшая естествознание на третьем уровне. Изя ожидал бурного всплеска эмоций: дескать, дети ОСПУЗа не должны забывать родную планету и т. п. Но Элисон вполне разумно заметила, что научные знания, ограниченные структурой и содержимым ОСПУЗа, до

опасного абстрактны. «Если мы когда-нибудь решим терраформировать Луну, например, вместо того чтобы строить Большой корабль, не стоит ли нашим детям хотя бы представлять себе, что такое камень?» – говорила она. «Главное ухвачено верно, – думал Изя, – и все же она ошибается, потому что суть не в том, оставить ли в расписании уроков геологию, а во влиянии Сонни Вигтри, Джона Падопулоса и Джона Келли на комитет по образованию». Спор шел прежде всего о власти, а учителя не понимали это: у женщин с властью всегда проблемы. И исход спора предсказать было так же легко, как и его ход. Единственное, что удивило Изю, – так это то, как Джон Келли накинулся на Мойше Оренштейна. Мойше утверждал, что Земля – лаборатория ОСПУЗа и пользоваться ею надо соответственно, и пустился рассказывать, как его класс учился аналитической химии на одном-единственном камешке, который Мойше привез с горы Синай в качестве сувенира и лабораторного образца одновременно, – «согласно принципу множественного использования, ну и из сентиментальности, понимаете…» И вот тут Джон Келли оборвал его: «Ну хватит! Мы говорим о геологии, а не об этнографии!» – и пока Мойше ошарашенно молчал, Падопулос внес предложение.

– Кажется, Мойше докопался до Джона Келли, – заметил Изя, когда они шли по коридору А к лифту.

– Ну и срань, пап, – отозвалась Эстер.

К шестнадцати годам Эстер немного подросла, хотя все еще сутулилась, вытягивая шею вперед в попытках разглядеть что-нибудь сквозь толстые стекла очков, все время спадавших с носа. Характер у нее был вспыльчивый, и Изе едва удавалось связать пару слов без того, чтобы дочь ему не нагрубила.

– Эстер, «срань» – не то высказывание, после которого можно продолжать спор, – мягко заметил он.

– Какой спор?

– Как я понял, о том, что Джон Келли нетерпимо относится к Мойше и почему.

– Да срань это все, пап!

– Эстер, прекрати! – не выдержала Шошана.

– Прекратить что?

– Если ты, как можно судить по твоему тону, знаешь, что так раздражает Джона, – заявил Изя, – может, поделишься с нами?

Когда так стараешься не поддаваться иррациональным импульсам, а в ответ не получаешь ничего, кроме бури эмоций, трудно оставаться спокойным. Вполне уместная просьба ввела девушку в состояние слепого бешенства. Толстые стекла яростно блеснули – за ними почти не было видно серых глаз. Потом Эстер

протолкнулась вперед и вбежала в лифт, распахнувший двери будто для того, чтобы вместить ее гнев. Родителей она ждать не стала.

– Ну, – устало проговорил Изя, пока они с женой ждали следующего лифта на Вермонт, – и что это было?

Шошана чуть пожала плечами:

– Я не понимаю. Почему она так враждебна, так агрессивна?

Вопрос этот вставал и раньше, но Шошана даже не пыталась на него ответить. Молчание ее было почти суровым, и Изя чувствовал себя неловко.

– Чего она хочет этим добиться? Что ей надо?

– Тимми Келли, – ответила Шошана, – называет тебя жидом Розе. Так мне Эстер сказала. Ее он в школе зовет «жидовской розочкой». Она говорит, что «четыре глаза» ей нравилось больше.

– Ох, – выдавил Изя. – Ох… срань.

– Именно.

До Вермонта они ехали молча.

– Я не понимаю даже, – заметил Изя, когда они шли под фальшивыми звездами через общую ячейку, – где он слово такое услышал.

– Кто?

– Тимми Келли. Он ровесник Эстер – на год моложе. Он вырос в Колонии, как и она. Келли присоединились годом позже нас. Господи всевышний! Мы можем избавиться от всех вирусов, всех бактерий, всех спор, но это… это проникает всюду! Как? Как это происходит? Я говорю тебе, Шошана, мониторы надо закрыть. Все, что эти детишки видят на Земле, слышат с Земли, – урок насилия, предрассудков и суеверий.

– Для этого не обязательно смотреть на мониторы. – Голос Шошаны был почти по-учительски терпеливым.

– Я работал с Джоном на «Лунной тени», бок о бок, каждый день, восемь месяцев. И ничего, ничего подобного не было.

– Это больше Пат, чем Джон, – отозвалась Шошана все так же неодобрительно-бесстрастно. – Эти годы мелких подначек в комитете диетического планирования. Шуточки. «Как, Шошана, это будет кошерно?» Ну и?.. С этим приходится жить.

– Там, внизу, – да, но здесь, в Колонии, на ОСПУЗе…

– Изя, жители Колонии – самые консервативные из обывателей, разве ты не заметил? Снобы из снобов. А кем нам еще быть?

– Консервативные? Обыватели? О чем ты говоришь?

– Да ты глянь на нас! Властная иерархия, разделение труда на мужской и женский, картезианская этика – сущая середина двадцатого века! Понимаешь, я не жалуюсь. Я сама это выбрала. Я

люблю безопасность и хочу, чтобы мои дети жили спокойно. Но за безопасность надо платить.

– Я не понимаю такого отношения. Мы всем рисковали ради ОСПУЗа – потому что мы нацелены в будущее. Сюда попали те, кто решил отбросить прошлое, начать все заново. Создать истинно гуманное общество и сделать сразу все правильно, хоть в этот раз! Это обновители, смелые духом, а не толпа мещан, погрязших в предрассудках. Наш средний коэффициент интеллекта – 165…

– Я знаю. Знаю наш средний КИ.

– Мальчишка бунтует, – проговорил Изя после недолгого молчания. – Как и Эстер. Ругаются самыми страшными словами, которые знают, пытаются поразить взрослых. Это бессмысленно.

– Как Джон Келли сегодня?

– Слушай, Мойше не мог остановиться. Все об этом своем булыжнике сувенирном… знаешь, он слишком много играет на публику. Школьники еще проглатывают, но на заседании комитета это становится утомительным. Если Джон его оборвал, то Мойше сам напросился.

Они подошли к двери своего блока – точно как в сельском домике в Новой Англии, хотя, когда Изя нажал на кнопку звонка, она с шипением скользнула вбок.

Эстер, конечно, уже ушла к себе. В последнее время она старалась как можно меньше находиться в гостиной ячейке. Ноах и Джейсон раскидали по всему полу и встройкам диаграммы, распечатки, учебники, доску для триди-шашек, а сами сидели посреди этого безобразия, хрустели белковыми чипсами и болтали.

– Сестренка Тома лепечет, будто видела ее в Общей, – говорил Джейсон. – Привет, Исаак, Шошана. Не знаю, можно ли верить шестилетней девчонке.

– Да, она, скорее всего, повторяет за Линдой, пытается внимание привлечь. Привет, пап, мам. Слышали, что Линда Джонс и Триз Герлак болтают насчет обожженной женщины, которую видели?

– Что значит – обожженной?

– У школы, в коридоре С-1. Они шли там на какое-то свое девчачье мероприятие…

– Уроки та-анцев, – перебил Джейсон и тут же изобразил нечто среднее между умирающим лебедем и блюющим школьником.

– …И говорят, что в первый раз эту женщину увидали, – каково, а? Как это на ОСПУЗе может оказаться кто-то, с кем еще ни разу не виделся? И она была вся обгорелая и вроде как жалась

к стенке, точно пряталась от кого-то. А еще они говорят, что женщина свернула на С-3 прямо перед ними, а когда они зашли за угол, ее и след простыл. И ни в одну из ячеек по С-3 она не заходила. Джейсон говорит, что сестренка Тома Форта тоже эту женщину видала, но эта, наверное, просто выдумывает, чтобы на нее внимание обратили.

– Говорит, у той были белые глаза. – Джейсон закатил свои, голубые. – Жуть как страшно.

– Девочки об этом сообщили кому-нибудь? – поинтересовался Изя.

– Триз и Линда? Не знаю. – Ноах уже потерял интерес к разговору. – Так получим мы допвремя на работу с Шонвельдтом?

– Я заказал, – ответил Изя.

Настроение у него было испорчено. Непонятная злоба Эстер, непонимание Шошаны, а теперь вот Ноах и Джейсон рассказывают истории о белоглазых привидениях, цитируя двух малолетних истеричек. Душевному спокойствию все это не способствовало.

Он ушел к себе в ячейку-кабинет и принялся прорабатывать предложения Левайтиса по дизайну второго поселения. Никаких фальшивых пейзажей, никаких декораций – обнаженные углы и кривые. Структурные элементы конструкции прекрасны в своей разумной необходимости. Форма соответствует функции. Свободное пространство в каждом квадранте будет не общей ячейкой, а просто свободным пространством – назовем его «квад». Десять метров в высоту, двести в поперечнике, под антисводом купола. Изя вывел изображение на голоэкран, оглядел с разных углов, прошелся по нему…

Спать он лег в четвертом часу ночи, возбужденный и довольный работой. Шошана крепко спала. Изя лежал в ее недвижном тепле, вспоминая события вечера, – в темноте разум его работал яснее. Антисемитизма на ОСПУЗе не было. Только вспомнить, сколько из колонистов – евреи. Изя принялся считать в уме и обнаружил, что все уже подсчитано, – в памяти само собой всплыло число семнадцать. Странно, ему казалось, их больше. Изя перечислил всех поименно и снова получил семнадцать. Не так много, как могло быть, из восьми-то сотен, но куда лучше, чем у многих других групп. Проблем в выборе лиц азиатской национальности не было – в этом отношении опасаться приходилось скорее перебора, но недостаток чернокожих колонистов вызывал тогда, еще в Союзе, долгие и мучительные битвы политики с совестью. Но обойти тот факт, что в тесном сообществе из восьмисот человек все и каждый должны соответствовать не только генетическому, но и личностному

стандарту, никак не удавалось. А после развала системы государственных школ во время Рефедерации негры просто не получали нужного образования. Тем не менее несколько чернокожих претендентов все же нашлись, хотя почти никто из них не прошел жесткого отбора. Они были замечательными людьми, но этого было мало. Каждый взрослый человек на борту должен был являться выдающимся специалистом не в одной, а в нескольких областях. И не было времени обучать тех, кто, пусть не по своей вине, не получил форы на старте. Все сходилось к тому, что Д. Г. Мэстон, «отец ОСПУЗа», называл «холодными уравнениями» – цитата из старого рассказа, моралью которого было: «Никакого мертвого груза на борту!» «Слишком много жизней зависит от нашего выбора! – говорил он. – Если бы мы могли позволить себе сантименты, пойти легким путем, то никто не радовался бы этому больше меня. Но у нас может быть только один критерий: абсолютное превосходство – физическое, умственное, во всех отношениях. Всякий, кто соответствует этому критерию, – наш. Всякий, кто не соответствует, – вылетает».

Так что даже во времена Союза в Обществе состояло только трое негров. Гениального математика Мэдисона Алесса внезапно поразила отложенная радиационная болезнь, а после его самоубийства Везьи, прекрасная молодая пара из Англии, вышли из проекта и уехали домой. То была потеря не только для генетического разнообразия, но и для национального состава ОСПУЗа, потому что с их отъездом осталось лишь несколько человек, родившихся не в Союзе или США. Но, как указал Мэстон, это ничего не значило, потому что национальность – ничто, а сообщество – все.

Дэвид Генри Мэстон применил «холодные уравнения» к себе. Когда Колония переместилась в Калифорнию, ему был шестьдесят один год. Он остался в Штатах. «Когда ОСПУЗ построят, – сказал он тогда, – мне будет семьдесят. Чтобы семидесятилетний старик занял место деятельного ученого, женщины-роженицы, ребенка с КИ 200? Шутить изволите?» Мэстон был еще жив там, внизу. Порой он выходил на связь по Сети из Индианаполиса с советами, всегда волевой, властный, хотя в последнее время – немного отставший от времени.

Но почему он, Изя, лежит здесь, вспоминая о старике Мэстоне? Поток мыслей вяз в болоте подступающего сна. Дрожь ужаса прошла по его расслабленному телу, заставив вздрогнуть каждый мускул, – древний, далекий страх, страх беспомощности, безмыслия, страх перед сном. Потом пропал и ужас. И Исаак Розе пропал. Живое тело вздохнуло в темноте, внутри блестящей игрушки, ловко подвешенной на лунной орбите.

Линде Джонс и Триз Герлак было по двенадцать лет. Когда Эстер поймала их, чтобы задать пару вопросов, они немного стеснялись ее и немного презирали, потому что, хотя ей уже шестнадцать, она такая «жутиковая» с этими стекляшками на носу, и Тимми Келли называл ее жидовкой, а ведь Тимми Келли такой клевый!.. Так что Линда отводила взгляд и делала вид, что не слышит, а вот Триз, казалось, была польщена. Хихикая, она сказала, что да, они и правда видели эту «жутиковую» женщину, и та действительно была какая-то обгорелая и блестящая, и даже одежда на ней обгорела, только тряпки остались. «И груди у нее болтались, дико так было, длинные такие, – сказала Триз. – Сущий жутик, да? Так и висели, господи».

– У нее были белые глаза?

– Это что, так дурашка Форт рассказывала? Она говорит, что тоже ее видела. А мы так близко не подходили.

– Это зубы у нее были белые, – добавила Линда, не в силах перенести, что вся слава достается подруге. – Белые-белые, как череп, да, и их вроде как слишком много было.

– Точно в исторических видиках, – продолжила Триз, – знаешь, как те люди, которые жили до пустыни в этой… как ее там? – Африке, вот. Вот такая она была. Как те голодающие. Слушай, может, какая-то авария случилась, а нам ничего не сказали? Может, солнечная буря? А эта женщина вроде как обгорела и с ума сошла и теперь прячется?

Триз и Линда были совсем не глупы – без сомнения, КИ у них переваливал за 150, как и у всех, – но они родились в Колонии. Они никогда не бывали вовне.

А Эстер была. И помнила. Розе присоединились к проекту, когда ей было семь лет. И она многое помнила из прошлой, городской жизни. Филадельфия: тараканы, дождь, сирены экологической тревоги и ее лучшая во всем доме подруга, Савиора, у которой было десять миллионов крохотных косичек и каждая завязана красной ленточкой с синей бусинкой. Ее лучшая подруга во всем доме, и в школе, и во всем мире. Пока ей не пришлось переехать в Штаты, а потом в Бейкерсфилд и проходить обеззараживание, избавляться от всего: от бактерий, и вирусов, и грибков, от тараканов, радиации и дождя, от красных ленточек, и синих бусинок, и ясных глаз. «Да я буду смотреть за тебя, слепышка, – говорила Савиора, когда Эстер не помогла первая операция. – Я буду твоими глазами, ладно? А ты станешь моей головой, особенно по арифметике».

Странно, что спустя десять лет ей так ясно помнились эти слова. В ушах стоял голос Савиоры: как она выпевает слово

«арифметика», так, что слово становится иностранным, непонятным, восхитительно-загадочным, синим и красным…

– А-риф-ме-е-тика, – пробормотала Эстер про себя, проходя коридором, но у нее так не получалось.

Ладно, допустим, что эта «обгорелая» женщина – негритянка. Но это не объясняет, как она попала в коридор С-2, или в Общую, или на площадь во Флориде, где девочка по имени Уна Чен и ее младший братишка видели ее прошлым вечером сразу после выключения солнца.

«Срань какая, – думала Эстер Розе, проходя общей ячейкой, сливавшейся для нее в зелено-голубой фон. – Если бы я только могла видеть. Да что толку? Эта женщина может проходить передо мной прямо сейчас, а я и не обращу внимания, решу, что так и надо. Да откуда у нас взяться „зайцам“? На втором году жизни в космосе! Где она все это время сидела?» И не было никакой аварии. Просто дети играют в кошмарики, пугают друг друга и пугаются сами. Пугаются старых документальных фильмов, черных физиономий, оскаленных от голода, когда все лица в их мирке белые, мягкие, жирные.

«Сон разума рождает чудовищ», – прошептала Эстер вслух. Она изучила весь файл «Шедевры западного искусства» в библиотеке, потому что, хотя мир и даже ОСПУЗ были ей недоступны, картинки она видеть могла, если наклонялась к ним достаточно близко. Гравюры были удобнее всего, они не превращались в путаницу цветных пятен, когда она увеличивала изображение, а оставались осмысленными – четкие черные линии, тени и блики, складывавшие картину. Гойя, вот кто это был. Летучие мыши вылетают из головы спящего на полном книг столе, и надпись внизу: «Сон разума рождает чудовищ» – по-английски, на единственном языке, который она знает в жизни. Тараканы, дождь, испанский – все смыто. Конечно, испанский язык хранился в памяти ЭМ. Как и все остальное. Если хочешь, можно его выучить. Но к чему, если тот же ЭМ может переводить с испанского на английский быстрее, чем человек читает или думает? К чему знать язык, на котором никто, кроме тебя, никогда не заговорит?

Эстер собиралась, придя домой, сказать матери, что переселяется в общежитие для несемейных на Боулдер-Дам. Сегодня и скажет. Как только домой придет. Пора ей убираться. Хуже, чем дома, даже в общежитии не будет. Это невероятное семейство – папа, мама, братишка и сестренка – точно из прошлого века вылезло! Матка внутри матки! А вот и «маточная розочка», героиня космоса, топает домой по пластмассовой траве… Эстер все же дошла до дому, распахнула дверь,

обнаружила мать за компьютером в кухне и, сделав героическое усилие, выдавила:

– Шошана, я хочу переехать в несемейку. Мне кажется, так всем будет лучше. Как думаешь, Изя взовьется?

Молчание тянулось долго. Эстер подошла поближе и только тут заметила, что мать плачет.

– О, – пробормотала она, – о… я не знала…

– Ничего, милая. Это не из-за тебя. Это Эдди…

Сводный брат матери был единственным оставшимся у нее родственником. Они поддерживали связь через внешние каналы Сети. Нечасто, потому что Изя решительно выступал против личных контактов с оставшимися внизу, а Шошана не любила перечить мужу ни в чем. Но она проговорилась Эстер, а та свято хранила ее тайну.

– Он болен? – спросила Эстер, чувствуя себя нехорошо.

– Он умер. Очень быстро. Один из БМВ. Белла послала письмо.

Шошана говорила медленно и очень обыденно. Эстер постояла немного, переминаясь с ноги на ногу, потом подошла и робко коснулась плеча матери. Шошана обернулась, крепко прижала дочь к груди и разрыдалась, бормоча:

– Ох, Эстер, он был такой добрый, такой добрый, такой добрый! Мы всегда держались вместе, всех этих мачех, и подружек, и кошмары, которые мы пережили, я вынесла только благодаря Эдди, он мне помогал, он был моей семьей, Эстер. Он был моей семьей!

Может, это слово и впрямь что-то значило. Наконец мать немного успокоилась.

– Не хочешь говорить отцу? – спросила Эстер, заваривая чай на двоих.

Шошана покачала головой:

– Мне теперь уже все равно, знает ли он о наших с Эдди разговорах. Но Белла просто послала письмо по Сети. Мы не разговаривали.

Эстер подала ей кружку; мать отпила глоток и вздохнула.

– А ты хочешь переехать в общежитие, – проговорила она.

Эстер молча кивнула, чувствуя себя виноватой в том, что бросает мать.

– Наверное. Не знаю.

– Думаю, это хорошая мысль. Во всяком случае, попытаться стоит.

– Правда?.. А он, ну, понимаешь, он не…

– Да, – подтвердила Шошана. – Ну и что?

– Я правда хочу уйти.

– Так иди.

– А он не должен одобрить заявку?

– Нет. Тебе уже шестнадцать. Ты совершеннолетняя. Так гласит Кодекс Общества.

– Я не чувствую себя совершенной.

– Ничего. Ты справишься.

– Просто когда он впадает в раж, знаешь, словно он должен все контролировать, а то все пойдет вразнос, – я сама вразнос иду.

– Знаю. Но он переживет. Даже гордиться будет, что ты так рано начала самостоятельную жизнь. Только пусть покипит и сбросит пар.

Изя их удивил. Он не стал кипеть и взрываться. Требование Эстер он встретил спокойно.

– Конечно. После пересадки глаз.

– После?..

– Ты же не собираешься начинать взрослую жизнь с инвалидностью, от которой можешь избавиться. Это просто глупо, Эстер. Ты хочешь независимости – значит, тебе нужно здоровое тело. Обрети зрение – и лети. Ты думаешь, я стану тебя удерживать? Дочка, да я мечтаю отправить тебя в свободный полет!

– Но…

Изя молчал.

– А она готова? – поинтересовалась Шошана. – Или врачи придумали что-нибудь новенькое?

– Тридцать дней иммуносупрессивной подготовки – и можно пересаживать оба глаза. Я вчера поговорил с Диком после заседания Совета по здоровью. Завтра можно будет пойти и выбрать пару.

– Выбирать глаза? – переспросил Ноах. – Жутики какие!

– А что… а что, если я не захочу? – спросила Эстер.

– Не захочешь? Не захочешь видеть?

Эстер отвела взгляд. Шошана молчала.

– Тогда ты подчинишься страху. Это естественно, но недостойно тебя. И ты всего лишь отнимешь у себя самой несколько недель или месяцев ясного зрения.

– Но я уже совершеннолетняя. Я могу выбирать сама.

– Можешь и выберешь. И ты сделаешь разумный выбор. Я уверен в тебе, дочка. Докажи мне, что я уверен не зря.

Иммуносупрессивная подготовка оказалась едва ли не хуже деконтаминации. Бывали дни, когда Эстер ничего, кроме машин и

трубок, не видела. Бывали, однако, и такие, когда она чувствовала себя почти человеком и радовалась, когда скуку разгоняли визиты Ноаха.

– Эй, – сказал он, – ты слышала про старуху? Ее все в Городском видели. Началось с того, что закричал ребенок, потом его мать увидела, а потом вообще все. Говорят, она такая сморщенная, старенькая, вроде как азиатка, знаешь, с раскосыми глазами, как у Юкио и Фреда, но скрюченная, и ноги у нее кривые. Она ходит там и вроде бы собирает мусор с палубы, только никакого мусора там нет, и складывает в мешок. Если к ней подойти, она пропадает. И еще у нее во рту ни единого зуба нет!

– А обожженная еще ходит?

– Ну, во Флориде заседал какой-то женский комитет, и тут за столом появляются еще трое, и все черные. Поглядели и пропали.

– О-о, – выдавила Эстер.

– Папа назначил себя в Аварийный комитет, там все больше психологи. Разрабатывают теорию массовых галлюцинаций, сенсорных депривaций и все такое. Он тебе сам все расскажет.

– Да, уж он расскажет.

– А, Эся…

– Эся-меся.

– Они уже… то есть я хочу сказать… ты уже…

– Да, – ответила она. – Вначале вынимают старые. Потом ставят новые. Потом соединяют нервы.

– Ой!

– Вот-вот.

– А тебе правда придется выбирать…

– Нет. Врачи мне найдут наиболее совместимые генетически. Уже подобрали пару отличных еврейских глаз.

– Что, точно?

– Да нет, шучу. Не знаю.

– Хорошо станет, когда ты будешь ясно видеть, – проговорил Ноах, и впервые Эстер услыхала в его голосе хрипотцу, как у гобоя, первый надлом.

– Слушай, у тебя есть запись «Сатьяграхи»? Я хочу послушать.

Оба, и брат и сестра, разделяли страсть к опере двадцатого века.

– Не вижу в этом игры ума, – заявил Ноах голосом отца. – Полное безмыслие.

– Ага, – согласилась Эстер. – И все на санскрите.

Ноах включил запись с последнего акта. Они вслушивались в высокий и чистый голос тенора, выпевающий летящие ноты – все выше, выше, как горные пики над облаками.

– Есть повод для оптимизма, – сказал врач.

– Что вы хотите сказать? – поинтересовалась Шошана.

– Что они ничего не гарантируют, Шо, – пояснил Изя.

– Почему?! Обещали, что это простая операция!..

– В обычном случае…

– А такие бывают?

– Да, – отрезал доктор. – Этот случай необычен. Операция прошла идеально. Подготовка – тоже. Но реакция пациентки позволяет предположить возможность – маловероятную, но все же – частичного или полного отторжения.

– Слепоты.

– Шо, ты знаешь, даже если она отторгнет эти трасплантаты, можно попробовать снова.

– Вообще-то электронные импланты могут оказаться функциональнее. Сохраняются зрительная функция и ориентация в пространстве. А для периодов бездействия зрения есть съемные сонары.

– Так что у нас есть поводы для оптимизма, – прошептала Шошана.

– Осторожного оптимизма, – уточнил доктор.

– Я позволила тебе сделать это, – сказала Шошана. – Позволила, а могла остановить.

Она выдернула руку и свернула в поперечный коридор.

Изе пора было в доки, давно пора, но, вместо того чтобы двинуться от Центра здоровья прямо вниз, он направился к самой дальней лифтовой шахте, через весь Городской ландшафт. Ему нужно было побыть одному, подумать. Одну даже операцию Эстер тяжело было перенести, а еще эта массовая истерия, и если Шошана теперь бросит его… Изе мучительно, страстно хотелось побыть в одиночестве. Не сидеть с Эстер, не говорить с докторами, не спорить с Шошаной, не идти на заседание комитета, не выслушивать, как истерики пересказывают свои галлюцинации, – только побыть в одиночестве, перед терминалом ЭМ, ночью, в покое.

– Только глянь, – произнес высокий мужчина, Лакснесс из ЭВАК, остановившись рядом с Изей и вглядываясь во что-то. – Что будет дальше? Как по-твоему, Розе, что творится?

Изя проследил за направлением его взгляда. Мальчишка переходил коридор-улицу от одного кирпично-каменного фасада к другому.

– Мальчишка?

– Да, господи, посмотри на них.

Ребенок уже ушел, а Лакснесс все смотрел, по временам

сглатывая, точно его тошнило.

– Мортен, он ушел.

– Должно быть, это из районов голода, – отозвался Лакснесс, не меняясь в лице. – Знаешь, в первые пару раз я думал, что это голографические проекции. Решил, что это кто-то вытворяет, – знаешь, может, у связистов крыша поехала или еще что.

– Мы исследовали эту возможность, – заметил Изя.

– Ты на их руки глянь. Господи!

– Мортен, там никого нет.

Лакснесс глянул на него:

– Ты ослеп?

– Там никого нет.

Лакснесс смотрел на него, точно сам Изя был галлюцинацией.

– Теперь мне кажется, что это наша вина, – сказал он, переводя взгляд на то, что мерещилось ему посреди площади. – Но что нам делать? Не знаю.

Внезапно он шагнул вперед и замер с тем разочарованным выражением, которое Изя привык уже видеть на лицах тех, чьи галлюцинации рассеивались.

Изя прошел мимо. Он хотел сказать что-нибудь Лакснессу, но не мог придумать что.

Проходя по коридору, он ощутил странное чувство – точно он проталкивается через некую субстанцию или, может быть, толпу, неощутимую, не мешающую идти. Только множество не-прикосновений к рукам, к плечам, как тысячи электрических уколов, дыхание в лицо, неощутимое сопротивление. Изя добрел до лифтов и спустился в доки. Кабина была переполнена, но Изя ехал в ней один.

– Привет, Изя. Видел уже привидения? – весело приветствовал его Эл Бауэрман.

– Нет.

– Я тоже. Даже неловко. Вот распечатка по моторному отделению, с новыми данными.

– Морт Лакснесс только что бредил в Городском. Вот уж кого не назвал бы истериком.

– Изя, – укорила его Ларейн Гутьеррес, помощник механика, – при чем тут истерика? Эти люди здесь.

– Какие люди?

– С Земли.

– Мы все, сколько я помню, с Земли.

– Я о тех людях, которых все видят.

– Я не вижу. Эл не видит. Род не…

– Видел уже, – пробормотал Род Бонд. – Не знаю. Это бред

какой-то, Изя, я знаю, но эта толпа, которая вчера заполонила коридор Пуэбло, – я знаю, через них можно пройти, но все их видят – они точно стирали белье и полоскали в реке. Вроде старой ленты по антропологии.

– Массовый психоз…

– …Ничего общего с этим не имеет, – отрезала Ларейн. В голосе ее прорезались визгливые нотки. «Она выходит из себя, – подумал Изя, – стоит с ней не согласиться». – Эти люди здесь, Изя. И с каждым днем их все больше.

– Итак, станция полна настоящих людей, сквозь которых можно пройти насквозь?

– Хороший способ избавиться от тесноты, – с застывшей улыбкой подтвердил Эл.

– И то, что видите вы, реально, даже если я этого не вижу?

– Не знаю я, что ты видишь, – огрызнулась Ларейн. – И не знаю, что тут настоящее. Я знаю, что они – здесь. Не знаю, кто они; может, это мы выясним. Те, кого я видела вчера, были из какого-то примитивного народа, все в шкурах, но они были даже красивы – люди, конечно, а не шкуры. Не изголодавшиеся и очень внимательные, наблюдательные такие. Мне показалось даже, что не только мы их, а и они нас видят, но в этом я не уверена.

Род согласно кивал:

– Ага, а потом вы с ними разговаривать начнете. Привет, ребята, добро пожаловать на ОСПУЗ.

– Пока что, если подойти, они куда-то пропадают, но к ним можно приблизиться все больше, – серьезно ответила Ларейн.

– Ларейн, – медленно проговорил Изя, – ты сама себя слышишь? Род? Слушайте, если я приду и скажу: «Эй, ребята, знаете что, тут трехголовый пришелец телепортировался с летающей тарелки, так что…» Что? Вы его не видите? Ларейн, не видишь? Род? Не видите? А я вижу! И ты видишь, Эл, правда? Видишь трехголового пришельца?

– А как же, – ухмыльнулся Эл. – Маленького и зелененького.

– Вы нам верите?

– Нет, – ответила Ларейн сердито. – Потому что вы врете. А мы – нет.

– Тогда вы сошли с ума.

– Отрицать то, что я и все остальные видим своими глазами, – вот это безумие.

– Эй, онтологические споры, конечно, жутко интересны, – прервал их Эл, – но нам уже двадцать пять минут как следовало заняться отчетом по моторному отсеку.

Той ночью, работая за терминалом, Изя вновь ощутил мягкое электрическое покалывание в руках, стеснение, шепоток за

пределом слышимости, запах пота, а может, мускуса или человеческого дыхания. Он стиснул голову руками, потом поднял взгляд к терминалу электронного мозга и пробормотал, словно обращаясь к нему: «Не допусти этого. У нас нет другой надежды».

Но экран был пуст, а недвижный воздух – лишен запаха.

Изя еще поработал немного, потом отправился спать. Его жена лежала рядом в ночной тишине – и все же дальше самых далеких планет.

А Эстер лежала в больнице, в вечной тьме. Нет, не вечной. Временной. Целительной тьме. Она будет видеть.

– Что ты делаешь, Ноах?

Мальчик стоял у кухонной мойки, зачарованно глядя на стоящую в раковине воду.

– Смотрю на золотых рыбок, – ответил он. – Их выплюнуло из крана.

– Вопрос заключается в следующем: до какой степени концепция иллюзии может описать интерактивную сцену, воспринимаемую совместно несколькими наблюдателями?

– Ну, – заметил Хайме, – сама интерактивность может быть частью иллюзии. Вспомним Жанну д'Арк и ее голоса.

Но в его собственном голосе не было убежденности, и Елена, ставшая лидером Аварийного комитета, задала резонный вопрос:

– Может, еще пригласим наших гостей на это заседание?

– Стойте, стойте, – перебил ее Изя. – Вы говорите «воспринимаемую совместно». Но она же не воспринимается совместно. Я ее не вижу. Есть и другие, кто не видит. Так на каком основании вы объявляете ее совместной? Если эти фантомы, эти «гости» неощутимы, исчезают при приближении, беззвучны, так они не гости, а привидения, а вы отбрасываете рассудок и…

– Изя, прости, конечно, но ты не можешь отказывать им в существовании из-за того, что не можешь их воспринимать.

– А что, может существовать более веское основание?

– Но ты отказываешь нам в праве на том же основании утверждать их реальность.

– Основанием для оценки галлюцинаторного бреда является отсутствие галлюцинаций у наблюдателя.

– Так зови их галлюцинациями, – посоветовала Елена. – Хотя мне больше нравятся «призраки». Возможно, оно и точнее. Но мы не умеем сосуществовать с призраками. Нас этому не учили. Так что обучаться придется по ходу дела – поверьте мне, придется. Они никуда не пропадают, они здесь, и даже наше «здесь» меняется. Если захочешь, Изя, ты можешь быть очень полезен нам

именно тем, что не видишь ни наших… гостей, ни перемен. Но мы, видящие, должны выяснить, как и откуда они берутся. И если ты будешь слепо отрицать их существование, ты просто ставишь нам палки в колеса.

– Кого боги хотят уничтожить, – произнес Изя, вставая из-за стола, – того они лишают разума.

Остальные молчали, смущенно опустив глаза. Комнату он покинул в тишине.

По коридору СС бежала, смеясь и хохоча, толпа людей.

– К перекрестку их, к перекрестку! – вопил здоровяк пилот-инженер Стирнен, размахивая руками, точно погоняя кого-то.

– Это бизоны! – кричала женщина. – Бизоны! Гоните их по коридору С, там места больше!

Изя шел прямо и смотрел только перед собой.

– У входа вырос вьюн, – сказала Шошана за завтраком так обыденно, что Изя на мгновение обрадовался, что они наконец-то могут поговорить как взрослые люди.

Потом до него дошло.

– Шо…

– И что я могу поделать, Изя? Чего ты хочешь? Чтобы я наврала тебе или промолчала, сказала, что ничего там не растет? Да вот она. По-моему, это красная фасоль. Она есть.

– Шо, фасоль растет в земле. На Земле. На ОСПУЗе земли нет.

– Знаю.

– Так как ты можешь знать это и отрицать?

– Все движется в обратную сторону, пап, – произнес Ноах новым, хрипловатым голоском.

– Как это?

– Вначале появлялись люди. Все эти жуткие старухи, калеки и прочие, помнишь? – а потом обычные люди. Затем пошли животные, а теперь вот растения и вещи. Мам, ты слыхала, что в Резервуарах видели кита?

Шошана рассмеялась:

– Нет, видела только коней в Общей ячейке.

– Красивые они были, – вздохнул Ноах.

– Я их не видел, – вымолвил Изя. – Никаких коней в Общей.

– Целый табун. Правда, к себе они не подпускают. Дикие, наверное. Там было несколько очень красивых, пятнистых. Нина говорит, они называются «аппалуза».

– Я не видел коней, – прошептал Изя, стиснул голову руками и разрыдался.

– Эй, пап, – услышал он голос Ноаха, а потом Шошаны:

– Все хорошо. Ничего. Ничего. Иди в школу. Все хорошо,

дорогой.

Зашипела дверь.

Руки Шошаны приглаживали его волосы, массировали плечи, чуть встряхивая, чуть покачивая.

– Все хорошо, Изя…

– Нет. Нет. Нехорошо. Все не так. Мир сошел с ума. Все рухнуло, все разрушено, разбито, испорчено. Все не так.

Шошана долго молчала, растирая мужу плечи.

– Мне страшно, когда я думаю об этом, Изя, – призналась она наконец. – Это сверхъестественно, а я не верю в сверхъестественное. Но если я перестаю думать умными словами, если я просто смотрю, смотрю на людей и… и коней, и фасоль у двери… все обретает смысл. Как мы подумали, как мы могли подумать, что можем уйти от всего этого? Что мы о себе возомнили? Мы привезли с собой все, что мы есть, коней, и китов, и старух, и больных детей. Они – это мы, мы – это они, и все мы здесь.

Изя помолчал чуть-чуть и глубоко вздохнул.

– Вот-вот, – горько прошептал он. – Не сопротивляйся. Прими необъяснимое. Веруй, потому что нелепо. Да кому нужно это понимание? Кому это интересно? Мир куда осмысленней, если не пытаться в нем разобраться. Может, нам всем стоит сделать себе лоботомию? Тогда жизнь точно стала бы проще.

Шошана отпустила его плечи.

– А после лоботомии поставим себе электронные мозги, – подхватила она. – И переносные сонары. Чтобы не натыкаться на призраков. Думаешь, хирургия – ответ на все проблемы?

Изя обернулся, но она стояла к нему спиной.

– Я в больницу, – сказала она и ушла.

– Эй! Берегись! – кричали ему.

Изя не знал, сквозь что он идет, по мнению кричащих, – сквозь отару овец, сквозь толпу танцующих голых дикарей, сквозь болотистую топь – и ему было все равно. Он видел только Общую ячейку, коридоры, блоки.

Ноах пришел домой стирать майку – сказал, что, играя в футбол, извозился в грязи, покрывшей стерильную астропочву в Общей. А Изя шел по пластиковой траве и дышал стерильным профильтрованным воздухом. Он проходил сквозь двадцатиметровой высоты вязы и каштаны, а не между ними. Он добрался до лифта, нажал на кнопку и вышел к Центру здоровья.

– А Эстер сегодня утром выписали! – заявила улыбчивая медсестра.

– Выписали?

– Да. С самого утра пришла такая маленькая негритяночка с запиской от вашей жены.

– Можно глянуть?

– Конечно. Записка в ее истории, минутку…

Медсестра сунула ему записку. Почерк принадлежал не Шошане. Неровные буквы выводила Эстер, и на записке стояло его имя – «Исааку Розе». Изя развернул ее:

«Я пошла гулять в горы.
Люблю, твоя Эстер».

У дверей Центра здоровья Изя остановился и оглянулся. Коридоры шли направо, налево и прямо. Высота 2,2 метра, ширина 2,6 метра, стены бежевые, на сером полу цветные полоски. Синяя полоска заканчивалась у дверей Центра здоровья или начиналась там – смотря как считать, – но белые стрелки на синей полоске указывали в сторону Центра, так что линия все же заканчивалась там, где стоял сейчас Изя. Пол светло-серый, если не считать цветной разметки, совершенно гладкий, почти ровный, потому что здесь, на восьмом уровне, кривизна поверхности ОСПУЗа почти не ощущалась. Через каждые пять метров на потолке установлен панельный светильник. Изя знал все интервалы, все спецификации, все материалы и все швы. Он помнил их все. Он годами не мог выбросить их из головы. Он создал их. Он их спланировал.

Нельзя потеряться на ОСПУЗе. Все коридоры ведут к знакомым местам. Достаточно следовать стрелкам на цветных линиях. Если даже ты пройдешь всеми коридорами, проедешь всеми лифтами, ты не сможешь затеряться и окажешься там, откуда начал путь. И ты не споткнешься на этом пути, потому что все полы – из полированного металла, выкрашенного светло-серой краской, а на ней – цветные полоски и белые стрелки, ведущие тебя к желанной цели.

Изя сделал два шага и, споткнувшись, полетел кувырком. Под руками он ощутил нечто шершавое, неровное, острое. Сквозь гладкий металлический пол пробивался камень – темный, серо-бурый с белыми жилками, истрескавшийся и бугристый. Под пальцами Изи рос клочок желтоватого лишайника. Правая ладонь болела; Изя поднял руку, чтобы посмотреть, – он содрал кожу при падении. Он слизнул выступившую капельку крови, потом, сидя на корточках, глянул на камень, потом дальше, вдоль коридора. И не увидел ничего, кроме стен. Но ему не нужно ничего, кроме камня, пока он не найдет ее. Камень и вкус собственной крови. Изя встал:

– Эстер!

Эхо слабо заметалось по коридору.

– Эстер! Я не вижу! Научи меня видеть!

Ответа не было.

Он двинулся в путь, осторожно обойдя валун и так же осторожно продвигаясь дальше. Путь был долог, и Изя все боялся сбиться с дороги. Он уже не знал, куда бредет, только ощущал, что склон под ногами становится все круче, а воздух – все холоднее и разреженней. Он уже ничего не знал. Только услыхав резкий голос матери: «Исаак, ты что, заснул?» – он обернулся. Мать сидела рядом с Эстер на гранитном уступе у пыльной тропы. За ними, по другую сторону воздушной бездны, под ярким горным солнцем сверкали снежные пики. Эстер глянула на отца ясными черными глазами и промолвила:

– Ну вот. Теперь можно и спускаться.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА СЕВЕРНУЮ СТЕНУ [52]

Из дневника Саймона Интертвайта, первая экспедиция на Лавджой-стрит

21.02. Роберт с пятью шербетами достиг Базового лагеря. Привез несколько экземпляров «Таймс» месячной давности, которые мы жадно проглотили. Теперь все в сборе. Завтра выходит разведывательный отряд. Погода держится.

22.02. Сопровождали разведотряд до кол. у Веранды, потом вернулись. Ветер порывами до 40 миль в час, но погода все еще держится. Сегодня Питер радировал из лагеря на Веранде, что все хорошо.

23.02. Подготовка. Препоясываем чресла. Погода держится.

24.02. За один день с легкостью достигли лагеря на Веранде. Тяжело пришлось там, где сходятся решетка, язычок и бороздка, но разведывательный отряд оставил веревку, и мы забрались на карниз без особых трудностей. Ому Ба преодолел пропасть одним прыжком. Изобретателен, но никакой дисциплины. Дурной пример другим шербетам. В лагере на Веранде куда удобнее, чем в Базовом, – сухо, укрыто от ветра, местность ровная. Все счастливы вырваться из бесконечных рододендронов. Ночью шел снег.

25.02. Застряли в снегу.

26.02. То же.

27.02. То же. Покончили с последними страницами «Таймс» (объявления).

28.02. Дерек, Найджел, Колин и я вышли в слепящий буран, чтобы продолжить тропу и вбить вешки. Видимость близка к нулю. Найджел скулит. К полудню повернули назад, лагеря на Веранде достигли в три пополудни.

29.02. Снег с дождем и ветер. Ому Ба пьян с 27.02. Что пьет? Обнаружена недостача денатурата для плитки. Изобретателен, но никакой дисциплины. Взыскание в настоящий момент невозможно.

30.02. Роберт вскарабкался до самого Северо-восточного карниза, но был вынужден отступить из-за ужаса шербетов перед жильцами. Непреодолимое суеверие. Придется отказаться от первоначального плана и двигаться прямо к Водостоку. Мы не продержимся долго в этом лагере, в тесноте, без газет. В нашей палатке не хватает места для шестерых, а шестнадцать шербетов

в своей устраивают нескончаемые драки. Теперь я понимаю, что отряд неоправданно раздут, пусть даже многие его члены не превышают ростом 5 футов 2 дюймов. Десятерых хорошо подобранных альпинистов было бы достаточно. Весь день видимость нулевая. Снег, дождь, ветер.

31.02. Снег с дождем, слякоть, туман. Трое шербетов пропали.

1.03. Кончились бульонные кубики. Дерек совсем опал.

4.03. Из-за бурана пропустил несколько дней. Сегодня яркое солнце, ветра нет. Снег на нижних склонах ослепительно блестит. Вершины из лагеря не видны. Вернулись из необъяснимой отлучки шербеты с консервами. Настроение отличное. Откапываемся, готовимся к завтрашнему подъему (двумя группами).

5.03. Наконец-то! Мы достигли Крыши Веранды! Вид – ошеломляющий. На Ю-В ясно просматривается недоступная вершина 2618-го. Вторая группа (Питер, Роберт, восемь шербетов) еще не дошла. Разбили лагерь на голом, открытом, очень крутом склоне. Черепица оледенела; очень скользко.

6.03. Найджел и двое шербетов вернулись к Северному краю, чтобы встретить вторую группу. Вернулись к 16.00, когда поиски не дали результатов. Группа, видимо, задержалась в лагере на Веранде. Волнуемся. Радио молчит. Поднимается ветер.

7.03. Колин растянул плечевые связки, когда карабкался к Окну. Идиотская, нелепая выходка. Есть ли жильцы на месте или нет, шербеты опасаются их беспокоить. Ни следа второй группы. Радио выдает загадочные сигналы, постоянные помехи от канала кантри-музыки KWJJ. Ветрено, однако ясная погода держится.

8.03. Если погода продержится, выступаем завтра. Чиним крепы, заменяем поношенные крепления костылей. Шербеты уклончивы.

9.03. Я один на Крыше.

Никто более не согласился продолжить подъем. Колин и Найджел будут ждать меня три дня в лагере на Крыше Веранды. Дерек и четверо шербетов начали спуск к Базовому лагерю. Я вышел с двумя шербетами в 05.00. Прекрасный восход наблюдался на востоке в 07.04. Поднимались весь день. Особенно тяжело на последнем карнизе. Шербеты удивительно храбры. Ому Ба, раскачиваясь на веревке, заметил: «Смотрите, какой вид, сар!» Добрались до Крыши совершенно измученные, но трое шербетов, посланные вперед, уже установили палатки и приготовили консервы. Склон так крут, что я боюсь скатиться во сне!

Шербеты поют в своем шатре.

Надо мной маячит вершина, и Труба закрывает звезды.

Это последняя запись в дневнике Саймона Интертвайта. Четверо из пяти шербетов, бывших с ним на Крыше, вернулись три дня спустя в Базовый лагерь, неся с собой дневник, две чистые манишки и банку анчоусного паштета. Рассказы их о судьбе Интертвайта сбивчивы и неясны. Отряд оставил попытки взобраться по Северной стене дома номер 2647 по Лавджой-стрит и вернулся в Калькутту.

В 1980 году отряд работников японской корпорации «Изуцу» с четырьмя проводниками-шербетами достиг вершины через Северную стену, вскарабкавшись по краю мансардных окон, для чего им пришлось вгонять костыли в оконные рамы. Протесты жильцов не возымели действия.

По Трубе еще не поднялся никто.

КАМЕНЬ, ИЗМЕНИВШИЙ МИР [53]

Камень, изменивший мир, нашла нюроблa по имени Бу, копавшаяся вместе со всей бригадой в отвалах Облинг-колледжа.

Там, где живут облы, камней много. Их приносит река, и вдоль берегов на многие мили лежат россыпи валунов, булыжников, камушков, галек и песчинок. Из камня построены города облов, а на праздники они подают мясо скальных коников. Их нюроблы собирают и готовят в пищу каменку и лишайник, строят дома и колледжи, а главное - приводят все в порядок, потому что облы не выносят беспорядка и, видя его, нервничают и печалятся.

Сердце городка облов - его колледж, а гордость каждого колледжа - его террасы, ступенями сходящие к реке от высоких каменных зданий. Камни террас расположены согласно размеру: внешние стены сложены из валунов, внутри от них лежат булыжники, потом горки камушков, а на внутренних террасах выложены из гальки хитроумные мозаики и узоры. Долгими, жаркими днями облы гуляют по террасам или сидят, покуривая трубки из мыльного камня, набитые листом та, и обсуждают вопросы истории, естественной истории, философии и метафизики. И пока камни разложены по размеру и форме, а узоры подметены и ничем не нарушены, облы могут размышлять в душевном покое. А когда разговоры закончены, мудрейшие старые облы входят в колледж и записывают самые мудрые из высказанных мыслей в Книги летописей, аккуратно выставленные на полках библиотек.

Когда река разливается ранней весной и затапливает террасы, ворочая камни, смывая гальку и вызывая великий беспорядок, облы сидят в колледжах. Там они читают Книги летописей, обсуждают, делают заметки, планируют новые узоры для террас, едят мясо и курят. Их нюры готовят, прислуживают на пирах и прибираются в комнатах колледжа. А как только вода схлынет, нюры принимаются перебирать камни и восстанавливать террасы. Они очень торопятся, потому что оставленный половодьем беспорядок заставляет облов нервничать, а когда облы нервничают, они бьют и насилуют нюр еще больше обычного.

Весенний разлив в тот год развалил валунную стену города Облинг, оставив на террасах уйму плавника, веток и прочего мусора и нарушив, а то и погубив вовсе множество узоров.

Террасы Облинг-колледжа славились совершенным порядком, сложностью и красотой своих галечных мозаик. Знаменитые облы годами создавали эту узоры и подбирали камни; один великий художник, Акнегни, как говорили, собственными руками доводил до совершенства свое творение. Если из такого узора пропадала хоть одна галька, нюроблы целыми днями выискивали в отвалах замену совершенно тех же размеров и формы. Вот этим-то и занималась нюробла по имени Бу вместе со своей бригадой, когда наткнулась на камень, изменивший мир.

При поисках камней на замену пропавшим отвальные нюры часто делают грубое подобие поврежденного участка мозаики, чтобы проверять, годится камень или нет, не возвращаясь на внутренние террасы. Бу как раз приладила очередной камушек к узору и прикидывала, подходит он по размеру и форме или нет, когда ее вдруг поразило качество камня, на которое она раньше никогда не обращала внимания: цвет. Все камушки в этой части узора были овальными, полторы ладони в длину и ладонь с четвертью в ширину. Положенный Бу камень был совершенным овалом нужного размера и лег в узор как нельзя лучше; но если прочие гальки были темные, сизо-серые, чуть зернистые, то новая сияла ярким иссиня-зеленым цветом с травянистыми пятнышками.

Бу знала, конечно, что цвет камня не имеет совершенно никакого значения - тривиальное, случайное качество, никоим образом не влияющее на истинный узор. И все же иссиня-зеленый камень наполнил ее душу странным удовлетворением. "Камень красивый", - подумала она. И смотрела нюра не как положено - на узор целиком, а лишь на один-единственный камень, чей цвет так оттенялся тусклыми оттенками остальных. Странные чувства, странные мысли рождались в ее голове. "Этот камень важный, - подумала она. - Он значащий. Он - слово". Она подобрала камень и, держа его в руке, еще раз посмотрела на узор.

Оригинал узора, тот, что красовался на террасе, назывался Декановым, потому что эту часть террас планировал лично декан колледжа Фестл. Когда Бу выдернула камень из узора, он все еще притягивал взгляд странным цветом, отвлекал от узора, но значения в нем она уже не видела.

Бу отнесла иссиня-зеленый камень к нюру - начальнику отвала и спросила, не видит ли тот чего-то странного, или необычного, или неправильного в этом камушке. Начальник задумчиво глянул на гальку и отрицательно открыл все глаза.

Бу отнесла камень на внутренние террасы и вложила в настоящий, правильный узор. Он идеально подходил для Декановой мозаики - и по размеру, и по форме. Но, отступив,

чтобы полюбоваться узором, Бу решила, что ее камень вовсе не относится к Декановой мозаике. Не то чтобы он нарушал ее гармонию; он просто завершал узор, которого Бу раньше и не замечала вовсе, - узор цвета, совершенно не соотносившийся с распределением по размеру и форме. Новый камень завершал спираль иссиня-

зеленых камней на поле переплетенных ромбоидов, сложенных из овалов, в центре Фестлова узора. Большую часть иссиня-зеленых камней положила в последние годы сама Бу, но спираль была начата какой-то другой нюрой, прежде чем Бу повысили до смотрительницы Декановой мозаики.

Тут на весеннее солнышко вышел сам декан Фестл, с ржавым ружьем на плече и трубкой в зубах. Он был очень рад видеть, что беспорядок наконец исправлен, - этот добрый старый обл, который никогда не насиловал Бу, хотя часто похлопывал ее по мягким частям. Бу собралась с силами, опустила глаза и прошептала:

- Господин декан, сударь. Не будет ли господин декан в своей мудрости так добр, чтобы объяснить мне словесное значение той части истинного узора, которую я только что починила?

Декан Фестл замер на полушаге, немого рассерженный тем, что его размышления так некстати прервали, но увидев, что юная нюра так искренне кланяется и прячет все свои глаза, смягчился, потрепал ее по голове и ответил:

- Конечно. Этот участок моего узора гласит, на простейшем уровне: "Я красиво размещаю камни" или "Я размещаю камни в идеальном порядке". Есть еще, разумеется, имманентное поствербальное значение на высших плоскостях разума, а также Несказанные Премудрости, но тебе не стоит забивать этим свою головку!

- Возможно ли, - очень скромно пробормотала нюра, - найти значение в цветах камней?

Декан снова улыбнулся и потрепал ее не только по голове.

- Чего только не придет нюре в голову! Цвета! Значение красок! Беги лучше, нюрблиточка. Ты очень хорошо поработала здесь. Все так ровно и красиво.

И декан ушел, попыхивая трубочкой и наслаждаясь весенним солнышком.

Бу вернулась на отвалы, перебирать камни, но беспокойство не оставляло ее. Ночами ей снился сине-зеленый камень. Во снах он говорил, и ему отвечали другие камни в узорах. Только вот, проснувшись, Бу никак не могла припомнить слов.

Нюры вставали до солнца; Бу поговорила с несколькими согнездниками и сослуживцами, пока те кормили и чистили

блитов и торопливо завтракали холодным жареным лишайником.

- Пойдемте на террасы, - сказала Бу, - пока облы не встали. Я хочу кое-что вам показать.

Друзей у Бу было много, так что на террасы за ней последовали восемь или девять нюров, а некоторые взяли с собой грудных или ползунковых блитов. "Что-то новенькое взбрело этой Бу в голову!" - болтали они, посмеиваясь.

- Теперь смотрите, - сказала Бу, когда все собрались на той части внутренних террас, что спланировал декан Фестл. - Смотрите на узоры. Смотрите на цвета камней.

- Цвета ничего не значат, - заметил один нюр.

- Цвета в узор не входят, Бу, - проговорил другой.

- А если бы входили? - парировала Бу. - Смотрите!

И нюры, привыкшие молчать и повиноваться, посмотрели.

- Надо же! - воскликнул один из них спустя пару минут. - Вот так чудеса!

- Только гляньте! - сказал Ко, лучший друг Бу. - Через весь Деканов узор проходит сине-зеленая спираль! А вон пять красных железняков вокруг желтого песчаника - точно лепестки.

- А весь этот участок бурого базальта - он пересекает… настоящий узор, да? - спросила маленькая Га.

- Он составляет новый узор. Другой, - ответила Бу. - Может, даже имманентный и несказуемый.

- Да ну тебя, Бу, - фыркнул Ко. - Ты у нас что - профессор?

Все посмеялись, но Бу слишком разнервничалась, чтобы понять, как нелепо себя ведет.

- Нет, - ответила она, - но ты глянь на тот сине-зеленый камень, последний в спирали.

- Змеевик, - поправил Ко.

- Я знаю. Но если Деканов узор что-то означает - а декан сам сказал, что эта часть значит "Я красиво укладываю камни", - может, сине-зеленый камень есть другое слово? С другим значением?

- Каким значением?

- Не знаю. Думала, ты мне скажешь. - Бу с надеждой глянула на Уна, пожилого нюра. Он охромел еще в юности, во время обвала, но так здорово наловчился ровнять мелкие узоры, что облы оставили его в живых.

Ун поглядел на сине-зеленый камень, потом на спираль из сине- зеленых камней и наконец медленно проговорил:

- Быть может, это значит: "Нюра раскладывает камни".

- Какая нюра? - поинтересовался Ко.

- Бу, - ответила малышка Га. - Это она положила тот камень.

Бу и Ун широко открыли глаза, показывая "нет".

- Узоры вообще не говорят о нюрах! - воскликнул Ко.

- Может, цветные узоры говорят, - предположила Бу, быстро-быстро моргая от возбуждения.

- "Нюра", - прочел Ко, следуя за сине-зеленой кривой всеми тремя глазами, - "нюра раскладывает камни прекрасно в неуправляемой кривизне" - надо же, как закручено! - "в неуправляемой кривизне пред…" чего-чего? А, вот, - "предвосхищая видимое".

- Видение, - поправил Ун. - Видение… последнее слово мне незнакомо.

- И вы видите это все в цветах камней? - спросила пораженная Га.

- В цветных узорах, - ответила Бу. - Они не случайны. Не бессмысленны. Все это время мы не просто укладывали камни в узоры, придуманные облами и сделанные нами, но и творили свои узоры, нюрские узоры, со своими значениями. Смотрите же, смотрите!

И привычные к молчанию и повиновению нюры замерли, глядя на узоры нижних террас Облинг-колледжа. Они видели, как из сложенных по размеру и форме камней и галек складываются квадраты, прямоугольники, треугольники, многоугольники, зигзаги и прочие фигуры величественной красоты и большой значительности. А еще они видели, как цвета камней складываются в иные узоры, менее совершенные, подчас только лишь намеченные - круги, спирали, овалы и сложные криволинейные фигуры и лабиринты великой и непредсказуемой красоты и большой значительности. Там широкая петля белых кварцитов пересекала параллельные прямые из ромбов в четверть ладони; здесь раздел ромбоидов в пол-ладони становился частью огромного полумесяца из бледного-желтого песчаника.

Оба узора существовали совместно - уничтожали они друг друга или складывались? Если постараться, можно было видеть одновременно оба.

- Неужели мы сделали это все, даже не зная, что творим? - спросила малышка Га после долгой паузы.

- Я всегда следил за цветами камней, - тихо признался Ун, глядя в землю.

- Я тоже, - проговорил Ко. - И на фактуру тоже. Это я начал вон ту загогулину в Хрустальных Углах. - Он указал на очень древний и славный участок террас, распланированный еще великим Охолотлем. - В прошлый год, после большого разлива, когда столько камней унесла вода, - помните? - я принес аметисты из пещеры Уби. Люблю лиловый! - Он вызывающе огляделся.

Бу смотрела на кружок гладких бирюзовых галек, притулившийся в углу системы переплетающихся прямоугольников.

- Мне нравится сине-зеленый, - прошептала она. - Мне нравится сине-зеленый. Ему нравится лиловый. Мы видим цвета камней. Мы создаем узоры. Наши узоры прекрасны.

- Может, стоит сказать профессорам? - предложила малышка Га. - Может, они нам дадут еще еды?

Старый Ун широко открыл все свои глаза.

- Даже слова сболтнуть не вздумай! Профессора не любят, когда узоры меняются. Ты же знаешь, они тогда страшно нервничают. Может, они разнервничаются и нас накажут.

- Мы не боимся, - прошептала Бу.

- Они не поймут, - сказал Ко. - Они не смотрят на цвета. Они не слушают нас. А если бы и слушали, сказали бы, что нюрья болтовня ничего не значит. Разве нет? А я пойду в пещеры, принесу еще аметистов и закончу свою завитушку. - Он указал на Хрустальные Углы, где работы пока не начинались. - Они даже не заметят.

Маленький блитик, сын Га и профессора Эндла, выкапывал гальки из Вышнего Треугольника; пришлось его отшлепать.

- Ох, ну он и облблит! - вздохнула Га. - Что мне только с ним делать?

- В следующем году пойдет в школу, - сухо ответил Ун. - Там с ним разберутся.

- А что мне без него делать? - спросила Га.

Солнце поднялось уже высоко, и профессора выглядывали из окон своих спален. Им бы не понравилось, что нюры бездельничают, а уж маленьких блитов на террасы и вовсе не допускали. Так что Бу и все остальные торопливо разошлись по гнездам и мастерским.

Ко в тот же день отправился в пещеру Уби вместе с Бу. Вернулись они с мешками, полными аметистов, и несколько дней трудились, довершая завитушку, которую назвали Лиловые Волны, при починке Хрустальных Углов. Ко был счастлив; он пел за работой, шутил, а ночами они с Бу занимались любовью. Но Бу оставалась задумчива. Она все изучала цветные узоры на террасах и, чем дальше, тем больше находила незримых мозаик, полных идей и значений.

- И все они о нюрах? - спрашивал старый Ун. Артрит не позволял ему подниматься на террасы, но Бу всякий вечер докладывала ему о своих открытиях.

- Нет, - отвечала Бу, - все больше о нюрах и облах вместе. И о блитах тоже. Но делали их нюры. Так что узоры совсем другие.

Узоры облов никогда нюров не касаются - только самих облов и того, что делают облы. А когда начинаешь читать цвета, такие интересные вещи видятся!

Бу была так многословна и убедительна, что другие нюры Облинга принялись изучать цветные узоры и читать их значения. Практика эта перекинулась на другие гнезда, а потом и на другие города. Вскоре нюры вдоль всей реки узнали, что их террасы полны удивительных многоцветных мозаик и поразительных записей о нюрах, облах и блитах.

Многих нюров, однако, сама идея выводила из себя. Они упорно отказывались различать цветные узоры или признавать, что цвет камня может иметь хоть какое-то значение. "Облы уверены, что мы ничего не изменим, - говорили эти нюры. - Мы их нюроблы. Они полагаются на нас, надеясь, что мы будем поддерживать в порядке их узоры, и успокаивать блитов, и сохранять спокойствие, чтобы они могли заниматься важной работой. Если мы начнем изобретать новые значения, менять привычки, нарушать узоры - чем это все кончится? Это просто нечестно по отношению к облам!"

Но Бу таких речей слушать не желала. Жар открытий переполнял ее. Она уже не слушала молча - она говорила. Она говорила, бродя от мастерской к мастерской. А однажды вечером, набравшись храбрости и повесив на шею шнурок с кусочком бирюзы, который она называла своим собственным камнем, Бу поднялась на террасы. Пройдя меж пораженных профессоров, она добралась до Ректорской мозаики, где прогуливалась и медитировала ректоресса Астл, знаменитая ученая, закинув за плечо старинную винтовку и пуская клубы дыма из трубки. Даже старший профессор не осмелился бы потревожить ректоressу в такое время. Но Бу направилась прямиком к ней, поклонилась, прикрыла глаза и голосом дрожащим, но ясным произнесла:

- Госпожа ректоресса, сударыня! Не будет ли госпожа ректоресса так добра и не ответит ли на мой вопрос?

Ректоressу такое неуважение к обычаям немало рассердило и расстроило.

- Эта нюра безумна, - обратилась она к ближайшему профессору. - Уберите ее, пожалуйста.

Бу отправили на десять дней в тюрьму, чтобы студенты насиловали ее, когда вздумается, а потом еще на сто дней в каменоломни, добывать сланец.

Когда Бу вернулась в гнездо, она исхудала от тяжелой работы и была в тяжести после одного из изнасилований, но бирюзовой гальки не потеряла. Согнездники и сослуживцы приветствовали ее песнями, слова которых прочли в цветных узорах террас. А Ко

той ночью успокоил ее нежностью и сказал, что ее блит - его блит, а его гнездо - ее гнездо.

А несколько дней спустя Бу прошла в колледж (через кухню) и пробралась (при пособничестве нюр-служанок) в комнату каноника.

Каноник Облинг-колледжа был очень стар и славился среди облов знанием метафизической лингвистики. Просыпался он по утрам медленно. Вот и тем утром он просыпался медленно и с некоторым недоумением воззрился на нюру-служанку, пришедшую раздвинуть занавеси и подать завтрак. Вроде бы служанка сменилась… Обл потянулся бы за ружьем, да еще не проснулся как следует.

- Привет, - прошептал он. - Ты новенькая, да?

- Я хочу, чтобы вы ответили на мой вопрос, - сказала нюра.

Тут каноник совсем проснулся и пристально всмотрелся в поразительное создание.

- Имей совесть хоть глаза прикрыть, нюра! - воскликнул он, хотя не был, в сущности, особенно зол. Он был так стар, что позабыл почти все обычаи, а потому нарушение их его уже мало беспокоило.

- Никто другой не может ответить мне, - пояснила нюра. - Скажите, прошу вас, может ли быть словом в узоре сине-зеленый камень?

- О да, конечно! - ответил каноник, напрягаясь. - Хотя, конечно, цветовые словознаки давно отошли в прошлое. Представляют чисто археологический интерес для таких старых шутников, как я, ха. Цветослова не встречаются даже в самых архаичных узорах. Лишь в древнейших Книгах летописей.

- А что он значит?

Каноник подумал было, что спит, - надо же, обсуждать с нюрой историческую лингвистику до завтрака! - но сон был забавный.

- Сине-зеленый оттенок - как у того камня, что ты носишь вместо украшения, - может, будучи употребленным в прилагательной форме, придавать узору качество неограниченного своеволия. Как существительное этот цвет может означать… как бы это выразить?.. отсутствие принуждения, бесконтрольность, самостоятельность…

- Свобода, - проговорила нюра. - Это значит "свобода"?

- Нет, дорогая моя, - поправил ее каноник. - Значило. Но больше не значит.

- Почему?

- Потому что это понятие устарело, - ответил каноник. Необычный диалог начал его утомлять. - А теперь будь хорошей

нюрой: иди и напомни служанке, чтобы принесла мой завтрак.

- Выгляньте в окно! - выкрикнула безумноглазая нюра с такой страстью, что каноник даже испугался. - Гляньте на террасы! Посмотрите на цвета камней! Смотрите на узоры, сотворенные нюрами, мозаики, составленные нами, значения, нами данные! Смотрите, вот свобода! Смотрите, прошу вас!

С этой заключительной мольбой поразительное явление исчезло. Каноник лежал, глядя на дверь своей комнаты, и через пару секунд та отворилась. Вошла его привычная старая служанка, неся кувшин чая из каменки и горячий копченый лишайник.

- Доброе утро, господин каноник, сударь! - весело поприветствовала она его. - Уже проснулись? Чудесное утро!

Поставив поднос на столик у кровати, она раздернула занавеси.

- Сюда только что молодая нюра не заходила? - поинтересовался каноник нервно.

- Конечно, нет, сударь. По крайней мере, я не заметила, - ответила служанка. И в то же время бросила на него краткий, но прямой взгляд: неужто у нее наглости хватило посмотреть на него? Да нет, конечно. - Этим утром террасы так хороши. Вашей каноничности глянуть бы.

- Пошла вон, вон, - прорычал каноник, и нюра, прикрыв глаза и сделав книксен, вышла.

А каноник позавтракал в постели, потом поднялся и подошел к окну, чтобы глянуть на террасы колледжа в утреннем свете.

На мгновение ему показалось, что он спит. Ему виделись узоры, совсем не похожие на те, что он видел на этих террасах всю свою долгую жизнь: безумные сплетения цветов и линий, поразительные фразы, невообразимые понятия, красота и смысл удивительной новизны. Потом он широко открыл глаза, очень широко, и моргнул - видение исчезло. В утреннем свете лежал ясный, правильный, знакомый и неизменный узор террас. И больше ничего. Отвернулся от окна каноник и открыл книгу.

Поэтому он не видел, как длинная колонна нюроблов выходит из гнезд и мастерских за валунной стеной, как несут блитов, как танцуют, танцуют и поют на террасах. Пение он слышал, конечно, но принял за бессмысленный шум. И только когда первый камень выбил его окно, каноник поднялся и возмущенно воскликнул:

- Это еще что значит?

КЕРАСТИОН [54]

Посвящается Руссель Сарджент,
которая изобрела этот инструмент

Малочисленная каста Кожевников являлась священной. Лудильщикам или Скульпторам, отведавшим приготовленную Кожевником пищу, грозил год очистительных процедур, а представителям более низких каст, таким, как Торговцы, следовало проводить церемонию омовения в течение целой ночи даже после обычной торговли кожевенными товарами. Когда Чумо исполнилось пять лет, она пошла к Поющим пескам и ночь напролет слушала там шепот ив. С тех пор, пройдя обряд подтверждения кастовой принадлежности, она носила крапово-красную с голубым рубашку Кожевника и камзол из полотна, сотканного на станке из ивового дерева. Спустя некоторое время Чумо создала шедевр кожевенного искусства и стала носить на шее ожерелье из высушенного ивового корня, украшенного резьбой — двойными линиями и двойными кругами, означающими звание Мастера Кожевника. И сейчас, одетая в соответствии с традициями касты, Чумо стояла среди ив, растущих вокруг погребальной площади. Девушка ожидала похоронную процессию, несущую тело ее брата, который нарушил закон и предал свою касту. Она стояла выпрямившись, молча, пристально глядя в сторону расположившейся на берегу реки деревни и слушая барабан.

Чумо не думала, ей не хотелось думать. Она вспоминала своего брата Кватева, продирающегося сквозь заросли тростника у реки, маленького мальчика — слишком маленького, чтобы принадлежать к касте, слишком маленького, чтобы обладать священными знаниями, — веселого маленького мальчика, выскакивающего из высоких тростников с криком: «Я горный лев!»

Серьезного маленького мальчика, который однажды, наблюдая за быстрым течением реки, спросил: «А вода когда-нибудь останавливается? Чумо, почему она не может остановиться?»

Пятилетнего мальчика, который, вернувшись из Поющих песков, бросился ей навстречу. «Чумо! Я слышал, как пел песок! Я слышал! Я должен стать Скульптором, Чумо!» Лицо Кватева светилось радостью, безумной, настоящей радостью.

Она не сдвинулась с места. Не раскрыла брату объятий. И тот, помрачнев, замедлил шаг и остановился. Чумо — всего лишь

его единоутробная сестра. Теперь он обретет истинных кровных родственников. Чумо и Кватева принадлежат к разным кастам. Больше никогда не коснутся они друг друга.

Десять лет спустя Чумо вместе с остальными горожанами пришла посмотреть на обряд подтверждения касты Кватева. Она хотела увидеть скульптуру из песка, которую брат построил на Великой равнине, где Скульпторы представляли свое искусство. Ни одно дуновение ветра еще не закруглило острые края и не сгладило прекрасные изгибы классической фигуры, которую Кватева выполнил с такой живостью и уверенностью, — Тела Амакумо. Стоя в стороне, среди представителей священных каст, Чумо увидела восхищение и зависть, светящиеся в глазах истинных братьев и сестер мальчика. Затем выступил один из Скульпторов и провозгласил, что подтверждающее касту произведение Кватева посвящается Амакумо. Когда голос говорившего затих, из северной пустыни налетел порыв ветра, ветра Амакумо, изголодавшейся владелицы сотворенной из песка фигуры Матери Амакумо, поедающей сейчас собственное тело, саму себя. За считанные мгновения ветер разрушил скульптуру, созданную Кватева. Вскоре она превратилась в бесформенную глыбу, и белый песок веером рассыпался по площади подтверждений. Красота вернулась к Матери. Скульптура была разрушена очень быстро и практически полностью, и в этом усматривалась большая честь для ее создателя.

Похоронная процессия приближалась. Чумо показалось, что до нее уже доносится бой барабана, тихий, не громче, чем сердцебиение.

Ее собственное подтверждающее касту творение было традиционным для женщины Кожевницы — кожа для барабана. Не для похоронного барабана, а для танцевального — громкая, яркая, с красным узором и кисточками.

«Кожа для барабана, символ непорочности!» — издевались над творением Чумо истинные братья и так и сыпали неприятными, надоедливыми шуточками. Но они не могли заставить девушку покраснеть. Кожевники никогда не краснеют. Они вне стыда. Изготовленный Чумо превосходный барабан, едва увидев, забрал с площади подтверждений старый Музыкант и играл на нем так часто, что яркая краска очень скоро стерлась, а красные кисточки потерялись, но кожа на барабане сохранялась всю зиму, до церемонии Роппи, и наконец лопнула во время ночных подлунных танцев, когда Чумо и Карва впервые соединили свои ритуальные браслеты. Всю зиму, слыша голос барабана, громкий и ясный, разносящийся по всей танцевальной площади, Чумо испытывала гордость. Она гордилась, когда кожа

на барабане лопнула, и преподнесла себя Матери; но все это было ничто по сравнению с гордостью, которая переполняла девушку при виде скульптур Кватева. Потому что любая хорошо сделанная работа или исполненная силы и могущества вещь принадлежит Матери. Если Мать возжелает прекрасное творение, то не станет ждать пожертвований и подношений, а просто возьмет то, что ей нравится. Поэтому ребенок, который умирает маленьким, называется Ребенком Матери. И красота

— самое святое из всего, что есть на свете, — принадлежит Матери. А потому все, что делается по подобию Матери, — делается из песка.

Сохранить свою работу, попытаться сберечь ее для себя, забрать у Матери ее тело… Кватева! Как ты мог, как мог ты, брат? Но Чумо, подавив в себе этот рвущийся наружу крик негодования и горя, молча стояла среди ив — деревьев, священных для ее касты, — и смотрела, как похоронная процессия движется между полями льна. Тень позора ложится на Кватева, а не на нее. Что такое стыд для Кожевника? Чумо чувствовала гордость, лишь гордость. Потому что сейчас именно ее произведение поднял к губам Музыкант Дасти, идущий впереди процессии, провожающей новый дух к могиле его тела.

Она, Чумо, сделала этот инструмент, керастион — флейту, на которой играют только на похоронах. Керастион сделан из кожи, дубленой человеческой кожи, кожи утробной, или предыдущей, матери умершего.

Когда два года назад умерла Векури, утробная мать Чумо и Кватева, Чумо как Кожевница заявила о своей привилегии. На похоронах Векури Дасти играл на старом, очень старом керастионе, который передавался из поколения в поколение еще от прапрабабушки, и, закончив играть. Музыкант положил керастион в открытую могилу на циновку, в которую было завернуто тело Векури. За день до этого Чумо сняла кожу с левой руки покойной, напевая песню о могуществе касты Кожевников, песню, в которой просила покойную мать вложить в изготавливаемый инструмент свой голос, свою мелодию. Чумо обработала кусок сыромятной кожи, натерла его специальными секретными снадобьями, а затем обернула вокруг глиняного цилиндра. Чтобы кожа затвердела, девушка смазывала ее маслом, совершенствуя форму до тех пор, пока глина не превратилась в порошок и не высыпалась из трубы, которую Чумо почистила, натерла, промаслила и разукрасила. Только самые могущественные, действительно не ведающие стыда Кожевники могли воспользоваться подобной привилегией — изготовить керастион из кожи собственной матери. И Чумо сделала это без

тени страха или сомнения. Во время работы она много раз представляла Музыканта, который идет во главе процессии и играет на флейте, провожая ее, Чумо, дух к могиле. Ей было интересно, кто из Музыкантов сыграет на керастионе и кто проводит ее в последний путь, примет участие в похоронной процессии. И никогда девушка не думала, что керастион будет играть для Кватева прежде, чем для нее самой. Как могла она подумать, что брат, такой молодой, умрет первым.

Кватева покончил с собой, не ведая стыда. Вскрыл вены на запястьях одним из инструментов, который сделал для резки камней.

Смерть его как таковая не являлась позорной, потому что у Кватева не оставалось иного выхода, кроме смерти. И не хватило бы никакого штрафа, омовения или очищения, чтобы искупить то, что он сделал.

Пастухи нашли пещеру, в которой Кватева хранил камни — огромные мраморные плиты, отколотые от стен пещеры. Из этого мрамора мальчик вырезал копии собственных песочных священных скульптур, изготовленных им к Солнцестоянию и Харибе, — скульптуры из камня, отвратительные, прочные, оскверняющие тело Матери.

Люди из касты Скульпторов разрушили молотками этих каменных чудовищных монстров, превратили в пыль и песок, которые сбросили в реку. Чумо думала, что Кватева одумается и примет участие в уничтожении оскверняющих Мать скульптур. А он пошел ночью в пещеру, острым ножом вскрыл вены и выпустил свою молодую кровь. Почему она не может остановиться, Чумо?

Музыкант уже поравнялся с Чумо, стоящей среди ив у погребальной площади. Дасти, старый и искусный Музыкант, шел, пританцовывая, словно парил над землей, в сопровождении тихого, как сердцебиение, барабанного боя. Провожая дух и тело, которое несли на носилках четверо внекастовых мужчин, Дасти играл на керастионе. Его губы едва касались кожаного мундштука, пальцы легко двигались, но инструмент не издавал ни звука. На флейте-керастионе не было клапанов, и оба ее конца закрывали бронзовые диски. Человеческим ушам не дано слышать звуки, издаваемые этим инструментом. До Чумо доносился лишь бой барабана и шелест северного ветра, перебирающего листья ивы. И только Кватева, лежащий на носилках в сплетенном из травы саване, слышал, какую мелодию играл для него Музыкант. И только Кватева знал, что это за песня — песня позора, горя или радости.

ИСТОРИЯ «ШОБИКОВ» [55]

Они встретились в порту Ве более чем за месяц до их первого совместного полета и там, назвав себя в честь своего корабля, как то делает большинство экипажей, стали «шобиками» Их первым совместным решением стало провести свой айсайай в прибрежной деревне Лиден, что на Хайне, где отрицательные ионы смогут делать свое дело.

Лиден — рыбацкий порт, чья история насчитывает восемьдесят тысяч лет, а живут в нем четыре сотни обитателей. Рыбаки кормятся добычей из богатого живностью мелководного залива, отправляют уловы в города на материке, а остальные ведут хозяйство курорта Лиден, куда приезжают отпускники, туристы и новые космические экипажи на время айсайай (это хайнское слово, означающее «совместное начало», или «начало совместного пребывания», или, в техническом смысле, «период во времени и область в пространстве, в пределах которых образуется группа, если ей суждено образоваться». Медовый месяц есть айсайай для двоих). Рыбаки и рыбачки Лидена выдублены погодой не хуже прибиваемого волнами плавника и столь же разговорчивы. Шестилетняя Астен, немного не поняв сказанное, как-то спросила одну из рыбачек, правда ли, что им всем по восемьдесят тысяч лет

— Нет, — ответила она

Подобно большинству экипажей, «шобики» общались между собой на хайнском Из-за этого имя одной из женщин экипажа, хайнки Сладкое Сегодня, имело и словесный смысл, поэтому поначалу всем казалось, что как-то глупо называть так крупную, высокую женщину лет под шестьдесят, с гордо посаженной головой и почти столь же разговорчивую, как деревенские жители Но, как выяснилось, под ее внешностью скрывается глубокий кладезь доброжелательности и такта, из которого можно при необходимости черпать, и вскоре звучание ее имени стало для всех совершенно естественным. У нее была семья — у всех хайнцев есть семьи: всевозможнейшие родственники, внуки, кузены и сородичи, рассеянные по всей Экумене, но в экипаже у нее родственников не имелось. Она попросила разрешения стать бабушкой для Рига, Астен и Беттона и получила согласие.

Единственным «шобиком» старше ее была терранка Лиди семидесяти двух экуменических лет, и роль бабушки ее не интересовала. Вот уже пятьдесят лет она летала навигатором, и знала о СКОКС-кораблях буквально все, хотя иногда забывала, что их корабль называется «Шоби», и называла его «Сосо» или

«Альтерра». И имелось еще нечто такое, чего ни она, ни кто-либо из них о «Шоби» не знали.

И они, как это свойственно людям, говорили о том, чего не знают.

Чартен-теория была главной темой их бесед, происходивших вечерами после обеда на пляже возле костра из выброшенного морем плавника. Взрослые, разумеется, прочли о ней все, что имелось, прежде чем добровольно вызвались в этот испытательный полет. Гветер же владел более свежей информацией и предположительно лучше разбирался в теории, но информацию эту из него приходилось буквально вытягивать. Молодой, всего двадцати пяти лет, единственный китянин в экипаже, гораздо более волосатый, чем остальные, и не наделенный способностью к языкам, он большую часть времени пребывал в обороне. Утвердившись во мнении, будто он, будучи анаррести, более искусен во взаимопомощи и более сведущ в сотрудничестве, чем остальные, он читал им лекции об их собственнических обычаях, но за свои знания держался крепко, потому что нуждался в преимуществе, которые они ему давали перед остальными. Некоторое время он отбивался сплошными «не»: не называйте чартен «двигателем», ибо это не двигатель; не называйте его «чартен-эффектом», потому что это не эффект. Тогда что же это? Началась длинная лекция, начинающаяся с возрождения китянской физики, последовавшего после ревизии шевековского темпорализма интер-валистами, и заканчивающаяся общим концептуальным описанием чартена. Все очень внимательно слушали, и наконец Сладкое Сегодня осторожно спросила:

— Значит, корабль станет перемещать идея?

— Нет, нет и нет, — ответил Гветер. Но следующее слово он выбирал так долго, что Карт задал вопрос:

— Но ведь ты, в сущности, вообще не говорил о каких-либо физических, материальных событиях или эффектах.

Вопрос был типично косвенным. Карт и Орет, гетенианцы, которые со своими двумя детьми были эмоциональным фокусом экипажа, его, по их выражению, «домашним очагом», происходили из теоретически не очень мыслительно одаренной субкультуры, и знали об этом. Гветер мог запросто заткнуть их за пояс своими китянскими физико-философско-техноразмышлизмами. Однажды он так и поступил. Акцент Гветера отнюдь не делал объяснения понятнее. Он снова заговорил о когерентности и метаинтервалах, а под конец воздев руки в жесте отчаяния, спросил:

— Ну кхак это можно сказать на кхайнском? Нет! Это не

физическое, это не не-физическое, это кхатегории, которые наше сознание должно полностью отвергать, и в этом вся суть!

— Бат-бат-бат-бат-бат, — негромко бормотала Астен, огибая полукруг сидящих у костра на широком сумеречном пляже взрослых. Следом за ней двигался Риг, тоже бормоча «бат-бат-бат-бат», но уже громче. Они были звездолетами, судя по их маневрам среди дюн и общению — «Вышел на орбиту, навигатор!» — но имитировали они шум моторов рыбацких лодок, выходящих в море.

— Я разбился! — завопил Риг, плюхаясь на песок. — Помогите! Помогите! Я разбился!

— Держитесь, корабль-два! — крикнула Астен. — Я иду на помощь! Не дышите! Ах, у нас проблема с чартен-двигателем! Бат-бат-ак! Ак! Брррмммм-ак-ак-ак-ррррррмммммм, бат-бат-бат-бат!

Малышам было шесть и четыре экуменических года. Одиннадцатилетний Беттон, сын Тай, сидел у костра со взрослыми, хотя в тот момент, когда он наблюдал за Астен и Ригом, вид у него был такой, точно он не прочь тоже вылететь на помощь «кораблю-два». Маленькие гетенианцы прожили на кораблях дольше, чем на родной планете, и Астен любила хвалиться тем, что ей «на самом деле пятьдесят восемь лет», но это был первый экипаж Беттона, а свой единственный СКОКС-полет он совершил с Терры до Хайна. Он и его биологическая мать Тай жили в коммуне по восстановлению почвы на Терре. Когда мать вытянула жребий на экуменическую службу и потребовала обучить ее обязанностям члена экипажа, он попросил ее взять его с собой в качестве члена семьи. Она согласилась, но после обучения, когда добровольно вызвалась участвовать в испытательном полете, попыталась оставить Беттона в тренировочном центре или отправить домой. Он отказался. Шан, обучавшийся вместе с ними, рассказал эту историю остальным, потому что понять причины напряженности между матерью и сыном было просто необходимо для эффективного создания группы. Беттон пожелал отправиться в полет с матерью, и Тай уступила, но явно против своего желания. К мальчику она относилась прохладно и манерно. Шан предложил ему отцовско-братское тепло, но Беттон принимал его неохотно и не искал формальных отношений члена экипажа ни с ним, ни с кем-либо из остальных.

Когда «корабль-два» был спасен, всеобщее внимание вернулось к дискуссии.

— Хорошо, — сказала Лиди. — Мы знаем, что все, движущееся быстрее света, любой предмет, движущийся быстрее света, самим фактом такого движения переступает границы

категории материального/нематериального — именно так действует ансибль, отделяя передаваемое сообщение от окружающей среды Но если нам, экипажу, предстоит перемещаться подобно сообщениям, то я хочу понять — как?

Гветер рванул себя за волосы. Их у него хватало, они росли густой гривой на голове, шерсткой покрывали конечности и тело и серебристым нимбом окружали лицо. Мех на его ногах был сейчас полон песка.

— Кхак! — воскликнул он. — Я и пытаюсь объяснить вам, кхак! Сообщение, информация — нет, нет, нет, все это старо, это технология ансибля. А это трансилиентность! Потому что поле следует представлять как виртуальное поле, в котором нереальный интервал становится виртуально эффективным посредством медиарной когерентности, — неужели вы не понимаете?

— Нет, — ответила Лиди. — Что ты подразумеваешь под «медиарным»?

После еще нескольких посиделок на пляже они пришли к общему мнению о том, что чартен-теория доступна лишь тем, кто очень глубоко знает китянскую темпоральную физику Менее охотно вслух высказывался и вывод, что инженеры, установившие на «Шоби» чартен-аппараты, не до конца понимают, как те работают. Или, если точнее, что они делают, когда работают. В том, что они работают, сомнений не возникало. «Шоби» стал четвертым кораблем, на котором они были испытаны в беспилотном режиме; уже шестьдесят два мгновенных перелета — трансилиентностей — были совершены между пунктами, которых разделяло расстояние от четырехсот километров до двадцати семи световых лет — с промежуточными остановками по пути. Гветер и Лиди непоколебимо придерживались того взгляда, что это доказывает, будто инженеры прекрасно знали, что делали, и что для всех остальных кажущаяся трудность теории сводится к трудности, с какой человеческий разум воспринимает совершенно новую концепцию.

— Это как идея кровообращения, — сказала Тай. — Люди очень давно знали, что их сердца бьются, но не понимали зачем.

Собственная аналогия ее не удовлетворила, и когда Шан сказал: «У сердца есть свои причины, о которых мы ничего не знаем», — она обиделась и сказала: «Мистицизм», — тоном человека, предупреждающего спутника о кучке собачьего дерьма на тропинке.

— Уверен, что в этом процессе нет ничего непостижимого, — заметила Орет — И ничего такого, чего нельзя понять и воспроизвести.

— И определить количественно, — упрямо добавил Гветер.

— Но даже если люди поймут суть процесса, никто не знает, как воспримет его человеческий организм, правильно? Это мы и должны выяснить.

— А с какой стати ему отличаться от обычного СКОКС-полета, только еще более быстрого? — спросил Беттон.

— Потому что он будет совершенно иным, — ответил Гветер.

— И что может с нами случиться?

Некоторые из взрослых обсуждали возможные последствия, и все они над ними размышляли; Карт и Орет как можно более простыми словами рассказали про будущий полет своим детям, но Беттон очевидно, в таких дискуссиях не участвовал.

— Мы не знаем, — резко отозвалась Тай — Я тебе с самого начала об этом твердила, Беттон.

— Скорее всего это будет похоже на СКОКС-полет, — предположил Шан, — но ведь те, кто летел на СКОКС-корабле в первый раз, тоже не знали, на что это будет похоже, и им пришлось осваиваться с физическими и психологическими эффектами.

Самое плохое, что с нами может произойти, — неторопливо произнесла Сладкое Сегодня, — это то, что мы умрем. В испытательных полетах уже побывали живые существа. Сверчки. И разумные ритуальные животные во время двух последних полетов «Шоби». И ничего с ними не случилось. — Для нее это была очень длинная речь, и потому ее слова приобрели соответствующую весомость.

— Мы почти уверены, — сказал Гветер, — что чартен, в отличие от СКОКС, не включает в себя темпоральную перегруппировку. И масса здесь используется лишь в качестве потребности в определенном центре массы, как и во время передачи по ансиблю, но не сама по себе. Поэтому не исключено, что трансилиенту можно подвергать даже беременных.

— Им нельзя летать на кораблях, — сказала Астен. — Иначе нерожденные дети умрут.

Астен полулежала на коленях Орет, Риг, сунув в рот палец, спал на коленях Карта.

— Когда мы были онеблинами, — продолжила Астен, садясь, — с нашим экипажем были ритуальные животные. Рыбы, несколько терранских кошек и много хайнских хол. Мы с ними играли. И помогали благодарить холу за то, что на нем проводили проверку на литовирусы. Но он не умер. Он укусил Шапи. Кошки спали с нами. Но одна из них перешла в кеммер и забеременела, а потом «Онеблину» нужно было возвращаться на Хайн, и ей пришлось сделать аборт, иначе нерожденные котята

умерли бы внутри и погубили бы ее. Никто не знал нужный ритуал, чтобы все объяснить кошке. Но я покормила ее лишний раз, а Риг плакал.

— Некоторые люди тоже плакали, — добавил Карт, поглаживая волосы ребенка.

— Ты рассказываешь хорошие истории, Астен, — заметила Сладкое Сегодня.

— Получается, что мы нечто вроде ритуальных людей, — сказал Беттон.

— Добровольцы, — сказала Тай.

— Экспериментаторы, — сказала Лиди.

(Искатели приключений, — сказал Шан.

— Исследователи, — сказала Орет.

— Азартные игроки, — сказал Карт.

Мальчик по очереди взглянул на их лица.

— Знаете, — сказал Шан, — во времена Лиги, в самом начале СКОКС-полетов, пытались исследовать все подряд и посылали корабли к очень далеким системам — их экипажам предстояло вернуться лишь через столетия. Возможно, некоторые до сих пор не вернулись. Но некоторые вернулись через четыреста, пятьсот, шестьсот лет, и все они стали сумасшедшими. Безумцами! — Он выдержал драматическую паузу. — Но они уже были безумцами, когда стартовали. Нестабильными людьми. Ведь никто, кроме безумца, не согласится добровольно испытать такой разрыв во времени. Какой оригинальный принцип отбора экипажа, а? — Он рассмеялся.

— А мы стабильны? — поинтересовалась Орет. — Я люблю нестабильность. Мне нравится эта работа. Я люблю риск и люблю рисковать вместе с другими. Высокие ставки! Вот что наполняет меня восторгом.

Карт взглянул на их детей и улыбнулся.

— Да. Вместе, — сказал Гветер. — Ты не безумна. Ты хорошая. Я люблю тебя. Мы аммари.

— Аммар, — поправили его, подтверждая неожиданное заявление. Молодой мужчина нахмурился от удовольствия, вскочил и стянул с себя рубашку.

— Хочу купаться. Пойдем, Беттон. Пошли купаться! — воскликнул он и побежал к темной воде, медленно шевелящейся за границей отблесков их костра.

Мальчик помедлил, потом тоже сбросил рубашку и сандалии и побежал следом. Шан поднял Тай, и они убежали купаться; наконец и обе старшие женщины направились в ночь навстречу волнам, закатывая штанины и посмеиваясь над собой.

Для гетенианца даже теплой летней ночью на теплой летней

планете море — не друг. Костер — совсем другое дело. Орет и Астен придвинулись ближе к Карту и смотрели на пламя, прислушиваясь к негромким голосам, доносящимся со стороны поблескивающих пеной волн, и иногда тихо переговариваясь на своем языке — маленький сестробрат спал.

После тридцати ленивых дней в Лидене «шобики» приехали на поезде с рыбой в город, где на вокзале пересели на флотский лэндер, доставивший их в порт Ве, следующей после Хайна планеты системы. Они отдохнули, загорели, сдружились и были готовы лететь.

Одна из дальних родственниц Сладкого Сегодня служила оператором ансибля в порту Ве. Она настоятельно советовала «шобикам» задавать изобретателям чартен-теории на Уррасе и Анарресе любые вопросы, касающиеся принципов ее работы.

— Цель экспериментального полета — понимание, — горячилась она, — и ваше полное интеллектуальное участие очень важно. Их очень волнует это обстоятельство.

Лиди фыркнула.

— А теперь начнем ритуал, — сказал Шан, когда они вошли в помещение ансибля. — Они объяснят животным, что намерены сделать и зачем, и попросят их помощи.

— Животные этого не понимают, — проговорил Беттон своим холодным ангельским фальцетом. — Ритуал нужен, чтобы лучше себя почувствовали люди, а не животные.

— А люди понимают? — спросила Сладкое Сегодня.

— Мы все используем друг друга, — ответила Орет. — Ритуал означает: мы не имеем права так поступать, следовательно, принимаем на себя ответственность за причиняемые страдания.

Беттон слушал и хмурился.

Гветер первым сел за ансибль и говорил по нему полчаса, в основном на языке правик, перемешанном с математикой. Наконец, извинившись, пригласил остальных воспользоваться аппаратом. После паузы Лиди представилась и сказала:

— Мы согласны в том, что никто из нас, за исключением Гветера, не имеет теоретической базы для понимания принципов чартена.

Находящийся за двадцать два световых года от них ученый ответил на хайнском. В его звучащем через автопереводчик бесстрастном голосе тем не менее угадывалась несомненная надежда:

— Чартен, попросту говоря, можно рассматривать как перемещение виртуального поля с целью реализации относительной когерентности с точки зрения трансилиентной эмпиричности.

— Однако! — буркнула Лиди.

— Как вы знаете, материальные эффекты оказались нулевыми, и негативный эффект в случае с существами с низким уровнем разумности — также нулевым; но следует считаться с возможностью того, что участие в процессе существ с высокой разумностью может так или иначе повлиять на перемещение. И что такое перемещение, в свою очередь, повлияет на перемещаемого.

— Да какое отношение уровень нашей разумности имеет к функциям чартена? — спросила Тай.

Пауза. Их собеседник пытался подобрать слова, принять на себя ответственность.

— Мы используем термин «разумность» в качестве сокращения для обозначения психической сложности и культурной зависимости наших видов, — прозвучало наконец из переводчика. — Присутствие трансилиента в качестве бодрствующего сознания не во-время трансилиептности остается непроверенным фактором.

— Но если процесс мгновенен, то как мы сможем его осознать? — спросила Орет.

— Совершенно верно, — ответил ансибль и после еще одной паузы продолжил: — Поскольку экспериментатор есть элемент эксперимента, то мы предполагаем, что трансилиент может стать элементом или агентом трансилиентности. Вот почему мы попросили, чтобы процесс испытал экипаж, а не один-два добровольца. Психическая интерсбалансированность связанной социальной группы придает ей дополнительную силу против разрушительного или непонятного опыта, если им доводится с таким сталкиваться. К тому же отдельные наблюдения членов группы будут взаимно интерверифицироваться.

— Кто программировал этот переводчик? — негромко фыркнул Шан. — Интерверифицироваться! Вот ведь чушь!

Лиди обвела взглядом остальных, предлагая задавать вопросы.

— Сколько продлится само перемещение? — спросил Беттон.

— Недолго, — ответил переводчик и тут же поправился: — Нисколько.

Снова пауза.

— Спасибо, — сказала Сладкое Сегодня, и ученый на планете в двадцати двух световых годах от порта Ве ответил:

— Мы благодарны за ваше великодушное мужество, и наши надежды с вами.

Из аппаратной с ансиблем они отправились прямиком на «Шоби».

Чартен-оборудование, занимающее не очень много места и чьи органы управления представляли собой по сути единственный переключатель «включено-выключено», было установлено рядом с мотиваторами и органами управления оборудования СКОКС — скорости околосветовой — обычного межзвездного корабля флота Экумены. «Шоби» был построен на Хайне около четырехсот лет назад, и ему исполнилось тридцать два года. Почти все его прежние рейсы были исследовательскими, летал на нем смешанный хайнско-чиффеварский экипаж. Поскольку в таких экспедициях корабль мог проводить годы на орбите вокруг какой-нибудь планеты, хайнцы и чиффеварцы, решив, что эти периоды лучше прожить нормально, чем терпеть неудобства, превратили корабль в очень большое и комфортабельные жилище. Три его жилых модуля были демонтированы и оставлены в ангаре на Ве, и все равно для экипажа всего из десяти человек места осталось более чем достаточно. Тай, Беттон и Шан, новички с Терры, и Гветер с Анарреса, привыкшие к баракам и коммунальным удобствам своих перенаселенных миров, неодобрительно бродили по «Шоби».

— Экскрементально, — рычал Гветер.

— Роскошь! — возмущалась Тай.

Сладкое Сегодня, Лиди и гетенианцы, более привычные к прелестям корабельной жизни, сразу разошлись по каютам и принялись устраиваться как дома. И Гветеру, и молодому терранину было трудно сохранять этический дискомфорт в просторных, с высокими потолками и хорошо меблированных жилых комнатах и спальнях, кабинетах, гимнастических залах с высокой и низкой гравитацией, столовой, библиотеке, на кухне и мостике «Шоби». Мостик был устлан настоящим ковром с Хеникаулила, сотканным из темно-синих и пурпурных нитей, чье переплетение воспроизводило узор хайнского звездного неба. В зале для медитации имелась большая плантация терранского бамбука, бывшая частью самозамкнутой корабельной растительно-дыхательной системы. Для тех, кто тосковал по дому, окна в любой каюте могли быть запрограммированы на показ видов Аббеная, Нового Каира или пляжа в Лидене или же становиться полностью прозрачными, позволяя любоваться далекими и близкими звездами и межзвездной темнотой.

Риг и Астен обнаружили, что кроме лифтов из зала в библиотеку ведет и широкая лестница с изогнутыми перилами. Они с дикими визгами катались по перилам, пока Шан не пригрозил изменить локальное гравитационное поле, что заставит их не спускаться, а подниматься по перилам. Дети

взмолились, чтобы он так и сделал. Беттон с видом превосходства взглянул на малышей и выбрал лифт, но на следующий день тоже скатился по перилам, проделав это куда быстрее, чем Риг и Астен, потому что мог сильнее отталкиваться и больше весил, и чуть не сломал себе копчик. Именно Беттон организовал гонки на подносах, но их обычно выигрывал Риг, потому что был достаточно мал, чтобы удержаться на подносе до самого подножия лестницы. Пока они жили в Лидене, с детьми не проводили никаких занятий, разве что учили плавать и быть «шобиками»; сейчас же, во время неожиданной пятидневной задержки в порту Ве, Гветер ежедневно давал в библиотеке уроки физики Беттону и математики — всем троим. Историей они занимались с Шаном и Орет, а танцевали с Тай в гимнастическом зале с низкой гравитацией.

Танцуя, Тай становилась легкой и свободной и часто смеялась. Риг и Астен любили ее такой, а ее сын, по-жеребячьи неуклюжий и смущающийся, танцевал с матерью. К ним часто присоединялся темнокожий Шан; он был элегантным танцором, и она соглашалась с ним танцевать, но даже тогда смущалась и не позволяла к себе прикасаться. После рождения Беттона она соблюдала целибат. Она не хотела замечать терпеливого и настойчивого желания Шана, не желала идти ему навстречу и оставляла его, переходя к Беттону. Сын и мать танцевали, полностью поглощенные движением и воздушным узором, который они создавали вместе. Наблюдая за ними днем накануне полета, Сладкое Сегодня стала утирать слезы, улыбаясь, но не произнося ни слова.

— Жизнь хороша, — очень серьезно сказал Гветер Лиди.

— Ничего, — согласилась она.

Орет, только что вышедшая из женского кеммера и тем самым запустившая мужской кеммер Карта — все это, случившись неожиданно рано, и задержало испытательный полет на пять дней, которыми насладились все, — наблюдала за Ригом, которого она зачала, танцевала с Астен, которую она родила, посмотрела, как Карт наблюдает за ними, и сказала на кархайдском:

— Завтра.

Последний день оказался очень приятным.

Антропологи неохотно сошлись на том, что не следует приписывать «культурные константы» человеческой популяции любой планеты; но некоторые культурные традиции или ожидания, похоже, укоренились глубоко. Перед обедом в тот последний вечер Шан и Тай облачились в черную с серебром форму терранской Экумены, которая обошлась им — Терра все

еще сохраняла денежную экономику — в половину их годового дохода.

Астен и Риг немедленно потребовали столь же впечатляющую одежду. Карт и Орет посоветовали им переодеться в праздничные костюмы. Сладкое Сегодня достала шарфы из серебряных кружев, но Астен нахмурилась. Риг последовал ее примеру. Идея формы, пояснила Астен, состоит в том, чтобы все было одинаковым.

— Почему? — спросила Орет.

— Чтобы никто не нес ответственность, — резко ответила старая Лиди.

Потом она вышла и переоделась в черный бархатный вечерний костюм, который, хотя и не был формой, уже не позволял Тай и Шану резко выделяться на фоне остальных. Лиди покинула Терру, когда ей исполнилось восемнадцать, и с тех пор не возвращалась и не испытывала такого желания, но Тай и Шан были товарищами по экипажу.

Карт и Орет ухватили идею и надели свои лучшие отороченные мехом хибы, дети же переоделись в праздничные наряды и нацепили все массивные золотые украшения Карта. Сладкое Сегодня надела ослепительно белое платье, которое, как она заявила, на самом деле ультрафиолетовое. Гветер заплел в косички свою гриву. У Беттона формы не было, но он в ней и не нуждался, сидя за столом рядом с матерью и сияя от гордости.

Кухни порта присылали им очень хорошую еду, но ужин в тот вечер оказался превосходным: нежнейшая хайнская айанви с семью соусами и пудинг с настоящим терранским шоколадом. Оживленный вечер тихо завершился возле большого камина в библиотеке. Поленья в нем были, разумеется, имитацией, но хорошей: какой смысл иметь на корабле камин и жечь в нем пластик? Поленья из неоцеллюлозы пахли древесиной, неохотно загорались, испуская дым и разбрызгивая искры, а потом ярко горели. Орет уложила поленья, Карт разжег огонь. Все собрались перед камином.

— Расскажи сказку, — попросил Риг

Орет рассказала о ледяных пещерах в стране Керм, как парусник заплыл в огромную голубую морскую пещеру, исчез и его так и не смогли отыскать поисковые лодки; но семьдесят лет спустя корабль нашли дрейфующим — без единой живой души на борту и без признаков того, что с ними случилось, — возле побережья Осемайета, а ведь это в тысяче миль от Керма(

Еще одну сказку?

Лиди рассказала о маленьком пустынном волке, который потерял свою жену, отправился за ней в землю мертвых, увидел ее там, танцующую среди мертвых, и едва не увел обратно на

землю живых, но все испортил, коснувшись ее прежде, чем они завершили обратный путь к живым, и она исчезла, а он так и не смог снова найти дорогу туда, где танцуют мертвые — как ни старался, ни выл и ни плакал(

Еще сказку!

Шан рассказал сказку про мальчика, у которого вырастало перо всякий раз, когда он врал, и кончилось тем, что его стали использовать вместо веника.

Еще!

Гветер рассказал о крылатых людях — гланах, которые были настолько глупы, что вымерли, потому что сталкивались головами, когда летали.

— Но они не были настоящими, — честно добавил он. — Я их выдумал.

Еще. Нет. Теперь спать.

Риг и Астен привычно обошли всех, получив поцелуй на ночь, и на этот раз Беттон последовал их примеру. Подойдя к Тай, он не остановился, потому что она не любила, когда к ней прикасались, но она сама привлекла к себе мальчика и поцеловала его в щеку. Тот радостно убежал.

— Сказки, — сказала Сладкое Сегодня. — Наша начнется завтра, верно?

Цепочку команд описать легко, структуру отклика на них — нет. Для тех, кто живет в системе взаимного подчинения, «плотные» описания, сложные и незавершенные, нормальны и понятны, но тем, кому знакома лишь единственная модель иерархического контроля, подобные описания кажутся путаницей и мешаниной, равно как и то, что они описывают. Кто здесь главный? Не пересказывайте мне лишние подробности. Сколько поваров испортили суп? Излагайте только суть. Отведите меня к вашему начальнику!

Старая навигаторша сидела, разумеется, за консолью СКОКСа, а Гветер — за невзрачной консолью чартена; Орет подключилась к ИИ — искусственному интеллекту. Тай, Шан и Карт были, соответственно, поддержкой для каждого из них, а функцию Сладкого Сегодня можно было бы описать как общий надзор, если бы этот термин не намекал на иерархическую функцию. Возможно, внутреннее наблюдение. Или субнаблюдение. Риг и Астен всегда «скоксали» (если использовать изобретенное Ригом словечко) в корабельной библиотеке, где во время скучного существования субсветового полета Астен могла разглядывать картинки в книгах или слушать музыку, а Риг — укутаться в меховое одеяло и заснуть. Функцией Беттона как члена экипажа была роль старшего сиба; он остался с малышами,

не забыв прихватить бумажный пакет, потому что принадлежал к числу тех, кого мутило во время СКОКС-полета. Свой интервид он настраивал на Лиди и Гветера, чтобы наблюдать за их действиями.

Все знали свои обязанности в том, что относилось к СКОКС-полету. Что же касается чартен-процесса, то они знали, что тот должен обеспечить их трансилиентность к Солнечной системе в семнадцати световых годах от порта Ве, причем мгновенную; но никто и нигде не знал, чем им следует заниматься.

Поэтому Лиди обвела всех взглядом, точно скрипач, поднимающий смычок, чтобы настроить камерную группу на первый аккорд, и послала «Шоби» вперед в режиме СКОКС, а Гветер, точно виолончелист, в ту же секунду кивающий и поддерживающий тот аккорд, перевел корабль в чартен-режим. Они вошли в не-длительность. Они совершили чартен. Быстро, как утверждал ансибль.

— Что случилось? — прошептал Шан

— Проклятье! — воскликнул Гветер.

— Что? — спросила Лиди, моргая и тряся головой.

— Вот она, — сказала Тай, быстро вглядевшись в приборы.

— Это не А-60-как-там-ее, — возразила Лиди, все еще моргая.

Сладкое Сегодня объединила всех десятерых сразу — семерых на мостике и троих в библиотеке — через интервид. Беттон сделал окно прозрачным, и дети посмотрели на мутную бурую круговерть, заполняющую половину поля зрения. Риг держал грязное меховое одеяло. Карт снимал электроды с висков Орет, отключая ее от искусственного интеллекта.

— Не было никакого интервала, — сказала Орет.

— Мы неизвестно где, — сказала Лиди.

— Не было интервала, — повторил Гветер, нахмурившись разглядывая консоль. — Это точно.

— Ничего не произошло, — подтвердил Карт, просматривая полетный отчет ИИ.

Орет встала, подошла к окну и застыла, глядя сквозь него.

— Это она. М-60—340-ноло, — сказала Тай.

Все их слова звучали мертво, с оттенком фальши.

— Что ж, мы это сделали, «шобики»! — воскликнул Шан.

Никто ему не ответил.

— Свяжитесь по ансиблю с портом Ве, — сказал Шан с преувеличенной веселостью. — Передайте, что мы на месте в целости и сохранности.

— На чем? — спросила Орет

— Да, конечно, — отозвалась Сладкое Сегодня, но ничего не сделала.

— Правильно, — согласилась Тай, подходя к ансиблю. Она открыла поле, нацелила его на Ве и послала сигнал. Корабельные ансибли работают только в визуальном режиме; она ждала, глядя на экран. Повторила вызов. Теперь все смотрели на экран.

— Ничто не пробивается, — сказала она.

Никто не посоветовал ей проверить координаты фокусировки; в сложившемся экипаже никто столь легко не сваливает на других свое нетерпение. Она проверила координаты. Послала сигнал; снова проверила, повторила настройку, снова послала сигнал; открыла поле, нацелилась на Аббенай на Анарресе и послала сигнал Экран ансибля оставался пуст.

— Проверь, — начал было Шан, но оборвал себя на полуслове.

— Ансибль не функционирует, — объявила Тай экипажу.

— Ты обнаружила неисправность? — спросила Сладкое Сегодня.

— Нет. Не функционирует.

— Мы возвращаемся, — заявила Лиди, все еще сидящая за консолью СКОКСа.

Ее слова и тон потрясли всех, разметали.

— Нет, не возвращаемся! — крикнул по интервиду Беттон одновременно с вопросом Орет. «Куда возвращаться-то?»

Тай, поддержка Лиди, шагнула было к ней, точно намереваясь помешать ей включить СКОКС-двигатель, но тут же торопливо шагнула назад к ансиблю, чтобы к нему не получил доступ Гветер. Тот потрясенно остановился и спросил:

— Быть может, чартен повлиял на функции ансибля?

— Я это уже проверяю, — ответила Тай. — Но с какой стати ему влиять на него? Во время автоматических испытательных полетов ансибль работал нормально.

— Где отчеты ИИ? — спросил Шан.

— Я же сказал, их нет, — резко отозвался Карт.

— Орет была подключена.

Орет, все еще у окна, ответила, не оборачиваясь:

— Ничего не произошло.

Сладкое Сегодня подошла к гетенианке. Орет посмотрела на нее и медленно произнесла:

— Да, Сладкое Сегодня Мы не можем(это сделать. Я думаю. Я не могу думать.

Шан просветлил второе окно и выглянул наружу.

— Пакость, — сказал он.

— Что там? — спросила Лиди.

Гетер ответил ей, словно зачитывая статью из атласа Экумены:

— Густая стабильная атмосфера, температура у нижнего предела интервала, в котором возможна жизнь. Микроорганизмы. Бактериальные облака и бактериальные рифы.

— Микробный бульон, — сказал Шан. — В чудесное местечко нас послали.

— Это на тот случай, если мы прибудем в виде нейтронной бомбы или черной дыры. Тогда прихватим с собой только бактерии, — пояснила Тай. — Но мы этого не сделали.

— Не сделали чего? — спросила Лиди.

— Не прибыли? — спросил Карт.

— Эй, — окликнул их Беттон, — все так и будут торчать на мостике?

— Я хочу туда, — пропищал Риг, а Астен чуть дрожащим голосом, но четко сказала:

— Маба, я хочу вернуться в Лиден.

— Не глупи, — ответил Карт и пошел к детям. Орет не отвернулась от окна, даже когда подошедшая Астен взяла ее за руку.

— На что ты смотришь, маба?

— На планету, Астен.

— Какую планету?

Орет взглянула на ребенка.

— Там ничего нет, — сказала Астен.

— Вон тот бурый цвет — это поверхность, атмосфера планеты.

— Нет там никакого бурого цвета. Там ничего нет. Я хочу вернуться в Лиден. Ты же сказала, что мы вернемся, когда закончим испытание.

Орет наконец обвела взглядом остальных.

— Вариации в ощущениях, — произнес Гветер.

— Я думаю, — сказала Тай, — нам надо убедиться, что мы(прибыли сюда(а затем отправиться сюда.

— В смысле, обратно, — сказал Беттон.

— Показания приборов совершенно ясны, — заявила Лиди, крепко держась за подлокотники кресла и говоря очень четко. — Все координаты совпадают. Под нами М-60-и-так-далее. Что еще тебе нужно? Образцы бактерий?

— Да, — ответила Тай. — На функции приборов оказано воздействие, поэтому мы не можем полагаться на их показания.

— Какая чушь! — рявкнула Лиди. — Что за фарс! Ладно. Надевай костюм, отправляйся вниз, зачерпни там слизи, а потом мы возвращаемся. Домой. На СКОКСе.

— На СКОКСе? — отозвались Шан и Тай, а Гветер добавил:

— Но на это уйдет семнадцать лет по времени Ве, а мы не

послали сообщение по ансиблю и не объяснили почему.

— Почему, Лиди? — спросила Сладкое Сегодня.

Лиди уставилась на нее.

— Ты хочешь снова запустить чартен? — яростно выкрикнула она и посмотрела на всех по очереди. — Вы что, каменные? И вам наплевать, что вы видите сквозь стены?

Все молчали, пока Шан не спросил осторожно:

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то, что я вижу звезды сквозь стены! — Она снова обвела всех взглядом и ткнула пальцем в ковер. — А вы — разве нет? — Когда никто ей не ответил, ее челюсть дрогнула, и она сказала: — Хорошо. Хорошо. Я сдаю вахту. Буду у себя. — Она встала. — Наверное вам следует меня запереть.

— Чушь, — отозвалась Сладкое Сегодня.

— Если я провалюсь сквозь пол, — начала Лиди. Она направилась к двери, напряженно и осторожно, словно сквозь густой туман, и пробормотала что-то неразборчивое, вроде бы «марля».

Сладкое Сегодня вышла следом за ней.

— А я тоже вижу звезды! — объявил Риг.

— Тише, — сказал Карт, обнимая его за плечи.

— Вижу! Я вижу вокруг звезды. И еще я вижу порт Ве.. И могу увидеть все, что захочу!

— Да, конечно, но теперь помолчи, — пробормотала мать.

Ребенок вырвался, топнул ногой и завизжал:

— Могу! Я тоже могу! Я могу видеть все! А Астен не может! И тут есть планета, есть! Нет, не хватай меня! Не надо! Отпусти!

Угрюмый Карт унес вопящего ребенка. Астен повернулась и крикнула Ригу вслед:

— Тут нет никакой планеты! Ты все выдумал!

— Астен, уйди, пожалуйста, в нашу комнату, — попросила мрачная Орет.

Астен залилась слезами, но подчинилась. Орет, извинившись взглядом перед остальными, вышла следом за ней в коридор.

Четверо оставшихся на мостике стояли молча.

— Канарейки, — бросил Шан.

— Кхаллюцинации? — предложил поникший Гветер. — Чартен-влияние на чрезмерно чувствительные организмы, может быть?

Тай кивнула.

— В таком случае, действительно ли ансибль не функционирует, или его неисправность — наша общая галлюцинация? — спросил после паузы Шан.

Гветер подошел к ансиблю; на сей раз Тай шагнула в сторону,

уступая ему дорогу.

— Я хочу отправиться вниз, — сказала она.

— Не вижу причин для запрета, — без особого восторга сказал Шан.

— Кхаких причин? — спросил через плечо Гветер.

— Ведь мы для этого здесь, разве нет? Мы же для этого вызвались добровольцами, так ведь? Чтобы проверить мгновенную(трансилиентность — доказать, что она работает, вот для чего! А при отказавшем ансибле Ве получит наш радиосигнал лишь через семнадцать лет!

— Мы можем просто-напросто вернуться через чартен на Ве и все им рассказать, — заметил Шан. — Если мы сделаем это сейчас, то пробудем(здесь(около восьми минут.

— Рассказать, что рассказать? Какие у нас доказательства?

— Анекдотичные, — сказала Сладкое Сегодня, незаметно вернувшаяся на мостик; она перемещалась как большой парусный корабль, поразительно бесшумно.

— Лиди оказалась права? — спросил Шан.

— Нет, — ответила Сладкое Сегодня и села на место Лиди, за консоль СКОКСа.

— Прошу общего разрешения отправиться на планету, — сказала Тай.

— Я спрошу остальных, — ответил Гветер и вышел Через некоторое время он вернулся с Картом.

— Отправляйся, если хочешь, — сказал гетенианец — Орет пока побудет с детьми. Они… Мы все чрезвычайно дезориентированы.

— Я отправлюсь вниз, — сказал Гветер.

— А можно мне тоже? — почти шепотом спросил Беттон, не поднимая глаз на лица взрослых.

— Нет, — ответила Тай одновременно с Гветером, сказавшим: «Да».

Беттон быстро взглянул на мать.

— Почему нет? — спросил ее Гветер

— Нам неизвестен риск.

— Планета была обследована.

— Кораблями-роботами.

— Мы же будем в скафандрах. — Гветер был искренне озадачен.

— Я не хочу нести ответственность, — процедила Тай.

— Но разве ее понесешь ты? — спросил еще более озадаченный Гветер. — Ее разделим мы все. Беттон — член экипажа. Не понимаю.

— Я знала, что ты не поймешь, — бросила Тай, повернулась к

ним спиной и вышла. Мужчина и мальчик остались; Гветер смотрел вслед Тай, а Беттон — на ковер.

— Мне очень жаль, — пробормотал Беттон.

— И напрасно, — отозвался Гветер

— Что, что вообще происходит? — спросил Шан подчеркнуто невозмутимым голосом. — Почему мы .. Мы все время ссоримся, приходим и уходим.

— Это воздействие пережитого чартена, — сказал Гветер.

Сидящая за консолью Сладкое Сегодня повернулась к ним:

— Я послала сигнал бедствия. Я потеряла управление системой СКОКС. А радио. — Она кашлянула. — Радио, похоже, работает неустойчиво.

Наступило молчание.

— Ничего этого не происходит, — сказал Шан… или Орет, но Орет находилась с детьми в другой части корабля, поэтому не могла сказать: «Ничего этого не происходит», — и это, должно быть, сказал Шан.

Цепочку причин и следствий описать легко, прекращение причин и следствий — трудно Для тех, кто живет во времени, последовательность событий является нормой, единственной моделью, и одновременно кажется кашей, мешаниной, безнадежной путаницей, и описание этой путаницы безнадежно сбивает с толку. По мере того как члены экипажа-организма переставали воспринимать этот организм стабильно и теряли возможность общаться и обмениваться своими восприятиями, индивидуальное восприятие становилось единственной путеводной нитью в лабиринте их дислокации. Гветеру казалось, что он находится на мостике вместе с Шаном, Сладким Сегодня, Беттоном, Картом и Тай. Ему казалось, что он методично проверяет системы корабля. СКОКС отказал, радио то работало, то нет, а внутренние электрические и механические системы корабля оказались в порядке. Он послал на планету беспилотный лэндер и вернул его на борт; похоже, тот функционировал нормально. Ему казалось, что он спорит с Тай по поводу ее решения отправиться на планету. Поскольку он признал ее нежелание доверять показаниям корабельных приборов, ему пришлось согласиться и с ее доводом о том, что лишь вещественное доказательство подтвердит то, что они прибыли к месту назначения, М-60—340-ноло. И если им придется провести следующие семнадцать лет, возвращаясь на Ве в реальном времени, то неплохо будет прихватить и доказательство, пусть даже в виде комка слизи.

Эту дискуссию он воспринимал как совершенно рациональную.

Ее, однако, прервали не характерные для экипажа вспышки эгоизма.

— Если решила лететь, так лети! — крикнул Шан.

— А ты мной не командуй, — огрызнулась Тай.

— Кому-то надо держать здесь все под контролем, — сказал Шан.

— Только не мужчинам, — заявила Тай.

— Только не терранам, — сказал Карт. — У вас что, нет самоуважения?

— Стресс, — сказал Гветер. — Все, хватит. Хватит, Тай, Беттон. Довольно. Пошли.

В лэндере Гветеру все было ясно. События развивались одно за другим, как и положено. Управлять лэндером очень просто, и он попросил Беттона посадить его. Мальчик охотно согласился. Тай, как всегда напряженная и сжатая, сидела, стиснув на коленях кулаки. Беттон с показной небрежностью справился с управлением корабликом и откинулся в кресле, тоже напряженный, но гордый.

— Мы сели, — сказал он

— Нет, не сели, — возразила Тай.

— Приборы показывают — контакт есть, — сказал Беттон, теряя уверенность.

— Превосходная посадка, — заметил Гветер — Даже не ощутил касания — Он провел полагающиеся тесты. Все оказалось в порядке. За окнами лэндера клубился бурый полумрак Когда Беттон включил наружные прожектора, атмосфера, точно темный туман, рассеяла свет, превратив его в бесполезное свечение.

— Тесты подтверждают отчеты предварительной разведки, — сообщил Гветер. — Ты будешь выходить сама. Тай, или используешь сервомеханизмы?

— Выйду, — ответила она.

— Выйду, — эхом повторил Беттон.

Гветер, приняв на себя формальную корабельную роль поддержки, которую принял бы один из двух других, если бы наружу выходил он, помог им надеть шлемы и стерилизовать костюмы; открыл для них внутренний и наружный шлюзы и, когда они вышли из наружного, начал наблюдение на экране и через окна. Беттон вышел первым. Его худая фигурка, удлиненная беловатым костюмом, светилась в рассеянном сиянии прожекторов. Он отошел от корабля на два шага, повернулся и стал ждать. Тай спустилась по лесенке и коснулась грунта. Ее фигура словно укоротилась — она что, встала на колени? Гветер переводил взгляд с экрана на окно и обратно. Она съеживается? Или тонет? Должно быть, она медленно погружается, и

поверхность планеты в таком случае не твердая, а болотистая, или суспензия наподобие зыбучего песка. Но ведь Беттон по ней ходит, вот он приближается к матери на два шага, вот на три, шагая по невидимому для Гветера грунту, и тот в таком случае должен быть твердым, а Беттона удерживает, потому что тот легче(но нет. Тай, наверное, шагнула в какую-то яму или канаву, потому что теперь он ее видит только выше пояса, а ноги ее скрывает темный туман, но она движется, и движется быстро, удаляясь от лэндера и от Беттона.

— Верни их, — велел Шан, и Гветер произнес в интерком:

— Беттон и Тай, пожалуйста, вернитесь в лэндер.

Беттон сразу начал взбираться по лесенке, потом остановился и взглянул на мать. В бурой мгле, почти на границе рассеянного сияния прожекторов, шевелилось тусклое пятнышко — фонарь ее шлема.

— Беттон, возвращайся, пожалуйста. Тай, пожалуйста, вернись.

Беловатый костюм двинулся вверх по лесенке, голос Беттона умолял по интеркому:

— Тай, Тай, вернись! Гветер, мне пойти за ней?

— Нет. Тай, пожалуйста, немедленно вернись.

Командное единство мальчика выдержало проверку; он поднялся в лэндер и остался в наружном шлюзе, высматривая оттуда мать. Гветер пытался разглядеть ее через окно — на экране ее уже не было видно. Светлое пятнышко утонуло в бесформенной мути.

Если верить приборам, то после посадки лэндер уже погрузился на 3,2 метра и продолжал погружаться с возрастающей скоростью.

— Какая тут почва, Беттон?

— Похожа на раскисшую грязь! Где она?

— Тай, пожалуйста, немедленно вернись!

— Лэндер-один, пожалуйста, возвращайтесь на «Шоби» со всем экипажем, — произнес интерком. — Это Тай. Пожалуйста, немедленно возвращайтесь на корабль, лэндер и весь экипаж.

— Беттон, не снимай костюма и оставайся в камере дезинфекции, — велел Гветер. — Я закрываю наружный люк.

— Но… Хорошо, — ответил голос мальчика.

Гветер поднял лэндер, включив одновременно дезинфекцию кораблика и костюма Беттона. Как ему виделось, Беттон и Шан вошли вместе с ним в «Шоби» и прошли по коридорам на мостик, и там их ждали Карт, Сладкое Сегодня, Шан и Тай.

Беттон подбежал к матери и остановился; он не стал ее обнимать. Его лицо застыло, точно восковое или деревянное.

— Ты испугался? — спросила она. — Что случилось там, внизу? — И она взглянула на Гветера, ожидая объяснений.

Гветер не воспринял ничего. Не-во-время не-периода никакой длины он воспринял, что ничего из случившегося не происходило такого, что не произошло. Потерявшись, он стал искать, потерявшись, он отыскал слово, слово, которое спасло.

— Ты, — произнес он, с трудом ворочая распухшим и онемевшим языком. — Ты вызвала нас.

Похоже, она стала это отрицать, но это не имело значения. А что имеет значение? Шан говорил. Шан мог сказать.

— Никто не вызывал, Гветер, — сказал он. — Вы с Беттоном вышли, я был поддержкой; когда я понял, что не смогу сохранить стабильность лэндера, что почва на месте посадки какая-то странная, я велел вам вернуться в лэндер, и мы взлетели.

Гветер смог лишь пробормотать:

— Иллюзорные…

— Но Тай вышла, — начал было Беттон и смолк. Гветеру показалось, что мальчик отстранился от матери. Что имеет значение?

— Никто не спускался вниз, — сказала Сладкое Сегодня. И, помолчав, добавила: — Никакого низа нет, и спускаться некуда.

Гветер попытался отыскать другое слово, но не нашел. Он уставился через окно на мутные бурые завихрения, сквозь которые, если внимательно приглядеться, просвечивали звездочки.

Тогда он отыскал слово, неправильное слово.

— Потерялись, — сказал он и, произнеся его, почувствовал, как огни на корабле медленно окутываются бурой мглою, тускнеют, темнеют и гаснут, а негромкое деловое гудение корабельных систем умирает, сменяясь реальной тишиной, которая была здесь всегда. Но здесь ничего не было. Ничто не произошло. «Мы в порту Ве!» — попытался он крикнуть, собрав всю свою волю, но не издал ни звука.

Солнца пылают сквозь мою плоть, сказала Лиди.

Я и есть эти солнца, сказала Сладкое Сегодня. И не только я, но и все.

Не дышите! крикнула Орет.

Это смерть, сказал Шан. То, чего я боялся: ничто.

Ничто, сказали они.

Не дыша, призраки скользили и перемещались внутри призрачной раковины холодного и темного корпуса, плавающего вблизи мира бурого тумана, нереальной планеты. Они разговаривали, но никто не слышал голосов. В вакууме нет звуков, в не-времени тоже.

В одиночестве своей каюты Лиди ощутила, как сила тяжести уменьшилась наполовину; она видела их, близкие и далекие солнца, пылающие сквозь марлю корпуса и переборок, сквозь постель и ее тело. Самое яркое, солнце этой системы, находилось прямо под ее пупком. Она не знала, как оно называется.

Я мрак между звездами, сказал кто-то.

Я ничто, сказал кто-то.

Я есть ты, сказал кто-то.

Ты, Ты!..

И вдохнул, и простер вперед руки, и воскликнул: — Слушайте!

Крикнул другому, крикнул другим: — Слушайте!

— Мы всегда это знали. Это место — то, где мы всегда были и всегда будем, в колыбели, в центре. Тут нечего бояться, в конце концов.

— Я не могу дышать.

— Я не дышу.

— Тут нечем дышать.

— Вы, дышите. Дышите, пожалуйста!

— Мы здесь, в колыбели.

Орет разложила костер, Карт развел огонь. Когда он разгорелся, они негромко сказали по-кархайдски:

— Восславим также огонь и незавершенное творение.

Огонь искрил, потрескивал, внезапно вспыхивал. Но не гас. Он горел. Все собрались вокруг.

Они были нигде, но они были нигде вместе. Корабль был мертв, но они находились в нем. Мертвый корабль остывал довольно быстро, но не мгновенно. Закройте двери, подходите к огню; прогоним перед сном ночной холод.

Карт вместе с Ригом отправился к Лиди — чтобы уговорить ее покинуть звездный склеп. Женщина не пожелала вставать.

— Во всем виновата я, — сказала она.

— Не будь эгоисткой, — мягко произнес Карт. — Как такое может быть?

— Не знаю. Я хочу остаться здесь, — пробормотала Лиди.

— О, Лиди, только не в одиночестве! — взмолился Карт.

— А как же иначе? — холодно осведомилась женщина.

Но тут ей стало стыдно за себя, стыдно за неудавшийся по ее вине полет.

— Ладно, — буркнула она, тяжело поднялась, закуталась в одеяло и вышла следом за Картом и Ригом. Малыш нес маленький биолюм; тот светился некоторое время в темных коридорах, пока растения в его аэробных емкостях жили, размножались и выделяли воздух для дыхания. Огонек двигался

перед ней сквозь тьму, точно звездочка среди звезд, пока не привел в полную книг комнату, где в каменном очаге пылал огонь.

— Здравствуйте, дети, — сказала Лиди. — Что вы тут делаете?

— Рассказываем всякие истории, — ответила Сладкое Сегодня.

Шан держал маленький блокнот со встроенным голосовым рекордером.

— Он что, работает? — удивилась Лиди.

— Похоже на то. Мы подумали, что надо рассказать обо всем случившемся, — пояснил Шан, глядя на огонь и щуря узкие черные глаза на узком черном лице. — Каждому. Что мы… как это для нас выглядело. Чтобы…

— А, как отчет? Да. На случай, если… Как, однако, странно, что твой блокнот работает. А все остальное — нет.

— Он включается от голоса, — рассеянно пояснил Шан. — Итак, продолжай, Гветер.

Гветер завершил свою версию рассказа об экспедиции на планету:

— Мы даже не привезли образцы. Я о них не подумал.

— С тобой полетел Шан, а не я, — сказала Тай.

— Ты полетела, и я полетел, — возразил мальчик с уверенностью, которая ее остановила. — И мы выходили наружу. А Шан с Гветером были поддержкой и оставались в лэндере. И я взял образцы. Они в стасис-шкафу.

— А я не знаю, был Шан в лэндере или нет, — сказал Гветер, до боли растирая себе лоб.

— Куда вообще летал лэндер? — спросил Шан. — Там ничего нет, мы нигде, за пределами времени — это все, что приходит мне на ум. Когда кто-то из вас рассказывает, что видел, то кажется, что все так и было, а потом другой рассказывает совсем другое, и я…

Орет вздрогнула и пересела ближе к огню.

— Я никогда не верила, что эта проклятая штуковина сработает, — заявила Лиди, похожая на медведя в темной пещере своего одеяла.

— Непонимание его — вот в чем была проблема, — сказал Карт. — Никто из нас не понимал, как чартен будет работать, даже Гветер. Так ведь?

— Да, — кивнул Гветер.

— Так что если наше психическое взаимодействие с ним повлияло на процесс?

— Или стало процессом, — предположила Сладкое

Сегодня, — в той степени, в какой он затрагивал нас.

— Так ты хочешь сказать, — с глубоким отвращением осведомилась Лиди, — что нам нужно было поверить в него, чтобы он сработал?

— Но ведь и человеку надо верить в себя, чтобы действовать, — разве не так? — спросила Тай.

— Нет, — ответила Лиди. — Абсолютно нет. Я и в себя-то не верю. Я лишь знаю кое-что. Достаточно, чтобы жить дальше.

— Аналогия, — предложил Гветер. — Эффективные действия экипажа зависят от того, в какой степени члены экипажа ощущают себя таковым — можете назвать это верой в экипаж. Правильно? Поэтому, возможно, для чартена мы — разумные существа, возможно, это зависит от нашего сознательного восприятия себя как трансилиента, как нахождения в другом месте, месте назначения?

— Мы, несомненно, утратили наше чувство принадлежности к экипажу, на некоторое.. Можно ли теперь говорить о времени? — сказал Карт. — Мы рассыпались.

— Мы потеряли нить, — сказал Шан.

— Потеряли, — медитативно произнесла Орет, подкладывая в костер очередное массивное, но утратившее половину веса полено. Искры медленными звездами взлетели в дымоход.

— Мы потеряли что? — спросила Сладкое Сегодня.

Некоторое время все молчали.

— Когда я вижу солнце сквозь ковер. — сказала Лиди.

— И я тоже, — очень тихо вставил Беттон.

— А я могу видеть порт Ве, — сказал Риг. — И что угодно. Могу сказать что. Если пригляжусь, то могу увидеть Лиден. И свою каюту на «Онеблине». И…

— Но сперва, Риг, — попросила Сладкое Сегодня, — расскажи нам, что произошло.

— Хорошо, — охотно согласился Риг. — Держи меня крепче, маба, я начинаю взлетать. Так вот, мы пошли в библиотеку, я, Астен и Беттон, и Беттон был старшим сибом, и взрослые были на мостике, и я собирался пойти спать, как я всегда делаю в обычном полете, но не успел я даже лечь, как вдруг появились бурая планета, и порт Ве, и оба солнца, и все остальное, и я мог видеть сквозь что угодно, а Астен не могла. Но я могу.

— И никуда мы не улетали, — заявила Астен. — Риг вечно рассказывает всякие сказки.

— Мы все постоянно что-то рассказываем, Астен, — заметил Карт.

— Но не такие глупости, как Риг!

— Даже глупее, — сказала Орет. — И нам надо! Нам надо…

— Нам надо понять, — сказал Шан, — что такое трансилиентность, и мы этого не знаем, потому что никогда не делали этого прежде, и никто не делал этого прежде.

— Не во плоти, — уточнила Лиди.

— Нам надо понять, что — реально — произошло, и произошло ли вообще. — Тай указала на окружающую их пещеру света от костра и мрак за ее пределами. — Где мы? Здесь ли мы? Где находится это «здесь»? И каков рассказ?

— Мы должны рассказать его, — сказала Сладкое Сегодня. — Снова и снова. Сравнить его. Как Риг. Астен, как начинается сказка?

— Тысячу зим назад и в тысяче миль отсюда, — начала девочка, а Шан пробормотал:

— Давным-давно…

— Был корабль, который назывался «Шоби», — подхватила Сладкое Сегодня, — и отправился он в полет испытывать чартен-эффект, и был на нем экипаж из десяти человек

— А звали их Риг, Астен, Беттон, Карт, Орет, Лиди, Тай, Шан, Гветер и Сладкое Сегодня. И рассказали они свою историю, каждый отдельно и все вместе.

Наступила тишина, которая всегда была здесь, нарушаемая лишь шипением и потрескиванием огня, негромким дыханием и шорохом одежды, пока один из них наконец не заговорил, рассказывая историю.

— Мальчик и его мать, — произнес легкий и чистый голос, — стали первыми людьми, ступившими на эту планету.

Снова тишина, снова голос:

— Хотя ей хотелось, она поняла, что очень надеялась на то, что чартен не сработает, потому что он сделает все ее мастерство и всю ее жизнь ненужными, и одновременно ей очень хотелось научиться им управлять и узнать, что, если она сможет, если еще достаточно молода для обучения.

Долгая, мягко пульсирующая пауза, и другой голос:

— Они летали от мира к миру и всякий раз теряли мир, покидая его, теряли из-за разрыва во времени, потому что их друзья старели и умирали, пока они совершали СКОКС-полет. И если имелся способ жить в собственном времени и одновременно перемещаться от звезды к звезде, им хотелось испытать его.

— Поставив на него все, — подхватил следующий голос, — потому что ничто не срабатывает, кроме того, за что готовы отдать душу, и ничто небезопасно, кроме того, чем рискуют.

Короткая пауза, и голос:

— Это походило на игру. Словно мы все еще в порту Ве на борту «Шоби» и ждем, когда настанет время отправиться в

СКОКС-полет. Но и словно мы уже одновременно на бурой планете. И одно из этих двух — притворство, только я не знаю, что именно. Поэтому все оказалось так, точно притворяешься во время игры. Но я не хочу играть. Потому что не знаю правил.

Другой голос:

— Если чартен-принцип окажется применимым для реальной трансилиентности живых и разумных существ, это станет великим событием в сознании его соплеменников — и всех людей. Новое понимание Новое партнерство. Новый способ существования во вселенной. Более широкая свобода. Ему очень сильно этого хотелось. Он желал войти в экипаж, впервые создающий такое партнерство, первым человеком, способным промыслить эту мысль, и произнести ее. Но одновременно он боялся ее. Может, то не было истинное родство, может, фальшивое, может, всего лишь мечта. Он не знал.

Они сидели вокруг костра, но за их спинами уже не было столь холодно и темно И не волны ли это в Лидене шуршат о песок?

Другой голос:

— Она тоже много думала о своем народе. О вине, искуплении и пожертвовании. Ей очень хотелось совершить этот полет, который мог дать людям больше свободы Но он оказался не таким, каким она его представляла Произошло то, что произошло, значения не имело А важным оказалось то, что она оказалась среди людей, давших свободу ей. Без вины, Она хотела остаться с ними, стать одной из экипажа. Вместе с сыном. Который стал первым человеком, ступившим в незнакомый мир.

Долгая тишина, но уже не столь глубокая, наполненная мягким постукиванием корабельных систем, ровным и неосознаваемым, как циркуляция крови.

Новый голос:

— Они были мыслями в глубине сознания — чем же еще? Поэтому они могли быть и в Ве, и возле бурой планеты, и наполненной желаниями плотью, и чистым духом, иллюзией и реальностью — и все это одновременно, поскольку они всегда ими были. Когда он вспомнил это, его смущение и страх исчезли, потому что он понял, что они не могут потеряться.

— Они потерялись. Но они отыскали путь, — произнес новый голос, уже негромкий на фоне гудения и шороха корабельных систем, среди теплого свежего воздуха и света, заполняющих твердые стены корпуса.

Прозвучали девять голосов, и все взглянули на десятого, но десятый заснул, сунув в рот палец.

— Эта история рассказана, но ее еще предстоит рассказать, —

сказала мать. — Продолжайте. Я посижу во время чартена здесь, с Ригом.

Они оставили двоих у костра, прошли на мостик, а потом к шлюзам, приглашая на борт толпу встревоженных ученых, инженеров и чиновников порта Ве и Экумены, чьи приборы уверяли, что «Шоби» сорок четыре минуты назад исчез в несуществовании, в тишине.

— Что случилось? — спрашивали они — Что случилось?

И «шобики» переглянулись и сказали.

— О, это такая история...

ТАНЦУЯ ГАНАМ [56]

— Сила — это громкий барабанный бой, — сказал Акета. — Громкий, как удар грома! Как шум водопада, который создает электричество. Сила наполняет тебя до тех пор, пока внутри не исчезает место для чего-нибудь другого.

Пролив на землю несколько капель воды, Кет прошептала:

— Пей, странник. — И, бросив горсть муки на камни, добавила: — Ешь, странник.

Она перевела взгляд на Йянанам — гору силы.

— Может быть, он слышит только раскаты грома и уже не воспринимает ничего иного, — сказала она. — Неужели он знал, что делал?

— Я думаю, он знал, — ответил Акета.

После первого проблематичного, но успешного трансперехода, когда «Шоби», слетав на маленькую мерзкую планету М-60—340-но-ло, вернулся обратно, порт Ве отдал для чартен-технологии целое крыло. Создатели чартен-теории на Анарресе и инженеры трансперехода на Уррасе находились в постоянном контакте по ансиблю с теоретиками и конструкторами на Ве. Те, в свою очередь, ставили эксперименты и проводили исследования, пытаясь выяснить, что же на самом деле происходит с кораблем и командой при перемещении из одной точки вселенной в другую — без каких-либо затрат времени.

— Мы не можем говорить о «перемещении» и утверждать, будто что-то «происходит», — ворчали китяне. — Событие разворачивается одновременно здесь и там. На нашем языке этот не-интервал называется чартен.

Китянским временнолитикам вторили хайнские психологи, обсуждавшие и изучавшие те реальные ситуации, когда разумные формы жизни переживали чартен.

— Мы не можем говорить о «реальности» происходящего и о «переживании», — возмущались они. — Реальность точки «прибытия» формируется совместным восприятием чартен-команды и фиксируется их приспособлением к ней. Вот почему предварительная конструкция событий является обязательным условием для эффективного трансперехода мыслящих существ.

И так далее, и тому подобное — потому что хайнцы говорили об этом миллионы лет и никогда не уставали от подобных разговоров. Но еще им нравилось слушать. Они внимательно изучили все, что рассказала им команда «Шоби». А когда в порт

прилетел командир Далзул, они выслушали и его.

— Вы должны отправить в полет одного человека, — сказал он им. — Корнем проблемы является интерференции восприятия. На «Шоби» было десять человек. А вы пошлите одного. Например, меня.

— Ты должна полететь вместе с Шаном, — сказал Беттон.

Его мать покачала головой.

— Глупо отказываться от такого предложения!

— Если они не захотели взять тебя, я тоже не полечу, — ответила она. Вместо того чтобы обнять ее или сказать слова одобрения, мальчик сделал кое-что получше. Беттон редко обращался к этому средству. Он пошутил:

— Тебя ждет забвение антивремени.

— Ничего, я это как-нибудь переживу, — ответила Тай.

Шан знал, что хайнцы не носят форменной одежды и не используют такие звания, как «командир». Тем не менее он надел свою черно-серебристую терранскую форму и отправился на встречу с командиром Далзулом.

Родившись в бараках Альберты, в те дни, когда Терра лишь вступала в союз Экумены, Далзул закончил университет А-Ио на Уррасе, получил ученую степень по временной физике, прошел стажировку со стабилями на Хайне и вернулся на родную планету в ранге экуменического мобиля. И пока он шестьдесят семь лет летал по мирам на почти световой скорости, беспокойное движение «единых» переросло в религиозную войну и выплеснулось в ужасы юнистской революции. Прилетев на Терру, Далзул за несколько месяцев взял ситуацию под контроль. Его проницательность и тактика не только восхитили тех людей, за которых он боролся, но и вызвали поклонение у противников — отцов юнизма, решивших, что Далзул и есть их бог. Широкомасштабные убийства неверующих сменились мировым поветрием обожания Нового Воплощения. Затем начались расколы и ереси. Сектанты принялись убивать друг друга, но Далзул подавил этот пик теократической жестокости — самый худший и длительный после Эпохи Осквернения. Он действовал с изяществом и мудростью, с терпением и надежностью, с гибкостью, хитростью и юмором, то есть в стиле, который пользуется наивысшим почетом среди обитателей Экумены.

Став жертвой обожествления, он уже не мог работать на Терре и какое-то время выполнял конфиденциальные и многозначительные задания на безвестных, но важных планетах. Одной из них был Оринт — единственный мир, из которого ушли

жители Экумены. Они поступили так по совету Далзула — незадолго до того, как оринтяне применили в войне патогенное оружие, навсегда уничтожив разумную жизнь на своей планете. Далзул предсказал это событие с ужасной точностью. В последние часы перед катастрофой он организовал тайное спасение нескольких тысяч детей, чьи родители согласились на их эвакуацию. Дети Далзула — последние из тех, кого называли оринтянами.

Шан знал, что герои появлялись лишь в среде примитивных культур. Но поскольку культура Терры была примитивной, он считал Далзула своим героем.

Прочитав сообщение из порта Ве, Тай недоуменно спросила:

— Какая еще команда? Кто это просит нас бросить ребенка и лететь неведомо куда?

Она посмотрела на Шана и увидела его лицо.

— Нас зовет Далзул, — ответил он. — Зовет в свою команду.

— Тогда лети, — сказала Тай.

Конечно, он спорил, но его жена оставалась на стороне героя. И Шан согласился. Отправляясь на прием, устроенный в честь Далзула, он надел черную форму с серебряными полосками на рукавах и с серебряным кругом на груди в области сердца.

Командир был одет в такую же форму. При виде его сердце Шана подпрыгнуло и застучало быстрее. Само собой разумеется, герой не походил на того могучего трехметрового гиганта, каким его представлял себе Шан. Но в других отношениях Далзул выглядел на все сто — стройный и гибкий торс, длинные светлые волосы, поседевшие от возраста и обрамлявшие красивое величественное лицо, глаза небесной чистоты, сверкавшие словно проточная вода. Шан даже не предполагал, что кожа Далзула окажется такой белой, но этот небольшой атавизм воспринимался как своеобразный штрих или, вернее, красота, присущая только ему.

Далзул общался с группой анаррести и что-то тихо говорил им мягким голосом. Увидев Шана, он извинился и направился к нему.

— Наконец-то! Вы — Шан А я — Далзул. Нам с вами предстоит совместный полет. Я очень сожалею, что ваша партнерша не согласилась войти в команду. Но, думаю, я нашел ей хорошую замену. Это ваши старые приятельницы — Риель и Форист

Шан был счастлив их видеть. Два знакомых лица острое, цвета обсидана — у Форист и круглое, сияющее, как медное солнце, — у Риель. Он учился вместе с ними на Оллуле. И эти женщины встретили его с равной радостью.

— Как здорово! — воскликнул он, но тут же спросил— — Неужели в команде будут только терране?

При всей очевидности факта это был глупый вопрос. Однако обитатели Экумены любили составлять экипажи из представителей разных культур.

— Давайте отойдем, — сказал Далзул, — и я вам все объясню.

Он подозвал мезклета, и тот подбежал к ним, гордо толкая перед собой тележку с напитками и закусками. Все четверо наполнили подносы, поблагодарили маленькое существо и уединились в глубокой нише у окна — чуть в стороне от шумной толпы. Устроившись на ступенях, они наслаждались едой, говорили и слушали. Далзул не скрывал, что убежден в своей правоте. Он думал, что близок к решению «чартен-проблемы».

— Я дважды летал один, — рассказывал герой.

Он слегка понизил голос, и Шан, неправильно истолковав его манеру разговора, простодушно спросил:

— Без разрешения ИГЧ?

Далзул усмехнулся:

— О нет. Исследовательская группа чартена дала мне «добро"(Но не благословение. Вот почему я до сих пор шепчусь и посматриваю через плечо. В ИГЧ есть люди, которым не нравятся мои поступки — как будто я украл корабль, извратил теорию, нарушил судовой кодекс чести или помочился в их туфли. Они косятся на меня даже после того, как я слетал туда и обратно без чартен-проблем и вообще без каких-либо перцептуальных диссонансов.

— А куда вы летали? — спросила Форист, приблизив к нему заостренное лицо.

— Первый полет выполнялся внутри этой системы — от Ве до Хайна и назад. Словно прогулка на автобусе по давно известным местам. Как и ожидалось, все прошло без приключений. Сначала я был здесь, потом оказался там. Мне оставалось лишь выйти из корабля и зарегистрироваться у стабилей. Потом я вернулся на судно и снова оказался здесь. Просто и быстро! Вы сами знаете(Это как магия. И в то же время полеты кажутся вполне естественным делом. Где одно, гам и другое, верно? Вы чувствовали это, Шан?

Его глаза поражали чистотой и живостью. Шану показалось, что он взглянул на молнию. Ему хотелось возразить, но он начал смущенно запинаться:

— Я(Мы(Вы же знаете. У нас возникли некоторые проблемы в определении того места, куда мы попали.

— Я думаю, что эта путаница не обязательна. Транспереход

является антипереживанием. Мне верится, что в конечном счете нормой будет отсутствие каких-либо событий. Это нормально, что со мной ничего не произошло. Ваш эксперимент на «Шоби» был испорчен внешними воздействиями. Мы же постараемся получить незамутненный антиопыт.

Далзул посмотрел на Форист и Риель, обнял их и засмеялся:

— Сейчас вы анти-поймете, что я не имею в виду. После той «автобусной экскурсии» я слонялся вокруг ИГЧ, раздражая их своими просьбами, пока наконец Гвонеш не разрешил мне сольный исследовательский полет.

Мезклет пробился к ним сквозь толпу, толкая мохнатыми лапами маленькую тележку. Эти существа обожали вечеринки и хорошую еду. Они любили поить людей напитками и смотреть, как те начинают пьянеть и веселиться. Малыш остановился рядом с ними, надеясь заметить что-нибудь необычное в их поведении. Постояв немного, он побежал назад к теоретикам Анарреса, которые всегда были немного странными.

— Исследовательский полет? С правом на первый контакт?

Далзул кивнул. Его внутренняя сила и врожденное достоинство обескураживали собеседников, но восторг и простодушная радость в каждом действии и слове были просто неотразимыми. Шан встречал многих выдающихся и мудрых людей, но ни у одного из них энергия не была такой яркой и чистой. И так по-детски беззащитной.

— Мы выбрали очень удаленную планету — Джи-14—214-йомо. На картах Экспансии она значилась как Тадкла, но люди, которых я там встретил, называли ее Ганам. Восемь лет назад на эту планету отправили группу представителей Экумены Стартовав с Оллуля, они уже набрали СКОКС — скорость околосветовую — и через тринадцать лет должны достигнуть цели. Мы не могли связаться с ними и сообщить о том, что я намерен обогнать их корабль. Тем не менее ИГЧ одобрила эту идею. Им понравилось, что кто-то прилетит туда через тринадцать лет и в случае моего исчезновения узнает о причинах неудачи. Хотя теперь их миссия кажется мне почти бессмысленной. Когда они прилетят туда, Ганам уже станет членом Экумены!

Далзул посмотрел на собеседников, обжигая их страстным горящим взглядом.

— Чартен изменит все! Когда трансперехоты придут на смену космическим полетам(Когда между мирами не будет расстояний и мы начнем контролировать время(Я даже не могу вообразить, что это нам даст! Что это даст Экумене! Мы сделаем семью человечества единым домом, единым местом. А потом

отправимся дальше и глубже! Любое наше действие в транспереходе объединяет нас с первичным моментом, который является ритмом вселенной. Мы становимся едиными с ней. Мы устраняем время! На наших ладонях раскрывается вечность! Вы были там, Шан! Скажите, вы чувствовали то, о чем я говорю?

— Не знаю. Возможно(

— Хотите посмотреть видеозапись моего путешествия? — внезапно спросил Далзул. В его глазах сияло озорство. — Я взял с собой портативный видеопроектор.

— Да! — воскликнули Форист и Риель.

Они придвинулись к нему, как кучка заговорщиков. Мезклет засуетился, пытаясь увидеть то, на что они смотрели. Он забрался на тележку. Но ему все равно не хватало роста.

Настраивая маленький визор, Далзул вкратце рассказал им о Ганаме. Это был один из самых удаленных посевов хайнской Экспансии. Пятьсот тысяч лет планета оставалась потерянной для космического сообщества, и о ней знали только то, что существа, населявшие ее, имели человеческих предков. Вначале предполагалось, что корабль Экумены, летевший к этому миру, будет довольно долго наблюдать за ним с орбиты, скрытно или явно посылать вниз своих разведчиков, входя в контакт с местными жителями лишь в случаях острой необходимости. В подобных миссиях на сбор информации и обучение языкам уходило несколько лет. Но в полете Далзула все упростилось непредсказуемостью новой технологии. Его небольшой корабль вышел из чартена не в стратосфере, как это намечалось по плану, а в атмосфере — почти в ста метрах от поверхности планеты.

— У меня не было возможности сделать свое появление незаметным, — рассказывал он.

Видеозапись корабельных приборов подтверждала его слова. Глядя на маленький экран, они увидели, как серая равнина порта Ве исчезла внизу, когда судно взлетело с космодрома.

— Вот, сейчас! — воскликнул Далзул.

И через миг они уже смотрели на звезды, сиявшие в черном небе, на желтые стены и оранжевые крыши города, на отблески солнечного света в широком канале.

— Вы видели? — прошептал Далзул. — Ничего не случилось. Абсолютно ничего.

Город накренился и приблизился. Залитые солнцем улицы и площади были заполнены людьми, и все они смотрели вверх, махая руками и выкрикивая слова, которые, наверное, означали: «Смотрите! Смотрите!»

— Мне пришлось принять эту ситуацию как свершившийся факт, — сказал Далзул.

Деревья и трава дрогнули, а затем метнулись вперед, когда судно пошло на посадку. К кораблю уже бежали горожане. В основном это были мужчины: массивного телосложения, с темно-красной кожей, бородатыми лицами и голыми руками. На их головах покачивались замысловатые уборы, сплетенные из золотой проволоки и украшенные плюмажами из перьев. В ушах болтались большие золотые серьги.

— Гамане, — сказал Далзул. — Люди Ганама. Правда красивые? И они не теряли время зря. Через полчаса весь город был у корабля. А вот это Кет. Потрясающая женщина, верно? Корабль встревожил горожан, и я решил показать им, что полностью отдаю себя в их руки.

Они видели то, о чем говорил Далзул. Видеокамеры корабля засняли его выход. Он медленно сошел но трапу на траву и приблизился к собравшейся толпе. На нем не было ни оружия, ни одежды. Далзул неподвижно стоял перед кричавшими людьми, и свирепое солнце играло на его белой коже и серебристых волосах. Он широко раскинул руки ладонями вверх в жесте мирного предложения.

Пауза затянулась. Внезапно шум и разговоры среди гаман затихли, и из толпы вышло несколько человек. Видеокамера вновь показала Далзула. Он неподвижно стоял перед высокой стройной женщиной, при виде которой у Шана вырвался восхищенный вздох. Ее округлые плечи, черные глаза и высокие скулы заставляли сердце трепетать от восторга. Дивные волосы были переплетены золотой тесьмой и уложены в форме прекрасной диадемы. Она заговорила с Далзулом Ее звонкий голос казался чистым потоком, а слова лились как поэма, как ритуальная речь. Далзул ответил тем, что поднес руки к сердцу, а затем протянул к ней открытые ладони.

Какое-то время женщина смотрела на него. Затем, произнеся одно звучное слово, она грациозно и медленно сняла темно-красный жилет, оголила плечи и грудь, развязала пояс юбки и отбросила одежду прочь изящным и выверенным жестом. Их обнаженные тела на фоне притихшей толпы были удивительно прекрасными. Она протянула ему руку, и Далзул нежно сжал ее ладонь.

Они зашагали к городу. Толпа сомкнулась за ними и двинулась следом — безмолвная, неторопливая и удовлетворенная, будто эта церемония проводилась здесь множество раз. Несколько юношей задержались на поляне, решив рассмотреть корабль. Подбадривая друг друга, они подошли к нему — с любопытством и осторожностью, но без страха.

Далзул выключил видеопроектор.

— Вы заметили разницу? — спросил он Шана, но тот благоговейно промолчал.

Далзул с улыбкой осмотрел своих слушателей.

— Экипаж «Шоби» обнаружил, что индивидуальные переживания трансперехода могут стать когерентными только благодаря согласованным усилиям команды. Усилиям по синхронизации, или, точнее, настройке. Когда они поняли это, им удалось устранить опасно возраставшее фрагментарное восприятие. Они не только описали то место, где приземлился их корабль, но и дали адекватную оценку своей ситуации. Верно, Шан?

— Теперь это называют хаотичным переживанием, — ответил тот Шан был ошеломлен огромной разницей между опытом Далзула и его собственными воспоминаниями о транспереходе.

— После полета «Шоби» наши временнолитики и психологи изрядно попотели над чартен-теорией, увешав ее громоздкими дополнениями, — сказал Далзул. — Мое же толкование покажется вам до смеха простым. Я считаю, что диссонанс восприятия, несогласованности и путаница переживаний в эксперименте «Шоби» были следствием неподготовленности вашей команды. Понимаете, Шан, каким бы хорошим ни был ваш экипаж, он состоял из представителей четырех миров. А это четыре разные культуры! Я уже не говорю о возрастных различиях — две старые женщины и трое подростков! Если ответом на согласованный транспереход является четкое функционирование в гармоничном ритме, мы должны сделать эту настройку легкой. То, что она вам удалась, — просто чудо. И конечно, простейшим способом обойти ее был бы одиночный полет.

— Как же мы тогда получим перекрестную проверку переживаний? — спросила Форист.

— А зачем она нужна? Вы только что видели видеозапись моей посадки.

— Да, но наши приборы на «Шоби» тоже вышли из строя, — сказал Шан. — Многие из них оказались полностью разбалансированными. Их показания были такими же несогласованными, как и наши восприятия.

— Совершенно точно! Вы и приборы находились в едином поле настройки. Вы как бы запутывали друг друга. Но когда двое или трое из вас спустились на поверхность планеты, ситуация тут же изменилась к лучшему. Посадочная платформа функционировала идеально, а ландшафтная съемка велась почти без помех — хотя и показывала сплошное безобразие.

Шан смущенно засмеялся:

— Да, то было гадкое место. Планета-сортир. Но, командир(Даже просматривая видеозапись, мы не могли понять, кто же действительно спускался на поверхность. Это одна из самых хаотичных частей всего эксперимента. Я помню, что спускался с Гветером и Беттоном. Почва под платформой начала оседать. Мне пришлось позвать их назад, и мы вернулись на судно. Судя по моему восприятию, посадка выглядела вполне когерентной. Но, по мнению Гветера, он спускался с Беттоном и Тай, а не со мной. Он услышал, как Тай позвала его по рации, и вернулся с нашим мальчиком на корабль. Что касается Беттона, то он спускался с Тай и со мной. Заметив, что его мать сошла с платформы, он не подчинился моему приказу и остался на поверхности. Гветер тоже видел это. Они вернулись без нее и увидели Тай уже в рубке, на мостике. Сама Тай говорит, что вообще не спускалась на посадочной платформе. Каждая из четырех историй является нашим свидетельством. Они в равной степени верны и в равной степени ложны. Видеозапись ничего не прояснила — приборы так и не показали лиц за стеклами скафандров. А в этой куче дерьма на поверхности планеты все фигуры выглядели одинаково грязными и однообразными.

— Вот именно! — с улыбкой воскликнул Далзул. — Темнота, дерьмо и хаос, увиденные вами, были засняты и видеокамерами вашего корабля! А теперь сравните это с записью, которую мы только что смотрели! Солнечный свет, красивые лица, яркие цвета — все сияющее, радостное, чистое! И только потому, что в моем опыте отсутствовали наложения и помехи Вы понимаете, Шан? Китяне говорят, что чартен-поле является глубинным ритмом вселенной — вибрацией конечных волн-частиц. Транспереход представляет собой функцию ритма, создающего бытие. Согласно китянской духовной физике, мы получаем доступ к вибрациям, которые позволяют человеку становиться вечным и вездесущим. Моя экстраполяция заключается в том, что группа людей при транспереходе должна сохранять почти идеальную синхронность, иначе точка прибытия не будет восприниматься ими гармонично — то есть одинаково и точно. Моя интуитивная догадка оказалась верной: в одиночном полете чартен переживается нормально, в то время как десять человек ощущают при этом хаос или нечто худшее.

— А что почувствуют четыре человека? — спросила Форист.

— В этом случае ситуация поддается контролю, — ответил Далзул. — Честно говоря, мне хотелось бы слетать еще раз одному или с напарником. Но, как вы знаете, наши друзья на Анарресе не доверяют тому, что они называют эгоизацией. По их мнению, этика не доступна одиночкам и является феноменом

группы. Кроме того, они полагают, что в эксперименте «Шоби» присутствовал какой-то неучтенный элемент. Они убеждены, что группа может переносить чартен так, же хорошо, как и один человек. Но как нам это доказать без новых данных? Короче, я пошел на компромисс. Я сказал им: отправьте меня в полет с двумя или тремя хорошо совместимыми и правильно мотивированными компаньонами. Пошлите нас обратно на Ганам, и давайте посмотрим, что получится!

— Одной мотивировки недостаточно, — сказал Шан. — Я должен быть предан этой команде. Я должен принадлежать ей целиком и полностью.

Риель кивнула Форист, как всегда настороженная и внимательная, спросила:

— Значит, мы будем настраиваться друг на друга, командир?

— Да, так долго, как вам захочется, — ответил Далзул. — Но есть нечто более важное, чем практика. Скажите, Форист, вы поете? Или, может быть, играете на каком-то инструменте?

— Мне нравится петь, — сказала Форист.

Риель и Шан кивнули, когда Далзул посмотрел на них.

— Попробуем это? — спросил он. И начал тихо напевать старый марш «Улетая к Западному морю» — песню, которую знал каждый человек, рожденный в лагерях и бараках Терры.

Риель подхватила мотив, потом к ним присоединился Шан, а за ним и Форист, которая удивила всех низким и звучным контральто. Несколько человек, стоявших рядом с ними, повернулись, чтобы послушать слаженную песню, и она постепенно заглушила многоголосый шум толпы. Мезклет стрелой метнулся к ним, забыв о своей тележке. Его глаза расширились от восторга и стали яркими от слез. А четверо астронавтов закончили песню долгим и мягким аккордом.

— Вот и вся настройка, — произнес Далзул. — Только музыка поможет нам добраться до Ганама. Прав был тот поэт, который назвал вселенную безмолвной мелодией наших сердец.

Форист и Риель подняли бокалы.

— За музыку! — воскликнул Шан и, наслаждаясь счастьем, отпил глоток шипучего напитка.

— За команду «Гэльбы», — добавил Далзул, поддержав его тост.

Специалисты, наблюдавшие за формированием команды, согласились сократить срок подготовки до минимума. Большую часть этого времени Шан, Риель и Форист обсуждали сложности чартен-проблемы — с командиром и без него. Они столько раз смотрели корабельные видеозаписи и заметки Далзула,

сделанные им на Ганаме, что запомнили их наизусть. И потом часто благодарили себя за это.

— Мы вынуждены принимать все его слова и впечатления как объективные факты, — пожаловалась Форист. — Но как мы можем проконтролировать их истинность?

— Его отчет и бортовые видеозаписи полностью соответствуют друг другу, — ответил Шан.

— Если теория Далзула верна, это свидетельствует лишь о том, что он и судовые приборы были настроены друг относительно друга. Значит, реальность корабля и аппаратуры может восприниматься нами только так, как она воспринималась человеком или другим разумным существом в момент трансперехода. Китяне говорят, что чартен-проблема возникает лишь тогда, когда в процесс вовлекается разум. В полет отправляют зондавтомат, и никаких осложнений. Эксперименты с амебами и сверчками проходят успешно и без проблем. Но стоит послать в транспереход разумных существ, как все летит вверх тормашками. Теория перестает работать, и люди воспринимают хаос. Ваш корабль стал запутанным клубком из десяти различных реальностей. Его приборы покорно фиксировали диссонансы, пока не сломались или не потеряли балансировку. Лишь когда вы объединились и начали конструировать согласованную реальность, корабль откликнулся на нее и восстановил регистрацию событий. Верно?

— Да, — ответил Шан. — Мы привыкли жить в стабильной структуре мироздания, и, когда она превращается в хаос или десяток переплетенных вариантов, это здорово бьет по нервам.

— Все во вселенной иллюзорно, — безжалостно сказала Форист. — Наш реальный мир — просто одна из лучших человеческих иллюзий.

— Но музыка первична, — возразил ей Шан. — И танцуя, люди сами становятся музыкой. Я думаю, мы можем воплотить в реальность тот мир, который увидел Далзул. Мы можем станцевать для Ганама.

— Мне это нравится, — сказала Риель. — Но помните: теория иллюзии требует, чтобы мы не верили заметкам Далзула и видеозаписям корабля. Они иллюзорны. С другой стороны, Далзул бывалый наблюдатель и превосходный аналитик. У нас нет причин для недоверия к его словам, если только мы не приняли предположение, основанное на эксперименте «Шоби». А оно говорит, что чартен-переживание обязательно искажает восприятие и его оценку.

— В заметках Далзула есть элементы очень распространенной иллюзии, — добавила Форист. — Я имею в

виду принцессу, которая якобы ожидала нашего героя, чтобы отвести его, голого и смелого, в свой дворец, а затем, после церемоний и любезностей, отдаться ему по-королевски. Вы заметили? У него даже секс имеет небесное качество. Я не говорю, что не верю этому, — меня там не было. Слова Далзула могут оказаться чистой правдой. Но я хотела бы узнать, как эти события воспринимала сама принцесса?

До того как «Гэльбу» оснастили чартен-аппаратурой, она считалась обычным хайнским кораблем внутрисистемного класса «зеркало». Маленький корпус, похожий на пузырь, имел такие же размеры, как посадочная платформа «Шоби». Входя внутрь, Шан почувствовал неприятный холодок, который пробежал по его спине. Ему вдруг вспомнились хаотичные и бессодержательные переживания чартена. Неужели им снова придется пройти через это? И вернется ли он когда-нибудь назад? Мысль о Тай наполнила его сердце тревогой и болью. Ее уже не будет рядом с ним, как в прошлый раз. Милая Тай, которую он полюбил на борту «Шоби». И Беттон, чистосердечный мальчуган(Они могли бы быть сейчас вместе. О, как они ему нужны!

Форист и Риель проскользнули в люк, за ними по трапу поднялся Далзул. Вокруг него ощущалась мощная, почти видимая концентрация энергии — аура, ореол или яркость бытия. Неудивительно, что юнисты считали его богом, подумал Шан. И эта мысль была такой же церемониальной, как благоговейное приветствие, оказанное Далзулу гаманами. Его переполняла мана — сила, на которую откликались другие люди. На которую они теперь настраивались. Тревога Шана улеглась. Он знал, что рядом с Далзулом не будет хаоса.

— Они считают, что нам легче контролировать маленький «пузырь», а не мой предыдущий корабль. На этот раз я постараюсь не выходить из трансперехода над крышами города. Немудрено, что после такого появления гамане приняли меня за божество, материализовавшееся в воздухе.

Шан уже привык к тому, что Далзул, будто эхо, откликался на мысли своих товарищей. Они находились в синхронизации, и такой феномен был лучшим ее доказательством. В этом и заключалась их сила.

Они заняли свои места: Далзул — за чартен-пультом, Риель — у мониторов А-1, Шан — в кабине пилота, а Форист за ними как аналитик и дублер. Далзул осмотрел их лица и кивнул. Шан поднял корабль на пару сотен километров от порта Ве. Кривая дуга планеты упала вниз, и звезды засияли под их ногами, вокруг и выше.

Далзул запел: не мелодию, а ноту — глубокую полновесную «ля», Риель взяла ее на октаву выше, Форист подхватила промежуточную «фа», и Шан ответил им ровным «до», словно он был музыкальным чартен-органом. Риель перешла на высокое «до». Далзул и Форист запели трезвучие. И когда аккорд изменился, Шан уже не знал, кто какую ноту пел. Он вошел в сферу звезд и сладкогласных частот, разбухавших и тускневших в долгом унисоне. А потом Далзул прикоснулся к пульту, и желтое солнце осветило высокое синее небо, раскинувшееся над странным незнакомым городом.

Шан взял управление на себя. Под кораблем замелькали пыльные площади, дома, оранжевые и красные крыши.

— Давайте остановимся там, — сказал Далзул, указывая на зеленую полоску у канала.

Шан повел «Гэльбу» по пологой планирующей дуге и мягко, словно мыльный пузырь, опустил ее на траву. Он осмотрел ландшафт за прозрачными стенами

— Голубое небо, зеленая трава, время около полудня, к нам приближаются местные, — сказал Далзул. — Правильно?

— Правильно, — ответила Риель.

Шан засмеялся.

Ни одного сбоя в ощущениях, никакого хаоса в восприятии. На этот раз они обошлись без ужасов неопределенности.

— Мы выполнили чартен! — с восторгом выкрикнул он. — Мы сделали это! Мы станцевали!

Люди, работавшие на полях у канала, сбились в кучу и смотрели на корабль. Судя по всему, они не смели подойти к «упавшей звезде». Но вскоре на пыльной дороге, ведущей из города, появилась большая процессия.

— А вот и комитет по организации встречи, — пошутил Далзул. Они сошли по трапу и стали ждать. Напряженность момента еще больше усиливала необычную четкость эмоций и ощущений. Шан чувствовал, что знает эти красивые зубчатые контуры двух вулканов, которые, словно грозные часовые, охраняли границы города. Он узнавал их как далекое незабываемое воспоминание. Он узнавал запах воздуха, трепет света и тени под листвой. «Я здесь, — сказал он себе с радостной уверенностью. — Я здесь и сейчас, и отныне во вселенной нет расстояний и разобщенности».

То было напряжение без страха. Мужчины в высоких головных уборах с плюмажами, с бородами по грудь и крепкими руками, подошли и остановились перед ними. Их бесстрастные лица выражали спокойное величие. Пожилой мужчина кивнул Далзулу и сказал:

— Сем Дазу.

Командир прикоснулся ладонью к груди и развел руки в стороны:

— Виака!

Кто-то в толпе закричал:

— Дазу! Сем Дазу!

И многие повторили приветственный жест терран.

— Виака, — сказал Далзул, — бейя. Друзья.

Он представил своих спутников, называя их имена после слова «друг».

— Фойес, — повторил старик. — Шан. Ией.

Запутавшись с произношением «Риель», Виака слегка нахмурился:

— Друзья. Приветствуем вас. Добро пожаловать в Ганам.

Во время своего первого краткого визита Далзул записал для хайнских лингвистов лишь несколько сотен слов. На основе этой скудной информации они и их мудрые аналитики создали небольшой грамматический словарь, пестревший знаками вопросов в круглых скобках. Шан добросовестно изучил его от корки до корки. Он вспомнил слова «бейя» и «киюги» — приветствуем (?, будьте как дома (?). Лингвистка-хилфер Риель должна была дополнить этот справочник.

— Я предпочитаю изучать язык среди людей, которые говорят на нем, — сказал как-то Далзул.

Когда они зашагали к городу по пыльной дороге, яркость впечатлений начала перегружать сознание Шана. Пейзаж сливался с маревом зноя и отблесками света. Сознание переполняли блеск золота и взмахи перьев, мелькание красных и желтых глиняных стен, красных, как глина, голых торсов и плеч. Перед глазами трепетали пурпурные и оранжевые накидки, темно-коричневые полосатые жилеты и килты. Гостей затопили запахи масла, ладана и пыли, зловоние дыма, пота и подгорелой пищи, шум множества голосов, стук сандалий и шлепанье босых ног по камню и земле, звон колокольчиков и гонгов, оттенки, прикосновения и ритмы мира, где все было чужим и в то же время знакомым. Этот маленький город из камня и глины, величественный, грубый и человечный, с резными колоннами, пылавшими в свете золотого солнца, выглядел самым диким и чуждым местом из всего того, что Шан когда-либо видел. Но ему казалось, будто он вернулся домой после долгих скитаний по дальним мирам. Глаза застлали слезы. «Теперь мы едины, — подумал он. — Между нами больше нет расстояний и времени. Один шаг через вечность, и мы вместе». Он шел рядом с Далзулом и слышал, как люди степенно приветствовали его. Сем Дазу,

говорили они. Сем Дазу, киюги. Ты вернулся домой.

В первый день такая эмоциональная перегрузка была просто невыносимой. Иногда Шан думал, что вообще теряет разум. Интенсивный поток восприятии влиял на процесс мышления и замедлял его.

— Да плюньте вы на этот процесс, — со смехом ответил Далзул, когда Шан рассказал ему о своей проблеме. — Не так уж часто человек становится ребенком.

И он действительно ощущал себя ребенком — без ментального контроля над событиями, без всякой ответственности за них. Они происходили сами по себе, ожидаемые или невероятные, а он был их частью и одновременно свидетелем.

Гамане хотели сделать Далзула своим королем. Нелепое, но вполне естественное желание. Возможно, их правитель умер, не оставив наследника, и тут с небес спустился красивый мужчина с серебристыми волосами. Принцесса, охнув, сказала: «Вот это парень», — но мужчина куда-то исчез и позже вернулся с тремя странными спутниками, которые могли показывать чудеса. Да, такой герой годился только в короли. А что еще с ним делать?

Риель и Форист с большой неохотой приступили к сбору слухов и поиску исторических сведений. План Далзула лишал их выбора. Он считал, что королевский сан является почетным званием, а не правом на власть. И его спутникам пришлось согласиться, что ему, возможно, лучше исполнить желание гаман. Пытаясь оценить перспективу сложившейся ситуации, экипаж разделился надвое. Женщины поселились в доме рядом с рынком, где каждый день общались с простыми людьми и радовались свободе передвижения, которую потерял Далзул. Королевский сан, как он однажды пожаловался Шану, налагал на него две неприятных обязанности — постоянное пребывание во дворце и соблюдение многочисленных табу.

Шан остался с Далзулом. Виака поселил его в одном из крыльев беспорядочно построенного глиняного дворца. Здесь же жил один из родственников Виаки по имени Абуд. Этот юноша помогал ему вести домашнее хозяйство. От Шана никто ничего не ожидал — ни Далзул, ни городские власти. Его время принадлежало только ему. Он лишь помнил, что ИГЧ просила их провести на Ганаме тридцать дней. И эти дни текли как весенняя вода. Он пытался сделать что-нибудь полезное для Экумены, но все его начинания упирались в огромное нежелание прерывать поток переживаний из-за каких-то разговоров и аналитических суждений. Все равно ничего не происходит, улыбаясь, говорил

себе Шан.

Единственным событием, вышедшим за рамки повседневности, стал день, который он провел с племянницей (?) Виаки и ее супругом (?). Шан несколько раз пытался определить систему родства у гаман, но вопросительные знаки оставались на прежних местах. По каким-то причинам молодая пара не пожелала назвать ему своих имен. Они просто пригласили его на прекрасную прогулку к водопаду, который грохотал на склоне огромного вулкана Йянанама. Из их слов Шан понял, что они хотели показать ему свое святилище. И был сильно удивлен, обнаружив, что свято чтимый водопад приводит в действие священную динамо-машину.

Гамане, как объяснили его спутники, — или, вернее, как ему удалось интерпретировать их рассказ, — довольно неплохо разбирались в принципах гидроэлектричества. К сожалению, они почти ничего не знали об аккумуляторах и поэтому практически не использовали силу, которую могли бы собрать. Молодая пара больше говорила о природе электрического тока, чем о его применении. Шан с трудом улавливал смысл их слов. Ему захотелось узнать, зачем гамане установили динамо-машину. Но запаса слов хватило лишь на фразу «Это куда-нибудь идет?» В подобные моменты, неприятные и обидные для него, он чувствовал себя полуразумным ребенком.

— Да, — ответила молодая женщина, — сила уходит в инканем, когда басеммиак вада.

Шан кивнул и записал свои впечатления на пленку. Его спутники с восторгом наблюдали, как на маленьком экране диктофона появлялись крохотные буквы и символы. Как и все гамане, они считали это чудом или доброй магией.

Шан вышел на террасу перед небольшим строением, где находилась динамо-машина. Широкая площадка была выложена гладкими каменными плитами, которые создавали сложный запутанный узор. Его спутники начали что-то объяснять, указывая на стремительный поток. Среди быстрых сияющих струй воды он заметил какой-то блестящий предмет, но так и не понял, что это такое. «Хеда, табу», — сказал ему юноша — слово, которое Шан уже знал от Далзула. До сих пор ему не приходилось сталкиваться с хеда. Молодые люди завели друг с другом разговор, и Шан пару раз уловил имя «Дазу», произнесенное печальным тоном. Но он снова не понял, о чем шла речь. Они подошли к маленькой глиняной усыпальнице, и оба его спутника почтительно положили на холмик по листу с ближайшего дерева. Чуть позже в косых лучах предзакатного солнца они спустились вниз по склону горы.

Обогнув скалу на повороте крутой тропы, Шан увидел огромную долину и два других далеких города, едва заметных в золотистой дымке. Не веря своим глазам, он остановился, а затем с тревогой осознал свое удивление. Он вдруг понял, как сильно его всосал неторопливый быт Ганама. Шан успел забыть, что этот маленький город был лишь крохотной точкой на большой планете. Указав рукой на далекие поселения, он спросил у спутников:

— Это принадлежит гаманам?

Обсудив между собой его вопрос, молодые люди ответили:

— Нет. Гаманам принадлежит только Ганам. А те поселения — это другие города.

Неужели Далзул ошибся, приняв Ганам за всю планету? Может быть, это слово предназначалось только для города и его окрестностей?

— Тегуд ао? Как это называется? — спросил он, похлопав ладонью по земле, а затем описав руками круг, который охватывал долину, гору за их спинами и второй вулкан перед ними.

— Нанам тегудьех, — ответила племянница (?) Виаки

Ее муж (?) не согласился с таким определением. Они спорили об этом почти до самого города. Шан воздержался от дальнейших расспросов. Положив диктофон в карман, он наслаждался прохладой вечера, прогулкой и прекрасным видом тропы, которая спускалась по склону к золотым воротам Ганама.

На следующий день — или, возможно, через день — его навестил Далзул. Шан в тот момент находился в дальней части дворца и подрезал фруктовые деревья, посаженные в небольшом огороженном дворике. Секатор имел тонкие, слегка изогнутые лезвия — стальные и острые как бритва. Отшлифованные деревянные рукоятки были украшены изящной резьбой.

— Красивый инструмент, — сказал он Далзулу. — И прекрасное занятие. Забота о деревьях издавна считалась на Терре искусством. Его азам меня научила бабушка. Я не занимался им с тех пор, как стал обитателем Экумены. Гамане тоже хорошие садовники. Вчера двое из них показывали мне водопад.

Разве это было вчера? Хотя какая разница? Время больше не имело продолжительности — только интенсивность. Время стало узором, сотканным из интервалов и пауз. Шан взглянул на дерево, осознавая внутренние ритмы ствола и гармоничные интервалы ветвей. Года — цветы, миры — плоды(

— Забота о деревьях сделала меня поэтом, — сказал он,

поворачиваясь к Далзулу. — Что-нибудь не так?

Взгляд командира походил на подпрыгнувший пульс, фальшивую ноту, ошибочный шаг при танце.

— Я не знаю, — ответил Далзул — Давайте посидим немного. Они устроились в тени балкона на каменных ступенях.

— Наверное, я слишком сильно полагался на свою интуицию, стараясь понять этих людей, — сказал Далзул. — Я следовал чутью, а не сдержанности, изучал язык из уст, проходя мимо книг(Не знаю. Что-то пошло не так.

Слушая командира, Шан смотрел на его сильное и красивое лицо. Неистовый солнечный свет покрыл загаром белую кожу, окрасив ее в более человеческие тона. Далзул был одет в рубашку и штаны, но его седые волосы свободно спадали на плечи, как у всех местных мужчин. Он носил на голове узкий обруч, сплетенный из золота, и тот придавал ему варварский величественный вид.

— Да, они варвары, — сказал Далзул, в который раз угадывая мысли Шана. — Возможно, еще более примитивные и жестокие, чем я думал раньше. Этот королевский сан, которым они решили меня наделить(Боюсь, он означает не только почести и священнодействия. Я понял, что здесь замешана политика. Согласившись стать их королем, я, похоже, нажил себе соперника Врага!

— И кто он?

— Акета.

— Я не знаю его. Он живет во дворце?

— Нет. Этот человек не из окружения Виаки. По-видимому, он был в отъезде, когда я появился здесь в прошлый раз. Насколько я понял Виаку, этот Акета считает себя наследником престола и законным супругом принцессы.

— Принцессы Кет?

Шан еще не встречался с принцессой. Надменная и красивая женщина всегда оставалась на своей половине дворца, и даже Далзул навещал ее только по разрешению.

— А что она сама говорит об Акете? Разве принцесса не на вашей стороне? Ведь это она выбрала вас, а не вы ее.

— Она говорит, что я буду королем, — что это твердое решение. Но Кет неверна мне. Она покинула дворец. И, насколько я знаю, ушла в дом Акеты! О, мой Бог! Неужели во вселенной есть мир, где мужчины понимают женщин?

— Да, это Гетен, — ответил Шан.

Далзул засмеялся, но его лицо осталось мрачным и напряженным.

— Вы и Тай — партнеры, — помолчав, сказал он Шану. —

Возможно, в этом ответ. В своих отношениях с любой из женщин я никогда не достигал момента единения. Я не знал, что ей нужно в действительности и кто она на самом деле. А что, если смириться? Может быть, тогда и придет эта близость?

Шана тронуло, что Далзул, прославленный герой и повидавший жизнь мужчина, задавал ему такие вопросы.

— Не знаю, — ответил он. — Мы с Тай(Я чувствую ее как свою половинку. Но любовь — это путаное дело. Что же касается принцессы(Риель и Форист изучают язык и беседуют со многими людьми. Спросите у них? Они сами женщины и, возможно, уловили какие-то нюансы.

— Они — трансвеститы. Именно поэтому я и выбрал их. С двумя настоящими женщинами психологическая динамика могла бы усложниться.

Шан промолчал Он почувствовал какое-то недопонимание, будто что-то важное вновь оказалось пропущенным. «Интересно, — подумал он, — знает ли командир о моих сексуальных пристрастиях до встречи с Тай?».

— А что, если Кет ревнует меня к Форист или Риель? — задумчиво сказал Далзул. — Или даже к обеим? Она может воспринимать их как моих сексуальных партнерш. Ревность женщины — это змеиное гнездо! Но как мне объяснить принцессе, что они ей не соперницы? Для успешного полета нам требовался дружный экипаж. Конечно, я предпочел бы иметь дело с мужчинами, но мне пришлось подстраиваться под старейшин Хайна — а это в основном пожилые женщины. Я пригласил в команду вас и Тай, супружескую пару. И когда ваша партнерша отказалась, эти две подруги показались мне лучшим решением. Они прекрасно справляются со своими обязанностями, но я сомневаюсь, что им захочется делиться со мной своими потаенными мыслями, которые блуждают в их умах. Тем более о такой сексуальной женщине, как принцесса.

Шан снова почувствовал тревожный пульс несоответствия. Пытаясь избавиться от путаницы в голове, он потер ладонью шершавый камень ступени.

— Если этот королевский сан связан с политикой, а не с религией, — сказал он, возвращаясь к первоначальной теме, — то может быть, вам просто(снять свою кандидатуру?

— Политика и религия всегда идут бок о бок. Теперь только бегство может избавить меня от их предложения. А что? Сядем в корабль, используем чартен и вернемся в порт Ве.

— Мы можем перелететь на «Гэльбе» в любую часть планеты, — напомнил Шан. — Заодно посмотрим, как люди живут в других городах.

— Судя по тому что рассказал мне Виака, уход Кет — это не просто измена. Ее поступок вызван расколом религиозной общины. Если Акета придет к власти, он натравит своих последователей на Виаку и его людей. Они говорили мне, что для истинной и священной персоны короля необходимо кровавое жертвоприношение. Религия и политика! Почему я был так слеп? Почему позволил мечте заслонить реальность? Мне казалось, что мы нашли примитивный идиллический мир, а он оказался жестоким скопищем варваров. Здесь господствуют интриги и разврат! И у них остры не только секаторы, но и боевые мечи!

Внезапно его лицо озарила улыбка, а светлые глаза засияли.

— Но эти люди прекрасны! Они воплощают в себе все, что мы утеряли среди книг, индустрии и науки. Они так непосредственны и чисты, так страстны и реальны в своих порывах. Я люблю их, и, если они решили сделать меня своим королем, мне просто придется занять трон, надев на голову корзину из перьев. А пока я должен разобраться с Акетой и его командой. Единственный подход к нему возможен через нашу мрачную принцессу. Я нуждаюсь в вашей помощи, Шан. Сообщайте мне все, что вам удастся узнать.

— Если вам нужна моя помощь, сэр, вы ее получите, — растроганно ответил Шан.

Проводив командира, он решил сделать то, что Далзулу не позволяла его странная гетеросексуальная предвзятость. Он отправился к Форист и Риель, чтобы попросить у них совета.

Шан вышел из дома и зашагал через шумный ароматный рынок, пытаясь вспомнить, когда он был здесь в последний раз. С тех пор прошло уже несколько дней. А чем он занимался? Работал в садах, поднимался на гору Йянанам к водопаду, где стояла динамо-машина(И где он видел другие города! А его секатор был стальным. Значит, эти люди выплавляли сталь! Но где тогда их литейный цех? Возможно, они получали ее в обмен на продукты. Ум, как медленный жернов, перемалывал вопросы в бессмысленную труху. Шан вошел в уютный дворик и увидел Форист, которая сидела на террасе и читала книгу.

— О! — воскликнула она. — Гость с другой планеты!

Как же давно он здесь не был. Дней восемь или десять?

— Где ты пропадала? — спросил Шан, стараясь скрыть за словами смущение.

— Сидела здесь и ждала тебя Риель!

Форист посмотрела на балкон. Над перилами приподнялись несколько голов, одна из которых, с курчавыми волосами, радостно закричала:

— Шан! Я сейчас спущусь!

Риель принесла с собой горшочек с семенами типу — вездесущим лакомством в Ганаме. Они сели на террасе — лица в тени, остальное на солнцепеке — и начали щелкать семена. Типичные антропоиды, как сказала Риель. Она встретила Шана с дружеской теплотой. Но обе женщины вели себя настороженно. Они наблюдали за ним и ни о чем не спрашивали, будто ожидали увидеть признаки(Признаки чего? Сколько же дней он не встречался с ними?

Его тело содрогнулось от внезапной тревоги. Ритм мира нарушился, и этот пропущенный такт был таким основательным, что Шан уперся руками в теплый песчаник. Неужели землетрясение? А что? — успокаивал он себя. Город построен между двумя вулканами. Пусть они спят, но толчки иногда сотрясают землю. От стен отваливаются куски глины, с крыш летит оранжевая черепица(

Форист и Риель внимательно смотрели на него. Почва не тряслась, и ничего не падало.

— У Далзула возникла проблема, — сказал он.

— Она должна была возникнуть, — невозмутимо ответила Форист.

— В городе объявился претендент на трон — наследник или просто авантюрист, стремящийся к власти. Принцесса ушла к нему. Но она по-прежнему говорит Далзулу, что тот будет королем. Если его соперник взойдет на престол, он уничтожит всех, кто стоит на стороне Виаки и Далзула. Наш командир надеется избежать кровопролития и пытается решить эту неприятную ситуацию.

— О, он бесподобен в своих решениях, — сказала Форист.

— Тем не менее Далзул чувствует, что попал в тупик. Ему непонятна та роль, которую играет принцесса. Я думаю, что это самая большая из его проблем. Поведение принцессы остается для меня загадкой. Но, может быть, вы догадываетесь, почему она сначала бросилась в объятия Далзула, а затем ушла к его сопернику?

— Подожди. Ты говоришь о Кет? — осторожно спросила Риель.

— Да, он называет ее принцессой. А разве это не так?

— Я не знаю, что Далзул подразумевает под этим словом. Оно имеет множество вторичных значений Если мы остановимся на определении «королевская дочь», то оно не будет соответствовать истине. Здесь нет королей.

— Да, в настоящее время.

— Вообще, — сказала Форист.

Шан подавил вспышку гнева. Он устал быть непонятливым

мальчиком. Впрочем, Форист всегда отличалась безжалостной категоричностью.

— Послушайте, — сказал он, обращаясь к обеим женщинам, — я, наверное, чего-то не знаю. Просветите меня. Мне казалось, что прежний король скончался, оставив после себя единственную дочь. Народ решил найти ей достойного супруга, и в это время с небес к ним спустился Далзул. Его чудесное появление было воспринято как божественное указание. Вот тот мужчина, кто будет держать скипетр, сказали они. Разве это не так?

— Насчет божественного указания ты, возможно, прав, — сказала Риель. — Это определенно относилось к священным вопросам.

Она нерешительно взглянула на Форист, и Шан понял, что обе женщины разделяли одно и то же мнение. Но в данный момент они не хотели принимать его в свой круг. Они больше не были одной командой. Что означала эта странная отчужденность?

— А кто соперник Далзула? — спросила Форист. — Кто претендент на престол?

— Мужчина по имени Акета.

— Акета?!

— Вы знаете его?

Они снова переглянулись друг с другом. Форист повернулась и посмотрела ему прямо в глаза.

— Мы вышли из синхронизации, Шан, — сказала она. — Я подозреваю, что у нас возникла чартен-проблема. Какая-то разновидность хаотического переживания, которое ты имел на «Шоби».

— Здесь? Сейчас? После того, как мы пробыли на планете дни и недели?

— Где здесь? — бесстрастно спросила Форист.

Шан похлопал ладонью по каменной плите:

— Смотри! Мы находимся во дворе вашего дома. Туг нет и намека на хаотическое переживание. Мы разделяем эту реальность — разделяем ее когерентно, созвучно! Мы сидим на террасе и едим семена типу!

— Я тоже в этом убеждена, — ласково сказала Форист, словно Шан был больным капризным ребенком. — Но, возможно, мы(переживаем эту реальность немного иначе.

— Это происходит со всеми, где угодно, — возразил он ей Форист придвинула к нему книгу, которую читала, когда он вошел. Томик стихов в изящном переплете? Но на «Гэльбе» не было книг! Плотная коричневая бумага(Такие древние рукописные книги он видел в терранской библиотеке Нью-Каира.

Не том, а кирпич, подушка, корзина. Книга на незнакомом языке, с резными деревянными обложками и золотыми шарнирными петлями.

— Что это? — почти неслышно спросил Шан.

— Священная история городов под Йянанамом, — ответила Форист. — Так нам сказали.

— Одна из их книг, — добавила Риель.

— Они неграмотные варвары, — возразил Шан.

— Лишь некоторые из них, — ответила Форист.

— Вернее, многие, — сказала Риель. — Однако торговцы и жрецы умеют читать. Эту книгу дал нам Акета. Мы обучаемся у него языку и письменности. Он превосходный учитель

— Мы считаем, что он ученый и жрец, — пояснила Форист. — В этом городе есть люди, которые выполняют особые функции. Эти обязанности настолько связаны с религией, что мы могли бы назвать их духовными, но на самом деле они больше похожи на ремесла, профессии и занятия. Они очень важны для гаман и всей структуры их общества. Для каждой из них требуется определенный человек. Если места остаются вакантными, ситуация выходит из-под контроля. Это как если бы ты имел талант, не использовал его и в результате страдал расстройством психики. Многие функции приурочены к сезонным событиям — например, роли, которые люди выполняют на ежегодных праздниках. Но некоторые обязанности действительно очень важны и престижны — причем предназначены только для мужчин. По нашему мнению, местные мужчины обретают свой статус лишь после того, как принимают на себя какую-нибудь духовную обязанность.

— Мужчины выполняют в городе основную работу, — возразил Шан. — Зачем им какой-то статус, если от них и так все зависит?

— Я не знаю, — ответила Форист.

Нехарактерная для нее любезность подсказала Шану, что он еще не взял над собой контроль.

— Мы считаем, что это общество лишено полового доминирования. Здесь нет разделения труда по половым признакам, хотя из всех видов брака наиболее общим является многомужие — по два-три мужа на семью. Многие женщины вообще не вступают в гетеросексу-альные связи, потому что склонны к ихеа — групповым гомосексуальным отношениям с тремя, четырьмя или более подругами. Интересно, что среди мужчин ничего подобного не наблюдается(

— Проще говоря, у принцессы Далзула есть несколько мужей, и Акета входит в их число, — сказала Риель. — Между прочим,

его имя переводится как «первый и родовой муж Кет». Родовая связь говорит о том, что их предки появились из одного и того же вулкана. Во время предыдущего визита Далзула он по каким-то делам находился в долине Спонта.

— Мы считаем, что Акета занимает очень высокий духовный пост. Возможно, это объясняется тем, что он муж Кет, а она здесь очень важная персона. Судя по всему, его статус является самым престижным среди мужчин. И нам кажется, что местные мужчины наделяются статусом для компенсации их ущербности — ведь они не могут рожать детей.

Шан снова почувствовал порыв гнева. По какому праву эти женщины читали ему лекцию о половых различиях и маточной зависти? Ярость, как морская волна, наполнила его соленой злобой, затем отхлынула и исчезла. Рядом с ним сидели его хрупкие сестры, и солнечные пятна играли на каменных плитах.

Он посмотрел на странную тяжелую книгу, раскрытую на коленях Форист, и спросил:

— О чем в ней говорится?

— Я знаю лишь несколько слов. Акета дал нам ее как учебное пособие. В основном я рассматриваю картинки. Как маленькая девочка.

Перелистнув страницу, она показала ему небольшой золотистый рисунок мужчины в изумительно красивых нарядах и головных уборах танцевали под пурпурными склонами Йянанама.

— Далзул считает, что они еще не придумали письменность. Он должен увидеть это.

— Он уже видел их книги, — ответила Риель.

— Но(

Шан замолчал, не зная, что сказать Риель положила ладонь на его плечо и задумчиво произнесла:

— Давным-давно на Терре один из антропологов посетил удаленное и изолированное арктическое племя. Он выбрал самого смышленого из мужчин и забрал его с собой в огромный город Нью-Йорк. Невероятно, но наибольшее впечатление на этого дикаря произвели два каменных шара, украшавших парадную лестницу отеля. Он ликовал, осматривая их, и его не интересовали высотные здания, машины и улицы, заполненные людьми(

— Мы полагаем, что чартен-проблема основывается не только на впечатлениях, но и ожиданиях, — сказала Форист. — Какая-то часть нашего сознания намеренно создает смысл мира. Мы смотрим на хаос, выискиваем отдельные фрагменты и строим из них свой мир. Так поступают дети, и так поступаем мы. Люди отфильтровывают большую часть того, о чем рапортуют их

чувства. Мы сознательны только к тому, что хотим осознавать. При чартене вся вселенная обращается в хаос, и, когда мы выходим из него, нам приходится реконструировать мир. Мы хватаемся за все, что узнаем. Но стоит нам уцепиться за какой-то фрагмент мироздания, как остальное само пристраивается к нему.

— Каждый из нас может сказать «я», и это породит бесконечное число сентенций, — добавила Риель. — Но уже следующее слово начинает выстраивать непреложный синтаксис. «Я хочу(« При последнем слове в нашем утверждении вообще не может быть хаоса. Хотя при этом приходится использовать только те слова, которые мы знаем.

— Благодаря этому мы и вышли из хаотических переживаний на «Шоби», — сказал Шан.

У него внезапно заболела голова. Боль сплелась с пульсом и прерывисто застучала в обоих висках.

— Чтобы не сойти с ума, мы конструировали синтаксис происходящего. Мы рассказывали друг другу нашу историю.

— И старались рассказывать ее правдиво, — напомнила Форист.

— Ты считаешь, что Далзул нам лгал? — спросил Шан, массируя виски.

— Нет. Но что он рассказывал? Историю Ганама или историю Далзула? Простые люди, похожие на детей, провозгласили его королем. Прекрасная принцесса предложила ему стать ее мужем(

— Но она действительно предложила.

— Это ее работа. Ее обязанность. Она здесь верховная жрица. Ее титул «анам». Далзул перевел как «принцесса», но мы считаем, что данное слово означает «земля». Понимаешь? Земля, почва, мир. Она — земля Ганама, которая с честью приняла чужеземца. И это действие потребовало какой-то ответной функции, которую Далзул интерпретировал как «королевский сан». Но они не имеют королей. Ему предлагается какая-то священная роль — возможно, супруга анам. Не мужа Кет, а духовного супруга! И только в те моменты, когда она выступает в роли анам. Жаль, что мы не знаем всех деталей. Боюсь, Далзул не понимает, какую ответственность берет на себя.

— Между прочим, мы тоже можем испытывать чартен-проблему, — сказала Риель. — Ничуть не меньше Далзула. Но как нам убедиться в этом?

— Помогло бы сравнение записей, — ответила Форист. — Наших и твоих Шан, ты нам нужен.

«Они все говорят одно и то же, — подумал он. — Далзулу нужна моя помощь. И этим тоже. А как я им могу помочь? Я не

понимаю, куда мы попали. Мне ничего не известно об этом мире. Я только могу сказать, что камень под моей ладонью кажется теплым и шершавым.

И еще я знаю, что эти две умные красивые женщины пытаются быть честными со мной.

И еще я знаю, что Далзул великий человек, а не глупец, эгоист и лжец.

Я знаю, что камень шершавый, солнце горячее, а тень прохладная. Я знаю сладковатый вкус зерен типу, их треск на зубах.

Я знаю, что когда Далзулу исполнилось тридцать, ему поклонялись как богу. Пусть даже он и отрицал это поклонение, но оно изменило его. И теперь, постарев, он помнил, что значит быть королем(«

— У вас есть какие-нибудь сведения о том духовном сане, который ему предстоит принять? — хрипло спросил Шан.

— Ключевым словом является «тодок» — посох, жезл или скипетр. Титул произносится как «тодогай» — тот, кто держит скипетр. Таким образом, Далзул имеет право держать в руках какой-то жезл. Он перевел этот титул как «король». Но мы не думаем, что данное слово означает человека, имеющего власть.

— Повседневные решения принимаются советниками, — сказала Риель. — Жрецы же обучают людей, проводят церемонии и(держат город в духовном равновесии.

— Иногда их ритуалы требуют кровавых жертв, — добавила Форист. — Мы не знаем, что именно придется сделать Далзулу. Но ему лучше выяснить это заранее.

Шан огорченно вздохнул.

— Я чувствую себя глупцом, — сказал он.

— Из-за того, что ты влюблен в Далзула? Черные глаза Форист смотрели прямо ему в лицо.

— Я уважаю тебя за это, Шан. Но, думаю, он нуждается не в любви, а в помощи.

Выходя из ворот, он чувствовал, как Форист и Риель провожают его взглядами. Он медленно шагал по каменной дороге, ощущая их нежную заботу, соучастие и общность.

Шан направился к рыночной площади.

«Мы должны собраться вместе и пересказать друг другу нашу историю», — говорил он себе. Но слова казались поверхностными и пустыми. «Я должен слушать, — повторял он мысленно. — Не беседовать, не говорить, а слушать. Стать безмолвным»

И он слушал, шагая по улицам Ганама. Он пытался думать, чувствовать, видеть своими глазами, быть самим собой в этом мире — в этом, а не в том, что придумали он, Далзул, Риель и

Форист. Он пытался принять эти непокорные и неизменные горы, камни и глину, сухой прозрачный воздух, дышащие тела и мыслящие умы.

Продавец в одной краткой музыкальной фразе расхваливал свой товар. Пять нот, чарующий ритм, «ТАтаБАНаБА», и после паузы та же фраза. Снова и снова, сладко и бесконечно. Мимо него прошла женщина. Шан рассмотрел ее до мельчайших подробностей, буквально за одно мгновение низкорослую, с мускулистыми руками, с озабоченным выражением широкого лица, с тысячью мелких морщинок, отпечатанных солнцем на глиняной гладкости кожи. Она прошла мимо, не замечая его, будучи сама собой, без конструирования реальности, без перекрестных проверок, недосягаемая, чужая и абсолютно непонятная.

Значит, пока все правильно. Грубый камень, согревавший ладонь, такт на пять ударов, и маленькая женщина, ушедшая по своим делам. Но это было только началом

«Я сплю, — подумал он. — С тех пор как мы оказались здесь. И это не кошмар, как на „Шоби“, а хороший, сладкий и тихий сон. Но кому он принадлежит — мне или Далзулу? Все время оставаясь рядом с ним, глядя на мир ею глазами, встречая Виаку и других, празднуя на пирах и слушая музыку(Изучая их танцы, изучая игру на барабанах и ганамскую кулинарию(Подрезая деревья в садах(Сидя на террасе и щелкая семена типу(Это солнечный сон, наполненный музыкой, деревьями, дружелюбием и мирным уединением. Мой добрый сон, удивительный и противоречивый. Без королевской власти, без прекрасной принцессы, без претендентов на трон. Я ленивый человек, с ленивыми снами. Мне нужна Тай. Чтобы она разбудила меня, раздразнила, заставила жить. Я нуждаюсь в этой сердитой женщине — в моем милом и строгом друге.

Впрочем, ее могут заменить Риель и Форист. Они любят меня, несмотря на мою леность. Они способны выбить лень из любого мужчины».

В его уме возник странный вопрос. «Знает ли Далзул, что мы тоже здесь? Вполне понятно, что Риель и Форист не существуют для него как женщины. Но существую ли я для него как мужчина?»

Он даже не стал искать ответ на этот вопрос. «Я должен встряхнуть его как следует, — подумал он. — Ввести в гармонию какую-то толику диссонанса, синкопировать ритм. Я приглашу его к ужину и поговорю с ним начистоту», — решил Шан.

Несмотря на свой внушительный вид зрелого мужчины, с

ястребиным носом и свирепым лицом, Акета оказался очень мягким и терпеливым учителем.

— Тодокью нкенес эбегебью, — с улыбкой повторил он пятый раз.

— Скипетр(чем-то(наполняется? Господством свыше? Он что-то воплощает? — спрашивала Форист.

— Связан с чем-то(символизирует? — шептала Риель.

— Кенес! — сказал Шан. — Электричество. Вот слово, которое мои спутники использовали, описывая генератор тока. Сила!

— Значит, скипетр символизирует силу? — спросила Форист. — Вот так откровение! Дерьмо!

— Дерьмо! — повторил Акета.

Ему понравились звуки этого слова.

— Дерьмо! Дерь-мо!

Используя искусство мима, Шан в танце изобразил вулкан и водопад. Затем начал имитировать движение колес, плеск струй и жужжание динамо-машины. Шан ревел, пыхтел и издавал различные звуки, не обращая внимания на недоуменные взгляды женщин. В интервалах между новыми взмахами рук он, как встревоженная наседка, выкрикивал одно и то же слово.

— Кенес? Это кенес?

Улыбка Акеты стала еще шире.

— Соха, кенес, — согласился он и жестами показал скачок искры от кончика пальца к другому. — Тодокью нкенес эбегебью.

— Скипетр означает и символизирует электричество! — сказал Шан. — Теперь все ясно. Если человек принимает скипетр, он становится «жрецом электричества». Мы знаем, что Акета — «жрец библиотеки», Агот — «календарный жрец». А тут у них появится еще один коллега.

— Это имеет смысл, — согласилась Форист.

— Но почему они избрали своим главным электриком Далзула? — спросила Риель.

— Потому что он спустился с неба, как молния! — ответил Шан.

— А разве они выбирали его? — спросила Форист. Какое-то время все молчали. Акета, внимательный и терпеливый, смотрел на них, ожидая продолжения разговора.

— Как будет «выбор»? — спросила Форист у Риель. — Сотот?

Она повернулась к их учителю:

— Акета. Дазу(нтодок(сотот?

Тот печально вздохнул и, кивнув, ответил:

— Соха. Тодок нДазу ойо сотот.

— Да. Это скипетр избрал Далзула, — прошептала Риель.

— Ахео? — спросил Шан. — Почему?

Но из объяснений Акеты им удалось понять лишь несколько слов: земля, обязанность, священный ритуал.

— Анам, — повторила за ним Риель. — Кет? Анам Кет?

Черные, как уголь, глаза Акеты встретились с ее взглядом. Полнота его молчания сковала терран нерушимыми узами безмолвия. И когда он наконец заговорил, их поразила печаль его слов.

— Ай Дазу! Ай Дазу кесеммас!

Акета встал, и они, следуя ритуалу вежливости, тоже поднялись на ноги, поблагодарили его за учение и вышли из дома. Как послушные дети, подумал Шан. Прилежные ученики. Но какое знание они изучали?

Тем вечером он сидел на террасе и играл на маленьком гаманском бубне, а Абуд, уловив знакомый ритм, напевал ему тихую песню.

— Абуд, мету? — спросил Шан. — Объяснишь мне слово?

— Соха, — ответил его собеседник, привыкший к этому вопросу за последние несколько дней.

Этот печальный юноша терпел все странности чужеземца. А может быть, просто не замечал их, как думал сам Шан.

— Кесеммас, — сказал он.

— О-о! — произнес Абуд, затем медленно повторил «кесеммас» и начал говорить что-то совершенно непонятное.

Шан скорее наблюдал за ним, чем пытался уловить слова. Он смотрел на жесты и лицо, прислушивался к тону. Земля, низ, тихо, копать? Гамане хоронили своих мертвых. Значит, мертвый, смерть?

Шан мимикой изобразил умиравшего человека, но Абуд нарочито отвернулся. Он никогда не понимал его шарад. Пожав плечами, Шан снова поднял бубен и воспроизвел тот танцевальный ритм, который услышал на вчерашнем празднике.

— Соха, соха, — похвалил его Абуд.

— Я еще никогда не беседовал с Кет, — сказал Шан командиру.

Ужин удался на славу. Он сам приготовил его при содействии Абуда, который помог ему не пережарить фирменное блюдо. Полусырая фезуни, смоченная свирепым перцовыми соусом, оказалась просто восхитительной. Как всегда, в присутствии Далзула застенчивый Абуд сохранял почтительное молчание. Отведав пищи, он церемонно раскланялся с ними и ушел в свою комнату. Шан и Далзул остались на террасе, в объятиях

пурпурных сумерек. Сидя на маленьких ковриках, они щелкали семена типу, пили ореховое пиво и любовались сияющими точками звезд, которые медленно проявлялись на небе.

— Все мужчины для нее являются табу, — ответил Далзул. — Кроме короля, которого она избрала.

— Но она замужем, — произнес Шан. — Разве вы не знали?

— О нет! Принцесса должна оставаться девственной и ждать своего избранника. А потом она будет принадлежать только ему. Это иерогамия — священный брак

— Гамане предпочитают многомужие, — как бы между прочим сказал Шан.

— Ее союз с моим соперником стал фундаментальным нарушением королевского церемониала. Фактически ни она, ни я не имеем реального выбора Вот почему ее неверность вызывала столько проблем. Она пошла против правил общества.

Далзул поднял чашу с пивом и сделал большой глоток.

— Что заставило их выбрать меня королем в первый раз? Мое эффектное сошествие с небес. И наш вторичный прилет лишь испортил их отношение ко мне. Я нарушил правила, улетев от принцессы. Но что хуже всего — я вернулся не один. Когда необычная персона спускается с небес, это нормальное явление. Но когда их четверо, когда они делятся на мужчин и женщин, лопочут на детском языке, задают глупые вопросы, едят, пьют и испражняются, это уже беда. Мы не ведем себя как святые. И они отвечают нам тем же — нарушением правил и норм. Примитивные представления о мире очень жесткие. Они ломаются при любом напряжении. Мы внесли в это общество совершенно недопустимый элемент распада. И во всем виноват только я.

Шан огорченно вздохнул.

— Это не ваш мир, сэр, — сказал он командиру. — Это мир гаман. И они сами несут за него ответственность.

Он смущенно покашлял

— Лично мне они не кажутся примитивными. Эти люди пользуются письменностью и стальными предметами. Им знакомы принципы электричества, а их социальная система выглядит настолько гибкой и стабильной, что Форист(

— Я по-прежнему называю ее принцессой, хотя недавно понял, что этот термин неточен, — сказал Далзул, опуская пустую чашу. — Мне следовало бы назвать ее королевой. Кет — королева Ганама. Или королева гаман. Она говорит, что «Ганам» переводится как «соль самой планеты».

— Да, Риель сказала(

— Так что в этом смысле она является Землей, а я —

Космосом, то есть Небом. Мой прилет в этот мир создал божественную связь, мистический союз огня и воздуха с солью и водой. Мифология древних воплотилась в живой плоти. Она не может отвернуться от меня. Ее отказ нарушит весь порядок мироздания. Ибо если отец и мать находятся в единении, их дети послушны, счастливы и здоровы. Ответственность родителей абсолютна и безоговорочна. Не мы их выбираем, а они выбирают нас. И поэтому ей придется выполнить свой долг перед людьми.

— Риель и Форист выяснили, что она уже несколько лет состоит в браке с Акетой. А от второго мужа у нее родилась дочь.

Шан удивился своему охрипшему голосу. Его рот был сухим, а сердце стучало, словно после сильного испуга. Но чего он боялся? Стать непокорным?

— Виака сказал, что может вернуть ее во дворец, — сказал Далзул. — Однако это чревато бунтом во фракции претендента.

— Командир! — закричал Шан. — Кет — замужняя женщина! Как жрица Земли она выполнила свой долг перед вами и вернулась в семью! Все кончено! Неужели не ясно? Акета — ее муж, а не ваш соперник. Ему не нужны ни скипетр, ни корона, ни другие символы власти!

Далзул молчал, и сгущавшиеся сумерки скрывали выражение его лица.

Шан был в отчаянии:

— Пока мы не узнали обычаи этого общество, вам лучше отступить. Не позволяйте Виаке похищать Кет из дома.

— Я рад, что вы поняли это, — сказал Далзул. — И хотя мне уже не избавиться от своей вовлеченности в текущие события, мы не должны вмешиваться в религию этих людей. Увы, власть налагает ответственность! Мне пора уходить. Спасибо за приятный вечер, Шан. Мы по-прежнему можем петь в унисон, как члены экипажа, верно?

Он встал и помахал рукой:

— Спокойной ночи, Форист. До скорой встречи, Риель.

Похлопав Шана по спине, Далзул прошептал:

— Спасибо вам, Шан. Спокойной ночи!

Он зашагал через двор — легкая прямая фигура, белый отблеск в темноте под яркими звездами.

— Я думаю, мы должны забрать его на корабль. Понимаешь, Форист, его иллюзии усиливаются с каждым днем.

Шан сжал кулаки до хруста в костяшках пальцев:

— Он будто грезит. Как, возможно, и я. Но ведь мы втроем находимся в одинаковой реальности(Или это тоже вымысел?

Форист мрачно кивнула.

— Чартен-проблема становится все запутаннее и сложнее, — сказала она. — Похоже, ты прав, и «кесеммас» действительно означает смерть или убийство. Риель считает, что это жестокая казнь. Недавно, у меня было ужасное видение, в котором бедняга Далзул совершал ужасное жертвоприношение. Перерезая горло невинному ребенку, он верил, что изливает на алтарь благовонное масло и разрезает ритуальную ленту. Мне бы очень хотелось вырвать его из этого мира. И вырваться самой. Но как?

— А если мы трое пойдем к нему.

— И поговорим об этом? — с сарказмом спросила Форист.

Чтобы увидеться с Далзулом, им пришлось простоять полдня перед домом, который их командир называл дворцом. Старик Виака, встревоженный и нервный, пытался отослать незваных гостей, но они продолжали настаивать на встрече. В конце концов Далзул вышел во двор и поприветствовал Шана. Он не воспринимал присутствия Риель и Форист, и если поступал так притворно, то это могло считаться великолепным исполнением роли. Он совершенно не обращал внимания на слова двух женщин и не осознавал их прикосновений.

Шан начал сердиться:

— Командир! Форист и Риель тоже здесь. Взгляните! Вот они! Далзул посмотрел в том направлении, куда указывал Шан, и снова повернулся к нему. На его лице было такое ошеломляющее сострадание, что Шан на всякий случай сам взглянул на женщин. На миг ему показалось, что это он находился в плену галлюцинаций.

— Настало время возвращаться, — мягко и ласково сказал Далзул. — Вы согласны?

— Да(Думаю, мы должны вернуться.

Слезы жалости, облегчения и стыда обожгли ему глаза и сжали горло.

— Надо улетать. Наша затея не удалась.

— Скоро полетим, — сказал Далзул. — Теперь уже скоро. Не волнуйтесь, Шан. Ваша тревога объясняется возросшими аномалиями восприятия. Отнеситесь к этому спокойно, как в начале нашей экспедиции. И помните, вы в полном порядке. Как только пройдет коронация(

— Нет! Мы должны улететь сейчас(

— Шан, по воле случая я взял на себя несколько обязательств и должен их выполнить. Если я отрекусь от них, фракция Акеты обнажит мечи(

— У Акеты нет меча, — пронзительным и громким голосом сказала Риель.

Шан никогда еще не видел ее в такой истерике.

— У этих людей нет мечей! Они их не делают!

Однако Далзул продолжал говорить о своем:

— Как только церемония закончится и королевская власть будет провозглашена, мы улетим домой. Ритуал займет от силы час, а потом я вернусь и отвезу вас в порт Ве. Или вообще в антивремя, как говорят шутники. Прошу, перестаньте тревожиться о том, что никогда не было вашей проблемой. Это я втянул вас в нее. Все под контролем, дружище.

— Неужели вы не понимаете — начал было Шан, но длинная черная ладонь Форист легла на его плечо.

— Бесполезно, — сказала она. — Безумие сильнее благоразумия. Пойдем. Я больше не могу выносить это зрелище.

Далзул спокойно отвернулся, словно они уже покинули его.

— Выбор невелик, — подытожила Форист, когда они вышли на полуденный зной под ослепительный солнечный свет. — Нам надо либо дождаться этой церемонии вместе с ним, либо треснуть его по голове и утащить на корабль.

— Лично я за второе предложение, — сказала Риель.

— Если мы затащим Далзула на корабль помимо его воли, он не вернет нас в Ве, — возразил им Шан. — Скорее всего Далзул снова полетит сюда, и ситуация станет намного хуже. Что, если, спасая Ганам, он разрушит этот мир?

— Шан! Остановись! — сказала Риель. — Разве город Ганам — это мир? Разве Далзул — всемогущий бог?

Он с недоумением посмотрел на нее, не зная, что ответить. Мимо прошли две женщины, с любопытством поглядывая на пришельцев с небес. Одна из них приветливо кивнула:

— Ха, Фойе! Ха, Иель!

— Ха, Тасасап! — ответила ей Форист.

Риель, сверкнув глазами, повернулась к Шану:

— Ганам — это маленький городок на большой планете, которую местные жители называют Анам. Люди в долине именуют ее по-другому. Мы видели лишь крохотную часть этого огромного мира. И потребовались бы годы, чтобы хорошо познакомиться с ним. Попав в тиски чартен-проблемы, Далзул потерял здравомыслие и заразил безумием нас. Не знаю, насколько я права, но меня сейчас это мало волнует. Далзул вмешался в священные дела, и его поступки могут вызвать большие беспорядки. Но пусть об этом тревожатся гамане — те люди, которые здесь живут! Это их территория! И одному человеку не под силу спасти или уничтожить целый народ! Они имеют свою собственную историю и рассказывают ее векам! Я не понимаю их уклада жизни, потому что не знаю языка. Возможно,

для них мы просто четверо идиотов, упавших с небес!

Форист обвила руками ее плечи и прижала к себе.

— Когда она волнуется, это возбуждает, правда? Ну, не хмурься, Шан. Акета не собирается убивать домочадцев Виаки. И я еще ни разу не видела, чтобы эти люди разрешали нам вмешиваться в какие-то серьезные дела. У них тут все под контролем. Нам лишь остается дождаться церемонии и спокойно отправиться домой. Возможно, этот ритуал не так уж и важен, как кажется Далзулу. Когда он выполнит его и успокоится, мы попросим командира вернуть нас в Ве. Он обязательно сделает это, потому что(— Она вдруг часто заморгала и закончила фразу уже без всякого сарказма: — Потому что он относится к нам как отец.

Они не виделись с командиром до самою дня церемонии. Далзул не выходил из дворца, и по приказу Виаки к нему не пускали никаких посетителей. Что касается Акеты, то он, очевидно, не имел права вмешиваться в другие сферы священных полномочий — и не стремился к этому.

— Тезиеме, — сказал он.

И это означало примерно следующее: «Все пойдет своим путем». Он не радовался этому, но и не желал оказывать противодействие.

Утром в день церемонии на рыночной площади начала собираться толпа. Никто ничего не покупал и не продавал. Гамане надели свои лучшие килты и самые яркие жилеты. Мужчины, обладавшие духовным саном, отличались от других массивными золотыми серьгами, высокими головными уборами и плюмажами из перьев. Макушки малышей и подростков были вымазаны красной охрой. Этот праздник не походил на остальные торжества — например, на церемонию восходящей звезды, которая проводилась несколькими днями раньше. Никто не танцевал, никто не готовил хлеб, и музыки тоже не было. Большая толпа вела себя торжественно тихо и серьезно.

Наконец двери дома, принадлежавшего Акете — а точнее Кет, — широко открылись, и оттуда под знобящий и тревожный бой барабанов вышла колонна жрецов. Барабанщики, стоявшие на улице перед домом, присоединились к концу колонны. Казалось, весь город вздрогнул и затрепетал от мерного и тяжелого ритма.

Шан видел Кет только на видеозаписи, сделанной во время первого визита Далзула. Тем не менее он тут же узнал ее. Это была строгая красивая женщина. Ее головной убор выглядел менее пышным, чем у многих мужчин, но его украшали длинные золотые ленты. Он гордо покачивался при ее ходьбе, и в такт ему

кивали красные перья на плетеном уборе Акеты, который шагал рядом. Слева от жрицы шел другой мужчина(

— Кеткета, ее второй муж, — прошептала Риель. — А около него идет их дочь.

Девочке было не больше пяти лет. Она величественно шествовала в первом ряду вместе с родителями. Концы ее грубых черных волос казались бурыми от красной охры.

— В этой колонне собрались все жрецы из вулканического рода Кет, — пояснила Риель. — Вот там — «вращатель земли». А тот старик считается «календарным жрецом». Многих я не знаю. О Господи! Как их много(

В ее шепоте чувствовалась нервная дрожь.

Процессия свернула налево и, покинув рыночную площадь, двинулась под тяжелый барабанный бой к дому Виаки. У желтых стен этого неуклюжего глиняного «дворца» Кет вышла вперед и приблизилась к воротам. Толпа разом остановилась. Барабанщики продолжали выбивать надсадный ритм, постепенно замолкая, пока не остался один мерный стук, изображавший сердце. Потом это «сердце» остановилось, и наступила ужасающая тишина.

Из колонны вышел мужчина в высоком головном уборе, с плюмажем из переплетенных перьев. Он громко позвал:

— Сем анатан! Сем Дазу!

Ворота медленно открылись. В проеме стоял Далзул — освещенная солнцем фигура на фоне серого полумрака. Он был одет в черную форму с серебряными полосами. И волосы его сияли, как серебристый нимб.

Окруженная безмолвием толпы, Кет подошла к нему, опустилась на колени и торжественно произнесла:

— Дазу, сототию

— Далзул, ты избран, — прошептала Риель.

Он улыбнулся и протянул руки к Кет, намереваясь поднять ее. В толпе, как порыв холодного ветра, пронесся шепот. Послышались огорченные восклицания и удивленные вздохи. Кет резко приподняла голову, вскочила на ноги и, гордо уперев руки в бока, свирепо посмотрела на Далзула.

— Сототию! — повторила она и, отвернувшись, зашагала обратно к своим мужьям.

Барабаны откликнулись мягким боем, похожим на звук дождя. Передние ряды колонны образовали полукруг, и Далзул, величаво и медленно, занял место, которое освободили для него. Барабанный бой усилился, превращаясь в громовой рокот. Он то подкатывал ближе, то удалялся, становясь то громче, то тише. С удивительной синхронностью процессия двинулась вперед. В ее

единодушии было что-то от стаи рыб или птиц.

Горожане последовали за колонной — и вместе с ними Форист, Риель и Шан.

— Куда они направляются? — спросила Форист, когда процессия вышла за городские ворота и двинулась по узкой дороге среди садов.

— Эта тропа ведет к Йянанаму, — ответил Шан.

— К вулкану? Так вот, значит, где будет проходить ритуал.

Барабаны стучали. Солнечный свет бил в лицо. Сердце Шана колотилось о ребра, а ноги взбивали пыль. И все это сплеталось в тревожный пульсирующий ритм, который настраивал их на что-то неотвратимое. Мысль и речь потерялись в вибрации мира, и остался лишь ритм, ритм, ритм, ритм.

Процессия жрецов и следовавшие за ними горожане остановились. Три терранина продолжали пробираться сквозь толпу, пока не оказались в первых рядах неподалеку от колонны. Барабанщики перестроились и сместились в сторону. Они по-прежнему имитировали громовые раскаты. Кое-кто в толпе — особенно люди с детьми — отступали назад к повороту крутой тропы. Никто не говорил. Рев водопада и шум стремительного горного потока заглушали даже бой барабанов.

Они находились примерно в ста шагах от небольшого каменного здания, в котором располагалась динамо-машина. Кет, ее мужья, домочадцы и жрецы, украшенные перьями, расступились и образовали проход, который вел к потоку. У подножия каменных ступеней, спускавшихся прямо в воду, тянулась широкая площадка. Она была вымощена светлыми каменными плитами, по которым струилась прозрачная вода. Среди стремительных блестящих струй стоял сверкающий алтарь, или низкий пьедестал из чистого золота. Он был украшен замысловатыми фигурками людей в коронах и танцующих мужчин с алмазными глазами. На пьедестале лежал скипетр — простой, без всяких украшений посох из темного дерева или какого-то тусклого металла.

Далзул направился к пьедесталу.

Внезапно Акета выбежал вперед и встал перед каменной лестницей, закрывая ему дорогу. Он произнес звонким голосом несколько слов. Риель покачала головой, ничего не понимая. Пожав плечами, Далзул остановился, но, когда Акета замолчал, он снова пошел к ступеням.

Акета забежал вперед и указал на ноги Далзула.

— Тедиад! — закричал он — Тедиад!

— Ботинки, — прошептала Риель.

Все жрецы и горожане были босыми. Заметив это, Далзул с

достоинством опустился на колени, снял ботинки и носки, отбросил их в сторону и поднялся.

— Отойди, — тихо сказал он, и Акета, будто поняв его, отступил назад.

— Ай Дазу! — выкрикнул жрец, когда Далзул прошел мимо него.

— Ал Дазу! — мягко повторила Кет.

Под тихий шепот толпы и рев стремительного потока Далзул спустился по ступеням на площадку, затопленную водой. Он шел по мелководью, и верткие струи взрывались яркими брызгами вокруг его лодыжек. Далзул без колебаний обошел пьедестал и повернулся лицом к притихшей толпе. Вытянув руку, он с улыбкой сжал скипетр.

— Нет, — отвечал Шан, — у нас не было с собой видеокамер. Да, он умер мгновенно. Нет, я не знаю, сколько вольт подавалось на жезл. Мы считаем, что от генератора к алтарю шел подземный кабель. Да, конечно, они подготовили это заранее. Гамане думали, что он намеренно избрал такую смерть. Далзул сам попросил их об этом, когда вступил в половую связь с Кет — со жрицей Земли, с Землей. Гамане полагали, что исполняют его желание. Откуда им было знать, что мы ничего не понимаем? Для них такой исход вполне закономерен. Тот, кто оплодотворяет Землю, должен умереть от Молнии. Мужчины, избравшие эту смерть, идут в Ганам. Это долгое путешествие, и Далзул прошел самый длинный путь. Нет, никто из нас тогда не подозревал о подобном ритуале. Нет, я не знаю, связано ли это с чартен-эффектом, с хаосом или перцептуальным диссонансом. Да, мы действительно воспринимали ситуацию по-разному. К сожалению, никто из нас не догадался об истине. Но он знал, что снова должен стать богом.

ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ, ИЛИ РЫБАК ИЗ ВНУТРИМОРЬЯ [57]

Стабилям Экумены на Хайне, а также досточтимой Гвонеш, директору Испытательной лаборатории чартен-поля в космопорту Ве, от Тьекунан, на Хидео из Второго седорету поместья Удан, Дердан'над,Окет, планета О

Не судите меня строго за рапорт, составленный в виде повести, – с некоторых пор так оно мне привычнее. Вас, однако, может удивить также и то, с чего бы это простому фермеру с далекой О взбрело в голову посылать вам доклад, точно он полномочный мобиль Экумены. Мой рассказ прояснит это. Повествование – вот единственная наша ладья в потоке времен, но на его стремнине, порогах и водоворотах даже самое крепкое судно рискует порой стать утлым челном.

Итак – однажды, давным-давно, когда мне исполнился всего лишь двадцать один год, я покинул отчий дом и СКОКС[58]-звездолетом «Ступени Дарранды» отбыл на Хайн учиться в тамошней Экуменической школе.

Расстояние от моей родной планеты до Хайна – всего четыре световых года, и сообщение между нашими мирами существует уже двадцать веков. Даже до изобретения СКОКС-двигателей, когда корабли проводили в перелете сотни лет планетарного времени (вместо нынешних четырех), находились непоседы, готовые пожертвовать привычным образом жизни ради познания неведомых новых миров. Иногда они возвращались, но лишь очень немногие. Слыхивал я весьма печальные истории о появлении подобных странников в напрочь позабывших о них мирах. А одну очень древнюю повесть, предание о Рыбаке из Внутриморья, я слышал от собственной матери – она привезла ее с собой с Терры, откуда родом. Жизнь ребенка на О вообще полна легенд и преданий, но из всех, что поведали мне в детстве мать, соматерь, оба моих отца, дедушки с бабушками, многочисленные тетки да учителя, эта была излюбленной. Возможно, потому, что мать всегда рассказывала ее с глубоким и искренним чувством, хотя просто и всегда слово в слово (а я был начеку и протестовал, если ей случалось хоть что-то сказать иначе).

Предание повествует о бедном рыбаке Юрасиме, который изо дня в день выходил в одиночку на своем утлом баркасе в безмолвное синее море, раскинувшееся между его родным островком и Большой Землей. Рыбак был молод и красив, по его плечам струились длинные черные косы, и дочь морского царя, увидев его однажды в солнечном ореоле, когда он склонился над бортом, не сумела отвести глаз.

Всплыв на гребень волны, морская царевна предложила юноше следовать за нею в ее подводные чертоги. Он сперва отказывался, ссылаясь на то, что дома его ждут голодные ребятишки. Но как мог бедный рыбак противиться воле дочери морского владыки, как мог устоять он перед ослепительной ее красотой? «На одну ночь», – сдался юноша. И царевна повлекла его в свой удивительный чертог, где провела с ним ночь любви в окружении прислужников – невиданных морских тварей. Юрасима так крепко полюбил царевну, что, возможно, провел на дне не одну только ночь, как собирался вначале. Но в конце концов он все же собрался с духом и вымолвил:

«Дорогая, я должен вернуться домой. Меня заждались мои дети». – «Если уйдешь, ты уйдешь навсегда», – загрустила царевна. «Я непременно вернусь к тебе», – обещал юноша. Царевна потупила очи. Горе ее было безмерно, но противиться она не стала. «Возьми с собою вот это, – молвила она, подавая возлюбленному прелестную крохотную шкатулку, запечатанную сургучной печатью. – И не открывай ее, возлюбленный мой Юрасима».

Тогда он выбрался на берег и поспешил к родной деревушке, к отчему дому. Но сад вокруг знакомых построек одичал и порос лопухом, а в самом доме, зиявшем пустыми глазницами окон, провалилась крыша. По деревне бродили какие-то люди, но Юрасима не встречал знакомых лиц. «Где мои дети?» – в ужасе возопил он. Проходящая мимо женщина замедлила шаг и обратилась к нему: «В чем твое горе, юный странник?» – «Я – Юрасима, я живу в этой деревне, но я не вижу ни одного знакомого лица». – «Юрасима! – воскликнула женщина (тут моя мать устремляла взор куда-то в себя, а тон, которым она произносила имя героя, всегда вызывал во мне дрожь и слезы на глазах). – Юрасима! Мой дед рассказывал мне о рыбаке Юрасиме, сгинувшем в морской пучине в незапамятные времена, еще при жизни его собственного прапрапрадеда. Уже добрых сто лет никто из родичей погибшего не живет здесь».

В слезах, горьких и безутешных, вернулся Юрасима к берегу моря. Там он распечатал шкатулку, подарок дочери морского царя. Белый дымок вырвался изнутри и развеялся по ветру. В тот

же миг волосы Юрасимы сделались белыми, а сам он начал дряхлеть и обратился в старца, глубокого ветхого старца. В бессилии он пал на песок и тут же умер.

Помнится, однажды некий странствующий учитель расспрашивал мою мать об истоках этой «небылицы», как сам он назвал предание о Юрасиме. Мать отвечала ему с вежливой улыбкой: «В императорских хрониках, бережно сохраняемых на Терре моим народом, существует запись о том, что некий юноша по имени Юрасима, исчезнувший в 477-м году, вернулся в родную деревню в 825-м и вскоре исчез снова. Слыхала я также, что шкатулка Юрасимы сберегалась в храмовой раке в течение многих столетий». Затем их беседа свернула на другую, менее интересную тему.

Моя мать Исако не желала рассказывать мне легенду о Юрасиме так часто, как я того требовал. «История эта такая печальная», – возражала она порой и рассказывала мне вместо нее предание о Праматери, или об укатившемся от старушки рисовом колобке, или о нарисованном коте, который ожил и разделался с демоническими крысами, или же об уплывшем вниз по реке очаровательном младенце в люльке. Моя сестра, кузены и свойственники, мои ровесники, а также родичи постарше – все слушали ее рассказы, затаив дыхание, как я. На О эти истории были внове, а всякая новая легенда – подлинное сокровище. История с нарисованным котом имела главный успех, особенно когда мать извлекала из сундука кисточку и пузырек с удивительными угольными чернилами, давным-давно привезенными ею с родной Терры, и иллюстрировала свой рассказ набросками животных – кота, крыс, – которых никто из нас никогда не видел; кот на ее рисунках непередаваемо дыбил спину и отважно пучил глаза, крысы же подбирались к нему украдкой, злобно ощерив страшные ядовитые клыки – «обоюдоострые», как называла их моя сестра. И все равно после всех этих захватывающих повествований я упрямо ждал, когда мать поймает мой умоляющий взгляд, печально улыбнется в сторонку и, вздохнув, начнет: «Давным-давно, в незапамятные времена, жил-был один бедный юноша. Жил он себе, поживал, в рыбацкой деревушке на берегу Внутриморья…»

Разве я осознавал тогда, что означает эта легенда для нее самой? Что это история из ее собственной жизни? Что если она соберется однажды вернуться в прежний мир, к родным пенатам, то люди, которые были дороги ей, окажутся перешедшими в мир иной многие столетия тому назад?

Я, конечно, знал, что сама мать «явилась из другого мира», но что значило это для пяти-, семи– или даже десятилетнего

несмышленыша – представить теперь непросто, а припомнить так и вовсе нет никакой возможности. Я знал, что мать терранка из проживавших на Хайне – для меня то было предметом особой гордости. Я хвастал, что прибыла мать на О как полномочный мобиль Экумены (моя безрассудочная гордыня раздувалась буквально до вселенских масштабов), а «на театральном фестивале в Судиране познакомилась с отцом, полюбив его с первого взгляда». Знал я также и то, что устройство женитьбы на О – занятие весьма мудреное и хлопотное. Получить удовлетворительный ответ Экумены на прошение об отставке было делом наипростейшим – там никогда не возражали против натурализации своих мобилей. Но как чужестранка Исако не относилась к кастам ки'Отов, и это было только первое из затруднений. Я узнал все эти интригующие подробности – неиссякаемый источник внутрисемейных шуточек и сплетен – от своей соматери Тубду. «Понимаешь, – рассказывала она мне, одиннадцати– или двенадцатилетнему мальчугану, с сияющим лицом и едва сдерживаемым утробным смехом, сотрясавшим все ее массивное туловище, – она ведь не знала даже, что женщины женятся! Там, откуда она прилетела, женщинам, по ее же словам, дозволяется разве что замуж выйти!»

Я пытался возражать ей: «Так только в одной части Терры. Мама рассказывала, что есть множество других мест, где женщины преспокойно себе женятся». Я всегда стихийно вставал на защиту матери, хотя в словах Тубду не было ни намека на ее уничижение – она боготворила Исако, она «влюбилась в нее с первого же взгляда – о, эти алые губки, эти черные волосы!» – и просто находила чертовски забавным, что женщина подобных достоинств собиралась ограничиться браком с единственным мужчиной.

«Понимаю-понимаю, – спешила утихомирить мою горячность Тубду. – Я знаю: на Терре все по-иному, у них там проблемы с рождаемостью, им приходится заключать браки исключительно ради продолжения рода. Они, бедолаги, живут там куцыми парами. Ой бедняжка Исако! Каким же странным должно было показаться ей все здешнее! Припоминаю взгляд, которым встретила она меня впервые…» – И в отвислом животе Тубду снова начинало клокотать то, за что мы, дети, прозвали ее Большой Щекоткой, – ее нутряной тектонический смех.

Для тех, кто не знаком с нашими обычаями, следует пояснить, что на О – в мире с невысоким и стабильным уровнем населения и издревле неизменной технологией – необходимость определенных общественных мероприятий носит характер почти что повсеместный. Основой социального устройства здесь служат

не столько города и страны, сколько рассеянные деревни или ассоциации фермерских хозяйств. Все население состоит из двух половин, или каст. Всякий новорожденный относится к материнской касте, а в целом все ки'Оты (за исключением горцев из Энника) делятся на Утренних, чье время от полуночи до полудня, и на Вечерних, чье время, соответственно, от полудня до полуночи. Священное происхождение и предназначение наших каст служит темой ежегодных Дискуссий и театральных фестивалей, а также составляет содержание проповедей в храме при каждом поместье. Изначальная их социальная функция заключалась предположительно в соблюдении экзогамии и предотвращении инбридинга на удаленных, изолированных от внешнего мира фермах – в силу того, что вступать в связь или брак на О допустимо только с представителем противоположной касты. Правила эти, подкрепленные весьма суровыми карами, соблюдаются почти что неукоснительно. Отступников, которые изредка, но все же появляются, ожидает всеобщее презрение и категорический остракизм. Для индивидуума принадлежность к одной из двух каст не менее значима, чем собственно половые признаки, и играет решающую роль в его сексуальном выборе.

Брачный контракт ки'Отов, именуемый седорету, включает две пары – одну Утреннюю и одну Вечернюю; гетеросексуальные пары именуются Утренними или Вечерними в зависимости от кастовой принадлежности женщины, а гомосексуальные – женские Дневными, мужские Ночными.

Столь негибкая структура семейного устройства, в которой каждый из четверки должен быть сексуально совместим со всеми остальными (а двое из них могут оказаться абсолютно ему незнакомыми), требует, естественно, некоторой предварительной подготовки. Составление новых седорету – излюбленное занятие моих соотечественников. Поощряется экспериментирование, новые четверки складываются и распадаются, парочки то и дело «пробуют» одна другую. Профессиональные маклеры, традиционно пожилые вдовцы, путешествуют по разбросанным поместьям, организуя свидания, устраивая деревенские танцы – универсальный предлог для знакомства каждого с каждым. Множество браков начинается с любви одной парочки, не суть важно, гетеросексуальная она или гомосексуальная, к которой позднее «подшивается» еще одна или два отдельных кандидата. Множество иных седорету целиком, от начала и до конца, устраиваются деревенскими старейшинами. Послушать стариков, обсуждающих под большим деревом детали предстоящей свадьбы, – все равно что наблюдать мастерскую игру в шахматы или тидхе. «Если свести этого Утреннего мальчишку из Эрдапа с

юным Тобо, к примеру, на мукомольне в Гад'де…» – «А разве Ходин'н из Утренних Ото – не программист? Программисту в Эрдапе ужо нашлась бы работенка…» Приданым предполагаемого жениха или невесты может быть как фермерское владение, так и определенное мастерство, единственно с учетом каковых в состав седорету попадают порой не самые желанные персоны. С другой же стороны, фермерское хозяйство требует от новичков в первую очередь мозолистых рук. В общем, составлению браков на О нет начала и не будет конца. Я бы отметил еще, что от удачно сложившегося седорету маклеры и их добровольные помощники получают, похоже, куда большее удовлетворение, чем сами молодожены, виновники торжества.

Разумеется, есть множество людей, никогда не вступающих в брак. Ученые, странствующие проповедники, бродячие актеры и специалисты Центров крайне редко обрекают себя на гнетущую неизменность сельского седорету. Многие присоединяются к бракам своих братьев и сестер в качестве дядюшек и тетушек с весьма ограниченной и четко очерченной мерой ответственности; они вправе вступать в связь с любым из супругов, подходящим по касте – таким образом седорету разрастается порой с четырех до семи-восьми участников. Дети от подобных связей называются кузенами. Дети одной матери считаются братьями и сестрами; дети Утренних находятся в свойстве с детьми Вечерних. Братья, сестры и первые, то есть двоюродные кузены, не вправе вступать в браки между собой, свойственники же – вполне. В некоторых менее консервативных регионах О на браки свойственников тоже смотрят косо, но в моих краях они вполне уместны.

Мой отец был Утренний мужчина из поместья Удан в Дердан'наде – холмистой местности к северо-западу от реки Садуун на Окете, самом маленьком из шести континентов О. Дердан'надская деревенская община объединяет семьдесят семь фермерских хозяйств, разбросанных по террасам крутых лесистых склонов долины Оро, притока полноводной Садуун. Дердан'над – плодородная и живописная местность с великолепным видом на Береговую гряду на западе и на широкое устье полноводной Садуун на юге. Говорливая Оро, рассекающая здесь холмы, богата рыбой и вечно резвящимися в воде детишками. Я и сам провел свое детство в основном на берегах реки и привык к ее ни на минуту не смолкающему гаму. Дом наш стоит так близко к воде, что и спать приходится под неумолчный гул порогов и какофонию попавших в стремнину обломков скал. Оро неглубока, но коварна. Каждого из нас сызмала учили плавать в специально обустроенном тихом затоне, а позднее – управляться с долбленкой на бешеных перекатах. Рыбная ловля входила в число

наших детских обязанностей. Больше всего обожал я охоту с острогой на жирных пучеглазых голубых очидов – я часами мог героически выстаивать в засаде на скользком валуне посреди потока со смертоносным орудием в напряженной руке. Это была моя стихия. Зато, пока я красовался там, моя свояченица Исидри голыми руками успевала выудить из глубины шесть или семь скользких рыбин. Она умела ловить руками даже угрей и стремительных юрков. Мне это никогда не удавалось. «Ты просто отдаешься течению и как бы сливаешься с рекой», – объясняла Исидри. Она умела находиться под водой дольше любого из нас – так долго, что мы уже начинали тревожиться. «Исидри – слишком скверная и непослушная девчонка, чтобы утонуть, – сетовала ее матушка Тубду. – Такую разве утопишь? Ведь какашки не тонут».

У Тубду, Утренней жены нашего седорету, было двое детей от Капа: Исидри, годом старше меня, и Сууди, на три года моложе. Дочки Утренних, они доводились мне свояченицами, как и их кузен Хад'д, сын Тубду от дядюшки Тобо, брата Капа. С Вечерней стороны нас, детей, было двое – я и моя младшая сестренка по имени Конеко. Это древнее Окетское имя имело значение также и на терранском языке матери – «котенок», то есть детеныш того самого расчудесного животного со спиной полукругом и округленными глазами. На четыре года моложе меня, Конеко действительно вся была такой округлой и пушистенькой, точно малютка-звереныш, но глаза были, как у матери, – удивительно раскосые, с удлиненными к вискам веками, вроде нежных, готовых вот-вот раскрыться цветочных бутонов. Конеко повсюду таскалась за мной следом с жалобным воплем: «Део! Део! Постой!», – я же тем временем вовсю гонялся за бесстрашной и неуловимой Исидри с криком: «Сиди! Сиди! Постой же!»

Когда мы немного подросли, Исидри и я стали закадычными дружками, а Сууди, Конеко и кузен Хад'д составили троицу, неизменно сопливую, перемазанную, покрытую струпьями и постоянно чинившую взрослым различные неприятности, – то ворота оставят нараспашку, пустив скотину на поле, то стог разворошат, то зеленых фруктов наворуют, то поцапаются с детьми с фермы Дрехе. «Вот же неслухи паршивые! – качала головой Тубду. – Никому из вас не суждено утонуть!» И она содрогалась в пароксизмах своего беззвучного смеха.

Мой отец Дохедри был человек работящий, вполне симпатичный, но тихий и малообщительный. Мне думается, что упрямство, с которым он некогда добивался приема чужестранки в замкнутый деревенский мирок, полный своих внутренних конфликтов, порой не вполне благовидных, добавило его и без того серьезному характеру толику напряженности. Случались

браки с чужестранцами и у других ки'Отов, но почти всегда «на чужеземный манер», парами – такие молодожены обычно селились в одном из Центров, среди обитателей которых в порядке вещей были самые неожиданные традиции, вплоть до (если верить деревенским сплетням, оглашаемым под Деревом собраний) кровосмесительных связей между двумя Утренними! Или двумя Вечерними! Помимо Центров выбор у подобных пар был невелик: перебраться жить на Хайн или вообще оборвать все нити с родным домом, сделавшись мобилями Экумены, обреченными провести всю свою жизнь на борту СКОКС-кораблей в бесконечных скитаниях по неведомым мирам, – жизнь под девизом «Вперед!», но без воспоминаний о прошлом.

Ничто из перечисленного не подходило отцу, пустившему неразрывные корни в родной Уданский чернозем. Он привез возлюбленную домой и уговорил Вечерних принять ее в свою касту – событие столь редкостное, что церемониймейстера для него пришлось выписывать из далекого Норатана. Затем отец убедил Тубду вступить в седорету. Что до ее Дневного брака, тут все обошлось без проблем – стоило лишь ей увидеть мою мать; затруднения возникли с Утренним альянсом. Кап уже долгие годы был любовником отца и казался самым естественным кандидатом на место в седорету, но пришелся не по душе Тубду. Прочные узы, связывавшие Капа с отцом, подвигли обоих на длительные обхаживания и умасливания, и Тубду в конце концов сдалась – при ее добродушии трудно было противостоять желаниям сразу троих да плюс ее собственному влечению к Исако. Полагаю, она всегда находила Капа занудой, зато его младший брат, дядюшка Тобо, оказался неожиданным подарком. Не говоря уже о чувствах Тубду к моей матери, которые отличались бесконечной нежностью и деликатностью, граничившими с мистическим благоговением. Однажды моя мать сама заговорила об этом.

– Тубду знала, как все это было странно для меня, – призналась она мне. – По-моему, она чувствовала, что все это странно и само по себе.

– Что именно? Наш мир? Наш образ жизни? – поинтересовался я.

Мать мягко покачала головой.

– Не то чтобы весь образ жизни, – ответила она, как всегда, с легким акцентом. – Но вот эти браки, где мужчина с мужчиной, женщина с женщиной… вместе, любовь… До сих пор все это представляется мне не вполне естественным. Никакое знание не может подготовить к этому. Нет в природе ничего подобного.

Пословица же «Браки заключаются Днем» гласит как раз о

связях между женщинами. А вот как раз любовь между отцом и матерью, отличавшаяся подлинной страстностью, всегда была нелегкой и балансировала на краю душевной муки. Ничуть не сомневаюсь, что счастливым и лучезарным своим детством мы обязаны именно той непоколебимой радости и силе, которую Исако и Тубду черпали одна в другой.

Ну и, наконец: двенадцатилетняя Исидри рейсовой фотоэлектричкой отбывает на учебу в Херхот, наш окружной Центр образования, а я, рыдая взахлеб, стою под утренним солнцем на пыльном перроне Дердан'надской станции. Моя подруга, мой закадычный напарник, сама моя жизнь – все уходит прочь, все рушится. Я остаюсь брошенный и одинокий. Увидев плачущим своего могучего одиннадцатилетнего брата, разрыдалась и Конеко, слезы мелкими шариками скатывались по ее пухлым щечкам и капали на платформу, мгновенно укутываясь станционной пылью. Крепко обхватив меня ручонками, она причитала: «Хидео! Она вернется! Она обязательно вернется!»

Никогда мне этого не забыть. Я и теперь явственно слышу ее детские всхлипывания, ощущаю на плечах ее влажные ладошки, электричка, перрон, солнцепек – все как вчера.

В полдень мы всегда купались в Оро, все четверо оставшихся: Конеко, Сууди, Хад'д и я. Как самый старший, я командовал шумной оравой и сразу после купания бросал свое маленькое войско на помощь троюродной кузине Топи, работавшей на станции ирригационного контроля. В конце концов добровольные помощники доставали ее до печенок, и она прогоняла нас: «Ступайте, помогите кому-нибудь еще, дайте хоть немного спокойно поработать!» И мы снова отправлялись на берег строить наши песчаные замки.

Вот вам еще картинка: год спустя двенадцатилетний Хидео вместе с тринадцатилетней Исидри отправляется на фотоэлектричке в школу, оставляя на пыльном станционном перроне Конеко, пусть не в слезах, но в глубоком молчании – так всегда горевала Исако, наша с нею мать.

Школа мне полюбилась. Помнится, сперва я страшно тосковал по дому, но эти грустные воспоминания глубоко похоронены под бесчисленными яркими впечатлениями веселых школярских лет, проведенных сперва в Херхоте, а затем в Центре Второй Ступени в Ран'не, где я выбрал себе курс темпоральной физики и механики.

Исидри, посвятив всего год по завершении Первой Ступени изучению литературы, гидрологии и эйнологии, вернулась к родным пенатам – ферма Удан, деревня Дердан'над, северо-западная область бассейна реки Садуун.

Так же и трое младших, закончив школу и проведя кто год, кто два в Центре Второй Ступени, увезли накопленную премудрость в родной Удан. Конеко, когда ей исполнилось не то пятнадцать, не то шестнадцать, пыталась советоваться со мной, как со старшим братом, о продолжении учебы в Ран'не, но все остальные наперебой уговаривали ее остаться дома. Она блистала как раз в дисциплинах, которые мы в целом именуем «густым гребешком» – в обычном переводе это «сельский менеджмент», но последнее плохо отражает всю сложность предмета, включающего перспективное планирование с учетом экологических, экономических, эстетических и иных самых неожиданных факторов с целью поддержания природного гомеостазиса. Наш Котенок имела в этом подлинное чутье, и планировщики Дердан'нада приняли ее в свой Совет еще до того, как ей стукнуло двадцать. Впрочем, я к тому времени уже уехал.

Каждый год в течение учебы в школах обеих ступеней я возвращался домой на зимние каникулы. Когда оказывался в родных стенах, тут же сбрасывал с себя всю школьную премудрость, точно опостылевший ранец с учебниками, и мгновенно превращался в прежнего отчаянного деревенского шалопая – купальня, рыбалка, гулянки, участие в пьесах и фарсах, разыгрываемых в Большом амбаре, танцплощадка, вечеринки и любовь, любовь едва ли не со всеми Утренними сверстниками в Дердан'наде и окрестных деревушках.

Но в последние два года учебы в Ран'не характер моего каникулярного времяпрепровождения резко переменился. Вместо того чтобы шататься день и ночь напролет по окрестностям, вместо танцулек в любом гостеприимном доме я стал часто проводить время в родных стенах. Стремясь уберечься от прочных привязанностей, я со всей возможной деликатностью отдалился от дорогого сердцу Соты из поместья Дрехе. Часами я мог просиживать на берегу Оро с рыболовной снастью в руке, запечатлевая в памяти хитросплетения струй прямо над нашей купальной затокой. Вода там, обегая парочку массивных притопленных валунов, закручивалась затейливыми спиралями, большей частью угасавшими и лишь в единственном глубоком месте сплетавшимися в настоящий морской узел, маленький водоворот, быстро сносимый вниз по течению, где, достигнув очередного валуна, он растворялся, снова сливаясь с зыбким телом реки, а на его месте уже возникал следующий, затем еще один, и так без конца… Река в ту зиму, напоенная щедрым дождем, порой захлестывала валуны и разливалась в водную гладь, но всегда ненадолго – вскоре все опять возвращалось на круги своя.

Долгие зимние вечера я проводил у камина, беседуя с моей сестренкой и кузеном Сууди о вещах вполне серьезных и одновременно любуясь порхающими движениями рук матери, занятой вышивкой бисером на новых занавесках для гостиной, которые мой отец сострочил на древней – четырехсот лет от роду – уданской швейной машинке. Я также помог ему разобраться с переналадкой систем удобрения и севооборота восточных полей в соответствии с новыми указаниями Совета деревенской общины. Работая вместе в поле, мы, случалось, беседовали, но никогда подолгу. Порой устраивали дома и музыкальные вечера; кузен Хад'д, признанный затейник и ударник деревенского ансамбля, мог сколотить оркестр из кого угодно. А не то я усаживался сразиться с Тубду в «Укради-слово» – игру, которую она обожала и в которую почти никогда не выигрывала, так как, сосредоточившись на попытках стянуть слова у противника, постоянно забывала о защите собственных. «Попался, который кусался!» – азартно вскрикивала она, размахивая отвоеванными у меня фишками, крепко зажатыми в толстых огрубелых пальцах, и заливаясь беззвучным хохотом, своей Великой Щекоткой; следующим же ходом я возвращал себе их все с солидной прибавкой из ее кровных запасов. «Нет, как вам это нравится!» – изумлялась она, озадаченно уставясь на доску. Иногда участие в игре принимал и мой соотец Кап – тот сражался куда методичнее, но как-то механически равнодушно, совершенно одинаково улыбаясь как победе, так и проигрышу.

Порой я затворялся у себя в комнате – мансарде с темными деревянными стенами и бордовыми шторами, с запахом дождя в распахнутом окошке и его же барабанной дробью по крыше. Я мог часами лежать так в полумраке, лелея свою печаль, свою щемящую и сладостную боль, беду предстоящей разлуки с отчим домом, который я готовился покинуть вскоре и навсегда, чтобы отправиться в неведомый путь по темной реке времени. Ибо к восемнадцати годам уже твердо знал, что расставание с родным Уданом, с родной О для меня неизбежно, что путь мой лежит в иные миры. Таковы были тогда мои устремления. Такова оказалась моя судьба.

Описывая свои зимние каникулы, я забыл упомянуть об Исидри. А ведь она тоже была там. Участвовала в пьесах, трудилась на ферме, ходила на танцы, пела в хоре, шаталась по окрестностям, купалась в реке под теплым дождем – все как у всех. В первый мой приезд из Ран'на, как только я выскочил из поезда на дердан'надскую платформу, она со слезами радости на глазах первая встретила меня крепким объятием, затем, смущенно хихикнув, отстранилась и после стояла в сторонке

несколько скованно и отчужденно – высокая, изящная, смуглая девушка с выражением ожидания чего-то на прелестном личике. В тот вечер Исидри в моем присутствии буквально цепенела. Мне казалось, это оттого, что, привыкнув видеть во мне младшего ребенка, она столкнулась теперь с настоящим мужчиной – как же, восемнадцать лет, студент Второй Ступени! Это льстило моему самолюбию, я стал искать ее общества, старался опекать. Но и в последующие дни Исидри оставалась какой-то зажатой, постоянно хихикала без повода, никогда не открываясь начистоту в наших долгих беседах и даже порою как будто чураясь меня. Всю последнюю декаду тех моих каникул Исидри провела в гостях у дальних родственников своего отца из деревни Сабтодью. Меня задело, что она не сочла возможным отложить свою поездку всего лишь на десять дней.

На следующий год Исидри больше не цепенела в моем присутствии, но ближе оттого не стала. Она увлеклась религией, ежедневно посещала храм, штудировала тексты Дискуссий под руководством старейшин. Она была любезна, дружелюбна, но вечно чем-нибудь занята. Я не припомню, чтобы мне хоть раз довелось прикоснуться к ней в ту зиму – не считая разве что прощального поцелуя на перроне. Мой народ не целуется в губы, мы соприкасаемся щеками на миг – или дольше. Тот поцелуй Исидри оказался легче прикосновения палого листка – мимолетный и едва ощутимый.

В мою третью и последнюю зиму дома я признался наконец, что уезжаю на Хайн, а оттуда собираюсь отправиться дальше – и навсегда.

Как бессердечны мы порой с собственными родными! Ведь все, что требовалось тогда сказать, – всего лишь про отъезд на Хайн. После полувздоха-полувскрика: «Так я и знала!» – Исако спросила в обычной своей манере, мягким, едва ли не извинительным тоном: «Но ведь после Хайна ты сможешь вернуться домой, хотя бы ненадолго?» Мне следовало ответить матери «да». Ведь это было все, чего она просила. Лучик надежды. Да, разумеется, после Хайна я мог бы вернуться на время. Но с бесшабашным максимализмом и самовлюбленностью, присущими жестоковыйной юности, я отказался дать матери то, чего она так хотела. Я стремился оборвать все нити разом, вырвать из ее души надежду увидеть сына после десятилетней разлуки, я хотел сразу расставить все точки над «i». «Если примут, я ведь стану мобилем», – сообщил я матери. Я старательно подзуживал себя, стараясь говорить без обиняков. Я даже гордился, если не наслаждался, собственной прямотой, своей правдивостью! Но действительность, как выяснилось лишь спустя много лет,

оказалась совершенно иной. Правде вообще редко случается быть простой и ясной, но лишь немногим истинам по плечу спор с моей судьбой в сложности и витиеватости.

Мать приняла мою жестокость без слез, без сетований. Она ведь и сама когда-то поступила так же, покинув Терру. И все же обронила позднее в тот вечер: «Мы ведь сможем изредка беседовать по ансиблю, пока ты будешь на Хайне». Она как бы ободряла этим меня, не себя. Полагаю, ей припомнилось, как сама она, сказав родным последнее «прощай», ступила на борт СКОКС-корабля, чтобы сойти на Хайне спустя всего лишь несколько релятивистских часов, – полвека после смерти на Терре ее матери. Она тоже могла бы поговорить по ансиблю, но с кем? Я не изведал подобной муки, а вот ей довелось. И она находила слабое утешение в том, что мне это пока что не грозит.

Все для меня тогда стало временным, каждую фразу хотелось предварить словами «пока что…» О этот горький мед последних деньков! Как же я любовался собой тогда, я как бы снова балансировал на осклизлом валуне посреди ревущего потока с острогой в железной руке – всем героям герой! До чего же бездумно комкал я в руке листок тягучего уданского периода своей краткой жизни, стремясь отшвырнуть его прочь и открыть новый, манящий девственной белизной!

Был миг, когда мне приоткрылся истинный смысл того, что собирался я тогда совершить, – но всего один и столь краткий, что я отверг прозрение.

Случилось это в теплый дождливый полдень в самом конце каникул. Сидя в мастерской при эллинге, я с увлечением мастерил новую банку для маленькой красной плоскодонки, на которой мы обычно ходили в дальнюю рыбалку. Постоянные глухие раскаты с раздувшейся реки служили мне прекрасным фоном для мыслей о разном – я воображал себя на какой-нибудь далекой планете в сотне световых лет вспоминающим этот день и час, запах реки и стружки, несмолкаемый говор воды, как бы загодя пытаясь исцелиться от ностальгии, которую предстояло пережить только в далеком будущем. Вдруг, после робкого стука в дверь, в мастерскую заглянула Исидри – тонкое смуглое личико, длинная коса волос чуть светлее моих, искательный взгляд ясных светлых глаз.

– Хидео, – начала она, – ты можешь уделить мне минутку-другую? Нам нужно поговорить.

– Заходи, заходи! – ответил я с напускной бодростью и радушием, хотя вряд ли сознавал тогда отчетливо, что мне просто недостало бы духу самому завести этот разговор с ней, что я как бы опасался чего-то – чего, спрашивается?

Присев на краешек верстака, Исидри какое-то время молча следила за моими трудами. Когда пауза затянулась и я завел треп о погоде, она перебила:

– Знаешь ли ты, почему я сторонилась тебя?

– Сторонилась? Меня? – делано изумился я. На это Исидри вздохнула. Видимо, она надеялась на утвердительный ответ, могущий облегчить все остальное. Но я не мог помочь ей.

Ведь лгал я лишь в том, что якобы не замечал такой ее отчужденности. Я действительно никогда, никогда, пока она сама мне не призналась, не мог сообразить, в чем причина.

– Еще позапрошлой зимой я поняла, что люблю тебя, – сказала Исидри. – Я не собиралась рассказывать тебе о своих чувствах, потому что… да это и так понятно. Если бы ты чувствовал ко мне хоть что-то, то сам бы давно все заметил. Но моя любовь не оказалась взаимной. Стало быть, не судьба. Но когда ты сказал, что уезжаешь, покидаешь нас навсегда… Сперва мне казалось, что тем более не следует ничего говорить. Но после я поняла – так будет нечестно. Во всяком случае, с моей стороны. Любовь имеет право быть высказанной. И у тебя есть право знать, что кто-то любит тебя. Что кто-то любил тебя, мог бы любить тебя. Мы все нуждаемся в подобном знании. Возможно, это самое важное, в чем мы нуждаемся. Поэтому я и решила сказать тебе. А еще я опасалась, что ты можешь неправильно истолковать мое поведение, подумать, что я не люблю тебя. Порой это могло выглядеть именно так. Но это было не так.

Спрыгнув с верстака, девушка двинулась к двери.

– Сидри! – воскликнул я вслед, имя вырвалось из моей груди странным, хриплым выдохом, одно лишь имя, ни слова более – не было слов. Не было больше ни чувств, ни сострадания, ни давешней ностальгии, ни моих сладостных мучений. Я стоял там как громом пораженный. Наши глаза встретились. Мы замерли, заглянув друг другу в самую душу. Затем Исидри отвела взгляд, губы ее искривила болезненная гримаска, и она тихонько скользнула за дверь.

Я не пошел за нею. Мне нечего было сказать ей. Абсолютно нечего. Я чувствовал, что поиски нужных слов займут недели, месяцы, годы. Считаные минуты назад я был безмерно богат и счастлив, упоен собой и своим предназначением – а теперь стоял опустошенный и нищий, уныло глядя в мир, который собирался покинуть.

Этот миг моего прозрения длился на самом деле добрый час – на всю жизнь запечатлевшийся в памяти как «час в эллинге». Ссутулившись, я сидел на высоком верстаке, где недавно сидела Исидри. Лил дождь, бесилась река, смеркалось. Очнувшись в

конце концов, я включил свет, как бы пытаясь затмить им ужасающую правду действительности, отстоять перед нею мою цель, мои планы на будущее. Я начал возводить в душе своего рода эмоциональную стену, чтобы спрятаться за нею от того, что так ярко высветила Исидри во мне самом, чтобы уйти от взгляда ее безжалостных и ласковых глаз.

К моменту, когда я поднялся в дом к обеду, ко мне уже вернулось самообладание. Укладываясь в тот вечер спать, я снова был хозяином собственной судьбы, уверенным в своем выборе. Более того, я готов был отпустить самому себе грехи грядущей тоски по Исидри, своего сострадания к ней – хотя, возможно, и не вполне. Я не видел в том ничего для нее зазорного или оскорбительного. Скорее уж для себя. Я-то стыдился этого своего «часа в эллинге», стеснялся пережитого там самобичевания. И несколько дней спустя, прощаясь с родными на замызганном мокром перроне деревенского полустанка, – заплакал. Не по разлуке с ними. По самому себе. То были честные, искренние слезы. Ноша, которую я взвалил на себя, оказалась чрезмерной. А мой опыт страданий был столь невелик! И я сказал тогда матери:

– Я вернусь, обязательно вернусь! Вот закончу курс – лет через шесть, семь – и вернусь. И поживу с вами.

– Да приведет тебя твой путь к родному дому, – шепнула Исако. Она крепко обняла меня – и отпустила.

Итак – мы вернулись к моменту, с которого началась моя повесть: мне двадцать один год, и на звездолете «Ступени Дарранды» я лечу в Экуменическую школу на Хайне.

Из самого путешествия я ни черта не запомнил. Помню, как оказался в СКОКСе, как искал каюту – и все как отрезало. В памяти осталось лишь какое-то физическое ошеломление, тошнота, головокружение. Еще смутно припоминаю, как, шатаясь на ватных ногах, едва не скатился по трапу и как мне любезно помогли сделать первые шаги по зыбкой поверхности Хайна.

Огорченный подобным провалом в сознании, я сразу по прибытии проконсультировался в Экуменической школе. Мне объяснили, что субсветовые скорости оказывают весьма хитрое воздействие на человеческую психику. Большинству путешественников представляется, что они провели на борту всего лишь несколько биочасов, как это и есть в действительности; иные сохраняют в памяти самые неожиданные выверты пространственно-временного континуума, порой даже небезопасные для их душевного здоровья; некоторым кажется, что они всю долгую дорогу спали и «пробудились» только по прилете. Мне же не довелось пережить ничего подобного. Я вообще не

сохранил никаких воспоминаний. Казалось, меня одурачили. Я-то мечтал смаковать впоследствии подробности первого своего космического перелета, надеялся вкусить прелесть проведенного на борту времени, ан нет – как ни напрягайся, в черепушке хоть шаром покати. Вот я, бодренький, в космопорту на О, а вот я уже, с трудом осознавая окружающее, ковыляю по трапу в порту Ве – никакого тебе интервала во времени.

Моя учеба и труды в первые хайнские годы не представляют теперь особого интереса. Упомяну единственный эпизод, который мог оставить след в архиве ансибля Четвертой Дом-башни, предположительно за входящим номером ЭЛ-21-11-93/1645. (Когда я в последний раз справлялся в архиве ансибля в Ран'не, мне называли следующий исходящий: ЭВ-30-11-93/ 1645. Не сочтите меня снобом, но Юрасима тоже ведь оставил следы в Императорских архивах на Терре.) 1645 год – год моего прибытия на Хайн. В самом начале семестра меня пригласили в ансибль-центр, чтобы помочь его сотрудникам разобраться с искаженной помехами ансиблограммой с О – они надеялись, что, зная язык, я смогу расшифровать хоть что-то. Под датой отправления (на девять дней позже, чем дата приема на Хайне!) значилось:

лесс оку н хиде проблем тренув ямерв это чарт ди это не может быть спасе лыбир.

Сплошные перепутанные обрывки слов – отчасти хайнских стандартных, отчасти ки'Отских, отчасти не имеющих видимого смысла фрагментов. Оку и тренув и впрямь могли бы означать «север» и «симметричный» на сио, моем родном языке. Хотя Ансибль-центр на О и не подтверждал передачу подобного сообщения, приемщики на Хайне отказываться от своей гипотезы происхождения ансиблограммы не торопились – из-за двух вышеупомянутых слов, а также из-за хайнской фразы «это не может быть спасением», содержавшейся также и в практически одновременно полученном послании одного из стабилей Экумены на О, встревоженного аварией мощной опреснительной установки. «Мы называем подобные ансиблограммы „посланием всмятку“, – пояснил мне приемщик центра, когда я, расписавшись в полном своем бессилии, в свою очередь заинтересовался деталями. – К счастью, такое случается крайне редко. Мы не в силах установить, откуда и когда они отправлены, а может, только будут еще отправлены. Вся беда, похоже, в складках сдвоенного поля, где происходят какие-то сложные интерференционные наложения. Один мой коллега остроумно

окрестил подобные казусы призракограммами».

Меня всегда восхищала возможность мгновенной передачи сообщений, и, хотя я тогда едва приступил к изучению ансибль-теории, я не преминул воспользоваться подвернувшейся оказией, чтобы завязать приятельские отношения с работниками станции. А также записался на всевозможные курсы по ансиблю.

На последнем году моей учебы в колледже темпоральной физики, когда я прикидывал, не продолжить ли мне образование в системе Кита – разумеется, после обещанного визита на родину, которая на Хайне представлялась мне полузабытым сладким сновидением, но порой пробуждала и отчаянную ностальгию, – пришли первые ансиблограммы с Анарреса о новой сенсационной теории трансляции. И не одной только информации, но материи, грузов, людей – все могло транслироваться с места на место абсолютно без затрат времени. Новой реальностью Экумены становилась «чартен-технология» – реальностью удивительной, невероятной.

Загоревшись принять в этом участие, я готов был заложить дьяволу тело и душу за возможность поработать над новой теорией. И тут ко мне пришли и предложили сами – не счел ли бы я для себя возможным отсрочить свою квалификацию в мобили на год-другой, чтобы поучаствовать в чартен-исследованиях? Я принял предложение со всеми положенными в таких случаях реверансами. И в тот же вечер закатил пир на весь мир. Припоминаю, как я пытался научить однокашников отплясывать фен'ну, смутно помню еще какие-то жуткие фейерверки на главной площади кампуса, а рассвет, сдается мне, встретил серенадами под окнами директора школы. Зато хорошо запомнил свое самочувствие на другой день; однако даже жуткое похмелье не помешало мне дотащиться из любопытства до здания, в котором обустраивалась новая Лаборатория исследования чартен-поля, где предстояло работать и мне.

Передачи по ансиблю, естественно, удовольствие не из дешевых, и за годы учебы на Хайне я всего лишь дважды связывался с родными. Но тут мне на выручку пришли друзья из ансибль-центра, у которых изредка случались так называемые оказии с попутными ансиблограммами – с помощью одной из таких мне удалось бесплатно переправить сообщение для Первого седорету поместья Удан из Дердан'нада, Северо-западная область бассейна Садуун, Окет, О. В нем я извещал родителей, что, «хотя новые исследования и отсрочат малость мой долгожданный визит домой, они дадут мне возможность сэкономить четыре года на космическом перелете». Игривый тон послания маскировал мое чувство вины – но ведь мы тогда действительно верили, что

получим практические результаты буквально в считаные месяцы.

Вскоре все Чартен-лаборатории перебрались на Ве, а с ними и я. Совместная работа таукитян и хайнцев над проблемами чартен-поля в первые три года вылилась в бесконечную череду триумфов, отсрочек, надежд, поражений, прорывов, отступлений – все менялось столь быстро, что стоило кому-либо взять неделю отпуска, как он совершенно выпадал из курса дел. «За видимой ясностью таится очередная закавыка», – любила повторять Гвонеш, директор проекта. И действительно: стоило нам разрешить одну проблему, как возникала другая, еще круче. Эта фантастически прекрасная теория буквально сводила нас с ума. Результаты экспериментов вызывали буйный восторг и не поддавались никакому объяснению. Техника срабатывала лучше всего, когда никто не надеялся. Четыре года в чартен-лабораториях промелькнули, как говорится, в миг единый.

После десяти лет, проведенных на Хайне и Ве, мне исполнился тридцать один год. Однако на О, пока я переживал несколько неприятных релятивистских минут перелета на Хайн, прошло еще четыре. Плюс четыре года, пока буду лететь обратно – итого, когда вернусь, для моих родных я провел в отъезде полных восемнадцать. Все четверо моих родителей были пока еще живы, и тянуть дольше с обещанным визитом домой никуда не годилось.

Но, хотя исследования как раз тогда уперлись в глухую стену (именуемую «Парадоксом прошлогоднего снега», который китяне считали вообще неразрешимым), сама мысль провести восемь лет вдали от лабораторий казалась мне совершенно непереносимой. А что, если парадокс все же разрешат – и без меня? Жутко было вообразить долгие четыре года, напрочь вырванные из жизни субсветовым перелетом. Без особой надежды я ткнулся к директору Гвонеш с просьбой позволить мне захватить с собой на О кое-какие приспособления, позволяющие дооборудовать ансибль-связь в Ран’не вспомогательным двойным константполем для поддержания связи с Ве. Таким образом я хотя бы сохранял обмен с коллегами Ве, а через Ве – с Уррасом и Анарресом; к тому же это оборудование могло послужить основой для обустройства на О в будущем и чартен-связи. Помнится, я еще сказал ей: «Если вам удастся решить парадокс, не забудьте отправить мне несколько мышей».

К моему большому удивлению, идея пришлась ко двору – наши механики нуждались в дополнительных приемниках. Директор Гвонеш, непроницаемая, как сама теория чартен-поля, неожиданно похвалила меня за инициативу. «Мыши, тараканы, упыри – как знать, что ты там получишь от нас?» – улыбнулась

она напоследок.

Итак – мне тридцать один год, я покидаю Ве и СКОКС-лайнером «Владычица Сорры» возвращаюсь на О. На сей раз я пережил субсветовой перелет, как все нормальные люди – цепенящий промежуток времени, когда трудно сосредоточиться, непросто разглядеть циферблат, никак не уследить за беседой. Речь и физические движения затруднены, а то и вовсе невозможны. Соседи по рейсу становятся как бы призрачными – то ли есть они, то ли нет. Это отнюдь не галлюцинации, просто все как-то смазано, помрачено. Похоже на ощущения при горячке: мысли вразброд, тоска смертная без конца и края, тело чужое и непослушное, не тело – невесомая оболочка, на которую смотришь как бы извне. Теперь-то я уже понимаю, что зря никто всерьез и своевременно не заинтересовался сродством ощущений при СКОКСе и чартнинге. Промашка вышла.

С космодрома я отправился прямиком в Ран'н, где сразу же получил квартирку в Новом Квартале, куда удобнее и просторнее прежней студенческой, что в Храмовом, а также чудные лабораторные помещения в Тауэр-Холле, куда безотлагательно перетащил все свое оборудование. Сразу по прибытии я связался и поговорил с родителями – мать чем-то переболела, но, по ее словам, чувствовала себя уже гораздо лучше. Я пообещал приехать, как только наладятся дела в Ран'не. Каждую декаду я звонил снова и снова божился приехать, как только вырвусь. Но я действительно был очень занят, торопясь наверстать упущенное за четыре года полета, а главное, разобраться с «отысканным» самой Гвонеш «Прошлогодним снегом». Это, к моему облегчению, оказалось единственным серьезным прорывом в теории. Изрядно продвинулась за эти годы лишь технология. Мне пришлось переучиваться самому, а также практически с нуля готовить себе новых ассистентов. А еще у меня имелись кое-какие собственные идеи, связанные с теорией двойного поля, которые пришли в голову перед самым отъездом. Пролетело добрых пять месяцев, прежде чем я позвонил родителям и сообщил, наконец: «Ждите завтра». И, уже опустив трубку, понял, что все это время чего-то боялся.

Трудно сказать, чего – то ли изменений, случившихся с ними за восемнадцать лет нашей разлуки, то ли вообще какой-то неопределенности, то ли самого себя.

Время почти не наложило отпечатка на холмы в окрестностях полноводной Садуун, на разбросанные поместья, на пыльный перрон полустанка в Дердан'наде, на старые, очень старые дома тихой пристанционной улочки. Исчезло большое Дерево собраний, но посаженное ему на смену уже успело подрасти и

давало приличную тень. В родном поместье Удан изрядно разросся птичник. Его обитатели ямсуси надменно косились на меня сквозь плетень. Калитка, которую я поправлял в последний свой приезд домой, изрядно обветшала и нуждалась в замене петель и опорных столбиков. Зато сорняки, буйно разросшиеся по обочинам, были все те же – пыльная летняя травка со щемяще-сладостным ароматом. По-прежнему мягко клацали бесчисленные затворы ирригационных канавок. Все в целом было по-старому. Казалось, Удан выпал из времени и дремлет себе над рекой, которой тоже только снится ее собственный бег.

Изменились только лица, родные лица тех, кто встречал меня на жарком и пыльном перроне. Моя мать, которой исполнилось теперь шестьдесят пять, стала очаровательной хрупкой старушкой. Тубду потеряла весь свой вес и покрылась морщинами, как печально сдувшийся шарик. В отце, хотя он и сохранил определенный мужской шарм, чувствовалась старческая скованность – он старательно держался прямо и почти что не принимал участия в разговорах. Мой соотец Кап, семидесяти лет от роду, превратился в аккуратного, но несколько суетливого крохотного старичка. Они все еще оставались Первым седорету Удана, но юридическая ответственность за поместье уже перешла ко Второму и Третьему седорету.

Я, разумеется, предвидел подобные перемены, знал кое-что из сообщений, но читать ансиблограммы – это одно, а видеть своими глазами – совершенно иное. Наш старый дом оказался куда населеннее, чем в моем детстве. Южное крыло перестроили, а по двору, который некогда был тихим, тенистым и таинственным, сломя голову носилась шумная ватага незнакомых ребятишек.

Младшая сестренка Конеко, теперь на четыре года старше меня, очень напоминала нашу мать в молодости, какой она сохранилась в первых моих сознательных воспоминаниях. Когда поезд только подкатывал к платформе, я, стоя в дверях, признал ее первой – она поднимала на руках малыша, громко восклицая: «Смотри, смотри, вот твой дядя Хидео!»

Второй седорету существовал уже полных одиннадцать лет – Конеко и Исидри, сестры-свояченицы, составляли его Дневной марьяж. Мужем Конеку был мой старинный приятель Сота, возмужавший ныне Утренний паренек из поместья Дрехе. Как же мы с ним обожали друг друга в юности, как я горевал о нем, покидая О. Когда я впервые, еще на Хайне, услышал о выборе Конеко, то – такой эгоист! – чуток расстроился, но упрекать себя в ревности все же не стану: в конечном счете этот брак глубоко меня тронул. Мужем Исидри оказался странствующий проповедник и Мастер Дискуссий по имени Хедран, возрастом

лет на двадцать старше ее самой. Удан однажды предоставил ему кров и ночлег, визит несколько затянулся и привел в конце концов к свадьбе. Детей у них, впрочем, не было. Зато были у Соты с Конеко двое Вечерних: мальчуган десяти лет по имени Мурми и четырехлетняя малышка Мисако – Исако-младшая.

Третий седорету составил и привел в Удан мой братец-свойственник Сууди, женившийся на красотке из деревни Астер. Оттуда же явилась и их Утренняя пара. Детей в этом седорету было аж шестеро. К тому же кузина, седорету которой в Экке распался, вернулась в Удан с двумя малышами, так что, мягко выражаясь, никто в нашем доме не жаловался на недостаток беготни, толкотни, одеваний-переодеваний, умываний, кормлений, хлопаний дверьми, визга, плача, смеха и прочих прелестей жизни. Тубду любила посиживать на солнышке возле кухни с какой-нибудь работенкой и наблюдать за всей этой свистопляской. «Вот же поганцы! – покрикивала она то и дело. – Никогда вам не потонуть, ни одному из вас!» И она вновь заливалась своим беззвучным смехом, переходящим теперь в приступ астматического кашля.

Моя мать, которая все же всегда была и осталась мобилем Экумены, совершившей перелеты с Терры на Хайн, а оттуда на О, с нетерпением ждала новостей о моих исследованиях.

– Что же это такое, этот пресловутый твой чартен? – любопытствовала она. – Как он действует, на что способен? Вроде ансибля, но для материи?

– В общих чертах, да, – подтвердил я. – Трансляция, мгновенный перенос физических тел из одной ПВК[59]-координаты в любую другую.

– Без временного промежутка?

– Без.

Исако поежилась.

– Чую, чую в этом какой-то подвох, – протянула она задумчиво. – Расскажи-ка подробней.

Я уже успел позабыть, какой въедливой умеет быть моя ласковая матушка, напрочь позабыл, что она тоже ученая и не лыком шита. Мне пришлось как следует потрудиться, пытаясь объяснить ей необъяснимое.

– Итак, – сухо резюмировала она мое сообщение, – ты и сам не имеешь представления, как это действует.

– Верно, – признал я. – Мы пока не понимаем, что происходит при переносе. Знаем только, что если помещаешь мышь в камеру номер один и создаешь поле, то – как правило – она тут же окажется в камере номер два, живая и невредимая. Вместе с клеткой, если только перед опытом мы не забыли посадить ее в

клетку. Обычно забываем. Мыши у нас там шастают повсюду.

– А что такое «мышь»? – вмешался вдруг Утренний мальчуган из Третьего седорету, до сих пор тихо и внимательно слушавший то, что казалось ему похожим на удивительную новую сказку.

– А! – улыбнулся я, чуток смущенный. Я уже успел забыть, что на Удане не знают мышей, а крысы здесь – зубастые демоны, закадычные враги нарисованного кота. – Крохотный, милый, пушистый зверек, – пояснил я. – Родом с планеты, где родилась твоя бабушка Исако. Мыши – лучшие друзья ученых. Они путешествуют по всем известным мирам.

– На маленьких-маленьких корабликах? – с надеждой спросил малыш.

– Чаще все же на больших, – ответил я.

И малыш, удовлетворенно кивнув, умчался прочь.

– Хидео, – начала моя мать, мгновенно перескакивая с одной темы на другую, – ужасающая черта женщин, думающих обо всем разом, своего рода мысленный чартнинг, – а у тебя есть кто-нибудь?

Криво улыбнувшись, я помотал головой.

– Вообще никого?

– Ну жил я как-то год-другой вместе с одним парнем из Альтерры, – выдавил я смущенно. – Мы крепко с ним сдружились; но сейчас он мобиль. Ну и… разное прочее… то там, то сям. Совсем недавно, к примеру, пока жил в Ран’не, встречался с одной милашкой из Восточного Окета.

– Надеюсь, если ты все же изберешь судьбу космического скитальца, тебе встретится хорошая девушка-мобиль, – сказала мать. – Вы могли бы жить с ней вместе. В парном браке. Так оно легче.

«Легче, чем что?» – всплыл у меня вопрос, но задавать его вслух я не рискнул.

– Знаешь, мать, я уже сильно сомневаюсь, что когда-нибудь вообще выберусь дальше Хайна. Слишком погряз в этих делах с чартеном и бросать их пока не намерен. Если же нам удастся отладить аппаратуру, путешествия и вовсе станут пустяком. Отпадет нужда в жертвах вроде той, что принесла ты когда-то. Мир переменится, просто невообразимо переменится! Ты могла бы смотаться на Терру и обратно, допустим, на часок, и на все на это затратить ровно час, ни минутой больше.

Исако задумалась.

– Если такое удастся осуществить, – заговорила она задумчиво, даже морщась от напряженных усилий мысли, – то вы тогда… Вы скомкаете Галактику… Сведете Вселенную к… – Она сложила пальцы левой руки щепотью.

Я кивнул:

– Миля или световой год – не будет никакой разницы. Расстояния исчезнут вообще.

– Такого просто не может быть, – заметила мать после паузы. – Событийный ряд требует интервалов… Где имение, где вода… Не уверена, что вам удастся совладать с этим, Хидео. – Она улыбнулась. – Но ты все же попытайся!

После этого мы с ней обсудили еще намеченную на завтра вечеринку в поместье Дрехе.

Я не счел нужным рассказывать матери, что приглашал Таси, мою подружку из Восточного Окета, поехать в Удан вместе со мной и что она отказалась, деликатно известив меня, что нам самое время пожить раздельно. Ох, Таси, Таси… Типичная ки'Отка – высокая и темноволосая, не жгучая брюнетка, как я сам, а помягче, как тени в ранних сумерках, – она искусно, без обид погасила все мои протесты. «Знаешь, порой мне кажется, что ты влюблен в кого-то еще, – заметила Таси к концу нашего объяснения. – Может быть, в кого-то на Хайне? Может, в того парня с Альтерры, о котором рассказывал?» «Нет», – ответил я ей тогда. Нет, – думал теперь и сам. Я никогда никого не любил. Я просто не способен любить, теперь это уже совершенно ясно. Я слишком долго мечтал о судьбе галактического скитальца без прочных связей, затем слишком долго трудился в чартен-лаборатории, повенчанный единственно со своей проклятой теорией невозможного. Где тут место для любви, где время?

Но почему все же я так хотел захватить Таси с собой в Удан?

В дверях дома меня тихо приветила женщина лет сорока, вовсе не девчушка, которую я знал когда-то, высокая, уже далеко не худая, но по-прежнему нетипичная, ни с кем не сравнимая – Исидри. Какие-то безотлагательные дела по хозяйству помешали ей прийти на станцию вместе с остальными. Одетая в видавший виды комбинезон, как будто только что с полевых работ, с волосами, уже тронутыми сединой, заплетенными в тяжелую косу, Исидри стояла в широком деревянном проеме, как некий символ Удана в отполированной временем рамочке – душа и тело тридцативекового поместья, его преемственность, сама жизнь. В ее руках было все мое детство, и она снова дружелюбно протягивала их мне.

– Добро пожаловать домой, Хидео, – сказала Исидри с улыбкой, затмившей солнечный полдень. Проведя меня за руку в дом, она мягко добавила: – Я выселила детей из твоей старой мансарды. Мне казалось, что там тебе будет уютнее, не возражаешь?

И снова она расцвела в улыбке, излучавшей физически

ощутимое тепло, щедрость женщины в самом соку, замужней, удовлетворенной, живущей полнокровной жизнью. Я не нуждался более в Таси, как в щите от Исидри. Мне вовсе не следовало ее опасаться. Исидри не держала на меня никакого зла, не испытывала передо мной ни тени смущения. Она любила меня прежнего, теперь же перед нею стоял совсем иной человек. Неуместным было бы также и мне испытывать смущение или какой-то стыд. Я и не ощущал ничего, кроме старой доброй приязни тех давних лет, когда мы вместе с нею бродили, играли, работали, мечтали, – двое неразлучных питомцев Удана.

Итак – я обосновался в своей старой комнатушке под самой кровлей. На первый взгляд новыми в ней были только оконные шторы цвета ржавчины. Обнаружив под стулом в чулане забытую игрушку, я словно бы снова окунулся в далекое детство, когда сам разбрасывал вещи повсюду – чтобы обнаружить их только сейчас, спустя многие годы. В четырнадцать, сразу после обряда конфирмации, я тщательно вырезал свое имя на глубоком подоконнике слухового окошка среди множества угловатых иероглифов моих бесчисленных предшественников. Теперь я отыскал свой автограф. Его окружали кое-какие добавления. Под четким, аккуратным «Хидео», обрамленным моим личным гербом, цветком одуванчика, было криво накарябано «Дохедри», а рядом – изящный трехфронтонный символ нашего дома. На меня накатило неодолимое чувство, будто я жалкий пузырек на поверхности Оро, мимолетная искорка в бесконечной череде веков Удана, в неизменном его бытии в этом стабильнейшем из миров – чувство, полностью опровергающее мою индивидуальность и в то же время ее утверждающее. Все ночи моего пребывания дома в тот визит я засыпал как убитый, как не спал уже годы, мгновенно проваливаясь в пучину сновидений – чтобы проснуться ярким летним утром обновленным и голодным, точно новорожденный.

Никому из детей не исполнилось еще и двенадцати, и они обучались пока в домашней школе. Исидри, преподававшая литературу и религию, а также исполнявшая обязанности директора, пригласила меня рассказать им о Хайне, о СКОКС-путешествиях, о темпоральной физике – о чем мне только будет угодно. Гостящего в ки'Отском поместье всегда приспособят к какому-нибудь полезному делу. Но Вечерний дядюшка Хидео, постоянно готовый к проказам, сумел стать любимцем всей детворы. То тележку для ямсусей смастерит, то захватит детей поудить с большой лодки, управлять которой им еще не по силам, а не то поведает сказку об удивительной волшебной мышке, которая умела находиться в двух разных местах одновременно. Я

поинтересовался как-то, рассказывала ли им бабушка Исако историю о нарисованном коте, который, ожив ночью, расправился с демоническими крысами. «И вся его молда наутло была ЗАМУЛЗАНА!» – с восторгом подхватила малютка Мисако. Но легенду о Юрасиме они не слыхали.

– Почему ты не рассказала детям о «Рыбаке из Внутриморья»? – спросил я как-то у матери.

– О, то была твоя история. Ты обожал ее, – ответила она мне со светлой улыбкой.

В следующий миг я встретил взгляд Исидри, спокойный и ясный и в то же время чем-то озабоченный.

Зная, что мать годом ранее перенесла серьезную операцию на сердце, я в тот же вечер, когда мы вместе с Исидри проверяли домашние задания старшего «класса», спросил у нее:

– Как ты думаешь, Исако вполне оправилась от своих болячек?

– С тех пор как ты приехал домой, ее не узнать. Но… даже не знаю. Ведь Исако серьезно пострадала еще в детстве – от ядов в биосфере Терры. Врачи говорят, что угнетена ее иммунная система. Но она ведь такая терпеливая. И скрытная. Чересчур скрытная.

– А Тубду – ей разве не надо заменить легкие?

– Пожалуй. Время не щадит никого из четверых, но с годами растет и их упрямство… Ты все же присматривай за Исако. Потом расскажешь.

И я стал приглядывать за матерью. Через несколько дней доложил, что выглядит она бодрой и решительной, порой даже несколько деспотичной, и что никаких признаков скрытой боли, беспокоившей Исидри, я не заметил. Исидри просияла.

– Исако говорила мне как-то, – поделилась она, – что любая мать связана с ребенком тончайшей нитью, незримой пуповиной, которая может без всякого труда растянуться на любое расстояние, даже на световые годы. Я заметила тогда, что это, должно быть, больно, но она возразила: «Нет-нет, что ты, совсем не больно, она все тянется и тянется – никогда не оборвется». Мне все же кажется, что это должно быть болезненно. Но – не знаю. Детей у меня нет, а сама я никогда не уезжала от матери дальше, чем на два дня пути. – Исидри снова улыбнулась и добавила от чистого сердца: – Я чувствую, что люблю Исако больше всех, больше собственной матери, сильнее даже, чем Конеко…

Затем Исидри вдруг заторопилась показывать сыну Сууди, как налаживают таймер ирригационного контроля. Она служила деревенским гидрологом, а для поместья Удан – еще и эйнологом. Вся жизнь ее была заполнена делами и родственными

узами – светлая и неизменная череда дней, времен года, лет. Она плыла по жизни, как плавала в детстве в реке – воистину что рыба в воде. Своих детей не имела, но все дети кругом были ее детьми. Любовь Исидри и Конеко была едва ли не прочнее той, что некогда связала их матерей. Чувство, которое Исидри питала к собственному высокоученому супругу, казалось безмятежным и исполненным почтения. Я предположил было, что сексуальный акцент в жизни последнего падает на Ночной марьяж с моим старым дружком Сотой, но Исидри действительно искренне почитала мужа и во всем полагалась на его духовное наставничество. Я же находил его проповеди малость занудными и весьма, весьма спорными – но что понимал я в религии? Не посетив за долгие годы ни единой службы, я чувствовал себя не в своей тарелке даже в домашней часовне. Даже в собственном доме ощущал я себя чужаком. Просто избегал признаваться в том самому себе.

Месяц, проведенный дома, запомнился мне как время блаженной праздности, под конец, впрочем, изрядно поднадоевшей. Чувства мои притупились. Отчаянная ностальгия, романтические ощущения судьбоносности каждого мига канули в прошлое, остались с тем, двадцатилетним Хидео. Хотя я и стал нынче моложе всех моих прежних сверстников, я все же оставался зрелым мужчиной, избравшим свой путь, удовлетворенным работой, в ладу с самим собой. Между прочим, я как-то даже сложил небольшую поэму для домашнего альбома, суть которой именно в необходимости следовать избранному пути. Когда я снова собрался в дорогу, то обнял и расцеловал всех и каждого – бесчисленные прикосновения щек, мягкие и пожестче. На прощанье заверил родных, что если останусь по работе на О, – а это казалось пока вполне вероятным, – то обязательно навещу их зимой. По пути, в поезде, пробивающемся сквозь лесистые холмы к Ран’ну, я легкомысленно воображал себе эту грядущую зиму, свой приезд и домочадцев, за полгода ничуть не переменившихся; давая волю фантазии, воображал также и свой возможный приезд через очередные восемнадцать лет, а то и позднее – к тому времени кое-кому из родных суждено кануть в небытие, и появятся новые, незнакомые лица, но Удан, рассекающий волны Леты, как мрачный трехмачтовый парусник, навсегда останется моим отчим домом. Всякий раз, когда я лгал самому себе, на меня нисходило особое вдохновение.

Прибыв в Ран’н, я первым делом отправился в Тауэр-Холл проверять, что там наворотили мои архаровцы. Собрав коллег после своей неожиданной, но благодушной ревизии за банкетным столом, – а я захватил с собою в лабораторию здоровенную

бутыль уданского кедуна пятнадцатилетней выдержки, целым ящиком которого снабдила меня предусмотрительная Исидри, великая мастерица по части изготовления вин, – я затеял в непринужденной обстановке коллективную мозговую атаку по поводу последних известий, как раз накануне полученных из Анарреса: тамошние ученые предлагали весьма неожиданный принцип «неразрывности поля». Затем с головой, с отвычки распухшей от физики, я побрел по ночному Ран'ну к себе в Новый Квартал, немного почитал и лег в постель. Выключив свет, ощутил, как темнота, заполонившая комнату, просачивается и в меня. Где я? Кто я? Одиночка, чужой среди чужих, каким был десять лет и каким обречен остаться теперь уже навсегда. На той планете или на иной – какая, к лешему, разница? Никто, ничто и ничей. Разве Удан – мой дом? Нет у меня дома, нет семьи, нет, да и не было никогда. Не было будущего, не было судьбы – не более, чем у пузырька на орбите речного омута. Вот он есть, а вот его нет. И следа не осталось.

Снова, не в силах выносить темноту, я включил свет, но стало только хуже. В растрепанных чувствах, я свесил с кровати ноги и горько зарыдал. И не мог остановиться. Просто жутко, до чего порой может докатиться взрослый мужик, – уже совершенно обессиленный, я все трясся и трясся и захлебывался рыданиями. Лишь через час-другой сумел я взять себя в руки, утешив себя простой детской фантазией, как случалось в уданском прошлом. Вообразил, как утром звоню Исидри и прошу ее о духовном руководстве, о храмовой исповеди, которой я давно жаждал, но все никак не решался, и что я с незапамятных времен не участвовал в Дискуссиях, но теперь жутко нуждаюсь в том и прошу о помощи. Цепляясь за эту мысль как за спасительную соломинку, я сумел унять свою ужасную истерику и лежал так в полном изнеможении до первых проблесков рассвета.

Конечно же, я не стал никому звонить. При свете дня мысль, что ночью уберегла меня от отчаяния, показалась совершенно нелепой. К тому же я был уверен: стоит позвонить, Исидри тут же помчится советоваться со своим преподобным муженьком. Но, понимая, что без помощи мне уже не обойтись, я все же отправился на исповедь в храм при Старой Школе. Получив там экземпляр Первых Дискуссий и внимательно перечитав его, я присоединился к текущей Дискуссионной группе, где малость отвел себе душу. Наша религия не персонифицирует Творца, главный предмет наших религиозных Дискуссий – мистическая логика. Само наименование нашего мира – первое слово самого Первого Аргумента, а наш священный ковчег – голос человека и человеческое сознание. Листая полузабытые с детства страницы, я

вдруг постиг, что все это ничуть не менее странно, чем теория моего безумного чартен-перехода, и в чем-то даже сродни ему, как бы дополняет. Я давно слыхал – правда, никогда не придавая тому особого значения, – что наука и религия у китян суть аспекты единого знания. А теперь вдруг задумался, уж не универсальный ли это закон?

Я стал скверно спать по ночам, а часто и вовсе не мог заснуть. После уданских разносолов еда в колледже казалась мне абсолютно пресной, и я потерял аппетит. Но наша работа, моя работа, продвигалась успешно, чертовски успешно, даже слишком.

– Хватит с нас мышей, – заявила как-то раз Гвонеш голосом ансибля с Хайна. – Пора переходить к людям.

– Начнем с меня? – вскинулся я.

– С меня! – отрезала Гвонеш.

И директор важнейшего проекта собственной персоной начала скакать, точно блоха, – сперва из одного угла лаборатории в другой, затем из корпуса-1 в корпус-2, и все это без затрат времени, исчезая в одной лаборатории и мгновенно появляясь в другой, – рот до ушей.

– Ну и каковы же ощущения? На что похоже? – приставали к Гвонеш все как один.

– Да ни на что! – пожимала плечами та.

Последовали бесконечные серии экспериментов; мыши простые и мыши летучие транслировались на орбиту Ве и обратно; команда роботов совершала мгновенные перемещения сперва с Анарреса в Уррас, затем с Хайна на Ве и, наконец, назад на Анаррес – всего двадцать два световых года. Но когда в конечном итоге судно «Шоби» с экипажем из десяти человек, переправленное на орбиту какой-то захудалой планеты в семнадцати световых годах от Ве, вернулось (слова, означающие передвижения в пространстве, мы употребляем здесь, естественно, в переносном смысле) лишь благодаря заранее продуманной процедуре погрузки, а жизнь астронавтов от своего рода психической энтропии, необъяснимого сдвига реальности, «хаос-эффекта», спасло чистейшее чудо, мы все испытали шок. Эксперименты с высокоорганизованными формами материи снова завели нас в тупик.

– Какой-то сбой ритма, – предположила Гвонеш по ансибль-связи (аппарат на моем конце выдал нечто вроде «с собой пол-литра»). В памяти всплыли слова матери: «Событийный ряд не бывает без промежутков». А что она там добавила после? Что-то про имение возле воды. Но мне решительно следовало избегать

воспоминаний об Удане. И я стремился выдавить их из своей памяти. Стоило мне расслабиться, как где-то в самой глубине моего тела, в мозге костей, если не глубже, вновь выкристаллизовывался давешний леденящий ежик, и меня опять начинало колотить, как насмерть перепуганное животное.

Религия помогала укрепиться в сознании, что я все же часть некоего Пути, а наука позволяла растворить позывы отчаяния в работе до упаду. Осторожно возобновленные эксперименты шли пока с переменным успехом. Весь исследовательский персонал на Ве, как поветрием, охвачен был новой психофизической теорией некоего Далзула с Терры, в нашем деле новичка. Весьма жаль, что я не успел познакомиться с ним лично. Как он и предсказывал, использование эффекта неразрывности поля позволяло ему в одиночку перемещаться без всяких нежданных сюрпризов, сперва локально, затем с Ве на Хайн. Засим последовал знаменитый скачок на Тадклу и обратно. Но уже из второго путешествия туда трое спутников Далзула вернулись без лидера. Он опочил в этом самом дальнем из известных миров. Нам в лабораториях отнюдь не казалось, что смерть Далзула каким-то образом связана с той самой психоэнтропией, которую мы официально назвали «хаос-эффектом», но трое живых свидетелей подобной уверенности не разделяли.

– Возможно, Далзул был прав. Один человек за раз, – передала Гвонеш и снова стала проводить опыты на самой себе, как на «жертвенном агнце» (выражение, завезенное с Терры). Используя технологию неразрывности, она в четыре «скока» совершила вокруг Ве угловатый виток, занявший ровно тридцать две секунды, необходимые исключительно на установку следующих координат. «Скоком» мы уже успели окрестить перемещение в реальном пространстве без сдвига по времени. Довольно легкомысленно, по-моему. Но ученые порой любят утрировать.

У нас на О по-прежнему были кое-какие нелады со стабильностью двойного поля, коими я и занялся вплотную сразу по прибытии в Ран’н. Назревал момент дать нашей аппаратуре опытную проверку – терпение людское не беспредельно, да и жизнь сама чересчур коротка, чтобы вечно перетасовывать схемы. И в очередной беседе с Гвонеш по ансиблю я запустил пробный шар:

– Пора бы уже и мне заскочить к вам на чашку чая. А затем сразу обратно. Я клятвенно заверил родителей, что непременно навещу их зимой.

Ученые порой любят маленько утрировать.

– А ты устранил уже ту морщинку в своем поле? – спросила

Гвонеш. – Ну ту, вроде двойной брючной складки?

– Все отутюжено, аммар! – расшаркался я.

– Что ж, отлично, – сказала Гвонеш, не страдавшая привычкой задавать один и тот же вопрос дважды. – Тогда заходи.

Итак – мы спешно синхронизировали наши усовершенствованные ансибль-поля для устойчивой чартен-связи; вот я стою в меловом круге, нацарапанном на пластиковом полу Лаборатории чартен-поля в Ран'не, за окнами тусклый осенний полдень – а вот уже стою внутри мелового круга в лаборатории Чартен-центра на Ве, за окнами полыхает летний закат, дистанция – четыре и две десятых светового года, время на переход – нуль.

– Как самочувствие? – поинтересовалась Гвонеш, встретив меня сердечным рукопожатием. – Молодец, отважный ты парень, Хидео, добро пожаловать на Ве! Рады снова видеть тебя, дорогой. Отутюжено, говоришь, а?

Потрясенно икнув, я машинально вручил ей заказанную пол-литру кедуна-49, которую всего лишь миг назад прихватил с собой в «дорогу» с лабораторного стола на Ве.

Я предполагал, если только вообще доберусь, немедленно чартен-нуть обратно, но Гвонеш и остальные задержали меня для теоретических дискуссий и всесторонней проверки чартен-связи. Теперь-то я уже ничуть не сомневаюсь, что сверхъестественное чутье, которым всегда отличалась Гвонеш, шептало ей что-то на ухо, ее все еще продолжали тревожить морщинки и складки на брюках Тьекунана Хидео.

– Как-то это… неэстетично, – заметила она.

– Однако же работает, – возразил я.

– Сработало, – уточнила Гвонеш.

За исключением желания доказать дееспособность своего поля, я не имел особой охоты немедленно возвращаться на О. Спалось мне лучше на Ве, куда как лучше, однако казенная пища оставалась безвкусной и здесь, а когда я не был занят делом, меня по-прежнему угнетали страхи – неотвязное воспоминание о той кошмарной ночи, за время которой я пролил так много слез без причины. Но работа продвигалась на всех парах.

– Как у тебя с сексом, Хидео? – спросила Гвонеш однажды, когда мы остались в лаборатории одни: я – развлекаясь с очередными колонками цифр, она – дожевывая очередной бутерброд из буфетной упаковки.

Вопрос застал меня абсолютно врасплох. Я прекрасно понимал, что звучит он нахально только в силу свойственной Гвонеш привычки всегда резать правду-матку. Но ведь она никогда еще не спрашивала у меня ни о чем подобном. Ее

собственная личная жизнь, как и она сама, всегда оставались для нас тайной за семью печатями. Даже слово «секс» никто и никогда от нее не слыхал, не говоря уже о том, чтобы осмелиться предложить ей развлечение подобного рода.

Заметив мою отвисшую челюсть, Гвонеш, прожевав кусок, добила меня:

– В смысле, как часто?

Я икнул. Понимая уже, что вопрос Гвонеш отнюдь не предложение завалиться с ней в койку, скорее просто некий особый интерес к моему житью-бытью, я все равно не находился с ответом.

– По-моему, в твоей жизни образовалась какая-то морщинка. Вроде лишней складки на брюках, – заметила Гвонеш. – Извини. Сую нос не в свое дело.

Желая уверить ее, что ничуть не обиделся, я выдавил из себя принятый на О церемонный оборот:

– Чту ваши благие намерения, аммар.

Гвонеш уставилась на меня в упор, что случалось крайне редко, – пристальный взгляд серых глаз на вытянутом костистом лице, чуть смягчавшемся к подбородку.

– Может, тебе пора вернуться на О? – спросила она.

– Не знаю. Здесь тоже вроде бы ничего…

Гвонеш кивнула. Она никогда никого ни о чем не переспрашивала.

– Ты уже прочел доклад Харравена? – Темы она меняла с той же быстротой и безапелляционностью, как и моя мать.

Ладно, думал я, вызов брошен. Гвонеш созрела для очередной проверки моего поля. Почему бы и нет? В конце концов, я ведь буквально за минуту могу смотаться в Ран’н и вернуться обратно, если, конечно, захочу возвращаться, а лаборатория потянет расходы. Хотя чартнинг, подобно ансибль-связи, и работает в основном за счет инертной массы, однако установка ПВК-координат, очистка камер и поддержание поля в стабильном состоянии требовали колоссальных затрат местной энергии. Но ведь это предложение самой Гвонеш, стало быть, денежки у нас пока не перевелись. И я решился:

– Как насчет скачка туда и обратно?

– Заметано, – сказала Гвонеш. – Завтра.

Итак – на другой день, свежим осенним утречком, я стою в меловом круге в лаборатории чартена на Ве, одна нога здесь, а другая…

…мерцание, радужные круги в глазах, толчок – сердечный спазм – сбой вселенского такта…

…в темноте. Темнота. Темное помещение. Лаборатория? Да,

лаборатория – нащупав световую панель, я машинально щелкнул выключателем. В потемках был уверен, что по-прежнему нахожусь на Ве. При свете понял – это не так. Я не знал, что это. Не знал, где я. Все вокруг вроде бы знакомо, и все же… все же… Может, биолаборатория? Образцы в банках, обшарпанный электронный микроскоп, на краю помятого медного кожуха товарный знак в форме лиры… Стало быть, я все-таки на О. В какой-то лаборатории одного из зданий Научного центра в Ран'не? Пахло, как обычно пахнет зимней ночью во всех старых зданиях Ран'на, – дождем и сыростью. Но как мог я промахнуться мимо приемного контура, тщательно прорисованного мелом на полу лаборатории в Тауэр-Холле? Должно быть, сдвинулось само поле. Пугающая, невозможная мысль.

Я был обеспокоен, ощущал сильное головокружение, как если бы мое тело действительно перенесло некий мощный толчок, – но не испуган. Сам вроде бы в порядке, все части на месте, руки-ноги целы, и голова тоже пока на плечах. Небольшой пространственный сдвиг? – подсказывал мозг.

Я вышел в коридор. Может быть, я сам, утратив ориентацию, выбрался из Чартен-лаборатории, а очухался уже в каком-то другом месте? Но куда смотрел мой доблестный экипаж? Ведь они все были на вахте. К тому же с тех пор прошло, должно быть, немало времени – предполагалось, что я прибуду на О сразу после полудня. Небольшой темпоральный сдвиг? – продолжал выдавать свои гипотезы мозг. Я двинулся по коридору в поисках Чартен-лаборатории, и это было точно как в тех мучительных снах, когда ты лихорадочно ищешь совершенно необходимую тебе дверь, но никак не можешь ее отыскать. В точности как во сне. Здание оказалось давно знакомым – Тауэр-Холл, второй этаж, – но никаких следов нужной мне лаборатории. На дверях таблички биологов да биофизиков и повсюду заперто. Похоже на глубокую ночь. Вокруг ни души. Наконец, заметив под дверью свет, я постучал и открыл: внутри усердно таращилась на библиотечный терминал юная студентка.

– Простите за беспокойство, – обратился я к ней, – не подскажете, куда девалась лаборатория чартен-поля?

– Какая-какая лаборатория?

Девушка никогда о такой не слыхала и растерянно пожала плечами.

– Увы, я не физик, учусь пока только на биофаке, – молвила она смущенно.

Я снова извинился. Меня начинало поколачивать, как в лихорадке, усилилось и головокружение. Уж не затронул ли и меня пресловутый «хаос-эффект», пережитый экипажами «Шоби»

и, предположительно, «Гэльбы»? Неужели и мне предстоит теперь видеть звезды сквозь стены или, к примеру, бросив взгляд через плечо, обнаруживать Гвонеш на О?

Я справился у студентки, который час.

– Предполагалось, что я окажусь здесь в полдень, – зачем-то пояснил я.

– Без пяти час, – ответила девушка, бросая взгляд на терминал. Машинально я повернулся туда же. Табло высвечивало время, декаду, месяц и год.

– Ваши часы врут, – сказал я.

Девушка встревожилась.

– Год установлен неправильно, – пояснил я. – Дата. Она должна быть совсем другой.

Но ровное холодное свечение цифр на электронном табло, округлившиеся глаза собеседницы, биение моего собственного сердца, запах влажной листвы – все, все подсказывало мне: часы не врут, теперь именно час пополуночи дня, месяца и года, минувших восемнадцать лет тому назад, и я нахожусь здесь и теперь, на другой день после того дня, упомянув о котором в начале повести я употребил слова «однажды, давным-давно…»

А темпоральный сдвиг-то посерьезнее, чем казалось, – возобновил свою активность мозг.

– Мне срочно нужно назад, – сказал я, поворачиваясь, чтобы бежать туда, где грезилось спасение, – в шестую биолабораторию, ту самую, в которой спустя восемнадцать лет биологии предстояло уступить место чартену. Словно бы надеясь еще застать там следы чартен-поля, возбуждаемого всего лишь на четыре наносекунды.

Сообразив, что с чудаковатым пришельцем явно не все в порядке, девушка удержала меня, заставила присесть и силком вручила чашку чая из домашнего термоса.

– Вы из каких мест? – спросил я любезную хозяйку.

– Из поместья Хердуд, деревня Деада, южные пределы бассейна Садуун, – ответила она.

– А я родом с низовьев, – сообщил я. – Удан из Дердан'нада, может, слыхали? – У меня вдруг потекло из глаз. Не без труда совладав с собой, я опять извинился, допил свой чай и перевернул чашку вверх дном. Девушку не слишком обеспокоила моя слезливость. Студенты сами народ эмоциональный – то радость, то слезы, то спад, то подъем. Зато она – сама учтивость – вежливо поинтересовалась, найдется ли у меня где переночевать. Кивнув, я поблагодарил ее и откланялся.

Я не стал возвращаться в лабораторию номер шесть. Выбравшись на воздух, я двинулся «огородами» к своим

апартаментам в Новом Квартале. На ходу снова заработал мозг – вскоре в голову стукнуло, что в этой квартире теперь/тогда может/мог кто-нибудь проживать.

Малость помешкав, я сменил курс на Храмовый Квартал, где провел лучшие годы своей студенческой жизни до отлета на Хайн. Если все правда, если часы не врут и сегодня второй день после моего отъезда, то комната должна стоять пустой и незапертой. Так оно и вышло, все осталось, как я бросил перед самым отъездом, – голые стены, продавленный матрас, битком набитый мусоросборник.

Именно в тот миг я и испытал самое неприятное чувство. Я долго таращился на мусорник, прежде чем извлечь из него смятую, но довольно свежую на вид распечатку. Еще дольше разглаживал ее на столе. Это оказались темпоральные уравнения – мои собственные каракули, набросанные на стареньком карманном мониторе во время лекции Седхарада по Теории Интервала в последний день моего заключительного семестра в Ран'не, то есть – *позавчера, восемнадцать лет тому назад.*

Вот когда я действительно пережил потрясение. Ты угодил в энтропийное хаос-поле, подсказывал мозг, и я верил ему. Страх, отчаяние буквально захлестнули меня, и ничего ведь не поделаешь до наступления далекого утра. Я плюхнулся на голый матрас, настроенный на встречу со звездами, прожигающими стены и мои веки, стоит лишь их сомкнуть. Вчерне прикидывая, что делать мне завтра, если оно, это завтра, все же наступит, я вдруг провалился в сон, мгновенно, спал как убитый едва ли не до полудня, а когда пробудился на голой койке в знакомой комнате, был голоден и зол, зато ни на миг не усомнился, где я и что со мной.

Спускаясь в кампус позавтракать, я озирался из опаски столкнуться с кем-либо из коллег – то есть, о боже, сокурсников! – который мог бы ошарашенно воскликнуть: «Хидео! Какого черта ты здесь? Мы ведь только вчера проводили тебя до „Ступеней Дарранды“!»

Оставалась слабая надежда, что меня все же не узнают – я стал старше, сильно исхудал, малость подрастерял былой шарм, – но меня с головой выдавали мои полутерранские черты, материнское наследство. Не хотелось ни с кем встречаться, что-то лепетать в свое оправдание. Я мечтал убраться из Ран'на как можно скорее. Я хотел уехать домой.

Наш мир, планета О, – идеальное место для путешествий во времени. Никаких тебе перемен. Наши поезда на солнечной энергии веками курсируют по одному и тому же графику. В магазинах мы подписываем квитанции, которые включаются в

товарный обмен или в ежемесячные банковские расчеты, так что мне вовсе не пришлось предъявлять станционному кассиру загадочные монеты из будущего. Черканув на корешке имя и адрес, я получил свой билет и вскоре уже катил по направлению к дельте Садуун.

За окнами бесшумной фотоэлектрички замелькали поля и холмы сперва Южного бассейна, затем Северо-Западного, оба петляли вдоль плавных излучин великой Садуун. Увы, поезд мой тормозил едва ли не у каждого столба, и на перрон полустанка Дердан'над я выбрался только под вечер. Хотя в воздухе уже запахло весной, перрон покрывала липкая зимняя грязь, не пыль.

Я вышел на дорожку к Удану. Распахнув придорожную калитку, которую сам же перевешивал несколько дней/ восемнадцать лет тому назад, и удостоверившись, что петли все еще новые и крутятся без скрипа, я испытал приятное чувство. Ямсусыни все как одна сидели на яйцах. Судя по их линялым бокам, вялым покачиваниям долгих шей и настороженным взглядам в мой адрес, новые выводки ожидались со дня на день. Над холмами нависли тяжелые тучи. По горбатому мостику я пересек говорливую Оро. Несколько крупных голубых рыбин сбились в стайку под одной из опор; я невольно приостановился – вот бы острогу сейчас… Начинало моросить, и я поспешил дальше. Крупные капли студили мне лицо. За поворотом дороги открылся сам дом – темные широкие кровли у подножия увенчанного лесом холма. Миновав коллектор и ирригационный контроль, пройдя по-зимнему голой аллеей, я поднялся в портик, и вот я уже у дверей, у широких дверей родного Удана. Я пришел.

Через просторный холл бодро семенила Тубду – вовсе не та, которую я запомнил шестидесятитрехлетней, сморщенной, убеленной сединами, дряхлой старушонкой, – но Тубду прежняя. Большая Щекотка, Тубду в полном соку, пышная, смугло-румяная, проворная. Заметив меня, она сперва не признала, не поверила своим глазам:

«Хидео! Откуда?» – затем в полном и окончательном замешательстве: «Хидео, ты? Здесь? Быть того не может!»

– Омбу, – воскликнул я, без труда припомнив наше детское ласковое прозвище для соматери, – Омбу, это я, твой Хидео, – не волнуйся! Все в порядке, я вернулся! – Крепко обняв ее, я прижался щекой к щеке.

– Но, но ведь… – Тубду отстранилась, всмотрелась в мое лицо. – Но что стряслось с тобою, мой мальчик, дорогой мой? – Обернувшись назад, она заголосила во всю мочь своих здоровых легких: – Исако! Исако!

Мать, увидев меня, естественно, решила, что я не сел на борт

корабля, что в последний момент мне отказали мужество и решительность – так подсказывало ее первое же порывистое объятие. Неужели сын действительно отказался от судьбы, ради которой собирался пожертвовать всем и вся? – о, я хорошо знал, что творится сейчас у матери в голове и на сердце. Прижавшись щекой к ее щеке, я шепнул:

– Я уезжал, мама, но я вернулся. Мне уже тридцать один год. Я вернулся, мама…

Она отстранилась от меня, как Тубду перед тем, и вгляделась в лицо.

– О Хидео! – простонала она и прижалась ко мне с новой силой. – Дорогой, дорогой мой!

Мы держали друг друга в объятиях и молчали, пока я не вымолвил:

– Прости, ма, мне необходимо повидаться с Исидри.

Мать вопросительно вскинула взгляд, но никаких вопросов задавать не стала.

– Ты найдешь ее в часовне, сынок.

– Ждите, я скоро вернусь.

Оставив обеих матерей бок о бок, я поспешил к центру дома, главной и старейшей его части, семь веков назад перестроенной на трехтысячелетнем фундаменте, стены из камня и глины, купол толстого резного стекла. Здесь всегда царили тишина и прохлада. Сотни книжных полок, Дискуссии, дискуссии о Дискуссиях, поэзия, бесчисленные версии классических Пьес; здесь же находились барабаны и шепталки для медитаций и иных ритуалов; в центре располагался небольшой округлый бассейн, наполняемый родниковой водой из древних глиняных труб – собственно, он-то и являлся храмом. Здесь я и отыскал Исидри. Стоя на коленках на краю отражавшей прозрачный купол водной святыни, она поправляла свежие цветы в огромной вазе.

Приблизившись, я тихо сказал:

– Исидри, я вернулся. Послушай…

Она обратила ко мне распахнутые, ошеломленные, беззащитные глаза на своем тонком, изящном личике, лице девушки двадцати двух лет, и – застыла.

– Послушай, Исидри, я уже съездил на Хайн, я там учился, затем работал, трудился в совершенно новой области темпоральной физики, над новой теорией трансляции – поверь мне, я провел там целых десять лет. Затем мы перешли к экспериментам. Используя нашу новую технологию, я перепрыгнул с Ран’на на Хайн за одно мгновение, даже быстрее, можешь мне верить – за нулевое время, в самом буквальном смысле. Это вроде ансибля – не со скоростью света, не быстрее ее,

а именно мгновенно. В двух разных местах одновременно, понимаешь? И все шло хорошо, все прекрасно работало, но при возвращении… при моем возвращении получилась складка, какой-то сгиб, морщинка в приемном поле. Я оказался в нужном месте, но в другое время. Я вернулся в прошлое на восемнадцать ваших лет или десять своих. Вернулся точно в день после отъезда, но только я никуда вчера не уезжал, я просто вернулся, я вернулся к тебе, Исидри.

Опустившись, как и она, на колени у края тихого зеркального Грааля, я крепко взял ее за руки. Взгляд Исидри метался по моему лицу, она безмолвствовала. На левой ее щеке я разглядел крохотную свежую ссадинку – должно быть, поцарапалась в кустах, составляя букет для часовни.

– Позволь мне вернуться к тебе, – прошептал я.

Исидри нежно провела ладонью по моему лицу.

– Ты выглядишь таким усталым, – сказала она. – Хидео… А ты хорошо себя чувствуешь?

– Да, – ответил я. – Разумеется. Я в полном порядке.

Собственно, на этом моя история, вернее, та ее часть, что может представлять интерес для Экумены и для специалистов по проблеме трансляции, подходит к концу. Последние восемнадцать лет я живу как фермер, хозяин поместья Удан из деревни Дердан’над в холмах Северо-Западной части бассейна Садуун, материк Окет, планета О. Мне уже скоро пятьдесят. Я Вечерний муж Утренней пары Второго уданского седорету, моей женой стала Исидри; Ночной марьяж у меня с Соту из Дрехе, Вечерней женой которого является моя сестренка Конеко. У меня двое Утренних детей от брака с Исидри – Матубду и Тадри; Вечерних детей нашего седорету зовут Мурми и Мисако. Но все это вряд ли представляет какой-либо интерес для стабилей Экумены.

Мать моя, которая все еще кумекает кое-что в темпоральной механике, выслушав мою историю, приняла ее без дальнейших расспросов; так же и Исидри. Зато большинство остальных односельчан избрали для себя объяснение попроще и куда как правдоподобнее, тоже прекрасно все объясняющее – даже внезапное мое похудание и взросление. Мол, в самый последний момент, буквально перед вылетом, Хидео раздумал учиться в Экуменической школе. Он вернулся в Удан, потому что не мыслил себе жизни без Исидри, так он ее обожал. От этого же и захворал – столь тяжким оказался выбор между его мечтой и беспримерной любовью.

Возможно, все это тоже правда. Но Исидри с Исако предпочли более странную версию.

Позднее, когда мы уже сформировали наш седорету, Сота тоже спрашивал меня о моей истории. «Ты сильно переменился, Хидео, хотя по-прежнему тот, кого я всегда любил», – заметил он. Я объяснил почему, растолковал ему все, как умел. Ошеломленный Сота выразил уверенность, что Конеко легче, нежели он, переварит всю эту чертовщину, – и, действительно: выслушав меня с гримаской озадаченности на своем миленьком личике, сестренка подбросила мне несколько вопросов, что называется, на засыпку. Ответ на один из них я ищу до сих пор.

Я предпринимал как-то раз попытку отправить сообщение на факультет темпоральной физики в Экуменической школе на Хайне. Мне не удалось провести дома в спокойствии и нескольких дней, как мать, с ее обостренным чувством ответственности и долга перед Экуменой, строго потребовала, чтобы я сделал это.

– Мама, – взмолился я, – ну что, что я могу им сказать? Никто из них еще и не слыхивал о теории чартена!

– Извинись за то, что не прибыл вовремя на учебу, как это было запланировано. Адресуй свое объяснение директору, этой анаррести. Она женщина мудрая, все поймет.

– Даже сама Гвонеш еще не подозревает о чартен-теории. Ей сообщат это по ансиблю с Урраса и Анарреса только через добрых три года. К тому же я познакомился с Гвонеш лично далеко не сразу по приезде, лишь несколько лет спустя. – Использование прошедшего времени в подобных объяснениях зачастую оказывалось делом неизбежным, но звучало дико; возможно, здесь все же уместнее употребить будущее – «познакомлюсь с нею лишь через несколько лет».

Или я все же *находился* теперь и там, на Хайне? Меня чрезвычайно беспокоила парадоксальная идея о моем одновременном существовании на двух разных концах Вселенной. Авторство идеи, разумеется, за малышкой Конеко – это и был один из ее каверзных вопросиков. Неважно, что все известные мне законы темпоральной физики отвергали подобный парадокс – я все равно никак не мог отделаться от ощущения, что другой я живет сейчас на Хайне и спустя восемнадцать лет собирается вернуться в Удан, где встретит себя же, то есть меня. В конце концов, мое настоящее существование тоже ведь невозможно.

Вскоре я научился вытеснять эти изводившие меня мысли иной фантазией: воображал себе водяные завитки в речной зыби под двумя валунами, что чуть выше нашей купальной затоки на Оро. Я научился видеть внутренним взором формирование и тихую смерть этих маленьких водных вихрей, а не то мог пойти на берег Оро. Присесть там и всласть полюбоваться ими воочию. Они, казалось, содержали в себе ответ на мои мучительные

вопросы и растворяли его в воде, как нескончаемо растворялись в ней сами.

Но чувство долга моей матери такими пустяками, как невозможность пространственного раздвоения личности, отнюдь не поколебать.

– Ты просто обязан сообщить, – постановила она.

Мать была права. Если уж мое двойное трансляционное поле привело к столь долговременным результатам, то это не только мое личное дело, а вопрос особой важности для всей темпоральной физики. И я попытался. Позаимствовав необходимую сумму наличностью из фондов поместья, я отправился в Ран'н, оплатил ансиблограмму на пять тысяч слов и отправил своему ректору в Экуменической школе сообщение, в котором объяснял, почему, будучи зачислен на курс, я не приехал – если, конечно, я и на самом деле там не появился.

Полагаю, это и стало тем самым «посланием всмятку» или «весточкой от призрака», которое меня просили расшифровать в первый год по приезде на Хайн. Часть его была чистой тарабарщиной, некоторые слова, вероятно, попали в текст из другого, почти одновременного с ним сообщения, но ведь были в нем и обрывки моего имени, а также фрагменты и перевертыши других слов из моей бесконечной объяснительной: проблема, чартен, вернуться, прибыл, время.

Небезынтересно, полагаю, и то, что приемщики ансибль-центра на Хайне, объясняя причины темпоральных искажений при передаче информации, употребляли словечко «складка». Любопытное совпадение со словами Гвонеш по поводу «морщинок» в моем двойном чартен-поле, не правда ли? На самом-то деле ансибль-поле столкнулось не со складками, а с резонансным сопротивлением, вызванным десятилетней аномалией чартен-поля и превратившим мое длинное послание почти что в труху (приведенную несколько выше). С такой точки зрения, особенно если учесть Двойное Поле Тьекунан'на, мое существование на О, когда я посылал ансиблограмму, определенно дублируется моим же существованием на Хайне. Ведь, отправив сообщение, я же его одновременно и получил. И все же, пока продолжает длиться моя аномальная инкапсуляция в прошлое, суть подобной одновременности сводится буквально к точке, мигу, скрещению – без дальнейшей причастности к этому как ансибль, так и чартен-полей.

Иллюстрацией для чартен-поля в этом случае могла бы послужить воображаемая река, петляющая по заливным лугам, змеящаяся столь прихотливо, что ее коленца постоянно сближаются, почти что смыкаются, пока наконец вода не прорвет

тонкую перемычку и не побежит напрямую, оставив целый речной виток (или плес) в стороне, отрезанным от потока, как некое странное озеро в форме бублика, водоем без движения. Согласно такой аналогии, моя ансиблограмма могла служить единственной связующей нитью между потоком и озером – если не считать моих воспоминаний.

Лично мне все же более точной представляется аналогия с водоворотами в самом потоке, исчезающими и повторяющимися – те же самые они? Или другие?

В первые годы после женитьбы, пока физика в моей голове еще окончательно не заглохла, я успел поработать над математическим аппаратом своей теории (см. «Заметки по теории резонансной интерференции двойных ансибль и чартен-полей», прилагаемые к настоящему докладу). Прекрасно понимаю, что все эти формулы, может статься, придутся не ко двору, так как в нашем речном потоке не существует теории двойного поля имени Тьекунан'на Хидео. Тем не менее независимое исследование на неожиданном направлении определенно может сослужить хоть какую-то службу. Я дорожу им – ведь это последнее мое детище в области темпоральной физики, заключительная лепта на алтарь науки. Мне бы следовало продолжать работу над теорией чартена с большей настойчивостью, но ведь жизнь на ферме крутится в основном вокруг виноградников, дренажных канав, птичника, требуют воспитания и заботы детишки, немало времени отнимают Дискуссии, а также мои настойчивые попытки научиться ловить рыбу голыми руками.

Трудясь над текстом упомянутого приложения, с помощью убедительнейших математических выкладок я сумел доказать самому себе, что тот вариант моего существования, в котором я отбыл на Хайн, чтобы стать там физиком-теоретиком и специалистом по трансляции, фактически стерт (выглажен, если позволите) чартен-эффектом. Но никакое количество формул не могло полностью унять мою тревогу, мой страх, который резко усилился после женитьбы и рождения наших детей, – страх, что впереди маячит точка скрещения. Никакими аналогиями с речными водоворотами я не мог убедить себя в том, что моя инкапсуляция в прошлое не может стать обратимой в тот момент, когда наступит неуклонно надвигавшийся день чартен-перехода. Казалось вполне возможным, что в этот роковой день, когда я совершу/совершил свой скачок с Ве на О, может погибнуть, исчезнуть, изгладиться моя семья, мои дети, вся моя жизнь в Удане – все, как смятый листок, полетит в корзинку. Я был в ужасе от собственных мыслей.

И я поделился своей тревогой с Исидри, от которой не имел

никаких секретов – кроме разве что единственного, о котором чуть позже.

– Нет, – решила она, как следует поразмыслив. – Не думаю, что такое возможно. Ведь была причина, разве ж нет, для твоего возвращения. Возвращения сюда.

– Ты, – кивнул я.

Исидри непередаваемо улыбнулась.

– Да, – согласилась она. И после паузы добавила: – А также Сота, и Конеко, и все поместье… А возвращаться туда у тебя особых причин нет, не так ли?

Исидри баюкала на руках нашу младшенькую, прижимаясь щекой к ее крохотной и пушистенькой макушке.

– Ну разве что, кроме работы, – неуверенно ответила она самой себе. И перевела взгляд на меня. Ее искренность требовала и моей равной честности.

– Иногда я действительно скучаю по ней, – сказал я. – И я знаю это. Но ведь я не знал тогда, прежде, когда был там, что тоскую именно по тебе. Буквально помирал, но не знал. Мог бы так и помереть, Исидри, ни на йоту не разобравшись в самом себе. В любом случае там все было неправильно, вся эта научная галиматья.

– Как это твоя работа могла быть неправильной, если привела тебя ко мне? – возразила она, и я не нашел что ответить.

Когда начали публиковать информацию о теории чартена, я подписался на все, что только могла получать Центральная библиотека на О, в первую очередь на бюллетени Экуменической школы и Чартен-центра на Ве. Исследования, в точности как и в другом моем варианте, продвигались без задержки первые три года, затем начались проблемы. Но никаких упоминаний о Тьекунан'не Хидео я не встречал. Никто не занялся стабилизацией двойных полей. Никем не открывалась лаборатория чартен-поля в Ран'не.

Наконец наступила зима моего визита домой, затем тот самый день. И, вынужден признать, вопреки всем и всяким резонам денек выдался прескверный. Я чувствовал какие-то приливы не то вины, не то сиротства. Меня даже трясло при мысли об Удане из того посещения, когда Исидри была в браке с Хедраном, а я – случайным гостем в поместье.

Хедран, почтенный странствующий проповедник и Мастер Дискуссий, и в этом варианте несколько раз посещал нашу деревню. Исидри как-то предложила пригласить его погостить в Удане, но я категорически воспротивился этому, пояснив, что, хотя он и великолепный учитель, что-то в нем мне все же не нравится. Я уловил странный блеск в глазах жены – «Он что,

ревнует?» – она подавила улыбку. Когда я рассказывал ей и матери о своей «другой жизни», единственное, о чем я тогда не упомянул, что утаил, и утаил навсегда, оставался как раз мой приезд в Удан. Я не хотел рассказывать матери, что в той, «другой жизни» она перенесла тяжкое заболевание.

Не хотел рассказывать и Сидри о ее бесплодном браке с Хедраном. Может, я был и не прав. Но мне тогда определенно казалось, что не имею я права открывать такое, негоже это и незачем.

Так что Исидри не могла знать, что на самом деле я чувствовал не столько ревность, сколько вину перед ней. И схоронил ее в себе поглубже. Зато мне все же удалось убрать Хедрана из нашей жизни, и Исидри, моя возлюбленная, мое счастье, мое дыхание, сама моя жизнь, – осталась безраздельно моей.

Или же мне следовало уступить жену? Разделить ее с проповедником? До сих пор теряюсь в догадках.

День тот прошел, как и любой другой, – правда, дочка Сууди, грохнувшись с дерева, сильно расшибла себе локоть. «Наконец-то выяснилось, что тебе не суждено утонуть», – прокомментировала Тубду с болезненным придыханием.

Следующей наступила дата той грустной ночи в моей квартире в Новом Квартале, когда я рыдал и не понимал отчего. А затем и день моего возвращения, перехода на Ве с бутылкой вина от Исидри в подарок Гвонеш. И наконец, вчера настал день, когда я, войдя в чартен-поле на Ве, вышел из него на О восемнадцать лет назад. Я провел ночь, как порой поступаю теперь, в святилище. Часы проходили в полном покое: я писал, затем причастился, занялся медитацией и уснул. И проснулся у кромки безмолвной воды.

И совсем уже наконец: надеюсь, стабили все же примут рапорт от неведомого фермера, а техникам чартен-трансляции удастся пробежать глазами мои расчеты. Мне нечем подтвердить подлинность здесь рассказанного, кроме собственного честного слова да нетипичной для провинциала осведомленности в теории чартена. Досточтимой Гвонеш, которая не знает, кто я такой, шлю почтительный поклон, искреннюю благодарность и надежду, что она сочтет мои намерения достойными.

notes

Примечания

1

Неологизм У. Ле Гуин, образованный от греч. (стая — зверь; этот термин может быть переведен и как «зверолингвистика». *(Здесь и далее примеч. пер.)*

2

The Author of The Acacia Seeds and Other Extracts frогп the Journal of the Association of Therolinguistics

Copyright © 1974 by Ursula K. Le Guin

«Автор “Записок на семенах акации”» и другие статьи из «Журнала Ассоциации теролингвистов»

© И. Тогоева, перевод, 1998

3

Кинесика — совокупность телодвижений (жестов, мимики), применяемых в процессе общения (за исключением движений речевого аппарата), а также наука, изучающая эти средства общения. Кинетический язык — то же, что язык жестов.

$1^0C = 5/9 (t^0F—32)$; в данном случае около 0.

5

Phyton — растение. Неологизм У. Ле Гуин, который можно перевести и как «лингвистика растений».

6

Вершина в Скалистых горах США, высота более 4 км.

The New Atlantis
Copyright © 1975 by Ursula K. Le Guin
Новая Атлантида
© И.Тогоева, перевод, 1991

8

Эребус - действующий вулкан в Антарктиде на полуострове Росса.

9

Вершина вулканического происхождения в Каскадных горах (система Кордильер) в Северном Орегоне; высота около 3400 метров.

10

Строки из стихотворения Эдгара Аллана По "К Елене".

11

Город в штате Вашингтон на границе со штатом Орегон.

12

Форест Жан Курт (р.1909) - немецкий композитор; Шуберт Франц (1797-1828) - австрийский композитор-романтик.

13

Общество Джона Берча - ультраконсервативная организация в США, названная в честь капитана ВВС США Д.Берча (ум. в 1945)] инсургенты в Финиксе [административный центр штата Аризона].

14

Административный центр штата Аризона.

15

Хиндемит Пауль (1895-1963) - немецкий композитор, альтист, дирижер, музыкальный теоретик; один из главных представителей немецкого неоклассицизма.

16

Дан. 5:5; Саймон имеет в виду надпись на стене, начертанную таинственной рукой: "мене, мене, текел, упарсин", появившуюся во время пира вавилонского царя Валтасара и предвещавшую, по мнению пророка Даниила, гибель Валтасара и вавилонского царства.

17

Кабинет президента США в Белом доме.

18

Намек на сэра Роберта Александра Ватсона-Ватта (р.1892) - шотландского физика.

19

Уилбур Ричард (р.1921) - американский поэт.

20

Высказывание американского физика Роберта Оппенгеймера (1904-1967), руководившего в 1943-1945 гг. созданием атомной бомбы и ставшего противником создания бомбы водородной. Американский писатель-фантаст Роберт Юнг взял это высказывание в качестве названия для своей книги, вышедшей в 1958 г., где описывается ядерный взрыв на атолле Бикини.

21

Пустыня Син - часть Аравийской пустыни между Суэцким заливом и Синайским полуостровом; именно здесь, согласно Ветхому Завету, израильтяне были накормлены манной небесной и спасены.

22

Shrödinger's Cat
Copyright © 1974 by Ursula K. Le Guin
Волновой кот
© Издательство «Полярно», перевод, 1998

23

Two Delays on the Northern Line
Copyright © 1979 by Ursula K. Le Guin
Две задержки на Северной линии
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

SQ
Copyright © 1979 by Ursula K. Le Guin
КН
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

25

Small Change
Copyright © 1981 by Ursula K. Le Guin
Мелочь
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

26

The First Report of the Shipwrecked Foreigner to the Kadanh of Derb

Copyright © 1981 by Ursula K. Le Guin

Первый отчет потерпевшего крушение иноземца кадану Дербскому

© Издательство «Полярис», перевод, 1998

27

The Diary of the Rose
Copyright © 1976 by Ursula K. Le Guin
Дневник Розы
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

The White Donkey
Copyright © 1980 by Ursula K. Le Guin
Белый ослик
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

29

The Phoenix
Copyright © 1982 by Ursula K. Le Guin
Феникс
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

Intracom
Copyright © 1974 by Ursula K. Le Guin
Проблемы внутренней связи
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

31

The Eye Altering
Copyright © 1975 by Ursula K. Le Guin
Изменить взгляд
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

32

Mazes
Copyright © 1975 by Ursula K. Le Guin
Лабиринты
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

The Pathways of Desire
Copyright © 1979 by Ursula K. Le Guin
Тропки желания
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

34

Звукоподражание *(греч.)*.

35

Бред вдвоем *(фр.)*.

Gwilan's Harp
Copyright © 1977 by Ursula K. Le Guin
Арфа Гвилан
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

Malheur County
Copyright © 1979 by Ursula K. Le Guin
Округ Мэлхью ©
Издательство «Полярис», перевод, 1998

The Water is Wide
Copyright © 1976 by Ursula K. Le Guin
Вода широка
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

39

The Wife's Story
Copyright © 1982 by Ursula K. Le Guin
Рассказ жены
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

Some Approaches to the Problem of The Storage of Time
Copyright © 1979 by Ursula K. Le Guin
Некоторые подходы к проблеме недостатка времени
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

41

Утерянное время *(фр.)*.

Завтра *(исп.)*.

43

La vaca valiente *(исп.)* – храбрая корова. *(Здесь и далее примеч. пер.)*

Шельфовый ледник Росса.

45

На отечественных географических картах принято название бухта Бей-оф-Уэйлс.

46

Pisco – писко, водка (обычно американского производства) *(исп.)*.

47

На отечественных географических картах – остров Мордвинова.

The First Contact with Gorgonids
Copyright © 1991 by Ursula K. Le Guin
Первый контакт с горгонидами
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

49

Племенной танец австралийских аборигенов. *(Здесь и далее примеч. пер.)*

50

Буш – буквально «кустарник»; название австралийских и южноафриканских полупустынь и кустарниковых пустошей.

Newton's Sleep
Copyright © 1991 by Ursula K. Le Guin
Сон Ньютона
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

The Ascent on the North Face
Copyright © 1983 by Ursula K. Le Guin
Восхождение на Северную стену
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

The Rock that Changed Things
Copyright © 1992 by Ursula K. Le Guin
Камень, изменивший мир
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

54

The Kerastion
Copyright © 1990 by Ursula K. Le Guin
Керастион
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

55

The Shobics' Story
Copyright © 1993 by Ursula K. Le Guin
История «шобиков»
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

Dancing to Ganam
Copyright © 1993 by Ursula K. Le Guin
Танцуя Ганам
© Издательство «Полярно», перевод, 1998

Another Story or A Fisherman of the Island Sea
Copyright © 1994 by Ursula K. Le Guin
Еще одна история, или Рыбак из Внутриморья
© Издательство «Полярис», перевод, 1998

Скорости околосветовой. *(Здесь и далее примеч. пер.)*

59

Пространственно-временной континуум.